

НОВОБЫИ МИР

7

НОВОБЫИ
МИР

7



1979

1979



НОВОЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1979 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|---|------|
| Л. ЛАВЛИНСКИЙ — В столетии суровом, стихи | 3 |
| ГЕВОРГ ЭМИН — Из лирики. Перевели с армянского Марк Рыжков, Е. Николаевская, В. Солоухин | 6 |
| ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН — Сейсмический пояс, повесть | 10 |
| ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ — В полете тратит силы Вдохновенье, стихи | 53 |
| Р. КИРЕЕВ — Победитель, роман. Окончание | 56 |
| А. МЕЖИРОВ — Из новой книги, стихи | 147 |
| СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ — Из цикла «Феодосийские сонеты» | 150 |
| ВЛАДИМИР ГОНИК — Восемь шагов по прямой, рассказ | 152 |
| АЛЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ — В себя вбирая небо, стихи | 168 |
| ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ — Тудор Аргези, Вирджил Теодореску. Перевели Н. Матвеева, Иван Киуру, Вадим Сикорский | 170 |

О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Отпуск с Будвитисом | 173 |
|-------------------------------------|-----|

П У Б Л И К А Ц И И И С О О Б Щ Е Н И Я

| | |
|---|-----|
| МИХАИЛ АРЛАЗОРОВ — Жизнь и дела конструктора Исаева | 201 |
|---|-----|

О Т К Л И К И И К О М М Е Н Т А Р И И

| | |
|---|-----|
| ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ — Эта «гуманная» нейтронная бомба... | 226 |
|---|-----|

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я К Р И Т И К А

| | |
|---|-----|
| АНУАР АЛИМЖАНОВ — Веление времени | 237 |
| А. ШНЕЙДЕР — Его величество факт. Заметки архивиста | 247 |

К Н И Ж Н О Е О Б О З Р Е Н И Е

| | |
|-------------------------------|-----|
| <i>Литература и искусство</i> | 255 |
|-------------------------------|-----|

Валентин Курбатов. Единство интонации. — Владислав Шошин. Поэзия интернационализма. — В. Кулешов. Грани познания. — Дм. Молдавский. Мера ответственности

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

266

Л. Давыдов. Труд — праздник. — **Владимир Ломейко.** Какова судьба человечества? — **В. Косолапов.** Духовный мир и культура зрелого социализма. — **Григорий Медынский.** Высокая душа.

КОРОТКО О КНИГАХ: **Л. Иванов.** — **Геннадий Фиш.** Здравствуй, Дания! Норвегия рядом. Отшельник Атлантики. У шведов (Скандинавские встречи). **Геннадий Фиш.** Встречи в Суоми. ♦ **Наталья Капиева.** — **Владимир Огнев.** Красные яблоки. Повесть. ♦ **Лев Озеров.** — **Михаил Ласков.** Зоревая вахта. ♦ **И. Солсвьева.** — **В. Виленкин.** О Владимире Ивановиче Немировиче-Данченко. ♦ **Лев Разгон.** — **Джанни Родари.** Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. ♦ **В. Лобачев.** — **А. Н. Лук.** Психология творчества. ♦ **В. Зорькин.** — **В. С. Нерсесянц.** Сократ. ♦ **Тамара Невская.** — **Игорь Чутко.** Красные самолеты. ♦ **А. Гельфман.** — **М. Иовчук, И. Курбатова.** Плеханов

280

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

288

Л. ЛАВЛИНСКИЙ



В СТОЛЕТИИ СУРОВОМ

* * *

В столетии суровом
Ты призвана, печать,
Трассирующим словом
Объекты намечать.

Не время расползаться
В лирический кисель.
С начального абзаца
Бери на мушку цель.

Строчи огнем решений
В десятку или в сто.
Дырявь круги мишеней,
Как сито-решето.

Я твой солдат примерный,
Ловлю, покуда цел,
Горючего цистерны
И вечность на прицел.

А ты, родная песня,
Сраженному в бою
Отдашь приказ: «Воскресни!»
И встану. И спою.

* * *

По народному хотению,
По решению ЦК
Вычислительному гению
Уступили облака.

Притяжение разорвано.
Не слепой метеорит
С неба, прежде безнадзорного,
О вселенной говорит.

Чудо в рифмах не поместится,
А газетная строка
Доскакала и до месяца
Без конька без горбунка.

Современники возносятся.
Вавилонский грех забыт.
Языков разноголосица
Не помеха для орбит.

И совсем не ради тактики
На листе в живую гроздь
Соберу пока галактики,
Разлетевшиеся врозь.

Не по личному заданию
(Стиль эпохи подчеркну)
Получает мироздание
Деловую глубину.

* * *

Сквозь потолок я вдруг увидел небо
Чернее негритянского лица.
Ручьями по нему стекали звезды.
Мгновение тянулось без конца.
Потом и бесконечности не стало —
Ни Лебеда в полете, ни Стрельца.
И тут я понял: бред уничтоженья
Стирает землю с моего лица.
Но это просто сердце оступилось,
И содержание, не ладя с формой,
Впотьмах искало, чем зажечь сердца.

НОЧНЫЕ ХИМЕРЫ

На душе все тоскливей, тревожней.
Будь я нежен — пустил бы слезу.
Словно близится встреча с таможенной,
А в узлах контрабанду везу.

Что за бред? Не могло и присниться!
Я не жулик при пушке-ноже...
Будет медленно чья-то граница
Ковыряться в моем багаже.

Не двойное ли дно в чемодане?
Не скрываю ли морфий, гашиш?
Доберутся до книжных изданий,
И с подсказками вдруг заспешишь:

— Еду в отпуск. Оружия нету.
Не имею вещей золотых.
Можно взвесить и брутто и нетто,
Сколько яда в моих запятых.

Не везу контрабанды садовой:
Непродажен по сорту плодов
Груз бессонницы многопудовой
И, поверьте, на вкус не медов. —

Но дорога сулит невозможный,
Обгоняющий время рывок,
И нельзя разминуться с таможей,
С канителью багажных тревог.

* * *

Чудаки прохожие под зонтами.
А небо чисто, всего лишь туманно.
Мухи белые залетали,
Или сеется некая манна?

Пушинку, летящую без прицела,
Ко мне занесло дуновенье улиц.
Ладонь подставляю — охотно села.
Или губы твои коснулись?

Я тоже свалюсь однажды с неба
И, на кухне чуть не растаяв,
Тебе, царица моего снега,
Кину в руки живых горностаев.

Но ты возмутишься: «Казачьи шутки!»
И погибнут мои зверята.
На каждой дырявой шубке
Присмолится мех от заряда.

Снова обернешься тихой богиней,
Доброй пушинкой из белых стаяк.
А мою прическу засыпал иней
И, по слухам, уже не растает.



ГЕВОРГ ЭМИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

С армянского

АРМЯНСКОМУ НАРОДУ

Ты песен бурный океан,
А я лишь капля в океане,
Ты дерева могучий стан,
Я — лист, что без тебя увянет.

Ведь если высохнет Севан,
То и Зангу¹ бурлить не станет.

Перевел МАРК РЫЖКОВ.

У ПОДНОЖЬЯ АРАРАТА

1

Чем были мы
И что было с нами?..
Если вещи своими назвать именами —
Кораблем, наскочившим на голый утес,
Чашей, полной горючих слез,
Землей, от ужаса окаменелой,
Камнем, взывающим в небо
(Но разве докличешься?!), —
Духом могучим — лишенным тела,
Редким качеством — без количества,
Военачальником, но без войска,
Культом древности и геройства...

Чем были мы?
Если без обиняков:
Странником — у родных берегов,
Гостями — у собственных очагов,
Рекой, лишь одной имеющей берег,
Горой, что виднеется лишь вдали,
Долиной — в скорби, крови, потерях,
Землей — без народа,
Народом — без земли.
Зернами ожерелья сорванного —
Рассыпанными, не собранными...

¹ З а н г у — река, вытекающая из озера Севан

2

Мы — глухие наполовину...
 Хоть в нас отзывается каждый шаг,
 Хоть внемлем каждому новому зову —
 Истории хаос гудит в ушах,
 Стремясь воплотиться в слово...

Мы — хромые наполовину...
 Куда бы мы ни ставили ногу —
 На берег Нила,
 На берег Сены,
 На аравийские ли пески —
 Другая нога неизменно
 Вязнет в снегах Арарата...
 И мы вперед не шагаем,
 Мы цели не достигаем,
 А чертим безвыходный круг тоски,
 Кружась вокруг Арарата,
 Тревогой объаты...

Мы — слепы наполовину...
 Наши глаза от слез потускнели,
 Все расплылось
 И дрожит — не во сне ли?..

Мы создали одной рукой,
 Клади, тесали камень.
 Не выпускали меча из другой
 Веками...

Мы — немые наполовину...
 Не раз языка нас лишали,
 Чтоб все мы в себе держали:
 Чтоб радостями — не радоваться,
 Гордостью — не гордиться...
 Мол, нам даже горе горькое
 Оплакивать не годится!..

Мы и влюбляемся,
 Как Арá Прекрасный,
 Опасаясь: земле не в обиду ль?..
 Остерегаясь — к любви пристрастны —
 Козней новой Семирамиды...

И лишь половиной сознания
 Мы мир постигаем, лишь частью...
 Другая помутилась от испытаний,
 От горя
 И от несчастий...

Мы — половина...
 Да, лишь половина,
 Иначе были б мы
 Просто — армяне,
 А не французские,
 И не турецкие,

И не арабские...
 Рассечены пополам, раздвоены,
 Мы — как вершины две
 Араратские.

Но, Арарат,
 Свидетелем будь
 Ты, что расколот на две половины:
 Те, что в Тер-Зёре пали,
 И мы —
 Соединимся вновь воедино
 На родной земле...

3

Да, мы маленький народ —
 Подобный
 Камню,
 Взвешен с горы разбег,
 Что в сто раз сильней
 Скалы огромной,
 У подножья простоявшей век,

Маленький —
 Подобно речкам горным,
 Необузданным и непокорным,
 Что напористей равнинных рек.

Маленький народ мы!
 Но ответьте:
 Кто это придумал в черный час
 Нас давить, сжигать тысячелетья
 Так, что превратились мы в алмаз?

Кто придумал, чья это причуда —
 Нас рассеять, чтобы отовсюду
 Вам, как звезды в небе,
 Видеть нас?..

Маленький...
 Но посмотри на карту —
 Как границы распространены:
 Вглубь — от Лусавана ² до Урарту ³
 Вверх — от Бюракана ⁴ до Луны...

Как урана малая крупица,
 Он великой силой наделен,
 И — не иссякает,
 И — лучится,
 И — пребудет до конца времен.

Перевела Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

² Л у с а в а н — один из самых новых городов Армении.

³ У р а р т у — самое древнее государство на земле Армении.

⁴ Б ю р а к а н — всемирно известная обсерватория.

МОЯ ГОРА

Если Магомет не идет к горе, то гора
идет к Магомету.

Стоим мы
И смотрим друг на друга,
Я
И моя гора Арарат.
Вера сдвигает горы — так говорят.

Есть ли вера на свете крепче моей?
Есть ли воля упорней
И желанье сильней?

Как волны потока,
Как море потопа,
От подножья до вершины, где снег,
Вера моя смывает
Любимую гору
За веком век.

Но, увы,
Гора не сдвигается с места,
Бесстрастно
Снега на вершине ее горят.
Мы оба стоим неподвижно.
Мы глядим друг на друга,
Я — на нее
Она — на меня...
...Так и будем стоять?
Друг на друга глядеть?
И гора в серебре
И Эмин уже весь в серебре.
Переиначил бы я пословицу эту:
Если поэт не может прийти к горе,
То гора должна прийти к поэту!

Перевел В. СОЛОУХИН.



ЛАЗАРЬ КАРЕЛИН

★

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС

Повесть

1

В старину сперва раздавался цокот копыт в ночи — почему-то все известия тогда приходили ночью, если верить книгам и историческим фильмам, — потом было слышно, как спешивался всадник, как взбегал по ступеням, и тень его — это в фильмах, — сгорбившись, бежала за ним. Сама тревога вступала в дом, и, если верить книгам, сердце сжималось от предчувствия, чаще всего недоброго, а в фильмах обитатели дома сводили в страхе ладони, вжимали головы в плечи.

Нынче ничего подобного не происходит. Просто звонит телефон, и не ночью, зачем же, а в самый будничнейший дневной час, и ты будничным голосом вопрошаешь, как приучил себя: либо «да?», либо «алло?», либо «я слушаю». А оттуда, из трубки, откликается Судьба.

Андрей Андреевич Лосев не ждал голоса Судьбы и потому побрел к телефону без всякого трепета. Он не ждал от звонка и никакой, даже малой, радости — в невнятной жил поре, более того, пребывал в том жизненном состоянии, которое официально наречено было по роду его занятий простое. Он был кинорежиссером в простое, то есть он уже больше года не ставил очередного фильма, законно посему не получал зарплаты, числился в штате студии, но сидел дома, и из простоя его мог выволить лишь новый сценарий, где бы режиссером был он, Лосев.

Такого сценария и вдалеке не было видно. Надоело, наскучило ставить немилые сердцу сценарии. Милые сердцу не попадались. Их не так просто сыскать, когда сердцу твоему за пятьдесят, когда поставлено два десятка фильмов, когда и имя есть, и звания всякие, и медали, но и страх холодит, что еще один проходной фильм тебе уже не простят. Кто не простит? А судьи кто? Сразу и не поймешь кто — судить ведь в искусстве дано каждому. Сложится мнение — и все, и засужен, и отодвинут. зачислен в сошедших с беговой дорожки.

Есть и еще один судья для тебя: ты сам. Конечно, этот судья часто нисходит до снисхождения, но если уж этот судья рассердится, то берегись. Доводить его до гнева не следует. Лучше уж простой. Собственно, почему простой? Ищется сценарий, неспешно, скрупулезно, чтобы по сердцу, чтобы всего себя потом вбить в картину, чтобы рвануться всей душой к себе лучшему из этой ныне серой, простойной скуки.

Телефон звонил, вызванная какой-нибудь ничемный разговор с приятелем, какое-нибудь приглашение на очередную премьеру в Дом кино, а уж про фильм этот известно, что он не удался, и смотреть его нет охоты, или же что, напротив, фильм удался, и смотреть его поэтому тоже нет охоты. Телефон мог окликнуть и голосом женщины, признав-

шей, что жена на съемках в другом городе, что с женой у него нелады, что у нее с другим вроде бы те самые начинаются лады, после которых слух пойдет о его очередном разводе. Самое время звонить к такому предразводному мужчине, самое время утешить его, заскочить на минуточку, прибраться в квартире, приговаривая: «Бедный вы, бедный!» Он ненавидел таких женщин, презирал, все про них понимая, но это были женщины его среды, его профессии, их было не избежать. Мир того дела, которым он занимался, был громаден, мирок людской, в котором он обращался, был ничтожно мал. У всех на виду, всем ведом и одинок до ужаса. В простое.

Андрей Андреевич поднял трубку.

— Да?.. — спросил он, увидев себя в полированной поверхности шкафа, отметив режиссерским глазом невероятную скуку во всей своей позе, какую-то общую в себе пониклость, будто он не только лицом, но и всем телом скривился навстречу разговору. Когда-нибудь он заставит актера вот так же скривиться лицом, спиной, заведенной рукой. Не забыть бы только. Ничего, он был памятливым на всякий жест и взгляд, рассказывающий человека. Профессия обучила.

А в трубке в ответ на его «да?» забился голос, разом, в миг один распрямивший его, словно взорвалась в нем кровь.

— Андрей Андреевич?.. Это правда вы?

И все — и узнал! Голос ее и это ее словечко — «правда», которое она умудрялась вставлять чуть ли не в каждую свою фразу. Тридцать лет не слышал он этот голос, все тридцать лет, оказывается, помнил его.

Он знал: у женщин не стареют голоса. Стареют, конечно, но что-то в них уцелевает годы и годы. Что-то главное. Этот звук напевный, эта вот удивленность, готовность к удивлению, эта першинка в звуке. И эта вот «правда». Так это слово, с таким напором на него во всей фразе произнести могла только она.

— Да, это я...

Он снова поглядел на себя в полированную поверхность, увидел, что стоит прямо, заметил в своей позе готовность припустить бегом. Так было, когда она звонила ему — всегда в какой-то неурочный миг, — когда смешливо, напевно, удивленно, дружелюбно, с першинкой в голосе спрашивала: «Андрей Лосев, это правда вы?». «Где ты?!» — кричал он в ответ, едва сдерживаемый шнуром телефона. Она всегда оказывалась где-то очень далеко. «Бегу!» — кричал он. И бросался бежать. В ночь, через весь город, в кромешную тьму, где светилось ее лицо. Господи, какое это было лицо! Было!..

Он вспомнил, как вспоминают о несчастье, что ей сейчас пятьдесят пять лет. Он понял, что бежать некуда. Пусть даже это и она, он не хотел встречаться с ней пятидесятипятилетней. Он знал, какой это ужас, обвал какой, когда встречаешься с женщиной из своей молодости.

— Да, это я, — повторил он и робко окликнул: — Нина...

— Нет, что вы!.. Мама умерла...

— Умерла?..

Тридцать лет прошло, как они расстались, а весть о смерти этой женщины с ожившим вдруг голосом поразила. Не стремился — позади все! — встретиться с ней, вдруг понял, вот сейчас понял, что боялся этой встречи, но все же надеялся все годы и, может быть, даже вчера еще, что встретится. Зачем ему нужна была эта встреча? Почему он боялся этой встречи? Почему откладывал, «не стремился» — ведь мог бы отыскать, написать, позвонить, приехать? Отлетели вопросы разом, все. Ее не было больше на свете. Он было испугался, что встреча эта настала, и вот ужаснулся, что ей теперь не быть никогда.

Смятение было в мыслях, но слова сами поспешали, слагая продолжение разговора, рождая фразу, какую и следовало родить, когда такая вот узлана печальная новость.

— Как же это, ведь она была совсем нестарой женщиной... — услышал Лосев свой голос.

А в трубке отозвался ее голос:

— Сердце... Она всегда очень много работала... И потом, ведь вы знаете, у нас в Ашхабаде так иногда жарко, что... И потом...

Смятение продолжалось, потому что звучал ее голос, а ее не было.

Но слова сами набегали, нужные слагая фразы:

— И когда это случилось?

— Год назад.

— И вы не написали?

— А зачем? Ведь и вы ни разу не написали. Ей живой... Забыли, правда?

— Неправда, — услышал Лосев свой голос. Он кивнул этому ответу, подтверждая, что слова сложили верный ответ и он наконец сам вступил в разговор: — Где вы?

Он помедлил, собираясь с духом, чтобы задать очень важный вопрос. Напряглась в трубке тишина, будто собеседница его знала, что спросят ее сейчас о важном.

— Сколько вам лет? — спросил Лосев, подавшись навстречу грозному известию. — И как вас зовут?

— Таня, — отозвалась женщина Нининым голосом. — Не пугайтесь, я не ваша дочь... Правда, ведь вы об этом подумали? Мне двадцать семь лет, а вы расстались с моей мамой почти тридцать лет назад. Отлегло?..

А он не знал, был бы он повержен новостью, что у него есть дочь, что вдруг нашелся кровно родной ему человек, похожий чем-то, может быть, и на него, совпавший с ним, как совпали голоса дочери и матери. Уже давно страшило его одиночество, и вот вдруг...

— Где вы? — спросил Лосев, догадавшись, что ему жарко, взмок весь. — Взглянуть бы на вас...

Сжалось что-то в висках, тоненький какой-то звон там ожил. Показалось Лосеву, что мчится он назад, в юность свою, со скоростью звука, нет, света, да что там — куда быстрее. Он снова был там, в Ашхабаде, на тридцать лет назад отлетев, он целовал свою Нину. Все вспомнилось! Что там все скорости вселенной по сравнению со скоростью памяти души.

— Я в Домодедове. Я все не решалась вам позвонить, хотя целую неделю прожила в Москве. На все ваши картины сходила, какие где шли. Правда, правда.

— Таня, сколько вам лет? — спросил опять Лосев.

— Мне двадцать семь, двадцать семь.

— Ваш отец жив?

— Отца я не знаю.

— В Домодедове где вас найти?

— Где? Ну, у кассы ашхабадского рейса.

— Когда отлетает самолет?

— Он должен был уже улететь. Но рейс задерживается из-за погодных условий. Я загадала: если рейс задержится, позвоню вам. Наверное, так бы сделала моя мама. Почему-то мне кажется, она бы так поступила. Скажите, она никогда не звонила вам вот так, из аэропорта, чтобы только услышать голос, и все?..

— Никогда.

— Да... Я горжусь ею, горжусь...

— Нина!.. Тania! Я еду к вам! Не улетайте, слышите?!

— Как уж будет с погодой... Где-то там, над Каспием... Вы правда приедете?..

— Еду!

2

Таксисту он сказал все как есть. Почему-то совершенно чужим людям иногда рассказываешь самое сокровенное. Но рассказывая таксисту, он рассказывал и себе. История эта еще никогда им и самому себе не была рассказана. Не мог он возвращаться памятью в те дни, ну не мог.

А этому славному парню с могучей шеей и простодушными глазами стал рассказывать. И себе тоже. Время пришло.

Машина мчалась мимо Кремля, мимо коломенских куполов, мимо рафинадных прямоугольников Орехова-Борисова, солнце светило, сентябрьский день выдался погожим, а в машине рассказ шел о страшной ночи с 5 на 6 октября сорок восьмого года, когда рухнул за одиннадцать секунд город Ашхабад. Он, Лосев, жил тогда там, работал на киностудии, куда был направлен на преддипломную практику. В те одиннадцать секунд скольких жителей города не стало! А от города осталось не то два, не то три дома. Там на студии девушка одна работала. Красивая? Красавица! Такую больше не встречал он ни разу в жизни. Поверьте, весь мир исколесил — не встречал.

Она не погибла в землетрясение, повезло ей. Рухнувшая стена лишь придавила ей ноги. Самолетом ее срочно отправили в Баку. Он отправил, он ее вытащил из-под обломков, раскровенив себе руки, локти, — вот даже и по сей день сохранились шрамы на тыльной стороне правой руки. Вот они, эти шрамы. Лопатой того нельзя было бы сделать, что он тогда сделал руками. Откуда силы у людей брались? Женщины, матери, согнувшись над детьми, своими телами выдерживали тяжесть железных крыш. Умирали под этой тяжестью, но детей спасали. Земля гудела так страшно, так ни на что не похоже, что он, бывший на фронте, испытывавший и бомбежки и артобстрелы, про войну такого страха припомнить не мог. И пыль захлестнула улицы. И занялись кругом пожары. А он бежал с ней через весь город, потом остановил кого-то, они сделали из досок носилки, положили ее, побежали дальше. На площади в центре города нашли врачей. Но там, среди пыли и гари, ее нельзя было оставлять. С тем же человеком, имя которого так и не узнал, они отнесли Нину на аэродром. Что там творилось! На войне был, а то, что увидел там, было страшнее. Наверное, потому, что про войну хоть что-то можно было понять, а про землетрясение мозг отказывался от понимания. Он пробился с ней к самолету, он увидел, как самолет взлетел. Потом снова бросился в город, к студии. Он вел себя тогда, как все. А все тогда, кто уцелел, кто мог двигаться, спасали тех, кто был погребен под обломками.

Машина мчалась, шофер где только мог превышал скорость, и орудовцы не свистели ему, угадывая, что тут их свисток будет бессилён.

А что было дальше с той девушкой, что было? Нет, они больше не встретились. Студия рухнула, работы для него там не было, надо было возвращаться в Москву писать диплом. И он уехал. Нет, и потом они ни разу не встречались. Так вышло... А почему так вышло? Водитель — они сидели рядом — лишь спрашивающе косил глаза, а этот вопрос Лосев сам себе задал. Ответа не было. Так вышло — и все тут. Один малодушный поступок рождает другой, целую цепочку выковывает, и ты и хотел бы, да уже не можешь ее разорвать — момент упущен. Сперва не отыскал, когда уехал из Ашхабада, так уж потом и незачем, стыдно даже как-то, упустив время, что-то предпринимать. Потом —

женился, потом — переженился. Память не подпускала его сейчас к правде: так вышло, так вышло...

А вот сейчас он мчался в Домодедово, чтобы взглянуть на ее дочь. Если поспеет.

— Такой же голос, как у ее матери, — вслух удивился Лосев и взглянул на шофера. — Представляете?

Водитель поглядывал на рассказчика простодушными глазами, кивал сочувственно и когда тот говорил и когда молчал и гнал машину, чтобы поспеть. Таксисты умеют понимать людей, в таксистах вырабатывается человекознание.

Про этого, что рассказывал, не просто до конца было понять. Мудрен был этот человек, не исповедный. Такие чаще молчат, когда их везут. Щедры на чаевые, но не на слова. Будто отгораживаются от тебя. Одет как на картинке, как в кинофильмах одеваются. Волосы в седину, но крепкий еще мужик. Часы на руке больших денег стоят. Не поймешь кто. Знаменитый артист? Встречал вроде где-то это лицо. Начальство? Наверняка своя машина у него есть, а то и на персональной раскатывает. Все, все у такого человека есть. А вот припекло — глаза тарашит, в словах закашливается.

Они приехали. Скрипнули тормоза.

— Ну, удачи вам, — сказал шофер, принимая от Лосева деньги, но и не принимая, когда увидел, что слишком уж большие ему отваливают чаевые. — Зачем же? Беседовали.

— За гон, за риск.

— Ну, если за риск...

Простились. Лосев кинулся к зданию аэропорта, ища двери в бесконечном его стекле.

Стеклопластиковый ангар аэропорта был так открыт взору, что сразу тут ничего нельзя было углядеть. Все уравнивалось в этой громадности, и человек становился малостью, всего лишь цветной деталью, частицей движущейся мозаики. И где-то тут пряталась у всех на виду молодая женщина Таня, поразительно перенявшая голос своей матери. А лицо?

Лосев двинулся вдоль рейсовых касс, отыскивая, от которой отправляли пассажиров на Ашхабад. Он медлил, он не был готов к встрече, хотя мчался на машине и бегом проскочил двери. Спешил, спешил и вдруг оробел. Страшно сделалось, что рухнет, рассыплется через миг его надежда. На что надежда? А вот чтобы встала перед ним Нина. Та, бывшая. Другую он и не знал. В памяти жила только та, которой было тогда столько же лет, сколько ее дочери. Голоса совпали. Он ждал, он надеялся — продлится чудо. И страшился, что чуда не произойдет.

— Андрей Андреевич... Андрей Лосев, а вот и я. Правда, я похожа на маму? Все говорят...

Он оглянулся стремительно и жадно.

Да, это была Нина. Его Нина. Только в странном для глаз современном обличье — в этих откровенничающих брюках, в слишком яркой кофточке, громадные блескучие очки зачем-то были заведены за лоб, прятались в волосах. Так одевались, так выставлялись молодые женщины сейчас, в сию минуту его жизни. Но странно было смотреть в это родное лицо из той поры и видеть перед собой незнакомку из сегодня.

— Да, вы похожи, — сказал Лосев. — Очень.

Конечно, теперь, взглядевшись, он многие отличия усмотрел в лице. И все же сходство было поразительным. В главным. А главным в Нинино лице были глаза и словно бы падавший на все лицо их свет, главным была озаренность этого лица, а потому открытость, ясность, погожая ясность. Нинино лицо нельзя было назвать красивым, но этот свет, эта мягкость, эта лучистая распахнутость глаз, они и рож-

дали прелесть этого лица. Да, все-таки его Нина была красавицей. Не всегда, а когда особенно ярко свегились ее глаза. Сейчас они светились особенно ярко.

— А теперь, когда рассмотрели, еще похожа? — спросила Таня.

Она тоже прямо и откровенно рассматривала его. Во все глаза на него смотрела. Так откровенно, так прямо смотреть не каждому дано. Так смотрела всегда Нина. И требовала, чтобы он не отводил глаза. С ней не просто было. Чего-то она не умела понять, ее нетрудно было и обмануть, но вдруг она про такое в тебе догадывалась, про что и сам о себе не знал.

Таня, ее дочь, так же вот глядела на него. Голова кружилась, тридцать лет попятиться за какой-то миг.

— Наваждение! — вслух вырвалось у Лосева. — Сколько мне лет? Где я? Куда податься?

Он тотчас профессионально сообразил крошечную сценку, эпизодик, где актеру было дано задание сопоставить день нынешний и день минувший, чтобы мило эдак, не без печали, но и не без юмора отработать растерянность. Все дело ведь в стыках, в работе на столкновениях, сопоставлениях. Так увяз в этих стыках, что в собственной жизни все время режиссировал и актерствовал, будто показывал кому-то на съемочной площадке, как надо все делать. И сам все и делал. Жил играя, играл вживаясь. Самим же собой бывал не часто. Не удавалось.

— И я не пойму, где я, — сказала Таня. — В маминной комнате столько ваших портретов, что мне сейчас показалось, словно я уже дома. Нет, правда. А если оглядеться по сторонам, вот как вы это сделали, то и у нас в Ашхабаде в аэропорту всюду стекло, а за стеклом самолеты.

— Значит, прилетели уже домой?

— Нет, вы правы, это всего лишь наваждение. У нас воздух иначе пахнет. Не забыли, какой к нам воздух приходит с гор и с песков? Горьковатый, тревожный, свежий. У Ашхабада свой запах.

— А у Москвы?

— Не такой отчетливый. И потом, мне кажется, в Москве до десятка разных городов. Правда?

— Пожалуй. — Он слушал ее, смотрел на нее, но был не здесь, не в этой суতোлке аэропорта, а там, на три десятилетия отступя, у какого-то дувала стоял на тихой улочке, в тени карагача. Почудилось, и верно, горьковато и высушенно пах воздух.

— Расскажите мне о маме, — попросил Лосев, зажмуриваясь, чтобы возвратиться в сегодня. — Не хочу верить, что ее нет. Так пусто вдруг стало без нее.

— Помнили?

Вот бы и стать тут самим собой, ответить, не ища жеста, не ища приличествующего выражения лица. Да где там. Уронил голову, уронил руки, сказал скорбно:

— Помнил.

А ведь помнил же, помнил, можно было в этом и не убеждать.

— Вы говорите, мои портреты у вас дома? Зачем?

— Мама любила вас, — просто ответила Таня. — Всю жизнь любила. Все ваши фильмы мы с ней наизусть выучили. Иногда обедаем, а из ваших фильмов ведем разговор. У вас все герои очень находчивые, остроумные, в жизни так не всегда найдешься. Вы сейчас опять что-нибудь снимаете?

— Я сейчас в простое, — сказал Лосев. Ура, сказал не наигрывая.

— Как это?

— Нет сценария. Не знаю, про что снимать.

— Господи, столько всего кругом происходит!

— Но надо выбрать. Вы что в жизни делаете?

— О, я уже одну профессию сменила. Начинала учительницей, стала врачом.

— А почему сменили?

— Оказалось, я не умею учить. Тут нужна большая решительность. Ну, если хотите, сомнение, что ли, необходимо. Хоть в малой дозе.

— А чтобы лечить?

— Тут все другое. Тут важнее сочувствие, умение понять. Я терапевт. Впрочем, начинающий. Начинающий врач — это что-то очень зыбкое, даже забавное. Правда, правда. Настоящий врач не может обойтись без душевного опыта. Где его сразу взять? Нужны годы и годы. Но не всякие годы. Помните чеховского Ионыча? Его жизнь согнула. Согнулся и врач.

— Целая философия.

— О, ведь мы, провинциалы, любим порассуждать!

У Нины тоже иногда вспыхивали в глазах такие вот чертенята, и тогда Лосев из стороны наступающей сразу же превращался в сторону обороняющуюся. Но то было раньше, тогда! И Нина была на год старше его. Она была опытнее его, даром что он был на фронте. У нее был за плечами блокадный Ленинград.

А теперь перед ним нынешним стояла девочка. Зажглись чертенятами ее глаза, все так, да только и сам он нынче был чертом, матерым чертом. Он усмехнулся своей мысли, этому сочетанию слов. Матерыми бывают волки, а не черти.

Таня разглядывала его, вглядывалась в него, стараясь понять, чему это он вдруг усмехнулся.

— Что-нибудь вспомнили? — спросила она.

— Все время вспоминаю. Так как же с самолетом? Что там — над Каспием?

— Буря.

— Летал я и в бури. Нет, они тут правильно делают, лучше обождать. Стойте здесь, Танюша, я сейчас поточнее узнаю, что с вашим рейсом.

Лосев повернулся и зашагал, сразу став уверенным, знающим себе цену, убежденный, что и со стороны кто бы ни поглядел, цену ему назначит высокую. И вправду хорошо шел, смел и широк был его шаг, голова сама собой вскинулась.

Таня смотрела ему вслед, в этом Лосев не сомневался. Неотрывно. Изучая. Запоминая. Понять ее было можно. Шутка ли, это был Андрей Лосев, знаменитый кинорежиссер, фильмы которого она знала наизусть. И это был человек, которого любила ее мать. Смолоду и до последнего дня. И это был еще нестарый мужчина. Его еще не за что было жалеть. Вон как идет!



Лосев отсутствовал совсем недолго. Все мигом узнал, обо всем договорился. Вылет ее самолета действительно зависел от состояния погоды в районе Каспия. Чуть там просветлеет, как будет объявлена посадка. Ему, Лосеву, было твердо обещано, что по радио заранее выкликнут его фамилию. Мол, Лосев, товарищ Лосев, приготовьтесь к полету.

— Что ж, есть и у моей профессии свои плюсы, — скромно улыбнулся, подводя итог своему рассказу, Лосев. — Милая девушка из диспетчерской, как оказалось, знает мои фильмы.

— А кто знаменитее, актеры или режиссеры? — спросила Таня.

— Знаменитее те, кто знаменитей, — улыбнулся Лосев. — Впрочем,

вру, конечно, актеры. Да ведь и я, как вам известно, играю иногда разные ролики. А теперь пошли.

— Куда?

— В ресторан, разумеется. Усядемся в уголке, закажем графин пива, порцию сыра... Нет, не выйдет.

— Почему?

— В этих стекляшках теперь нет уголков. В нынешних ресторанах не подают в графинах бочковое пиво, а в нынешних моих обстоятельствах мне неловко заказывать одну порцию сыра.

— Вы в плену обстоятельств, Лосев?

— Нина так же спросила бы. И так же поглядела бы.

— Вам забавно, что я так похожа на маму?

— Забавно?

— Простите, я не то хотела сказать. Может быть, странно?

— Может быть...

В ресторане — снова стекло и пластик — действительно трудно было отыскать столик. Разве что этот, прижавшийся к стене у входа в кухню. Но то был служебный стол, украшенный даже не одной, а двумя табличками «Занято». Лосев эти таблички снял, отнес на соседний стол и пошел договариваться. Маленькие победы не всегда и не всем даются легко. Таня сжалась, ожидая, что их сейчас погонят от заветного столика. Не только не погнажи, но прибежала чуть ли не сама директорша и сама — сама! — стала прибираться на столе.

Уселась. Маленькая победа может и большому человеку принести радость.

— Вы радуетесь, как ребенок, — сказала Таня. — Даже нахмурились от удовольствия.

— Заметили? Это я старался скрыть от вас, что доволен. Шли бы, Танюша, в режиссеры. Приметливая.

— Приметливым надо быть и врачу. Нет, я не приметливая. Как раз очень многое не замечаю.

— Это потому, что у вас слишком распахнуты глаза.

— Красиво сказано. У меня есть друг один. Он бы многое отдал, чтобы изобрести такую фразу.

— Пустой, должно быть, малый?

— Вы не обижайтесь, я и не думала подшучивать. Действительно красиво сказалось. Просто мы с мамой всегда боялись красивых слов. А парень как парень. Философ.

— То есть?

— Ну, самый настоящий. Преподает даже философию в университете.

— Умный, должно быть, до чертиков?

— Не сказала бы. Наверное, ему не надо было становиться философом. Как мне учительницей. Каждый рожден для чего-то своего. Вот вы — вы режиссер.

— А я порой сомневаюсь.

— Это и хорошо, что сомневаетесь. Часто?

— Все чаще.

Скользя, плывя и сияя, подходила к их столику директриса, самолично неся в золотых руках канцелярский графин с пивом и тарелочку с порцией сыра.

— Так?! То?!

О, ей тоже сродни был артистизм!

— То самое! — просиял Лосев. — Хотите ко мне в ассистенты режиссера?

Женщина медленно улыбнулась, взглянула на Лосева как на ровню себе.

— Ну зачем же?

В этих медленно вышедших из ярких губ словах прозвучало превосходство.

— Ваша правда, вы уже не ассистент, — построжал Лосев. — Пожалуй, мы коллеги. Или и тут я заношусь?

Женщина не ответила. Глядела на него и улыбалась. Вдруг, как фокусник, щелкнула пальцами, и из-за ее спины выскользнула совсем юная жрица еще пока в дешевеньких украшениях, но зато с роскошными яствами на подносе.

Графин с пивом и тарелка с сыром — это была дань прошлому, а икра, а замысловатый башенный салат, а помидоры, обложенные призмами из льда, а еще там что-то и что-то и, наконец, бутылка шампанского, и тоже в ледяных торосах, — это была дань настоящему.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Лосев, глядя, как его прошлое и его настоящее устанавливаются на столе руками директрисы. — А все-таки в вас погиб режиссер.

— Надо же кому-то и людей питать, — сказала дама. — Ну-ну, репетируйте.

Она поплыла от стола, ее помощница упорхнула.

— А что мы репетируем, Андрей Андреевич? — спросила Таня.

— Пустое! Это она сболтнула для светскости. — Лосев вдруг мрачнел. — Или, может быть, я сболтнул, когда заказывал пиво и сыр. Как объяснить такой каприз? Мол, для нужд кино — и все всё делают.

— А как объяснить такой каприз? — спросила Таня. — Вы всегда всем представляетесь или вас узнают?

— Узнают.

— За эти ваши рольки или как режиссера?

— По совокупности, как считаю. Нет, Таня, это не каприз. Это все вы виноваты, уж очень вы похожи на свою маму.

— И мы сейчас там, в какой-нибудь тогдашней «Фирюзе»? И нас мучает жажда? Кстати, очень хочется пить. — Таня протянула руку к графину, налила в бокал пива и стала пить, обливая подбородок, и сразу же налила и Лосеву пива и протянула ему бокал, сверкнув влажными зубами. — Пейте же!

Он смотрел на нее, приподнявшись. Он замешкался, когда принимал из ее руки бокал. У него были движения ослепшего человека.

— Только та разница, что она обращалась ко мне на ты, — сказал он.

— Вы ошибаетесь, мама была другой. Вы забыли ее. Пейте же.

— Мы пили из граненых стаканов, — сказал Лосев.

— Мама рассказывала, что тогда в Ашхабаде всюду продавали красную икру и коробки с крабами.

— Но не всегда был хлеб.

— У нее было только одно приличное платье. Она лишь меняла воротнички.

— Она казалась мне очень нарядной.

— А туфли, туфли! Мама рассказывала, что у нее были одни-единственные туфли, латаные-перелатаные.

— У нее была очень легкая походка, но я не помню, какие у нее были туфли.

— Нет, вы не забыли ее. Но только вы преувеличиваете наше сходство.

— Так ведь все же говорят.

— Это на первый взгляд. А у вас не первый взгляд. Хотя вы почти меня не видите. Смотрите в упор, но мимо меня. Вы там сейчас?

— И там и здесь. Вы не правы, Таня. Я не забыл вашу маму, я знал ее, вам неведомую. Еще до вас. Сколько вам лет?

— Я же говорила — двадцать семь. Показать паспорт?

— Паспорт может и соврать.

— Господи, вы думаете, что я ваша дочка?! У вас есть дети?

— Нет.

— И вдруг взрослая дочь. Никого не было — и вдруг родная дочь. Как интересно! Какой сюжет для сценария! Современная мелодрама! Кассовый фильм! А вы говорите, у вас нет сценария.

— И нет дочери.

— Есть ваши фильмы.

— Иногда мне кажется, что их нет. Иногда — что они есть. Сейчас вот ни об одном не хочется вспомнить.

— Вот что, теперь, после пива, давайте выпьем вашего шампанского. Только, пожалуйста, откройте бутылку сами. Шпалы настилать и шампанское открывать — это не женская работа.

— Так бы могла сказать Нина... Открыл! — Он умело управлялся с шампанским, не страшась выплескивающейся пены. — Пьем! А знаете за что? За ваш голос. Из миллиона бы узнал.

— Но если вы так ее любили, отчего же сбежали тогда?

— Я не сбежал. Я просто не знал, что люблю. Мальчишкой был. Дураком. Смолоду мы не знаем, что все дается раз в жизни.

— А прошли войну. О тех, кто прошел войну, я всегда думаю как о героях и мудрецах.

— А мы не были ни героями, ни мудрецами. Тогда не было людей, не прошедших войну. И всем нам жадно хотелось жить и, знаете, обрести беспечность, делать глупости. Можете быть уверены, мы их и делали.

— На какое завидное время пришлась ваша молодость.

— Молодость всегда приходится на завидное время. Все дело в молодости. Вот сейчас полетите в свой Ашхабад... И кто-то там вас встретит... Этот философ... Он женат?

— Да, и многодетен.

— Ну, тогда какой-нибудь молодой врач вас встретит, небрежно одетый, длинноногий, слегка похожий на Олега Ефремова. В руке у него будет смятый букетик, нет, не в руке, он его позабудет в собственном кармане. Вы сами добудете этот букет из кармана его пиджака.

— Режиссируете?

— А что, непохоже?

— Нет. Во-первых, встречать меня будут человек десять в расчете на то, что я исполнила их заказы. И женщины и мужчины. Во-вторых, цветы осенью в Ашхабаде не дарят. Слишком долго длятся у нас цветы. В-третьих, тот, кого бы я хотела увидеть, не придет.

— Поссорились?

— Да, но мы друзья. Друзья... — Таня вслушалась в это слово, как бы взгляделась в него. Опечалилось, стало угасать ее ясное лицо. Так бывало, так уже бывало когда-то, когда он обижал свою Нину. Лосев спросил:

— Что привело вас в Москву, Танюша?

— Приятельница угодила в больницу. Ехала из отпуска, с курорта, а попала на операционный стол.

— И вы прилетели к ней из Ашхабада?

— В Москве у нее никого. Привезла ей кое-что, убедилась, что поправляется, поговорила с хирургом. Оказался отличным хирургом и отличным парнем. Этаким доктор Гааз при бороде и в джинсах. Слышали про доктора Гааза? Он внедрял в русскую медицину доброту и сострадание как синонимы долга врача. Мир не без добрых людей и поныне.

— А где вы у нас тут жили?

— У старушки одной, маминей приятельницы. Мир не без добрых людей.

Он вслушивался в ее с першинкой, низкий, глубокий голос, взглядывал на нее, как профессия приучила, коротким пристальным вскидом глаз, все стараясь понять эту молодую женщину, живущую в мире не без добрых людей. Сам он жил в каком-то ином мире. Из этого мира не мчались за тысячи километров, чтобы навестить приятельницу в больнице. В этом мире не было старушек, у которых можно было бы запросто остановиться на неделю проездом через Москву. Его мир лишь казался общительным, а был замкнут, был широк на жест, но скуп на поступок. Впрочем, свой мир ты твсришь сам. Это ты стал таким. Замкнулся, оскудел, так не вини других. И все потому, что в простое, что нет работы. Причина более чем достаточная, чтобы искать кругом виноватых. И вот чтобы с поспешностью осушить бокал. Порой помогали и эти заемные градусы бодрости.

— А мне зачем позвонили? — спросил Лосев. — Выпейте, в самолете легче вздремнется.

Таня выпила, глядя на него чуть поверх кромки бокала. И что-то углядела, раздумала отвечать.

— Думали, что смогу помочь в чем-то, но тотчас и раздумали, изверились во мне? — спросил Лосев.

Таня не ответила.

Самолеты медленно протягивались за стеклянной стеной. Рокот то смолкал, то надвигался. Не верилось, что за какие-нибудь три часа одна из этих машин перенесет девушку, сидящую перед ним, в Ашхабад. Но знал, что перенесет. Она выйдет из самолета, вдохнет горьковатый, пахнувший пустыней и горами воздух, увидит своих друзей, которым она что-то там привезла из столицы, зашептит им навстречу, они обступят ее, приветствуя, спрашивая, рассказывая, — и все, и она забудет о нем, о Лосеве, об этом давнем друге ее матери, который, так беспомощно, так сбивчиво, так жалко позируя, режиссирует перед ней прошлое. Им оставалось прожить вместе какие-то минуты, ну час. Он возненавидел себя за этот свой плен у собственной профессии. Отринуть все, весь лоск, эту умелость, эту постоянную готовность к тому, что тебя узнают, постыдную жажду эту, чтобы тебя узнавали, отринуть и побыть самим собой в этом странно смешавшемся прошлом и настоящим, с этой Таней-Ниной, с тоской в себе и радостью.

— Я полечу с вами, — сказал Лосев, еще не веря собственным словам.

Нина, нет, Таня внимательно продолжала смотреть на него.

4

Легко замахнуться на поступок, но совершить его не просто. Мигом вспомнилось множество всяких дел, которые удерживали в Москве. Он ездил много, летал из конца в конец страны, летал за границу, у него всегда был наготове чемодан, чтобы не тратить время на сборы, его заграничный паспорт тоже всегда был наготове. Но это все для поездок запланированных, для командировок. А сейчас им было принято решение вопреки всему, самому себе вопреки. Очень молодое им было принято решение. Кажется, давным-давно когда-то так вот срывался и мчался куда-то. Мчался, стучал в ночи в чью-то дверь, вторгался в чью-то жизнь.

Некогда было пускаться в разговор. Гон начался, бег на короткую дистанцию, поскольку в миг тот, когда было принято решение лететь,

проник в ресторанный динамик усмешливо-дружественный женский голос:

— Товарищ Лосев, кинорежиссер Лосев, посадка на ваш самолет будет объявлена через несколько минут.

Он кинулся покупать билет. Билет ему продали мгновенно. Он кинулся звонить в Москву, не надеясь, что застанет дома свою многолетнюю помощницу, ассистента режиссера по актерам Серафиму Викторовну, даму к шестидесяти, но непоседливую, как воробушек. Сима была дома. Ей предстояло поливать цветочки в его отсутствие — ключи от его квартиры у нее были, — ей предстояло, если позвонит жена из Минска, сказать, что он рванул на несколько дней в Ашхабад. Зачем? Он должен был дать Симе кое-какие разъяснения, она была связующим звеном между ним и съемочной группой, вот уже годы следовавшей за ним из картины в картину. Но он и сам не знал — зачем?

— Похоже, наскочил на сюжет для сценария, — бодро соврал он в трубку.

Сюжет для сценария — это было дело. Нельзя же лететь в такую даль и в такое пекло, где и сейчас за тридцать градусов, без всякого дела, без всякой цели. И лететь, даже не прихватив чемодан. Душевные порывы возможны в фильмах, но не в жизни.

— Замечательно! — прокричала Сима в трубку, и Лосев услышал, как она деловито закурила. Показалось, что из трубки приструился к нему табачный дымок. — Может, начать смотреть актеров на главные роли? Есть соображения? Героиня кто? А герой? Натура в Ашхабаде?

Начав врать, ври дальше.

— Натура в Ашхабаде, — сказал Лосев. — Героиня?.. Все дело в глазах, Сима.

— Всегда все дело в глазах.

— В распахнутых глазах.

— Именно в распахнутых, а в каких же еще?

— Ей лет двадцать шесть — двадцать семь. Может быть, чуть больше... Ей не легко живется. С год назад она потеряла мать, которая была всем для нее. У нее не складывается личная жизнь. — Похоже, Сима начала выживать из него правду. Он обозлился: — Рано думать об актерах!

И вот он в небе. Но занялся земными делами: поменялся местом с каким-то уставившимся на него гражданином, чтобы оказаться рядом с Таней, пошел потом покурить, перебросился несколькими фразами со стюардессами, которыми был, конечно же, признан, — подобно режиссеру Басову, прославившемуся в эпизодической роли полотера, режиссер Лосев утвердил свой лик в памяти народной, сыграв в собственном фильме официанта-виртуоза, чуть ли не жонглирующего подносом, тарелками и бутылками. Удача рольки была в том, что Лосев еще со вгиковских времен умел жонглировать и показывать не очень хитрые фокусы, когда исчезает в руке яблоко, а носовой платок оказывается не в том кармане. Из года в год проделывал он эти штучки так, забавы ради на вечеринках, а тут взял и сыграл себя такого забавляющего в фильме, изобразив печального официанта с веселыми бутылками. Удача рольки была в истинном умении рук, как и в истинной печали глаз. Снимался без особой цели, веселясь и импровизируя, а экран показал нечто серьезное, печальный и ловкий официант запомнился. Были потом и другие рольки, когда снимался уже не сам у себя, а в фильмах приятелей, разглядевших в нем умение сверкнуть в крошечном эпизоде, запомниться одной-двумя фразами, весело сказанными печальным человеком. И забавно, режиссерская его известность была безлика, хотя картины его были среди заметных, а вот сыгранные им эпизодики в фильмах сделали лик его весьма знаменитым. Узнавали на улицах,

в гостиницах, просили автограф. Вот и отринь все, поживи попробуй в тишине безвестности, когда ты для всех тот самый фокусник из ресторана, таксист, футбольный болельщик — кто там еще? Вся затея с полетом в Ашхабад оказалась вдруг нелепостью. Ну прилетит, ну взмокнет от жары, встретит кого-нибудь из той поры, ныне старого и поникшего. Зачем? А дальше что?

Лосев тяжело опустился в кресло между Таней и пожилой туркменкой в просторном домотканом туркменском платье, украшенном старинными серебряными подковками. Чудо какое платье, какой глубокий цвет у ткани, какая доподлинность старого серебра. Парижских бы модельеров сюда. Они бы сотворили сенсацию. А старая туркменка и не догадывается, что одета в сенсацию.

Старая туркменка скосила на Лосева не выцветшие коричневые глаза.

— Не пугайтесь, в это время года у нас не очень жарко, — сказала она.

Лосев как можно веселей взглянул на Таню.

— Разве я похож на перепуганного человека? А знаете, что на вас, — он обернулся к туркменке, — такое платье и такие украшения, что в Париже бы...

— Когда-то жили у нас в Ашхабаде? — спросила туркменка.

— Да! Как вы догадались? — напрягся Лосев.

Старая женщина улыбнулась устало и мудро.

— Я смотрела, как вы оглядываетесь, прислушиваетесь, как пытаетесь узнать кого-нибудь. Вы жили у нас еще до землетрясения?

— Да. И во время.

Ему показалось, что он уже встречался когда-то с этой женщиной, глядел в ее коричневые глаза, вслушивался в ее с мягким «л» и нежданно ударениями русский говор. И эти серебряные украшения вспомнились ему.

— А потом бывали? — спросила женщина.

— Нет.

Нет, он не встречал ее раньше, а если и встречал, то не смог бы запомнить. Он встречал ей подобных.

Женщина строго свела брови.

— Почему так поздно возвращаетесь?

Что он мог ей ответить? Он потянулся глазами за помощью к Тане. И у нее тоже строго были сведены брови. О, эту строгость он помнил!

В самолете, долго простоявшем на земле, было невыносимо жарко. Лосев привстал, схватился за вентиляционные дульца, направил на себя все три дульца, три расстреливающие струи.

— Лучше поздно, чем никогда, — сказала туркменке Таня.

— Это так, — наклонила старая женщина голову, но не простила.

Самолет шел на большой высоте, земля лишь изредка открывалась где-то под барашковыми завертями облаков — то выжелтившаяся степь, то высинившийся Каспий вдруг проглядывали. Но над Туркменией земля открылась окончательно и близко. То были осенние Каракумы, буроватый, изнуренный солнцем барханный океан. Странно, но только над Каракумами понял Лосев, как далеко залетел, хотя в пути был всего около трех часов. И только над Каракумами успокоился, перестал казнить себя за нелепый порыв. Все правильно, он должен был полететь вместе с Таней. Эта встреча не могла порваться, она была предназначена. Он должен был еще хоть раз побывать в Ашхабаде. Все правильно! Кажется, и Таня отнеслась к его решению как к чему-то вполне разумному, понятному. Всю дорогу она подремывала, нес-

сколько раз ее голова притыкалась к его плечу, и тогда он заставлял себя думать, что это Нина рядом с ним и что три десятилетия отбежали назад. Фильм, этот вечно мелькающий во внутреннем его зрении фильм, обещал быть интересным, сулил находку чуть ли не в следующем кадре, то самое нечто, за чем гонятся всю жизнь все режиссеры. Что же, он и впрямь летит за сюжетом для будущего фильма? Или просто жил в этом сюжете? Но в том-то и дело, что истинные сюжеты — это всегда жизнь.

Самолет пошел на посадку. Под крылом открылось коричневатое озеро, в которое втекала прямая, как по линейке, полоска воды. То был знаменитый Каракумский канал, то было озеро, вставшее на окраине Ашхабада, города, от века пребывавшего на голодном водяном пайке. Сейчас Лосев увидел не только озеро и канал, но еще и множество водяных проступей в соседстве с аэродромом. Это была уже избыточная для Ашхабада вода. Та самая, должно быть, какая мерещится изнывающим от жажды путникам в пустыне.

— В Ашхабаде наводнение?! — удивился Лосев.

— Грунтовые воды, наша беда, — сказала старая туркменка.

— Человеку всегда все не так, — сказал Лосев.

Приземлились. Притихшие было пассажиры заговорили все сразу и громко, высвобожденно. Что ни говори, а человек не создан для полета, на земле ему уверенней. На родной земле особенно. Слышней сделались голоса тех, кто прилетел домой, слышней стала туркменская речь с круглым «р» и мягким «л». А те, кто прилетел сюда в командировку или в гости, попритихли, скованные близкими заботами: встретят ли, дадут ли номер в гостинице, найдется ли такси.

Притих и Лосев, вдруг усомнившись в своей затее. Ну куда он сейчас подается? В гостиницу? Паспорта у него с собой не было. Впрочем, он не сомневался, что добудет номер и без паспорта, под кинематографическое удостоверение, как добыл под него и билет на самолет. Но надо будет кому-то что-то втолковывать, о чем-то просить, глядишь, звонить на местную киностудию, если гостиница переполнена. И тогда начнется! Обнаружатся знакомые, сотоварищи, эти самые, как их, единомышленники в искусстве. А там коньяк до позднего вечера, мелькание лиц и треп бесконечный про то, кто что снял, как снял, у кого слямзил. А там — поездка на студию, просмотр фильма или материала здесь работающего приятеля, выступление на студийном худсовете, интервью для местной газеты, снова ресторан, снова коньяк, снова просмотр.

Поник, приуныл Лосев, чувствуя, как катастрофически мелеет его решимость, его порыв, как смысл превращается в бессмыслицу. Да еще самолет пронзила жара. Пассажиры поднялись, сгрудились в проходе, а двери еще не были откинута, трап только подкатывался. Невмоготу стало Андрею Лосеву.

— Вы можете остановиться у меня, — сказала ему Таня, прохладным шепотом обдав щеку. — У меня двухкомнатная секция.

— Секция? — не понял Лосев.

— Ну квартира. У нас тут почему-то квартиры в сборных домах называют секциями.

Вспомнилось или показалось, что вспомнилось, как вот так же точно о чем-то говорила ему Нина и прохладный ветерок от ее слов пробирался к его лицу через знойный воздух. Вспомнился белый дувал и ночной звездный свод неба, вспомнились крошечная, из тяжких досок дверь в стене, железное кольцо на двери, тень карагача через лунный блик дороги. О чем тогда они говорили у дувала? Господи, о чем?!

Откинулась наконец дверь, ворвался в чрево самолета горьковатый, с песочком, мигом узанный и через тридцать лет воздух.

— Все правильно, — сказал Лосев. — Все правильно.

5

Из узанного, когда ступил на ашхабадскую землю, был только этот горьковатый и с песочком воздух. Все прочее открылось городом-незнакомцем. И незачем было всматриваться в стекла аэропорта, почти такого же, как и во Фрунзе или в Самарканде. Деревья тоже были такие же, какие растут в Самарканде, Ташкенте или Алма-Ате. Не странно ли, за эти тридцать лет он побывал во многих городах Средней Азии, в Алма-Ате, в Семипалатинске даже был, но только не в Ашхабаде.

Путь от аэродрома в город был уставлен типовыми домами, а когда въехали на проспект Свободы — Лосев узнал этот проспект по уникальной прямизне, этот проспект рассекал весь город, — то и тут не нашлось ни одного дома, который напомнил бы о себе, окликнул бы, что ли. Нет, тут не на чем было ожить памяти, разве что на горы оглянуться, но что горы, они были свидетелями вечности и к Лосеву в свидетели не шли.

Позади аэродром, сутолока встречи — показалось, что Таню встречают чуть ли не все, кто вышел к самолету, — позади глуповатая его роль человека, которого сразу все узнали, но сразу же — деликатный народ! — постарались сделать вид, что он совершенно никому не ведом. Впереди незнакомый город, совершенно незнакомый город, и вдруг нахлынувшая, стиснувшая горло печаль. А все-таки нельзя выбиваться из колеи. Нельзя, незачем в такие-то годы совершать подобные рывки в прошлое. Тут возможны чрезмерные, опасные перегрузки, похуже, чем в космосе.

Поплутав по узким от деревьев аллеям, машина остановилась у Таниного дома, который был почти до крыши заслонен тополями, хотя тополя эти были молоды. Вся свободная земля перед домом и перед соседними такими же домами в два этажа и в галерее застекленных террас была разделена на крошечные участки, превращенные в огороды, цветники, виноградники.

— Прямо как в Японии, — сказал Лосев.

— Вы бывали в Японии?

— Бывал.

— И у них похоже?

— Сходства нет, а вспомнилось вот.

— Да, мы тоже скученно живем, — согласилась Таня. — В жару и спим в этих огородиках. Да что я вам рассказываю. Идемте, входите.

Она взяла его под руку и повела к дому. Он нес ее чемоданчик, совсем маленький и легкий. Груда свертков, которые она везла с собой из Москвы, была разобрана ее друзьями на аэродроме. И там же все с ней простились, видимо изменив традиции, согласно которой должны были прикатить сюда всем табором, чтобы кутнуть по случаю благополучного приземления подруги, приятельницы, соперницы, возлюбленной — кто была Таня для встречавших ее, этого Лосев понять не успел. А понял он другое. Танины знакомые не только его узнали, они еще и что-то такое о нем знали, что делало для них вполне объяснимым его приезд с Таней, вполне оправдывало в их глазах решение Тани поселить его у себя. Тут было над чем задуматься.

Таня жила на первом этаже. Дом не мог быть старым, но казался обветшавшим. Ступени лестницы искрошились, осели, будто века по ним прошли.

— Такие дома называются у нас временками, — сказала Таня. — Их строили сразу после землетрясения, на короткий срок. Но вот живем и живем. В городе все еще трудно с жильем.

— Да, да..

Лосев не вникал в то, о чем говорит ему Таня, он слушал ее голос. Это был голос Нины. Он поднимался сейчас по ступеням, по этим осевшим ступеням, по которым почти тридцать лет ходила Нина. Годы меняли ее, как и эти ступени, обламывали что-то в ней, затаптывали, ее жизнь оборвалась до срока, раньше, чем жизнь этой временки.

— Вам трудно жилось? — спросил Лосев.

Они встали перед бедной дверью с убогой ручкой, какие приколачивались к дверям вот именно тридцать лет назад. Кажется, и окраска двери была от той поры. Зной иссушил краску, облупил, изморщил.

— Нет, почему же, — отозвалась Нина, нет, Таня. — По-разному жилось.

Она отомкнула дверь, и Лосев робко шагнул в дом Нины. Он ждал, что стены и вещи, как эта лестница, как эта дверь, начнут упрекать его.

Таня быстро прошла по комнатам, распахивая окна. А Лосев все еще топтался в крохотной прихожей, всматриваясь в две пары глаз. Одна пара — это были его, Лосева, глаза, другая — это были глаза кинорежиссера. Обычно взгляд этих глаз был слит, но сейчас разделился. Опыт души и боль души смотрят по-разному.

Такие квартиры доводилось видеть режиссеру Лосеву, доводилось и павильоны такие заказывать и снимать в них ту жизнь, что соответствовала стенам и мебели. Но то были декорации. Но то была чья-то жизнь, чаще всего измышленная, взятая из сценария, чаще всего подогнанного под схему: такие-то люди так-то вот живут.

А сейчас был не сценарий, не сборно-разборные декорации вокруг стояли. Почти тридцать лет прожила в этих стенах женщина, которую он любил, единственная, которую любил, хотя были потом и любви и влюбленности, вся эта маета души человека, в спешке юности проскочившего свою судьбу.

Что ж, кто же был зорче сейчас — человек Лосев или кинорежиссер Лосев? Опыт и боль продолжали смотреть врозь. И если опыт подмечал бедность, старавшуюся все-таки изображать некий уровень благополучия, то боль человека подметила достоинство. Здесь жили гордые женщины. Они умели одолевать одиночество, их дом был открыт для друзей, они были отзывчивы к чужому горю, они умели не жаловаться, умели довольствоваться малым, умели радоваться малому, не завистливыми были. А все вместе — они были горды.

Но как можно было углядеть все это, ведь не было же на стенах и на вещах титров, к каким прибегал немой кинематограф: «ОНИ ЖИЛИ БЕДНО, НО ГОРДО», «ОНИ ЧЕСТНО ТРУДИЛИСЬ», «ИХ СОВЕСТЬ БЫЛА ЧИСТА».

Титры были. В том-то и дело, что немой кинематограф начался не при братьях Люмьерах, а несколько раньше, в пору Адама и Евы. Под каждой вещью или над каждой вещью явственно обозначиваются письмена. Их прочесть дано не каждому и не всякий миг. Это чтение особенного рода, это зоркость души человеческой, обретаемая не часто. Это боль, а не зрение.

Лосев шагнул из прихожей в комнату, в которой жила Таня и в которой принимали гостей, а иногда и больных, — большой стол стоял у стены в обступе старых удобных стульев, в углу строго, узкоплече вытиснулся белый больничный шкаф. Танина тахта была накрыта текинским ковром, потертым местами, очень старым, заслуженным, каким и должен быть ковер в семье коренных ашхабадцев, Таня ведь была коренной ашхабадкой, родилась здесь. Ни одной дорогой, кокетливой ве-

щи не было в этой комнате, где жила молодая женщина, но все тут вещи — и старый телевизор, какие уже не выпускаются, и старый дешевый проигрыватель, ветеран радиоприемник, явно говоривший еще голосом Сталина, — все эти вещи изо всех сил продолжали служить своей молодой хозяйке. Да, они были горды собой, своей работой, своей затянувшейся службой. Это все разом увиделось Лосеву. А режиссер в нем потянулся к сюжету, к какому-то еще в туманце сюжету, где разговор пошел бы про то же самое, про что догадался Лосев, но только в нравоучительном непременно ключе. Вот, мол, как чисто, трудолюбиво, как жертвенно шла и идет в этих скромных стенах жизнь. Лосев яростно взмахнул рукой и развеял туманец, в котором набирал силу бодрый обман. Правда была в том, что здесь жили одинокие женщины, и Лосев был виноват в их одиночестве. Правда была в том, что одиночество убивает. А ну-ка, режиссер, сложи попробуй такой сюжет.

Лосев встал в дверях второй комнаты, где у окна стояла Таня. Это была совсем маленькая комната, комната Нины. Здесь ничего не было тронуту после ее смерти. Это была комната и еще одного человека. Культ этого человека. Все стены были в его портретах — больших, маленьких, давних, недавних. Лосев оторопел, вглядываясь. Отовсюду смотрел на него он сам. Где сам из жизни, а где из роли.

Таня проскользнула мимо Лосева, оставила его одного.

Тщеславные режиссеры собирают свои портреты, афиши, увешивают ими стены. Лосев никогда не поддавался этому искушению. Дома в его комнате висел большой портрет Эйзенштейна, стоял на письменном столе маленький портрет Игоря Савченко с дарственной надписью. Это были учителя.

А здесь учительствовал он. И здесь были собраны не какие попало фотографии, а тщательно отобранные, только из той его поры, когда случалась наивысшая удача. Здесь утверждалась его удача.

Лосев пошел вдоль стен. Иные фотографии он и сам видел впервые. Он не так уж часто улыбался в жизни. Тут, на фотографиях, улыбка не сходила с его лица.

Были и афиши его фильмов. И тоже самых удачных. Необязательно тех, какие хором хвалили, а тех, что нравились ему самому. Если уж стал бы он вывешивать свои афиши, он бы вывесил именно эти. И даже обруганный его фильм, забытый, перечеркнутый, у которого и рекламы никакой не было, был представлен здесь крошечной афишей, где-то раздобытой Ниной. Лосев не знал о существовании этой афиши, он встал перед ней растроганный, глаза в глаза встретившись с актрисой, игравшей в том фильме главную роль. Да, конечно же, она была похожа на Нину. Такие же глаза, чистый упрямый лоб. Он тогда не догадался, что из всех кандидатов на роль взял актрису, похожую на Нину.

Нина догадалась, что этот обруганный фильм был самым его любимым. Она догадывалась и о счастливых его минутах, об уверенной поре. И только на тумбочке, у изголовья стояла в рамке одна-единственная здесь неулыбчивая фотография. Это был кадр из фильма, где он сыграл печального и ловкого официанта. Усталое лицо, потухший взгляд, бодрящиеся брови. Маленькая фотография, совсем незаметная, случайная здесь, в этом музее его славы. Здесь, в музее своего имени, в прижизненном мемориале, он не возгордился и не обрадовался. Разглядывая себя, он думал о женщине, которая год за годом собирала эти фотографии и рекламные афиши, он начинал догадываться, зачем она это делала, все более утверждаясь в своей догадке. Теперь приятным становилось многое. Ну хотя бы то, как встретили его друзья Тани, какими заговорщически-понимающими перебрасывались взглядами. Он был отцом Тани! В этой комнате утверждалось его отцовство. Девочка, лишенная отца, росла все-таки с отцом. Да, у ее матери не сложилась с

ним жизнь. Что ж, бывает. Но у Тани есть, есть отец. Вот он. Знаменитый кинорежиссер. Вот он! И лишь эта маленькая фотография на тумбочке была фотографией не для дочери, а для себя. Он понял все.

— Не пугайтесь, я не ваша дочь, — услышал он за спиной.

Таня вернулась, стояла в дверях, скрестив руки, смотрела на него, разгадывала его мысли.

— А я и не пугаюсь. А все-таки что за всем этим кроется? — Он повел рукой.

— Какая-то мамина фантазия. В детстве и я в это верила. Правда. Но вот смотрите. — Таня пошла к нему, протягивая какие-то бумаги. — Вот моя метрика. Тут все точно, я проверяла. Я родилась не в срок девятым, как следовало бы вашей дочери, а в конце пятидесятого. Я и записана без указания отца. Отец — прочерк.

Они присели на Нинину тахту, узкую девическую лежанку, и Лосев стал рассматривать врученные ему Таней бумаги. Все так, она родилась в декабре 1950 года, она не могла быть его дочерью. Все так, но он совсем по-новому взглядывал на нее, изучал ее профиль, теперь ища сходство не с Ниной, а сходство с собой. Не находил. Это была мамина дочь, и все-таки, и все-таки возможно, что это сходство есть, но только не ему дано его обнаружить. Так бывает, что родные люди себя друг в друге не узнают, а кто-то со стороны, едва глянув на них, сразу же устанавливает их родство.

— Заметили, как на нас смотрели на аэродроме ваши друзья? — спросил Лосев, забыв о бумагах, отложив их, потому что бумаги эти ни в чем его не убедили. Каких только справок не бывает на свете, пугающих правду. Он и сам жил по паспорту, который на год убавлял его возраст. Когда-то, давным-давно, мать рассказала ему про этот убавленный год. Он родился в пору, когда было не до регистрации младенцев, когда по всей стране голод косил людей и особенно детей. Вот он и был зарегистрирован с опозданием на год.

— Да, им очень хочется, чтобы вы оказались моим отцом, — сказала Таня. — Ах, как им этого хочется! — Она вдруг отстранилась от него, отсела, взглянула потемневшими глазами. — Вы не должны были приезжать со мной! Зачем, ну зачем я вам позвонила?!

Чужая женщина сидела рядом, но могло оказаться, что рядом сидит родная дочь. Но если даже не его дочь, то она была дочерью Нины, а прошлое сейчас слилось для Лосева с настоящим.

— Я должен вам в чем-то помочь, Таня? Ваши друзья считают, что я смогу вам помочь?

— Господи! Да зачем вы мне?! Вы нужны были моей маме, только ей! А вас не было!

— Что ж, так случилось.

— Да, так случилось. Я не должна была вам звонить! Мамы не вернуть, а все остальное не имеет значения. И давно пора снять эти карточки. Прошу вас, будете уезжать — заберите их.

— Что — остальное? — спросил Лосев. — Хорошо, я не отец вам, поверим этим справкам. Но я был другом вашей матери. Чем я могу помочь вам, Таня? Я прилетел, я здесь. Велите мне вам помочь.

— Не думаете ли вы, что совершили поступок, прилетев сюда? Годом раньше это был бы поступок. Сейчас — каприз. Есть деньги, есть время. Отчего не слетать на денек к местам своей юности? — Ее глаза враждовали с ним, но он и в этом темном блеске глаз искал сейчас сходство с собой. — Занималась! Изучала! Нет, Андрей Лосев, я ни в чем, ну ни в чем не похожа на вас!

А ему показалось, как раз сейчас показалось, что смолоду он так же вот любил напрямик разговаривать, в упор разглядывая, сжимая кулаки. Что ж, кулаки свои в ней узнал? Он поднялся.

— Быть посему! Непохожи. Ну а чаем хоть попоите? Мой план такой... Поброжу по городу, повспоминаю, если вспомнится что, куплю зубную щетку, бритву, рубашку — найду я тут приличную рубашку? — схожу на базар во фруктовые ряды, подышу, погляжу, в «Фирюзу», может быть, съездим — съездим, а? — ну а там и в самолет. Не обременю, не бойтесь.

— Вечером набегут друзья на вас смотреть. Прошу вас, развеите легенду.

Прося, она даже попыталась улыбнуться.

Лосев глянул на стены, на свои улыбающиеся изображения. Нет, Таня не так улыбалась, как он, сходства не было.

— Хорошо, буду стараться, — пообещал он. — Скажите, разве с матерью у вас не было разговора, кто я вам? Ну хотя бы в последние ее дни...

— Она не шла на такой разговор. Фантазия не нуждается в разбирательстве. Ей это нужно было, вот и все. Но когда я получила паспорт, я сама ходила в архив, нашла все записи. Поверьте, мне даже было жаль, что я не ваша дочь. Рухнули мои детские фантазии. И очень, очень стало жаль маму. Но теперь ее нет. Развеем легенду.

— А в последний, в последний час вы были с ней рядом? — настаивал Лосев.

— Да.

— И она ничего не сказала вам?

— Какой вы! Ну сказала. Но она уже бредила тогда. Ну сказала, что в самую, самую трудную мою минуту отец обязательно объявится. Она бредила тогда.

Ища союзницу, обвел Лосев глазами стены. Но только себя везде увидел.

— А ее где фотография? — спросил он.

Таня быстро поднялась, выскользнула из комнаты и тотчас вернулась, неся в вытянутой руке маленькую, с ладонь, фотографию. Лосев принял ее, всмотрелся. Он увидел болезненно полную женщину, опирающуюся на палку.

— Почему — палка?

— Множественный перелом. Тогда, в землетрясение. Разве вы не знали?

— Нет. Я нес ее на руках, потом на носилках. Ее сразу же отправили в Баку.

— И вы решили, что ваша миссия выполнена? Вот видите...

Да, он видел... Болезненно полная женщина привычно опирается на палку. Все тело ее давно привыкло к хромоте. Есть и в лице что-то от этой привычки, от этой постоянной напряженности.

Когда обрушивалось на него горе, ну, не горе — он горя не знал, — а случалась у него неудача, крупная неприятность, Лосев, того не желая, бессознательно сам себя тихо оповещал грозными тактами бетховенской Пятой симфонии: «Та-та-та-там...»

— Та-та-та-там... — тихо сорвалось с губ Лосева.

Так вот оно что, с тех пор, с той ночи Нина стала калекой!

Душно ему стало, нечем стало дышать, как тогда, как в ту ночь.

— Пойду похожу, — сказал Лосев, шагнув к двери.

— Запомните назад дорогу?

— Запомню.

Начинался вечер, и если не всматриваться в стены, в эти незнакомые окна, вспыхивавшие огнями, то деревья, кустарники, а еще больше желоба арыков, шорох воды в них были ему знакомы. И этот жар от

перегретой земли был знаком. Вспомнился. Тут и ночью не исчезал этот жар земли, будто ты находился где-то совсем рядом с тем котлом с кипящей смолой, куда аллах кидает своих грешников. Но поверху, у лба, тек с гор ветер. Он был настоян пронзительной свежестью, он шел с вершин, где у аллаха были сады для праведников. Ашхабад был зажат в тиски ада и рая.

Так вот оно что, Нина была калеккой! Все тридцать лет, все эти долгие тридцать лет она прожила, опираясь на палку, перемогаясь. И ни строчки ему, так велика была ее обида. Обида или гордость?

Он бросил ее тогда, задвинув носилки в самолет. А он тогда считал себя чуть ли не героем. Откопал, пронес через весь город, который был охвачен пожарами, в котором нечем было дышать от поднявшейся пыли.

Он бросил и этот город, где нет ни единого дома, который возможно было бы узнать. Только деревья, иные из них, были из той поры. Но эти деревья не сохранились в памяти.

Чужой город, даже враждебный ему, укоряющий его, но и не чужой, если укоряет, если связи с прошлым не оборвались. Кто ему Таня? Тогда, незадолго до землетрясения, они с Ниной даже собирались пожениться. Друзья знали об их близости, торопили их принять решение. Друзьям виделась роскошная свадьба на всю киностудию — и конечно же во дворе киностудии, у фонтана и чтобы были зажжены все диги и пятисотки, словом, все павильонные киносолнца. Друзья любят справлять свадьбы своих друзей. Но он медлил, а она не торопила. Он был на этой студии всего лишь дипломником и не собирался оставаться здесь. Она же приехала сюда надолго, по распределению, окончив Ленинградский институт киноинженеров. И она была старше его на год, хотя на самом-то деле они были ровесниками. И манила, окликала, звала домой Москва. Он медлил, она не торопила. Пожалуй, все-таки она была старше его не на год согласно паспорту, а на верный десяток лет, потому что у нее за плечами был опыт блокадного Ленинграда. Его тяжкий мужской опыт войны мало чего стоил с ее блокадным опытом. Так все у них и тянулось до тех одиннадцати секунд в ночь с 5 на 6 октября сорок восьмого года, в которые не стало Ашхабада и судьбы всех его жителей сотряслись и смешались.

В Москве за годом год Лосев забывал Ашхабад, да не забыл, оказывается. Память была все время готова устремиться в юность, в этот зной и запах пустыни, в нешуточный мир города, воистину стоящего на краю земли. Но, вспоминая, все время что-то вспоминая, Лосев сейчас ничего не находил на улицах, что могло бы поддержать его память. Он шел незнакомым городом. Старый город как бы рухнул в памяти, но зато вспыхнули в памяти пятна мглы и пятна пожаров той ночи, когда Ашхабад действительно рухнул и рассыпался.

Лосев шел, чуть не бежал, и ему казалось, что за деревьями нет стен, а вспышки огней в витринах казались огоньками начинающихся пожаров. И трудно, как тогда, было дышать, болело сердце. Мысли путались. Он был сейчас и в тогдашнем и в сегодняшнем. Он понимал, что ему душно, что сердце болит, потому что еще не обвык после полета, но он понимал, что сердце болит и дышать ему нечем потому, что открывалось глазам прошлое, что прошлое задает ему сейчас невыносимо трудные вопросы.

Он никуда не сворачивал с проспекта Свободы, которому не было конца. Он держался этого проспекта, потому что тот был прям и потому что помнился таким, хотя ни одного на нем не осталось знакомого дома.

Неожиданно Лосев вышел к знакомому дому. Знакомому по фотографиям, по кинохронике последних лет. То было залитое огнями зда-

ние гостиницы, на котором светилась неоновая надпись: «Отель «Ашхабад».

Лосев знал об этом отеле, как и о здании городской библиотеки, за которую архитектор получил Государственную премию, как и о здании Управления Каракумского канала,— знал, поскольку следил за судьбой Ашхабада, прочитывал в газетах все заметки о нем, смотрел о нем кинохронику. Но все это было знанием из нового времени и разглядыванием издалека. Сейчас память ввела его в былое, а сам он снова был здесь, на этой земле. Спешил куда-то, оглядывался зачем-то, недоумевал, надеялся, путался в мыслях. И болело сердце, все время болело сердце.

Лосев вошел в холл гостиницы, рассчитывая найти там аптечный киоск. Он собирался совершить первую покупку в городе своей юности, купить валидол. Аптечного киоска он не обнаружил. В просторном, с низким потолком холле, который оформляли вовсе не бездарные люди, Лосев обнаружил кованую решетку и торжественные ворота, ведущие в ресторан. Что ж, не валидол, так рюмка коньяка. Лосев вошел в ресторан, но тотчас убедился, что свободных мест нет. Он не сразу повернул назад. Захотелось поглядеть, что за народ здесь нынче коротает время. Тридцать лет назад не в таком шикарном ресторане, конечно, а все-таки в лучшем ресторане города по названию «Фирюза» и он просиживал почти все свои вечера. Бывало, и днем забегал. Все официантки в той «Фирюзе» были его приятельницами, он даже пользовался у них кредитом, как, впрочем, почти все работники студии, включая и директора Сергея Денисова и заведующего сценарным отделом Леонида Галя, закадычнейшего тогда друга Лосева. Леонид Галь сейчас жил в Москве, но они не встречались, и Лосев прочно забыл о своем ашхабадском дружке, а вот тут мигом вспомнил. И барак-ресторан тот вспомнил. И графини те с пивом, без которых не начиналось застолье, на которых оно часто и заканчивалось. Двухлитровый графин с бочковым пивом и порция дешевенького сыра. И разговоры, разговоры. Всякие там планы, мечты. А где-то в небе или под землей уже шел отсчет месяцам, дням, часам, минутам и, наконец, секундам в жизни этого города...

А вот сейчас ликуют джазовые парни, дергаются, ну конечно же, и усаые и волосатые, как где-нибудь на Бродвее или в подвальных Стокгольма. Вопит музыка, гудит праздник. Ну а там — в небе или под землей — еще не пущены новые часы, ведущие свой отсчет для этого вновь возникшего города? Смелый народ тут живет, упрямый народ и, пожалуй, немножечко беспечный. Впрочем, теперь тут дома строят с учетом сейсмического пояса, так строят, что и девять баллов сдвоят стены. Только разве что качнутся на метр вправо и на метр влево. Смелый, смелый народ тут обитает.

К Лосеву, так и остановившемуся во вратах ресторана, подошел один из местных смельчаков. Длиннющий парень, кожа да кости. Почти красавец, когда улыбался, почти урод без улыбки. Он знал это и не уставал улыбаться, озаряя свое носатое серенькое лицо светом доброты, приязни, молодости, щедрости — всего, всего самого лучшего, что есть в человеке.

— Вы Андрей Андреевич Лосев,— сказал-улыбнулся парень.— Я один из тех, кто встречал Танюшу Белову, и я один из тех, кто любит ваше кино.— Он померк, оценивая свои слова, но снова просиял улыбкой.— То лучшее, что вы сделали. Между прочим, вас уже все тут узнали. Я послу звать вас к нашему столу. Удостоите?

— Почту за честь, но меня ждет Таня. Я выскочил, чтобы глянуть на город, купить кое-что.

— А мы нагрянем к ней все вместе. Да, разрешите представиться — Дамир Поливин. Корреспондент, референт, консультант и все такое прочее. Нравится вам мое имя? Родители, осуществив меня, решили внести свою лепту в дело борьбы за мир.

— Они внесли свою лепту в вашу улыбку, — сказал Лосев. — Вас в кино еще не снимали?

— И вы про это! Снимали. Пугалом выхожу. Дело в том, что я не умею улыбаться по заданию. Я человек произвольный.

Они вступили в ресторанный зал, направились в самый дальний его угол, где столы придерживали только для избранных, для завсегдатаев. И еще издали стал угадывать Лосев, кто сидит за тем столом, где его ждали, откуда поглядывали. То был знакомый ему народ, в дальней, а то и близкой родне с его профессией. Он встречал такую свою родню повсюду. В московских домах кино, литераторов или журналистов, в таких же клубах в Ленинграде, в других городах. Не столько профессии метят людей, сколько люди метят себя своими профессиями. Вот, мол, кто я!

За столом, к которому подходил Лосев, сидел художник лет тридцати с небольшим, при бороде и трубке, небрежно засунутой в верхний карман пиджака, сидел литератор, одетый с продуманным вольнолюбием и тоже молодой еще, сидел другой литератор или журналист, одетый беднейшим образом — не печатают, гады! — но зато дерзко поглядывающий на мир окрест. Сидела еще дама. Миловидная, очень аккуратно одетая, строгая. Заведует отделом в газете? Начальствует в каком-нибудь издательстве? Тут ясности не было.

Подошли.

— Вас представлять нет надобности, — сказал Дамир. — А друзья мои сами представятся. Что вам налить? Впрочем, у нас только водка и пиво.

— Я на минуточку, если разрешите, — поклонившись даме, сказал Лосев. — Цель одна — проглотить рюмку коньяка, чтобы поскорее обвыкнуться после полета.

Дама протянула ему руку совсем так, как это делается на светских приемах в кинофильмах про светскую жизнь:

— Елена Кошелева.

Что ж, он наклонился и поцеловал эту руку.

— Очень рад, очень рад.

Дамир пододвинул ему стул и принялся размахивать рукой-веслом, подзывая официанта. Паренек подбежал, уставился на Лосева, не веря глазам, впадая в обожание.

— Да-да, он самый, — сказал Дамир. — И требуется рюмка коньяка. Молниеносно!

— Бутылка, — сказал Лосев. — Лучше грузинский, но можно любой.

Вот и он стал втягиваться в эту игру под кого-то там. А сердце продолжало болеть и душно было, современный этот ресторан плохо проветривался.

— Григорий Дозоров, — представился художник.

— Вы художник?

— В смысле рисуем-малюем? Ни в малейшей мере. — Бородатый обиделся. — Это потому что борода и трубка? Стереотип мышления.

— А я кто? — спросил дерзкоглазый.

— А я? — спросил литератор.

— А я? — спросила Елена Кошелева.

— Не смею даже строить догадки, — сказал Лосев.

Его приняли не очень-то дружелюбно, хотя сами позвали к столу. И это тоже было знакомо. Все от случая, какой стих найдет. В одном застолье самоуничижаются, в другом — самоутверждаются. Да ну их, сейчас он их покинет!

Примчался официант, торжественно поставил на стол бутылку.

— Марочный! Туркменский! Только начали изготавливать! Едва выпросил!

— Вот, мальчики, вот что дарит людям слава,— сказала Елена Кошелева.— Вас так здесь сроду не обслуживали, аборигенов.

— Так ведь...— И официант, не сводя с Лосева влюбленных глаз, изобразил руками, будто жонглирует.— Может человек...

— А вы действительно все это проделывали сами? — спросил Лосева дерзкоглазый.— Или очередной кинообман?

Худо, худо его тут встречали. Осадить, а то и послать их всех ничего не стоило, но это, кажется, были друзья Тани, все они встречали ее на аэродроме. Не могли же у Тани быть пустопорожные друзья.

Вслушиваясь, как все не отпускает сердце, Лосев вялым движением взял бутылку, крутанул, обернув вокруг руки и раз и другой — нате вам, убеждайтесь! — и стал отпечатывать.

— Ага! — возликовал официант.— Умеет человек!

Он выхватил из рук Лосева бутылку, почтительно склонился, налил только ему.

— Даме, даме, коллега! — сказал Лосев. Он отобрал бутылку и налил Елене Кошелевой, а потом и всем остальным.— И сразу счет. Спешу.

Он поднялся, стоя начал пить, вслушиваясь, как подбирается коньяк к сердцу, как тишает — чудо коньяк! — боль.

Все тоже поднялись. Официант обслуживал этот столик, как положено на приемах, подливая, держа бутылку наготове, забыв о прочих столах.

— Все-таки надо за что-то же выпить,— сказала Елена Кошелева.— Вот, надумала. За ваше возвращение в родной город! — Она высоко подняла бокал.

— Родной? — усомнился дерзкоглазый.— А что сие означает? Философ, что входит в понятие родной город?

— Целый набор понятий,— отозвался бородатый, который, оказывается, был философом.— Родился... Родил... Созидал здесь и сам был созидаем.

— Я не подхожу ни под одно из этих определений,— сказал Лосев.

— Как знать, как знать,— прямо взглянула на него Елена Кошелева.— Я все же настаиваю на своем тосте.

Она выпила, ее приятели выпили следом. Что ж, выпил и Лосев. А затем поклонился даме и ее сотоварищам, милому Дамиру, который, почувствовав общий холодок, перестал улыбаться, миг превратившись из праздника в серый день, и пошел от стола. Паренек-официант его сопровождал, пребывая все в том же восхищенном изумлении и веря и не веря глазам своим. Шутка ли, перед ним был тот самый человек, который сыграл в кино замечательного официанта, фокусника, жонглера и острослова,— мечту сделал явью.

— Ни за что! — вспыхнул паренек святой обидой, когда Лосев попытался дать ему на чай.— Со своих не берем!

Славный парень! Как утешил он сейчас Лосева, приобщив к числу своих. И коньяк этот туркменский помог, перестало окликать поминутно сердце. Не такой безнадежной духотой встретила и улица.

Но все же где в этом городе можно обзавестись зубной щеткой и бритвой? Лосев остановился, стал оглядываться, решая, куда путь держать. Он знал, что находится в центре, план города был сохранен, когда его восстанавливали, но и нарушен. Здесь, где возник этот отель, некогда были жилые дома, одноэтажные, с высокими оградами, с садами и виноградниками. В один из таких домов он часто захаживал, там жила милая одна армяночка, дочка крупного в городе начальника по торговой части. Это была сказочно богатая невеста. С прекрасным образованием — музыкантша, преподавательница по классу фортепиано в музыкальной школе, получившая к тому же отличное домашнее воспитание: замечательно пекла разные там печенья, слегка разговаривала по-французски, никогда не вмешивалась в мужские беседы. Брак с ней не мог не быть счастливым. Но молодость побаивается слишком уж очевидного счастья. У милой той музыкантши было много ухаживателей, пудами поглощавших сладкое печенье, но никак не отыскивался настоящий жених.

Да, где-то здесь был ее дом, из окон которого всегда лились звуки фортепиано, смешанные со сладчайшим запахом ванили и корицы. Сгинул этот дом. Отлетели сладкие звуки и запахи.

7

Существует память глаз. И разные еще есть памяти. Можно вспомнить запах. Так пронзительно, что быстрее скорости света отлетишь из нынешнего в былое. Из шестого десятка в первый. А всего-то пахнуло печеной картошкой... А есть еще память счастья. Да, да, вот тут ты был счастлив. На этой земле, которая пахнет так же, как и тогда. Ты проходил здесь, твои следы тут стерты, но и не стерты. Вот почему так любят люди метить деревья, скамьи, даже скалы своими неизвестными всем прочим именами. Важно след оставить о счастливой минуте, важно пометить себя в счастье. Здесь не было дерева с его инициалами. А жаль. Деревья здесь сохранились от той поры. Только, пожалуй, одни деревья. Да вот еще горы в близкой дали. К вечеру горы по-новому открываются глазам. Уходит цвет, остается очерк. Господен резец прочерчивает небо. Здесь были суровые горы. Он помнил, здесь горы никогда не напоминали ни Крым, ни Кавказ. Сколько бы он ни ездил потом по Крыму и Кавказу, тамошние горы ни разу не совпали с этими, а эти никак не могли бы совпасть с теми. Так океан не похож на озеро, хотя вода и вода.

Есть память глаз — и Лосев смотрел на эти горы, на эти громады Копет-Дага, затаивавшиеся во тьме, но по вершинам еще открытые небу. Он смотрел, тщась вспомнить молниеподобный их очерк, он свернул к ним, пошел к ним, сам не ведая, что обретает иную память — память ног, плеч, память тела, движения, когда, как слепец, угадываешь дорогу, по которой ходил много раз, множество раз тогда, в пору счастья.

Ноги повели его и привели на обширную площадь. Сразу узнались величественные здания, окаймлявшие ее. Узнались по фотографиям. Раньше их тут не было. От прежнего тут остались только горы, темная, в черноту сейчас гряда. Раньше по склонам холмов предгорья взбегали огоньки домов, крошечных домиков, по одному огоньку на дом. Этих огоньков не стало. На склонах, не дотягиваясь лучами друг до друга, одиноко, одноглазо белели и алели сигнальные огни.

А площадь была светла под звездным шатром. Откуда-то вырывались лучи прожекторов, которым надлежало подсвечивать фонтаны. Не гасли огни и в зданиях. Вот в этом был Каракумстрой. Вот в этом — знаменитая библиотека. Не книгами еще пока знаменитая, а стенами.

В близкой дали светился вечный огонь у памятника-obeliska. И сверкала вода, вобранная в узорчатые озера, уставленная островками, на которых стояли для отдохновения скамьи под навесом брызг.

Да, это и была та самая площадь, посреди которой некогда стояла сбитая из фанеры трибуна, площадь, утрамбованная крупной галькой, умягченная песком пустыни, в завертях пыли, чуть лишь подует ветер. Центральная площадь города, где проходили парады. Пустынная в обычные дни площадь, где он, Лосев, встречался с Ниной, где они сидели на ступенях трибуны и где, помнится, он что-то нацарапал на фанерном листе — это самое и нацарапал: «Нина+Андрей», — конечно же, забавы ради. Фанера и не ждет серьезных надписей, вот уж воистину не вечный материал.

Здесь, на этой площади, когда рухнул город, был развернут городской госпиталь. Сразу же, в первый же час. Под открытым небом, под звездным шатром. Но тогда пыль сокрыла звезды. Тогда зажглись на площади костры. При свете этих костров и шли операции. На эти огни сбегались со всего города уцелевшие, приносили со всего города раненых. Сюда он и принес сперва Нину.

Памятное место. Эту площадь не узнать теперь, тут все иное. Это действительно красивая площадь, ею можно гордиться. И забыть на ней можно о том, что было, что творилось тут в ночь, когда рухнул город. Так и строили ее, затем и строили, чтобы страшное поменять на светлое. Спасибо людям, построившим эти здания, придумавшим эти фонтаны в лучах прожекторов. И эти гроты, островки. И скамейки для отдохновения. Спасибо людям, одолевшим страх, не бежавшим с этой земли, а поднявшим на ней наново город. Лучше, краше. Много краше. И все же на этой площади необходим памятник той ночи. Не вся площадь памятник, а памятник на площади. Памятник погибшим и тем, кто, уцелев, не ушел.

А он ушел.

Он был прав тогда, ему нечего было делать в городе, где рухнула студия, сто доводов было за то, чтобы уехать. Он ведь и не был ашхабадцем, он приехал сюда лишь на практику. И Нины здесь не было, он сам ее отправил в Баку. Все так, все верно, а вот сел на эту скамью, под навес брызг, глянул на сумеречные горы — и усомнился. Через тридцать лет усомнился, верно ли поступил.

Хорошо светили прожекторы. Кто-то умный их расставил, но кто-то еще более умный распорядился, чтобы одна из ламп перегорела, другая затянута пылью, а еще одна, избывая, лишь слабо мерцала. Вот теперь-то и хорошо светили прожекторы.

Лосев взгляделся, прямо упершись глазами в голый луч, бивший из грота. И ослеп, конечно. На съемках в павильоне он никогда не уставил бы так на прожектор, знал, что нельзя. Тут забылась выучка. Глянул, ослеп, прозрел, зажмурил и разжмурил глаза. Та площадь увиделась. Плохо натянутые палатки — никто, как оказалось, не умел их крепить, да и земля тут была каменной. Маревом ходила пыль. Небо обеззвездилось. Лишь редко, как чудо, открывалась в клубящихся тучах луна. То были не тучи, это пыль взметнулась над павшими стенами.

Пылали костры. Их становилось все больше. Они разгорались жадно, огню редко когда доставалась такая щедрая пища. В огонь шло все, любая вещь — мебель так мебель, ковры так ковры, книги так книги. Нужен был свет, чтобы разглядеть побитые тела.

Мелькали между кострами белые пятна врачебных халатов. Врачи перестали тут быть людьми, они казались пришельцами с небес, спасителями. Да, и начало уже гудеть небо — это во тьме кромешной

шли к городу со всех сторон самолеты. Старые, военной поры, на которых возили воду в Красноводск, серу из пустыни,— все эти «ЛИ-2», «ПО-2» и «дугласы». Их натужные родные голоса узнавались. И уже иные звучали в небе голоса, посильней, помоложе, с большей высоты. Это шли самолеты из Баку, Ташкента, Алма-Аты. Гудело небо, там блуждала помощь.

А белые халаты, как белые крылья, склонялись над распластанными телами. У земли, стелясь по земле, неумолчно двигался стон.

Лосев закрыл глаза ладонью, отгородился, стер с глаз вспомнившееся. А потом наново поглядел на эту яркую площадь, у которой была своя тайна, своя печаль, как бы наново ей сейчас ни жилось.

Да, памятник той ночи был тут необходим. Как те два памятника героям гражданской и героям Отечественной, светившиеся невдалеке вечными огнями. Лосев вспомнил — читал где-то недавно,— что такой памятник задуман, что решено соорудить его на деньги, собранные в народе, что памятник этот и задуман в народе. Кажется, уже объявлен конкурс на лучший проект, уже рассмотрены первые предложения. Но нет, еще не найдено решение, не найден образ.

О чем будет памятник? О ком? О погибших? О мужестве? Верности? Обо всем этом сразу? Но как совместить все это, как слить, единый отыскав образ?

Лосев прикинул, напрягся, надеясь угадать, углядеть памятник — вот тут, вот сейчас, прозрев вдруг, обретя ту зоркость, которая иногда навещала его в самые-самые счастливые мгновения на съемках. Наиредчайшие мгновения. В отлетевшую пору. Да, в отлетевшую.

Он напрягся, он все силы души воззвал на помощь, он слеп от прожекторов, он искал этот памятник. Сперва место ему. Потом облик его. Показалось, место нашел. Этот вот островок, на котором находился. А облик? В ослепших, слезящихся глазах мелькнул вдруг образ согбенной женщины, телом своим прикрывающей ребенка. И крестовина неумолимых балок, рухнувших на эту спину и остановленных женской, материнской спиной. Это?! Нашел?!

Лосев наклонился к земле, отыскивая щепку, прутик, чтобы нарисовать на песке увиденное, чтобы проверить себя. Схватил подвернувшийся камень, начал водить им по сохлomu гравию. Но гравий не принимал рисунка, не запоминал. Не сама тут земля, которая помнила, а пришлый, привозной, декоративный мелкий камушек, которому было безразлично!

Кто-то негромко позвал Лосева:

— Андрей...

Лосев выпрямился, обрадовавшись, что кто-то избавляет его от этой мучительной борьбы с гравием.

Перед Лосевым стоял сухонький, едко улыбающийся старичок. Совершенно незнакомый ему старичок. Но он назвал его по имени, он и улыбался так, как улыбаются старому знакомцу, с которым можно даже расцеловаться,— старичок слегка подался к Лосеву для этой цели.

Но нет, не знал его Лосев.

— Простите, кто вы?

— Андрей, Андрей, Андрей... Эх, Андрей...— Все морщины на маленьком сохлом личике огорчились, а тонкие губы обиделись.— Петьку Рогова забыл!.. Эх, Андрей, Андрей... Зазнавшаяся душа... Ну помнишь, вместе чечетку откалывали? — Старичок подпрыгнул вдруг, легкий, невесомый, и сухо прощелкал подошвами по гравию.

Вспомнил! Когда вскинулась, задергалась старая голова, когда построжало и выровнялось для танца лицо, напряглось, чуть помоло-

дев, вот тогда и вспомнил Лосев своего студийного приятеля тридцатилетней давности Петра Рогова.

Вспомнил и уstraшилcя. Что же, и в нем самом столь грозны перемены?

— Нет, ты молодцом,— утешил его Петр Рогов.— Да и я не всегда такой. Это я пью нынче. Крепко пью, товарищ дорогой. Бывает, не отпираюсь.— Он все еще пританцовывал, все еще подгибал колени, притухая после рывка туда, в молодость.— Приехал, стало быть, Андрей Андреевич? А я тебя давно жду. Все наши, землетрясенцы, кто бы ни сбежал, рано или поздно сюда возвращаются. Рано или поздно. Из самых дальних далей. Потому что зацепленные мы все. Ну, ходишь, не узнаешь?

— Не узнаю.

— Поздно прикатил, передержал душу. Ничего, узнаешь. Выпей покрепче, надерись, чтобы держалки-то все в тебе разжались,— и узнаешь. Я потому и пью, чтобы не забыть. Слыхал обо мне?

— Что?

— Ну как же... Жену похоронил, двоих детей похоронил, в психиатричке с год продержали. Не слыхал, не справлялся? Дружками ведь были.

— Не справлялся, Петя. Забыть хотелось. Этот город. Все, все!

— Хитер! Всем того хотелось. Никто не забыл! Вон, сползаются из разных мест... Слезы лить... Я часто вижу таких приезжих, что глазами блуждают. Я ведь тоже уезжал. Где только не был. Вернулся. Тут и могилы. Вернулся.

— По-прежнему снимаешь хронику?

— Отснялся. На пенсии. Знаешь, милое дело. Сам себе господин. Ты намного ли меня моложе? Пенсия еще не манит?

— Еще поработаю. Какая пенсия?

— Прости, совсем забыл, что ты у нас маститый. Тебе подобные ставят фильмы до гробовой доски. И не могут уже, а ставят. И хвалить себя велят. Так и тянется. А в кино смотреть нечего.

— Ходишь все-таки, смотришь?

— Иногда. Изредка. Твои картинки смотрю. Что-то давно ничего не показываешь. Притомился или сериал рубаешь? Это ведь мешок денег. И надсаживаться не нужно. Серии эти убьют кино, уже убили. Болтуны работают.

— Есть, есть отчасти,— согласился Лосев.— Скажи, где бы мне электрическую бритву купить? Или уже поздно?

— Опоздал. Закрылись магазины. Сейчас надо думать, где бы успеть бутылку схватить. А ты у коридорной спроси, может, есть у них в каптерке. Что, своя сломалась?

— Забыл прихватить.

— В спешке, видно, собирался. Прижгло? Понимаю. Да, смотрю, а из отеля Андрюха Лосев выскакивает. Я как ждал, даже не удивился. Ну, пошел следом. Что, так и будем здесь торчать? Надо бы отметить встречу. Айда, есть местечко. Найдутся темы. Кстати, а как там наш Ленька Галь? Тоже сбежал, как и ты, но наезжал несколько раз, так прочно Ашхабад не забыл.

— В Москве мы не встречаемся. Он ведь ушел из кино.

— Да, пописывает, литератором стал. Не встречаетесь? Что так? А дружили, вместе здесь начинали. В одном городе живете.

— Город наш — как страна. Разминулись.

— Смотри, Андрей Андреевич, заскучаешь в одиночку-то.

— Я все время на людях. С избытком.

— Это другое. Ну, принимаешь приглашение?

— Не сегодня, Рогов. Ждут меня.

— Банкет в твою честь закатывают? Студийные? У нас тут как кто из Москвы, так банкетик в его честь. В «Фирюзу» везут, а то есть и специальные банкетные помещения, ну и у себя дома, конечно, могут принять. Смотря какого ранга гость. Ты как, еще на плаву? Еще уважают?

Надо было устремляться в этот путь за тысячи километров, чтобы выслушивать подобные речи, такие же, какими шуршат коридоры родного «Мосфильма» или Дома кино на Васильевской. Чуть зазевался — и уже кто-то берет тебя под локоть и язвит, язвит, улыбочиво, участливо, но, главное, старательно приравнивая к себе. Неудачники страсть как любят уравниловку. Там, дома, он умел обрывать подобные беседы, а вот здесь растерялся. Сперва в ресторане его слегка отволочили, теперь вот эта тень из прошлого на нем приплясывает.

— Слушай, Рогов, мы как-нибудь потом поговорим, спешу, — поднимаясь, сказал Лосев и перешагнул действительно все еще чуть приплясывающую тень. И зашагал, накренясь, спешащей походкой, как там бы пошел, в коридоре «Мосфильма».

Но шел он сперва по островку, где должен был встать памятник, — только здесь и должен он был стоять. На фоне гор, вечных огней и этих стен из стекла и бетона, хранивших книги. Все пройдет — горы останутся. Все пройдет — книги останутся. И женщина под крестовиной балок, удерживающая их, чтобы спасти свое дитя, — и она останется.

Потом Лосев вышел на улицу Гоголя, прочел на табличке, что это улица Гоголя, но ничего не узнал, новые тут были дома. И даже крепостная стена, некогда высившаяся за спиной гостиницы «Дом Советов», — даже и эта древняя горка стала иной, утрясло ее землетрясение, прибило к земле.

8

Таня ждала его, стоя в освещенном окне.

— Сюда, сюда! — позвала она, когда он, плутая, пошел по двору.

Он взбежал по ступеням, а Таня уже стояла в освещенном проеме двери. Скрестила руки на груди, всматривалась в него. А он — в нее. Она переделалась, была в простеньком платье, по-домашнему подколола вверх волосы, у нее были Нинины глаза. Почудилось, это Нина стоит и ждет его. И он сразу срежиссировал себя, подошел, как тогда бы подошел, уронив руки, за что-то винась, а вот за что — не вспомнилось. Любимая профессия становилась иногда проклятием, заставляя все время срабатывать какие-то сценки, эпизодики, перебивки по поводу собственной жизни. Кстати, а что за жанр предлагала ему действительность, слагая свой сюжет? Типичная мелодрама? А может быть, просто драма человеческая? А может быть, тут не без трагедии, если вспомнить про начало всему, про землетрясение? Но, может, тут и комедии вволю — он ли не смешон сейчас в нелепой роли неопознанного отца? Ну никак не надевался на этот сюжет из жизни нужный жанр. Это вымысел можно загнать в жанровый башмак, а жизнь — ну никак.

Следом за Таней Лосев вошел в квартиру. Таня уже накрыла на стол, где-то раздобыв громадную дыню, желтоватый ноздреватый брусочек брынзы, белую буханку хлеба. И бутылочка у нее стояла, гордясь дешевой водочной этикеткой.

Проклятая профессия! Опять включил свои режиссерские глаза Лосев, кивнул даже, мол, все так, все по делу, можно обживать стол актерами. И вспомнил, выщелкнув дурацкое свое зрение, что актерами за этим столом будут он и Таня. Возможный отец и возможная дочь.

— Вы все куда-то уходите, уплываете взглядом,— сказала Таня.— Что город? Узнали?

— Другой совсем город.

— Но ведь что-то узнали. Все, кто приезжает к нам сюда, ну, из тех, кто раньше жил, до землетрясения, обязательно что-нибудь да узнают. Отыскивают все же что-то.

— Отыскался мой давний по студии приятель Петр Рогов. Сам меня окликнул, узнал. Я бы, случись встретиться на людях, мог бы и не узнать его.

— Да, он очень сильно пьет. И болен. Ему как раз пить ни в коем случае нельзя. Но как ему не пить? Он вам рассказал?

— Рассказал. Так вы его знаете?

— Конечно. У нас большой город, да маленький. И потом, мы не все всех знаем, а чаще всего так: старожилы старожилы, новички новичков. Так и лепимся друг к другу. Петр Васильевич Рогов дружил с мамой. Она его жалела. Даже иногда выпивала с ним вместе. Он пьет, спешит, а она сидит рядом, кивает ему, когда он вскидывает стакан, и оба молчат. А считалось, встретились, поговорили.

— Еще ваших друзей встретил, из тех, кто встречал вас на аэродроме. Они сидели в ресторане гостиницы. Пригласили разделить компанию, но обошлись со мной довольно сухо. Бородатый философ. Долговязый Дамир. Елена Кошелева. Кто она?

— Там была Лена? Она адвокат. И это ее призвание. Я хожу на ее процессы. Изумительно защищает. Но, знаете, а сама беззащитная.

— Как это?

— А так... Что же мы стоим? Прошу к столу, Андрей Андреевич. Такой дыни в Москве вам не отведать. Ташаузская. Помните вкус? А как нарезать ее, знаете?

Таня присела к столу, стала терпеливо смотреть, как кромсает Лосев дыню. Он старался, орудовал ножом вдохновенно, снова, забывшись, играя, а не живя. Дыня под его ножом скрипела, брызгалась, погибала.

— Так? А аромат, аромат какой!

— Можно и так.—Таня взяла у него нож.— А можно и эдак.— Она стала иначе резать дыню, не страшась забрызгаться, смело, и весело, и легко поводя ножом, под которым дыня как бы сама разнималась на длинные ладные ломти.

— У вас лучше выходит, Танюша,— сказал Лосев.— А я забыл эту науку. Вот водочку я открою, натаскан. Дыня, брынза, водка самая простенькая, хлеб этот чудной выпечки! Вы прочли мой сон, Таня.

— Да, такой хлеб у нас только в одной пекарне пекут, в железнодорожной. Чуть привезут оттуда хлеб, его сразу расхватывают.

— А вы где достали? Вечер, магазины позакрывались.

— Мир не без добрых людей.— Она сама налила ему и себе, первая подняла рюмку.— Давайте не чокаясь помянем.

— Помянем.

Он выпил торопливо и неловко, водка пролилась ему на подбородок. Проклятая профессия! Он подумал: так и надо пить в горькую минуту, неумело, разучившись. Проклятая неволя!

— Опоздал я, опоздал! — с тоской вырвалось у Лосева. Он набил рот брынзой и дыней, начал жевать, сам не поверив своим словам, как-то не так, не по правде они у него сказались. Дубль! Еще разок! Проклятая профессия! — Опоздал я... Опоздал...— повторил он, кляня себя за этот дубль.

— Знаете, Андрей Андреевич, вам надо хоть немного выпить.

— Мне уже был дан такой совет. Рогов посоветовал. Надерись, сказал, чтобы все держалки в тебе разжались. А что, и выпью! — Лосев

налил себе не присаживаясь.— За вас, Таня! — Он выпил. И сразу снова налил.— И за мою разжатость! — И снова выпил, уселся, вслушиваясь в какой-то гул, начавшийся в нем, вроде бы веселый гул.

Лосев глянул на Таню, в милое ее лицо в который раз всмотрелся. Вдруг все показалось ему проще простого. Ну, разлучила их жизнь, а теперь свела. Перед ним дочь его, родная кровь. Он проведет тут с недельку, а потом вернется домой, забрав с собой Таню, дочь. Она поживет у него, у своего отца, поглядится. Вместе они потом решат, где ей жить. Скорее всего он уговорит ее перебраться в Москву к нему. Места хватит. Жена будет возражать? А он не станет слушать эти возражения. Случилось чудо, он обрел дочь, он необходим ей. Вот и все.

— Что-то вы все решаете, Андрей Андреевич,— сказала Таня.— И кажется, и за меня. Напрасно. Ведь мы уговорились: развеем легенду.

— А я вот поверил в эту легенду. Да, решаю. Хотите, помогу вам перебраться в Москву? Там, в Москве, отныне вас ждет дом и ваша собственная в нем комната. С балконом, который смотрит в тихий переулок. Вам понравится. Сперва погостите, поглядитесь, а потом...

Таня отрицательно качнула головой.

— Ну, не останетесь, будете наезжать.

Таня снова качнула головой. Нина так же вот, с ним не соглашаясь, медленно поводила головой от плеча и чуть вверх. Вся в Нину, только в нее. Себя он в Тани не находил ни в чем, даже в промельке хотя бы сходства.

— Развеем легенду,— сказала Таня.

— Зачем это вам? Ну легенда! Пусть! В ней так много от правды, что можно и поверить. Не зря же Нина...

— Зачем? А вот затем, чтобы жить в правде. Мама'выдумала себе сказку. Это ее право. Может быть, так ей было легче. Мне легче без сказок. Почему вы не хотите понять меня?

— Не хочу! Нина тоже недолюбливала сказки. Все не так просто. Я докажу вам!

— Ну докажите...

Уже давно кто-то коротко, робковато нажимал на звонок, и звонок едва вздрагивал, оповещая все же, что некто деликатнейший, но и упрямейший стоит за дверью.

— Это Дамир,— поднимаясь, сказала Таня.

Пока она шла к двери, Лосев торопливо наполнил рюмку, торопливо выпил, надеясь, что еще проще, еще яснее станет для него происходящее, но обманулся. Ушла ясность, нагрянула сложность. Так бывает: водка начала вытрезвлять.

Да, явился Дамир. Он возник в дверном проеме, пригнув голову, отчего показался виноватым или плутоватым.

— О, водочка! — Он с треском свел и азартно потер громадные свои ладони.— И мы не с пустыми руками!

Эти «мы» еще были в прихожей, но там царила непонятная тишина.

— Мы — это вы один? — спросил Лосев.

— Мы — это я с другом.— Дамир продолжал загоразживать собой дверной проем, едва помещаясь в нем.

А там, в прихожей, совсем тихо было, хотя там были Таня и друг Дамира.

— Таня! — позвал Лосев, отчего-то угнетенный этой тишиной, тянувшейся из прихожей.

— Верно! Объяснитесь потом! — Дамир шагнул в комнату, отдавая глазам Лосева прихожую.

На крохотном пространстве, где и двоим трудно было разминуться, Лосев увидел два разобщеннейших существа. Ее и Его, отстранившихся друг от друга, с готовыми кинуться навстречу руками. Хорошо, отлично была поставлена режиссером-жизнью эта крохотная сценка. Тут ничего нельзя было ни убавить, ни прибавить. Была ссора. Но он пришел. Он смирил гордыню, он здесь. Она счастлива, но она еще не простила. И первого слова нет ни у него, ни у нее. Все в точку, все прочитывается. Можно командовать: «Камера!»

Мешало, что Лосев знал этого вытянувшегося в струну, протягивающего отведенные руки парня. Это мешало. Приходилось вспоминать, двоилось зрение. Так вот он — ее друг, ее радость, ее печаль, ее горе. Все прочитывалось. Жизнь учила режиссуре. Пламенной режиссуре, не без боли, не без собственного участия, ибо в стену вжималась его Таня и в ее глазах была боль, которая уже была и его болью.

Но кто этот парень? Необходимо было вспомнить его. Но для этого надо было далеко назад отбежать памяти, покинуть этот город, вернуть себя в предсегоднешнюю жизнь.

Они почувствовали, что на них смотрят, и сдвинулись. Таня оглянулась, погасив глаза, парень улыбнулся привычно, заученно, ибо сверх меры хороша была его улыбка. Лосев вспомнил: это был Чары Агаханов, недавний его студент по режиссерской мастерской во ВГИКе. Самая лучшая улыбка на курсе, во всем институте, может быть, во всей Москве. Вспыхивающая улыбка, прибавляющая света. И вспыхивающий характер. А то вдруг в сон погружался человек. Говорлив или молчалив. Порой мрачен, замкнут — не дозовешься. И только улыбка, часто машинальная, посверк этот поразительно белых зубов.

— Здравствуйте, учитель! — сказал Чары, протягивая руки, и пошел к Лосеву, забирая в плен его своей улыбкой.

— Здравствуй, Чары. Совсем забыл, что ты здесь.

— А где же мне еще быть?

Таня смотрела на них, выверяя каждый жест, вслушиваясь в каждое слово, ей важно было что-то понять, установить, решить для себя, наблюдая их встречу. Все так, все прочитывалось: ей важно было понять, как он, Лосев, оценивает этого парня, этого своего недавнего ученика, совпадает ли явь с тем, что Чары ей рассказывал, не нафантазировал ли Чары. Вот он назвал его учителем, а был ли он действительно его учеником? Учеником не потому только, что зачислен был в его мастерскую, а потому, что они совпадали в своих пристрастиях в искусстве, потому, что старший был интересен и нужен младшему?

Лосев небрежно вел свою мастерскую во ВГИКе, часто пропускал занятия — то съемки, то командировки, то просто не успевал настроиться. Но бывали и счастливые часы у него с ребятами, вдохновенные, азартные. Вот в те часы чем был для него Чары Агаханов, студент из Туркмении, диковатый, красивый, с богоданной улыбкой парнек? К счастью, вспомнилось, что было с ним интересно. И отклик вспомнился, отклик интереса в молодых горячих глазах. И потому не соврал он перед Таней, когда обнял Чары, когда расцеловались они, — не соврал, не подладил под ее желание, угаданное, прочитанное им.

— Правда, правда, очень рад! — сказал Лосев, поверх головы Чары глянув на Таню.

Она расцвела глазами.

— Правда, правда?

Лосев покивал ей, все еще сжимая в руках суховатые угластые плечи Чары.

Вот когда она подружилась с Лосевым — вот в этот миг, когда он так добр был с ее Чары, когда признал его, подтвердил, что Чары не хвастал, говоря ей, что был дружен с режиссером Лосевым. Все прочитывалось!

— Я очень рад, очень рад, что вы здесь, Андрей Андреевич! — сказал Чары, так разволновавшись, что позабыл даже улыбнуться.

— И я рад. Начал что-нибудь делать? Дали картину?

Полуобнявшись, они подошли к столу, у которого их уже ждали налитые Дамиром рюмки, сели рядышком.

— Особый разговор, — сказал Чары и помрачнел, но тотчас вспомнил об улыбке. — Уделите мне потом минуточку? Потом, завтра?

— Конечно.

— А теперь выпьем за ваше возвращение! — Чары поднялся, вытянулся, вскинул руку с рюмкой. И так быстры, стремительны были его движения, что он показался Лосеву сверкнувшим клинком. — Таня! — позвал Чары. — Прошу тебя разделить мой тост.

Таня подошла к столу, ее глаза смеялись.

— А можно мне с мужчинами? Знаете, Андрей Андреевич, он, этот ваш ученик, не любит, когда женщины сидят за одним столом с мужчинами. Впрочем, он и за столом-то сидеть не любит. Ему бы ковер, подушку под локоть. И чтобы тенями появлялись женщины, принося и унося.

— Таня! — сказал Чары, и в голосе его умоляющая забила нота. — Не будем сегодня ссориться. Я гость в твоём доме. Не забывай, пожалуйста.

— Не будем, не будем. Дамир, налей мне, но совсем чуть-чуть. Противно пить эту гадость, когда такой хороший вечер.

— Таня, — помолил Чары, — прошу тебя, не называй гадостью то, что пьют твои гости!

— О, прости! Вот тут ты прав! Так выпьем же!

Чокнувшись со всеми, Лосев не стал лить, лишь пригубил. Он сейчас берег свою зоркость. Столько всего увиделось! Сам на себя сумел глянуть со стороны. Он был отцом здесь. А рядом были его дети. Его дети! Дочь и ее жених. Да, да, какое странное, неизведанное, счастливое, но с болью пополам, радостное и горькое чувство! Он во все глаза смотрел на них и на себя. Вслушивался в их голоса и в себя самого. Как странно ему было сейчас, как радостно, как больно. Опоздал... Пропустил... Наверстает ли?.. Да полно, отец ли он?!

— Вы не пьете, — сказал Чары. — Вам не понравился мой тост?

— Я много уже выпил сегодня. А не пью, потому что понравился твой тост.

— Понял! — кивнул Чары. — Понял! Но мы все выпьем за вас! Можно?

— Только не нужно слова произносить.

— Понял! — кивнул Чары, безмерно счастливый, что так понимает своего учителя. — В кино мы задыхаемся от слов. И в жизни тоже.

Лосев глядел, как молодость усердно пьёт за него, и сам выпил, потому что особая зоркость ему уже больше не требовалась. Сверх меры все углядел. И сверх меры устал. Он бывал так выжат после съёмок, после труднейшей, не дававшейся сцены, когда только к самому концу смены что-то начинало получаться, прояснялось, доходило до ума и у актеров и у самого. Но уже был сорван голос, иссушены глаза, саднило сердце.

Лосев прижал ладони к лицу, перемогая усталость. Это было не его движение, это движение он перенял сегодня у Тани.

— Видишь! — услышал он ликующий голос Чары. — Видишь!

Приметливый, подумалось Лосеву, да только все наоборот.

Он поднялся, ощутив себя в каком-то новом качестве, понимая, что может уйти, никого не обидев и не ссылаясь на усталость, а потому, что должно ему уйти, чтобы дать молодым свободу, этим взрослым детям — детям! — свободу от его отцовской — отцовской! — опеки. И его не стали удерживать, ибо его уход был понят именно так, как понят был им самим. Новое чувство, странное, неизведанное. И обрадовало, что Чары огорчило его решение уйти. Но и Чары, взглянув огорченно, не стал его удерживать. А Таня сказала:

— Вам действительно надо отдохнуть. Акклиматизироваться надо. Ведь в Москве, когда мы вылетали, было семь градусов тепла, а здесь до тридцати.

Но уйти ему не пришлось. Снова подал голос дверной звонок, посмелей, чем от руки Дамира, но и про этого человека нельзя было сказать, что он бесцеремонен. Очень сдержанно прозвучал звонок.

— Лена! — обрадовалась Таня, зашпешив к двери.

— И наверняка со свитой, — сказал Дамир. — Принесут ли что выпить?

— Могли бы позвонить сперва по телефону, — помрачнел Чары. Он обернулся к Лосеву за поддержкой. — Почему-то считается в порядке вещей, что к Тане можно являться чуть ли не за полночь. Ну куда это годится?

— Верно, надо звонить, предупреждать, — сказал Лосев.

— А к ней без всякого звонка. Принимай. Пой чаем. Ставь пластинки. Ну куда это годится?

— Открытый дом, отверстая душа, — сказал Дамир. — Еще при Нине Васильевне заведено. Сколько себя помню, чуть беда, обидели мальчика — к ним. И напоят, и накормят, и спать уложат. В моем случае подставляли к тахте стул.

— Ну куда это годится?! — Глаза Чары вспыхнули гневом. — Караван-сарай! А когда я сказал ей об этом, она сказала, что я сухой человек. Андрей Андреевич, кто прав?

— Погоди, разберусь.

Явились, так сказать, всем ресторанным столиком: и Елена Кошелева, и бородатый философ, и оба литератора, взысканный и не взысканный удачей. А кстати, литераторы ли? Ведь сказано, у него стереотип мышления. Возможно, возможно, мышление тоже может притомиться. Лосев наклонился к Чары, спросил шепотом:

— Тот, нарядный, он кто?

— Никто точно не знает. Откликается на имя Сергей. Кажется, в звании капитана.

— У-у!

— Как вы знаете, рядом с нами проходит государственная граница.

— А тот, ниспровергатель?

— Здорово сказано, учитель! — Чары явно нравилось шептаться с Лосевым. — А он наш брат, киношник. Пишет сценарии, которые никто почему-то не ставит.

— Ну хоть что-то да угадал, — усмехнулся Лосев. — Способный?

— Когда так долго у человека ничего не идет, его начинают считать способным.

— Ого! Сам додумался?

— Но ведь я ваш ученик.

— Ну-ну.

Новые гости уже вступили в комнату, и Лосев пошел навстречу Елене Кошелевой, про которую уже знал, что она защитница, но что

сама вот беззащитная. И это знание по-иному настроило его зрение, женщина эта сейчас ему куда больше понравилась, чем с первого взгляда. Он углядел в ней женственность, и мягкость, и ту самую беззащитность, которая тоже была ей к лицу, как и загадочная все-таки профессия юриста, повевавшая строгостью.

Капитан принес бутылку вина, философ выложил на стол какие-то свертки с едой — все начиналось, как говорится, снова да ладом.

— Вот видите,— пожаловался Лосеву Чары.— А ей завтра в семь утра вставать на работу.

— Так прогони их,— улыбнулся Лосев, всматриваясь в Чары, довольный его рассерженностью.

— Это не мой дом.

— Пока?

Вздروгнули глаза Чары, а Лосев понял, что нельзя было так спрашивать, что отец бы, будь он отцом Тани, такой вопрос Чары не задал бы. Тоньше, трепетней, ранимее за нее, за Таню, надо было становиться ему, если он считал ее своей дочерью.

— Прости, Чары,— огорченно сказал Лосев.— Прости, устал я. Сбиваюсь.

Елена Кошелева — ее усадили рядом с Лосевым — услышала.

— У вас повадки столичного льва, хотя и очень усталого, согласна. Что-то уже узнали про меня? Что разведена? Что одинока?

— Узнал, но не так конкретно.

— Нужен намек. Остальное домысливается. Верно?

— Верно. Но необязательно верно. Случается, стереотип мышления подводит.

— Обиделись? Не обращайтесь внимания. Наш Гришенька от учености своей впал в гордыню. Грубит людям. Убежден, наивный человек, что познал все истины.

— Лена! — подал голос философ Гриша.— За наивного человека спасибо — что может быть краше наивности? — а вообще-то ты язвись.

— Услышал? Я на это и рассчитывала. Но раз ты согласен быть наивным, так будь еще и кротким. Попробуй, Гриша, весь этот вечер быть кротким, наивным, слушающим, а не вещающим.

— Пропадет у человека вечерок! — рассмеялся капитан Сергей.

— Ничего, он восполнит упущенное,— сказал ниспровергатель, щурясь, будто от едкого табачного дыма.— Он вполне может отыграться на своих студентах.

— Мои студенты собирают хлопок,— сказал Гриша.

— Вот и езжай к ним, открывай в поле афинскую школу.

— Идея!

— Друзья! Достопочтенные друзья мои! — поднялся капитан Сергей.— Предлагаю чуть выпить! Есть тост, свежий, как этот ветер с гор.— Он указал рукой на распахнувшееся со стуком в этот миг окно, в которое ворвался горьковатый, с песочком ветер.

— За дам! — сказал Дамир.— Неужели угадал?

— А вот и нет!

— За его величество кино,— сказал ниспровергатель, щурясь.— И за знаменитых здесь его представителей.

— А вот и нет!

— Господи, так это же Андрюша Лосев!.. — услышался изумленный голос от окна, прерывающийся, будто наносимый ветром.

Лосев обернулся, но сперва ничего не разглядел в вечерней за окном мгле.

— Тетя Аня, это вы? — крикнула Таня.

— Я, я, деточка.

Голова старой женщины возникла в раме окна. Седые волосы, несметное число морщин. Но глаза не поблекли и над ними все те же, вмиг узанные Лосевым, караулили правду строгие брови.

— Аня! Айкануш!

Он кинулся к окну, прижался лбом к этим проволочным бровям, ткнулся губами в старческую податливую щеку. И вдруг, совсем позабыв, сколько ему лет и сколько лет этой седой женщине, он подхватил ее под локти, приподнял, удивившись, что так легко его рукам, и втащил свою Айкануш, хрупкую, усохшую старушку эту, в комнату. На ней было черное платье, глухое, траурное. Лосев разжал руки, опомнившись. А от стола ему хлопали. Он яростно обернулся на хлопки, и они смолкли. Только брови и глаза, только эти проволочные брови и зоркие, мудрые глаза сохранились от бывлой Айкануш.

— Что, высохла твоя Айкануш? — спросила старая женщина. — А ты зачем приехал? Нины нет. Опоздал. Долго ехал.

Лосев молчал, опустив голову. Он и глаза закрыл. Так легче было отбежать — туда, где неумолчно звенел смех маленькой верткой армяночки, зоркоглазой, бедовой, их верной с Ниной подруги.

— Тетя Аня, как хорошо, что вы пришли, — сказала Таня. — Садитесь к столу, пожалуйста.

— Я не пришла, меня втащили в окно. Даже не пойму, в гостях я или нет. Я не привыкла ходить в гости через окна. Ох, Андрей Лосев, ты все такой же! Почему, скажите мне, умные люди, мужчин не карает время?

У нее был хриловатый голос, напористый. Ее русский язык был пересыпан острыми камушками. То, как она произносила слова, будто гнала их каменистым ручьем, и голос тоже жили в ней от бывшего. И если закрыть глаза и если забыть, где ты и какой год на календаре, целую жизнь если позабыть, то вот и возвратился ты в ту, в молодую свою жизнь, в начало всех решений.

— Послушай, Андрей Лосев, ты что там увидел, за закрытыми глазами?

— Тебя, Айкануш.

— О, слишком далеко заглянул! Возвращайся! Танюша, с приездом, доченька. Так вот кого привезла ты из Москвы. А лекарство мне привезла?

— Привезла, тетя Аня.

— Спасибо. Еще хочу пожить. Вот ведь какая она, жизнь, дети. Никак нельзя соскучиться. Пожалуйста, сам Андрей Лосев передо мной. Интересно жить, дети.

Она медленно подошла к столу, маленькие шажки ее обрели торжественность. Она торжественно, вытянувшись, села на подставленный ей Дамиром стул. Неспешно поводя глазами, оглядела застолье и всех участников его, спросила:

— Пируете? А какой нынче праздник?

— Таня вернулась из Москвы, — сказал Чары.

— И не одна, как видите, — сказала Кошелева.

— Так, так, так, так, — покивала седая голова. — Всех вас знаю. Вы хорошие люди. Но зачем столько пьете? Если радость, водка не нужна, если горе, водка не поможет. Мы раньше разве пили столько, Андрей?

— Кажется, чуть поменьше.

— Совсем мало пили.

— Только кончилась война, испытывали материальные затруднения, — сказал философ Гриша.

— Нет, не поэтому. На выпивку всегда найдется. Да, кончилась война. Мы были очень счастливыми тогда. Не хотелось пить.

— По-своему всякое поколение и счастливо и несчастливо,— сказал Гриша.

— Ты все понимаешь! — отчего-то вдруг рассердился Чары.— По-своему...

— Прости, но а как же мне еще понимать?

— Иногда хорошо что-то и не понять. В виде исключения. А то живем, все всё понимая. Задохнуться можно!

— Но в том-то и дело, что никто никого не желает понять! — горячо заговорил неудачливый сценарист, впервые за весь вечер разжмурив колючие глаза. И такие они печальные оказались, такие недоумевающие, будто очень близорукий человек сдернул очки.

Лосев поднялся, отошел к окну, за которым был Ашхабад. Все тот же, что и три десятилетия назад. Ничего не было видно за окном. И потому это был все тот же город. Упали одни стены, встали другие. Так было, так будет. Что же тогда город? А город — это не стены, хоть город пошел от стен. Город — это люди, которые в нем живут. Все дело в людях. Можно далеко уехать и быть ашхабадцем, можно жить здесь и быть москвичом. А он кто? Где его город?

За спиной задвигались стулья, там поднимались, там прощались, собираясь уходить. К Лосеву подошла Таня.

— Почему-то вдруг все заспешили домой,— сказала она.— Я не удерживаю, вам надо отдохнуть.— И вдруг спросила: — Как он вам? Мама не хотела, чтобы я шла за него. Трудный характер! — Чтобы ее не услышали в комнате, Таня далеко высунулась в окно, и оттуда, из звездной темноты, шел к Лосеву ее шепот.

Он тоже высунулся в окно, к звездам. Задумался, прежде чем ответить. Что ответить? Непросто сейчас ему было ответить. Он не смел советовать. Решительный в своих поступках человек, он вдруг растерялся, испугался. Так мы пугаемся за близких людей, больше пугаемся, чем за себя.

— Он хочет поговорить с вами,— шептала Таня.— Но кого он любит, меня или режиссера Лосева? Не пойму! Он верит в легенду. Он вцепился в нее! Теперь вы понимаете?..

К ним подошел Чары.

— О чем вы шепчетесь?

— О тебе. Правда, правда.

— И что решили?

К ним подошла седенькая Айкануш.

— Андрей Лосев, ты затащил меня в дом через окно. А из дома тоже через окно будешь провожать?

— Да, да, я провожу тебя, Айкануш! — обрадовался, засуетился Лосев.— Нет уж, а теперь по всем правилам, через дверь!

— Я недалеко живу. Пойдем.— Она взяла Лосева за руку, повела к двери.— До свиданья, дети. Простите, что нарушила ваш вечер. У вас их еще много будет, а нам, старикам, надо спешить.

Гурьбой вышли из квартиры. У всех на глазах, замкнув дверь, Таня сунула ключ под коврик.

— Андрей Андреевич, если вернетесь первым, ключ вот здесь.

— Где лежит этот ключ, знает весь город,— сказала Елена Кошелева.— Спасительный ключ. До свиданья, Андрей Андреевич!

— До свиданья!

— Я завтра заеду за вами, свезу в «Фирюзу», на границу,— посулил капитан в штатском, шагнув в темноту двора.— До свиданья!

— До свиданья!

— Уж как хотите, я притащу вам завтра свой последний сценарий! — пообещал сценарист.— До свиданья!

— До свиданья!

— А я, уж как хотите, а затащу вас к ребятам в университет! — крикнул бородатый философ. — Подискутируем об уровне современного кинематографа.

— Твои ребята собирают хлопок, — сказал Чары.

Все уже разбрелись, скрылись в темноте, перекликались, не видя друг друга.

— Ничего! На Лосева народ соберется! Условились, Андрей Андреевич? До свиданья!

— До свиданья, друзья, до свиданья!

10

Какими-то переулочками сразу повела его Айкануш, где почти не было фонарей, где дома были одноэтажными и с высокими оградами — дувалами. В старый, в былой Ашхабад ввела. Лосев знал, что и эти дома и дувалы недавней постройки — ведь после землетрясения во всем городе уцелело лишь здание банка и здание бывшей женской гимназии, — но сейчас, в темноте, перешагивая арычные желоба, Лосев снова шел по своему Ашхабаду, вступал в былое. И рядом была Аня, Айкануш. Когда-то куда-то так же вот шли они. Когда-то куда-то...

— Не поздно к тебе? — спросил Лосев. — Наверное, у тебя строгий муж. Еще шуганет.

— У меня нет мужа. И не было.

— Помнится, за тобой ухаживал один паренек. Боксер. Я помню, как он однажды в «Фирюзе» раскидал целую кучу хулиганов. Лихой был парень!

— Он погиб в землетрясение.

— Ты любила его?

— Как смешно ты спрашиваешь. Другие мне были не нужны.

— Так и живешь одна?

— Почему одна? Я еще нужна людям. Ты знаешь, какая у меня профессия?

— Забыл.

— Я акушерка. Половина тех, кто живет здесь, лежали вот на этих ладонях.

— А Таня?

— Не спеши. Дойдет очередь и до Тани. Ты надолго к нам?

— Не знаю. Дня на четыре, на неделю. Я сорвался даже без вещей.

Таня позвонила, я приехал к ней в аэропорт, и вот...

— Так это Таня тебе позвонила? А я подумала, что ты сам разыскал ее.

— Но я даже не знал о ее существовании.

— Да. Верно. Уехал — и все. Ты хоть справлялся о судьбе Нины у кого-нибудь из ашхабадцев?

— Нет.

— Уехал — и все. А теперь приехал. Мы пришли, Андрей. Я тебя не к себе в дом привела, а к своей подруге. Она говорит, что вы были знакомы. Ждет нас. Входи.

В высоком дувале, выше роста человеческого, темнела узкая низкая дверца с тяжелым кольцом. Дверца эта отпахнулась бесшумно и сама по себе, не понадобилось колотить кольцом. Зато залился тоненько собачий голосок, захлебывающийся от радости.

— Здравствуй, здравствуй, Макс, — сказала Айкануш. — Принимай гостя.

Лосев шагнул во двор, страхась наступить на крошечную собачонку, тойтерьерчика, вившегося у его ног. Высланная камнями тропа

вела к крыльцу дома, на ступенях которого стояла женщина. Скучный свет из приоткрытой двери в дом освещал ее загадочно, предвещая. Показалось, что он бывал уже в этом доме, по такой же из камней ступал тропе к крыльцу, такой же беззловный, заливиный встречал его лай. Свет может чудеса творить. Свет так положил на землю тень женщины, стоявшей в дверях, что тень эта вытончилась, выстройнилась, много моложе став своей владелицы, и тень эта тоже была из знакомых снов, из былой поры.

— Свиделись все-таки,— сказала женщина.— Входи, Андрей. Входи, полуночник.

«Полуночник»! Это слово принадлежало ему, частенько говорилось о нем тогда, в той жизни. А все-таки у женщин не стареют голоса.

— Кира?! Ты?!

— Я, кому же еще быть?

Лосев медлил, не решался приблизиться к женщине, коснуться ее опустившейся ему навстречу руки. Он знал, что шаг только ступит, как все разрушится, как нагрянет снова эта мука узнавания неузнаваемого лица.

— И все тот же Макс у тебя? Он даже вроде узнал меня.

— Хватился! Тот, что узнавал тебя, погиб в землетрясение. А этот Макс у меня четвертый. Ну входи, не страшись.— Кира повернулась, вошла в дом, широко распахнув дверь. Свету прибавилось, и все стало сегодняшним.

Кира, известная всему городу буфетчица из ресторана «Фирюза», не такая уж и красавица, но с огоньком женщина, стройная, стремительная, остроглазая, сейчас шла перед Лосевым, тяжкими повода бедрами. Макс, той же породы собачонка, вился в ногах, но был четвертым Максом, старым, облинялым, раскормленным.

В комнате, где все лампы были зажжены — и над столом, и над тахтой, и в торшере возле кресла, — сидел за столом прямой, строгий, со вскинутой головкой Петр Рогов.

— Со мной не пошел, а все равно пришел,— сказал Рогов.— Давай выходи на свет.

— Вот ведь чудной,— сказала Кира.— Все лампы запалил.

— А мы света не боимся.

— Вам что, а каково нам, женщинам? Да, это я! — Кира рывком обернулась к Лосеву с такой решимостью, как в воду бросаются.

Он ждал утраты, обвала этого, когда сминается в памяти былой образ, когда глазам остаются одни руины, он был уже готов солгать, что узнал, конечно же. Но не пришлось, к счастью, лгать. Удивительно убереглось лицо женщины, живым проступило из прошлого. Только было оно тогда худым, подпаленным внутренним огоньком, с втянутыми смуглыми щеками, а стало теперь полным, успокоенным, румяным. Но — красивым, чуть ли не более красивым, чем прежде.

Что было у них прежде? Она была подругой Нины, не очень близкой, точнее сказать, приятельницей. И вот эта приятельница, когда Нина лежала в бакинской больнице, оказалась рядом с Лосевым. Города не было, домов не стало, все ютились где кто мог, в открытых наскоро землянках, в палатках. А уже кончался октябрь, нагрянули небывалые для этих мест холода. Было промозгло, руины и временки в них были погружены в темноту, черная пыль все еще блуждала над городом, смрадным духом тянуло из-под каждой стены. Было сыро, жутковато, мир вокруг был озвучен стонами женщин, день и ночь оплакивавших потерю детей. И вот в этом во всем, оказавшись рядом в какой-то землянке, они сблизились. Не собирались, не тянулись друг к другу, а так вышло. Он вспомнил ее шепот в ту ночь: «Грех-то какой, грех

какой! Как я Нине в глаза погляжу?» Уж добродетельной-то эта Кира никогда не была, а тут устыдилась. Вскоре он уехал в Москву. Все оборвал.

Оказывается, ничего не обрывается в жизни. Уж эту-то Киру он начисто забыл. И вот она перед ним, а он перед ней. И еще перед Айкануш. И перед Петром Роговым, с которым тоже — это уж совсем удивительно — не оборвана нить. Прожита целая жизнь, иная, ничем не наминавшая ашхабадскую его юность, а связи остались. Эти люди, по сути чужие, имели на него какое-то право, могли обсуждать его поступки, выговаривать за что-то. Вот запалил Рогов, бывший оператор, все светильники, так сказать, поставил свет на него, на Лосева, будто собрался снимать. А что за сцена будет сниматься? О чем пойдет разговор? Лосев огляделся усмешливо. Стены комнаты были увешаны коврами, и дорогами. Много хрустала натаскавшая в серванте. Стол был застлан дорогой, ручной вышивки скатертью. На столе было изобильно, но на женский вкус. Не было водки, стояли сладкие вина, «Тер-баш», «Безмеин» — тоже позабытые ашхабадские вина, изготовленные из сладчайшего туркменского винограда. Чайники маленькие стояли, заваренные гок-чаем, даром что тут не было туркмен. И пиалы высились горкой вместо стаканов. Здесь не было туркмен, но жившая тут русская женщина сроднилась с Туркменией. И ее друзья тоже были от этой земли побегам. А он был чужаком здесь. Но не оборвались связавшие их нити, сейчас натянувшиеся так, что, казалось, был слышен их звон. Все ясно: эти трое собираются судить его, Лосева. За что, собственно? Что уехал тогда? Буфетчица, натаскавшая в свой дом столько ковров, что уж не ей быть праведницей, женщина, сама же согрешившая с ним; и этот пьянчужка, по целым дням гонящийся за бутылкой; и эта незнакомая старушка, оставившая в прошлом былую Айкануш, — они вознамерились судить его, выговаривать ему, будто был он дезертиром.

— Садись, Андрей, чай станем пить, — сказала Кира. — Вина налить? Сладенького?

— Нет, голова утром расколется, если еще вина добавить.

— И мне нет, — сказал Рогов, сам себе изумляясь.

— А я бы выпила, — сказала Айкануш. — Мужчины у нас пьяноватые, надо подравняться.

Не было перерыва в их общении почти в тридцать лет, не было разницы в их положении в жизни — ровней они ему были.

— И я чуть выпью, — сказала Кира. — Андрей, помнишь, как чай зеленый наливают? Сперва чуть плесни в пиалу, потом вылей назад в чайник, а уж потом опять в пиалу. И под карамельки его пьют, вприкуску, под самые дешевенькие конфетки. Ты что, собираешься все архивы перерывать, чтобы доказать, что Таня твоя дочь?

Вот! Началось!

— Пускай, Петя, мотор. Камера! — сказал Лосев и стал на эту камеру работать, стал наливать из чайника в пиалу, а потом из пиалы в чайник, а затем назад в пиалу. Ловко у него получалось, дубля не требуется.

— Отца в бумагах Нина не обозначила, — сказал Рогов. — Не захотела. Чего рыться, зачем?

— Вся ее комната увешана моими портретами, — сказал Лосев. — Зачем?

— Ну, ценила как режиссера. Киношница же.

— Петя, ты этот разговор прямо веди, — строго сказала Айкануш. — Документы одно, а сердцу не прикажешь.

— Айкануш! — вскинулся Лосев. — Ты должна все знать! Ты не можешь не знать! Скажи правду: Таня дочь мне или нет?

— Если отец, так должен знать об этом, а если не знаешь, так какая она тебе дочь?

— Ну, так случилось! Развела жизнь. Скажи, прошу тебя: дочь мне Таня или нет?

— Не знаю: Я ведь тогда тоже в больницу угодила. Нина лежала в Баку, я в Ташкенте.

— А потом, потом?

— Зачем тебе это потом? — спросила Кира. — Потом тебя не стало, а Нина вернулась из больницы калекой. Больше года пробыла в Баку и вернулась на костылях.

— С ребенком?

— Не знаю. Я избегала тогда встречаться с ней. Стыдно мне было. Забыл почему?

— Не забыл.

— Нет, забыл. Помнил бы, была бы такая дрянь, как я, хоть в одном твоём фильме. А у тебя все чистенькие. Забыл. Только сейчас вспомнил. Сразу, вместе — и меня и Макса.

— И Нины в его фильмах нет, — сказал Рогов. — Вычеркнул из памяти.

— Неправда! Есть Нина, она есть!

— Развеселая такая, с ямочками, быстроногая? Мы ту забыли, мы с палочкой помним.

— Ту я не знал.

— Об том речь! А до палочки года два на костылях проходила. Соображаешь, легко ли в нашем городе в сорокаградусную жару гулять на костылях? Теперь дальше. Сообрази, если девочка твоя, то родилась она у Нины еще в больнице. Родилась у калеки. Костыли и ребенок на руках. Сообразил?

— Ну чего ты насел с этим словом? — сказала Кира. — Тут никто не сообразит.

— Как же, а ставит фильмы! Про жизнь людскую. Имеет премии. В таком случае должен соображать.

— Но почему она мне не написала, почему?! — выкрикнулось у Лосева.

— Бывают, встречаются гордые женщины, Андрей, — сказала Кира.

— Так ты же почти сразу женился там, в Москве, — сказала Айкануш. — Я наводила справки. Актрису взял. А тут костыли.

— Я бы написала, она не написала, — сказала Кира. — А вот фотографии стала собирать. Как первый фильм твой вышел на экраны, так и начала. Я бы не стала собирать.

— Все же скажите мне, я все равно дознаюсь, месяц тут проживу, а дознаюсь, — скажите, Нина из Баку вернулась уже с девочкой?

— Я этого не знаю, в больнице еще валялась, — сказала Айкануш и по-птичьему подняла сухонькие плечи, втянувшись в черное платье.

— Я этого не знаю, — сказала Кира, смело выдерживая взгляд Лосева. — Говорю, стыдно мне было ей на глаза показываться. И не расспрашивала о ней. Тогда у нас столько было костылей этих, столько горя.

— Я этого не знаю, — сказал Рогов, крутя головкой, нервно закидывая ее. — С год в психиатричке продержали.

— Хорошо, сам узнаю! — Лосев поднялся, так резко поставив пиалу, что она опрокинулась, чай залил скатерть.

— Да ты не убегай, не спеши, — сказала Кира и снова налила в пиалу чай, протянула пиалу Лосеву. — Ну узнаешь. Скажем, ты отец. А что такое отец — ведь этого ты не знаешь? А как дальше с Таней тебе быть, если ты отец, — про это ты знаешь? Что за жизнь у нее, как складывалась, какое здоровье? Ничего не знаешь.

— Все для себя, для себя старается! — вскрикнул Рогов. — Папочкой захотелось стать на старости лет! Как же, занятно! Взрослая дочь имеется! Миленькая! Славненькая! В случае чего, позаботится, чаек к постельке поднесет! А что эта дочь тяжело болела — про это известно тебе?!

— Что у нее было? — спросил Лосев, снова присаживаясь. — И не кричи на меня, Петя. Ну, можно сейчас на меня кричать, момент подходящий, а ты все-таки не кричи, сдержись.

— Вот, умеет осадить! — не унимался Рогов. — Это они умеют, баловни судьбы!

— Он прав, не надо кричать, — сказала Айкануш. — У нее, у Танюши нашей, Андрей, с голосовыми связками что-то приключилось. Только начала в школе преподавать, голос отказал. Но сильная девочка, ушла из учителей, стала учиться на врача. Сама про себя теперь лучше всех понимает. Обошлось, заговорила.

— А стронь ее, взбудоражь — и опять может начаться, — сказала Кира.

— Если нужны врачи, самые лучшие, если нужны лекарства, любые, из Кремлевки, я... — Лосев опять порывисто встал, готовый вот прямо сейчас кинуться за самыми лучшими врачами и редчайшими лекарствами. — Вы подтверждаете, я — отец!

— Да погоди ты вступать в права отцовства, — сказала Кира. — Не доказаны еще твои права.

— Узнаю! Докажу!

— А ты, Андрей, если можешь, просто так помогай девочке, — сказала Айкануш. — Вот видишь, какой ты. Тебе сперва надо узнать, что это родная кровь тебе, а уж тогда...

— Нет! Все не так! Но должен же я знать правду! Если я отец...

— Хватился! — усмехнулась Кира. — Пока ты собирался к нам сюда, давно отыскался Танин отец.

— Кто?!

— А вот я, Айкануш, Петя. Еще с десятков имен могу назвать. Все мы единый ее отец. А она нам дочь. Она нам души наши лечит своей добротой. Она нужна нам больше, чем мы ей. Ты пойми, умный-разумный, что она для нас значит. И Нина такой же была. Беды не озлобили ее, не оттолкнули от людей, а отворили душу. Все для других — вот она какой была. Это редкость нынче — такие люди. Я бы хуже была, еще хуже была б — признаюсь! — если бы не Нина, не Таня. И Петя бы наш давно спился, если б не Нина, не Таня. Можешь ты это понять?

— А он ее в чемодан — и в Москву! — совсем разволновался Рогов, в забывчивости наливая себе в пиалу вина. Хлебнул, яростно покривился, поник. — А он ее в чемодан... Крадут же картины, скульптуры, иконы... Из церквей крадут... Им что!

— Понял, — сказал Лосев. — Велите уехать мне?

— Не понял, — сказала Айкануш. — Раз позвонила, ты нужен девочке. Ты не о себе сейчас думай, о ней. Вот этот Чары, режиссер этот молодой, твой коллега, он почему к нашей Тане потянулся? Потому что любит или потому, что тебя уважает?

— Как же, Лосев подсобит, протолкнет! — Рогов зло затряс головой. — Покровительство нынче в ходу!

— Петя, замолчи! — прикрикнула Кира. — Пей уж лучше!

— Мне показало, он искренен с ней, — сказал Лосев.

— И мне так кажется, — сказала Кира. — Но вы артисты, вам прикинуться ничего не стоит. Таня не красотка у нас и не такая уж молоденькая. Что — вдруг?

— Он учился у тебя в Москве,— сказала Айкануш.— Скажи, каким был?

— Прямой. Взрывной. Но и скрытный. Часто уходил в себя.

— Вот! — насторожилась Кира.— Скрытный! Нина была права.

— Она колебалась,— сказала Айкануш.— То он ей нравился, то нет.

— И что ни говори, туркмен,— сказал Рогов.— Я подмечаю, он своим обычаям очень предан. У них как — в Москве он за столом, а дома на ковре, в Москве женщинам ручки целует, а дома у него женщина на кухне содержится.

— Туркмены — хорошие мужья,— сказала Айкануш.— Это на людях они иногда чудят, а дома, в семье, не они командиры. Уж я-то знаю, нагладелась.

— Я не про то, что мы лучше, а про то, что каждому свое.

— Мой жених был мне женихом, дорогим человеком, я о его национальности не думала,— сказала Айкануш.— Не стало его, не стало никого — ни армян, ни туркмен, ни русских.

— Так как же, как же нам быть? — спросила Кира.— Благословляешь их, Андрей?

Благословляешь! Каким словом она его одарила! Признала? Призналась? Он — отец?!

Не успел вдуматься, обрадоваться. Надо было отвечать. Надо было на себя брать ответственность, ибо, благословляя, отпускаешь близкого человека, рискуешь им. Ну решайся, Лосев!

— Он честный парень,— сказал Лосев.— Я верю ему.— Помолчал, искал еще слова в том гуле, какой возник в нем, путая мысли, не нашел.— Я, пожалуй, пойду,— сказал он.— Устал смертельно. Завтра поговорим, послезавтра поговорим. Я понял вас.

Он пошел к двери, Макс Четвертый, ласково, как кошка, вился вокруг его ног. И скулил.

11

Близко светились звезды, когда Лосев вышел на улицу. Небо было все тем же самым над этим новым городом. Душно было. Ночь не принесла пролады, ветер шумел где-то поверху.

Возле маленькой двери, врезанной в дувал, увиделась Лосеву скамейка. Он сел на нее, чтобы переждать рвавшийся в нем гул. Белый дувал на противоположной стороне переулка и белые стены одноэтажных домов показались ему экранами. Любой белый прямоугольник всегда казался ему экраном. И всегда хотелось населить это пространство, оживить пустоту. Сейчас множество экранов встало перед глазами. Ну как в монтажной, где в ряд выстроились несколько мувиол. Или как на пульте в телевизионной студии. Белое пространство между двумя домами — один экран, дома сами по себе — тоже экраны, а дальше опять дувал-экран и опять дом-экран.

Лосев всмотрелся в эти прямоугольники. Он попытался населить их чем-то памятным для себя, удачами своими, теми вот кадрами, которые жили в фотографиях на стене в Ниной комнате. Но стены Ниной комнаты не пришли сюда, на эти дувалы.

А пришла, подобралась к ногам, вжалась в его тень у скамьи та ночь, их последняя с Ниной ночь на такой же улочке, у такой же скамьи. Лосев поднялся, его тень легла поперек дороги, вошла в прямоугольник на той стороне: А вторую тень, Нину, не увидел, но вспомнил. Вот так они стояли тогда, истончившиеся, колеблющиеся. Нет, ee

тень была недвижна. Это его тень все переминалась с ноги на ногу. Ломкая, крениющаяся, зыбкая. Прямая тень Нины была строга, и серьезные были слова Нины. О чем она тогда говорила? Лосев взгляделся, напрягся, мучительно вспоминая. Он вспомнил лицо Нины, губы, готовые сказать что-то важное. Он вспомнил свою тень, откачнувшуюся от этого разговора, засуетившуюся. Он повторил себя тогдашнего в белом прямоугольнике дувала. Он тогдашний куда-то спешил, звал куда-то, не хотелось ему стоять на месте, вслушиваться в слова. О чем слова? Что испугало его в начатом Ниной разговоре? Не вспоминались слова. Они и не были еще произнесены, к ним только подступ был сделан. Но и этого было довольно, чтобы он испугался. Чего, чего же? От какой грозной вести пытался он тогда по-мальчишески удрать?

Белые прямоугольники, эти пустые экраны, терзали его память. Он вспомнил. Нет, не слова, слов еще не было. Он вспомнил свой испуг тогда. Что-то произошло, что-то такое, что могло посягнуть на его свободу. Господи, какую свободу?! Нина сказала, поняв его смятение: «Беги. Завтра поговорим...»

У этого лишь начавшегося разговора была дата: он случился в ночь с 5 на 6 октября 1948 года, за час до землетрясения.

Завтра пришло сегодня, через тридцать лет. Она ждала ребенка. Вот о чем она хотела ему сказать. Дочь! Таня его дочь! Уразумел!

Он снова опустился на скамью, и вдруг скамья качнулась под ним, странно обезножев. И взорвалась непереносимая боль в груди, куда добрался гул. Теряя сознание, погружаясь в небытие, Лосев успел подумать: «Неужели землетрясение?..» И не испугался.



ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ



В ПОЛЕТЕ ТРАТИТ СИЛЫ ВДОХНОВЕНЬЕ

* * *

Куда ни кинь, их в этом мире двое,
повсюду двое — рядом и вдали:
одно взмывает в небо голубое,
другое строго держится земли.

Одно загадка, а другое тайна,
верней, и навык, и расчет, и глаз.
Но двое столь близки, что не случайно
одно другим становится подчас.

Одно — другим.
И даже на мгновенье
нигде их и ничто не развело:
в полете тратит силы Вдохновенье,
в работе копит силы Ремесло.

ТАНЦЫ 55-го ГОДА

Где путь к своим победам?
В отцовское одетым,
но твердо в мире этом
стоящим на ногах —
дает нам наша мода
блистать и вне завода
в любое время года
в кирзовых сапогах!

Трещит костер, пылая.
Блохастая, незлая
заходится от лая
собака в конуре.
Народ глядит с балкона:
рабочий цвет затона
под два аккордеона
кружится во дворе.

Под вальсы и фокстроты
кружится без заботы.
Под вечные остроты
трет доски, как паркет.

Девчоночьи жакеты,
косынки, сандалеты
не красочней по цвету,
чем сам рабочий цвет.

На нем желты футболки,
как вечера осколки:
потух, мол, вечер в Волге,
да тут вот не потух.
Мужчина пегой масти,
на нежности не мастер —
словечка сменный мастер
сейчас не молвит вслух.

Былой мастак чечеток
скрипит протезом черным
и смотрит на девчонок
да на лихих ребят.
А видит, как сквозь даты
сюда, за сорок пятый,
все боли, все утраты
летят, летят, летят.

Кружит он там, где вечен.
А я кружу, беспечен,
в мечтах о новой встрече.
А ты за мигом миг
среди одежд неброских
кружишь на гибких досках
в моих ладонях жестких,
горячих и сухих.

КАНАВА

Она где в рост мне, где помельче,
а где и вовсе лишь по грудь.
От праха ввысь уходят смерчи,
от праха я спускаюсь вглубь.

Туда, откуда взглядом длинным,
как будто из небытия,
окидываю комя глины
и стен осклизлые края.

Мир ограничился канавой.
И льнет ко мне под правый бок
отполированный, вертлявый
моей лопаты черенок.

И воздух горек, точно зелье.
И сходит семь потов, пока
я погружаюсь в землю, в землю
хотя б еще на полштыка.

Я погружаюсь, силы тратя
так, словно, словно от чудес

обратно к дедовской лопате
скатился ядерный прогресс.

Так, будто, будто в тайну эту
вгрызающийся вкривь и вкось,
я многослойную планету
пройду когда-нибудь насквозь.

Коснусь ядра, забыв про звезды,
дойду до самого нутра
и снова вынырну на воздух,
чтоб от добра искать добра.

Пусть годы тянутся цепочкой.
И в ненависти и в любви
судьбу, как глинистую почву,
долби, долби, долби, долби.

Упорствуй — не на дне стакана
вдруг истина открылась мне,
а на сыром, непостоянном,
все углубляющемся дне.

Открылась, но в изнеможенье
я к ней ладони не тяну,
и продолжается движенье
вперед — вперед и в глубину.



Р. КИРЕЕВ

★

ПОБЕДИТЕЛЬ*

Роман

6

Хорошо! Еще холоднее, вот так. Кипятком покажется теперь вода в бассейне. Запрокидываешь голову. Острые густые струи — в лицо. Ледяной массаж. Нашариваешь горячий кран — закручен до отказа. Лишь в студеной воде по-настоящему живет тело. Свежесть чистой стянутой кожи. Мускулы — как взведенные курки.

«Поздравляю, старик. Я ни черта не смыслю в твоей диссертации, но судя по тому, что говорили эти ученые мужи, у тебя и впрямь светлая голова». — «Как лунная ночь». — «Перестань! Сегодня я почувствовал твою силу. Ты можешь все. Понимаешь, все. Я говорил тебе много гадостей — плюнь. Я все время видел тебя слишком близко, только как брата, а сегодня я увидел тебя как бы со стороны. Мне портрет твой захотелось написать. Ты будешь мне позировать, старик? В нем не будет ярких красок. Голубое, белое, слононая кость. Немного, может быть, зелени — совсем чуть-чуть. Ты дальтоник, ты не понимаешь меня. Мне хочется передать твою силу. И твою — как назвать это свойство? — незаземленность, что ли. Люди в большинстве своем притянуты к земле, опутаны ею. Ее запахом, красками, сутолокой. Я по себе знаю. А ты — выше. Не там, а выше. Не понимаешь? Меня, например, любой пустяк из себя выводит. Сегодня встал, собрался писать с утра, а за стеной — соседка на сына орет. Он дефективный у нее, в спецшколе учится. Противный, грязный, из носа течет... А она — с утра на него: ублюдок, выродок несчастный. Мне так муторно стало. Все, думаю, против него, даже мать родная. Размяк, в общем. Гулять она его выпустила. Я — к нему с яблоком. На, говорю. Он смотрит на меня — косою, лицо тупое, слюни тянутся. Бр-р! Куда уж тут работать — пропал день. А у тебя, я знаю, и часу не пропадет. Потому что ты не там, а выше. Так и нужно, если хочешь добиться чего-то. Я обязательно твой портрет напишу».

«ЭКОНОМИСТ ПОД ДУШЕМ»... Чем не название для картины?

Пора. Закручиваешь кран. Горит тело. Теплый кафель под ногами. Открываешь дверь, полощешь ноги, еще дверь — и яркий дневной простор под стеклянной крышей.

На крайней дорожке — дети в разноцветных шапочках. Барахтаются, визжат. Могучая, как водолаз, тренерша в красном костюме с белой полосой. Приветственно киваешь.

Никого, лишь мужчина в мотоциклетных очках. А вечером не протолкнешься. «Нет-нет, только не окно в расписании. Что буду делать эти два часа?» А бассейн — в квартале от института.

Держась за металлический поручень, медленно спускаешься в во-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

ду. Ты терпеть не можешь эффектных прыжков, выплескивающих на бортики полбассейна.

«Помогите! Тонет!» Примечательно, что орудием своего гуманизма дама в лакированном плаще избрала тебя, а не своего упитанного супруга. Тому некогда было: со знанием дела рассуждал о пользе спасательного круга. Ты, как мешок, плюхнулся в воду — в майке, белых трусиках и, разумеется, носках. Вот когда братцу писать портрет с тебя.

— Стоп, стоп, стоп! Еще раз.

К бортику сбегаются разноцветные шапочки: красные, синие, зеленые..

«У вас дальтонизм, молодой человек». — «Впервые слышу. Я прекрасно различаю цвета». — «Только чистые. Оттенки вам недоступны. В практической жизни это не играет роли. Но права вам не дадут».

«Ну и что? — сострадательно успокаивает верный друг, жена и товарищ. — Я буду водить машину. Среди женщин нет дальтоников».

Под номером два стоит автомобиль в вашем перспективном плане. После кооперативной квартиры.

«Минаев звонил»... Квартиру ты построишь — с божьей ли, с минаевской ли помощью, но между первым и вторым верстовыми столбами тебе удастся, надеешься ты, втиснуть нечто такое, с чего, если верить преданиям, в иные времена начинались все семейные планы. Вот именно — в иные! Ты чудовищно старомоден, Рябов, о чем, кроме тебя, не подозревает никто. Бабушек как не понять, если дети были потенциальными работниками в семье, но почему тебе не терпится завязывать голубые бантики? Дикторская сентиментальность — она, она, матушка, вот только что-то рано подала она свой голос. Мамина гипертония и дикторская сентиментальность. Хорошо же оснастили тебя родители!

Медленно, с силой разводишь руками. Прозрачная толща воды выгибает дно.

Мотоциклетные Очки стремительно обходят тебя слева. Воображают — несутся, как торпеда. Сникнут через минуту.

«Вы местный? Вы очень мужественно вели себя». — «А что, это исключительно крымское качество?» — «Я неточно выразилась. Вы были очень оперативны». Еще бы! Оказаться перед знакомой девушкой в вульгарных трусах и носочках — тут и не умеющий плавать сиганет в воду. Ухмыльнулся на прощанье: «Откроем купальный сезон».

Странно, а вот как ты оказался в трусах и носочках — не помнишь. Поразительный провал памяти! Но кошмарная мысль, что на тебе не плавки — трусы, была. Именно в этот момент, можно предположить, ты и скидывал портки. Перед девочкой из Жаброва, которая глядела на тебя с ужасом.

Бортик. Отталкиваешься ступнями, скользишь, прижав к туловищу руки. По соседней дорожке, брызгаясь и фыркая, несутся Мотоциклетные Очки.

«Я сам!» Мальчуган изо всех сил колошматил воду. Берег был далеко — много дальше, нежели показалось тебе с причала.

«Вода обожгла его...» — сколько раз читывал ты это! Чушь! Ничто не обожгло — заурядная холодная вода, не холоднее душа в бассейне.

Мальчишка оскорбился, когда ты схватил его за плечо. «Я сам», — отрывисто, зло: не мешайте! Ты невольно разжал пальцы. Может быть, пацан просто симулировал падение: до купального сезона еще далеко, а так охота побултыхаться в море! Не потому ли и устроили с дружкой возню на причале?

Независимо плыли вы параллельным курсом — как сейчас с Мотоциклетными Очками. Мотоциклетным Очкам, впрочем, далеко до паренька из Крыма. «Не устал?» Пацан не удостоил тебя ответом.

«Спасибо. У меня достаточно материала».

Снизу тренера кажется еще больше — великан, у подножия которого копошатся букашки. С усилием загребаёт руками воздух — демонстрирует. Разноцветные шапочки дисциплинированно внимают.

Через год-два мальчуган даст тебе фору в плавании. Или уже? На тебе не было туфель и брюк, но не он, а ты стал первым малодушно нащупывать дно. Берег был совсем рядом, и ты решил, что встанешь на ноги. Под воду ушел — с головой.

«Я так испугалась вчера. Наверное, даже крикнула что-то — не помню. Решила, у тебя судорога. Когда ты нырнул вдруг, помнишь? Уже возле берега». Тебя удивили эти слова. О другом думает, казалось тебе, о своем — о Жаброве, которое после пышного юга покажется дырой, о вступительных экзаменах в институт — мало ли о чем! Ты не мешал ей. Все думали о своем, вся группа, измотанная субтропическими красотами. Экскурсовод хмуро поглядывал на шоссе — где автобус? Солнце к Ай-Петри сползло. Несло ацетоном: в здании общежития, приютившего вас на ночь, красили днем полы. Тебе было неловко, что вы вдвоем стоите у ржавых качелей отдельно от всех — мишенью для глаз, но ты упрямо подавлял в себе это чувство. Зато твою юную спутницу ничуть не трогало, что скажут о ней экскурсионные дамы. О своем думала — о Жаброве, казалось тебе, и вдруг: «Я так испугалась вчера. Решила, у тебя судорога». Ты ослабилась. «Мой организм не подвержен судорогам. Он чересчур груб для этого. Братец говорит, я напоминаю ему компьютер». «Компьютер» пропустила мимо ушей, а вот «братец» заинтересовал ее. Не брат, а братец. «Почему? Наверное, вы не очень дружите?»—«Очень дружим. Только он художник, а я экономист, и у меня нет творческого воображения. Все наследственное воображение досталось ему».— «А тебе что досталось?» — «Старая занудливая скряга, именуемая памятью. А еще молодая, но подающая надежды лысина». Тут она медленно повернулась и посмотрела на тебя так, что все сдвинулось в тебе и поплыло.

Солнечные лучи и много воздуха. Ты никогда не замечал, что так просто и прозрачно в бассейне. Что с тобой, Рябов? В тебе и сейчас смещается что-то. Таешь, как бело-розовая вата на деревянном поддоне. Пчела, запах мяса и раскаленных углей, снег на горах. Еще немного, и ты растворишься в воде.

Не плывешь — у бортика стоишь. Бассейн тебе по пояс. По телу струйками стекает вода — как быстро! Смех, всплески совсем рядом, и в то же время очень далеко отсюда. Солнце в высоком куполе. Красные, желтые, синие шапочки — кто сказал, что ты дальтоник? Щекотно и нежно растекается по языку искристая вата... В пятницу в Жаброво. Не в субботу, а в пятницу — день за свой счет.

«Ради бога, Станислав Максимович, хоть неделю. Да-да, хоть неделю. А что, вы творческий человек. Эта дверь всегда открыта для вас». «Разговор этот нельзя комкать. Потерпите до завтра».

Озираешься с изумлением. Что с тобой? Слово не существовал мгновение или два — вода, шапочки, солнце в стеклянном куполе, а тебя не было. Исчез...

«Разговор этот нельзя комкать». «Тогда завтра утром». Считаешь, не понял, что невтерпеж тебе? Простоватый, бесхитростный рубаха-директор... И ты веришь в это? Марго тоже просила зайти завтра. Случайное совпадение?

Успокойся, Рябов. Ты чересчур возбужден — мысли скачут. Окупись, вот так. Слишком теплая вода? Еще бы — после купания в апрельском море.

Трусы, прилипшие к телу, майка, носочки в клеточку. Гусь лапчатый. Люди кругом, но они не кричат «виват», они молча расступаются

перед тобой, и ты шествуешь, важный и голый, как Христос. Практичный южный мальчуган раскладывает на булыжнике мокрую одежду, затем стремглав мчится вдоль берега — греется. Не впервой, видать, сваливаться в море. «Часы! Ах, господи, часы забыли снять». Бежит секундная стрелка — а почему бы не бежать ей? ПЫЛЕВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, С АМОРТИЗАЦИОННЫМ УСТРОЙСТВОМ. Ты любишь добротные вещи, Рябов. «Вы — с ним?» А с кем же она, если в руках у нее твои портки и все прочее?

Как и предвидел ты, спеклись Мотоциклетные Очки — стоят, разинутым ртом дышат. Из белой двери выходит медсестра с никелированной жердью — ежечасная проба воды. Сдержанные, короткие шаги — помнит о мужчинах внизу. Взглядываешь на электрические часы — три минуты второго. Тренерша в красном с энергией пересекает рукой воздух: конец! На бортик высыпают разноцветные шапочки. Мокрые, блестящие тела. Все дергается, как у марионеток, — руки, ноги. Звон голосов. К выходу наперегонки! Мальчик с директорской фигурой шлепает отдельно — притомился. Желейное тело дрожит и лоснится — не помогают что-то сеансы плавания.

«Ряба ловит. Давай, Ряба, давай! Животик мешает? А ты подтяни». «Ну его! Какой интерес — он всю перемену проловит. Уходи, Рябов, ты не играешь. Сперва бегать научись».

«Я не буду есть». «Почему?» — интересуется мама, но без малейшей тревоги, что, признайся, тебя несколько задевает. Напрасно! Чего вдруг она должна переживать за тебя, если ты ни в чем не обманул ее взрослого доверия? Вот старший, тот преподносил ей подарок за подарком — от лаконичного заявления, что не пойдет в школу, откуда математичка не извинится перед ним, до решения никогда в жизни не брать в рот сладкого, дабы наглядно доказать, что человек легко может обойтись без всех тех лакомств, ради которых мама подвижнически жертвует всем. Злая демонстрация! Могла ли мама не принимать близко к сердцу все эти фокусы, на которые с ранних лет был столь изобретателен братец! Несомненное и опасное сумасбродство заявляло о себе в полный голос, поэтому как же несправедлив ты был, подозревая маму в некоторой пристрастности к братцу за твой счет! Просто мама понимала, что если ее младший решил не есть, то не каприз и не смертная вражда с учительницей повинны тут, не бунт против десертной индустрии, которой сурово ограничивающая себя во всем мама посвятила жизнь (вот где ирония судьбы!), а нечто благоразумное. На спартанский рацион ты посадил себя — животик, однако, не спадал.

«Уматывай из класса. У нас разговор». — «Это моя парта». — «Что? Слышишь, Хлюпа, это его парта. Он хочет, чтобы с ним побеседовали. Сейчас или после уроков?» — «Брату побежит жаловаться. У него брат в седьмом классе».

За что не любили тебя? Первый ученик класса — за это? Но был еще один отличник, Вовка Шиндин, — с тем водились. Был еще один толстяк, Катков, — тот верховодил в классе. За что же тебя не любили? Задачи и те скрепя сердце давал списывать, хотя честно предупреждал, что никакой пользы от этого не будет. «Надо понять, как решается. Давай останемся после уроков, я объясню». Как наивен ты был!..

Четыре взмаха — воздух, четыре — воздух. Бортик, касание, упругий толчок ногами. Вытянув руки, лодочкой ладони сложив, скользишь мягко и стремительно. Кто поверит, что это тот самый толстяк Ряба, который за всю перемену никого не мог поймать?

«Кажется, ты что-то имел против меня?» — «Нет, ничего. Ничего я не имел». — «Да ну? А мне кажется — имел». — «Пустите меня! Мне домой надо». — «Больше тебе куда не надо?» Удар. Шапка в грязь летит. «Проси прощения». — «За что?» — «Проси прощения, тебе гово-

рят». — «Я не буду больше». — «Что ты не будешь?» — «Не знаю. Пусть меня». — «Что ты не будешь, тебя спрашивают». — «Вы же сами сказали: прощения проси». — «А за что? Если просишь, значит, сделал что-то». — «Ничего я не сделал». — «Хлюпа, врежь ему еще. Пожалуйста, Хлюпа». — «Пусть первая шапку подымет. Подыми шапку. Пожалуйста». Ты знаешь, что если нагнешься за шапкой — ногой пнут, опрокинут в грязь, но ты согласен, пусть лучше грязь, лишь бы в лицо не били. Сейчас ты почти благодаришь их за жестокость. И ненавидишь, как же ненавидишь себя за это «больше не буду»!

Как ваше давление, Станислав Максимович? Старик, можешь рассчитывать на меня.. Большому кораблю — большое плавание.. Чепуха! Вы еще не квиты — ведь все это мелюзга, все это тетюнники да скачут-зайчики, все это только начало, но грядет, грядет час большой расплаты. Местью это не будет — не злорадство, а доброжелательность будет вечно сиять на твоём лице; просто восторжествует справедливость, как она торжествует всегда, что бы там ни канючили унылые неудачники. Она торжествует, только не надо тихо ждать ее в своем углу, уповая на господа бога, а смело шагать ей навстречу.

«Э, колобок, ты, видать, заблудился. Здесь боксом занимаются». — «Не заблудился». — «Неужели? А мама разрешила?» Изучающие глаза тренера. «Станислав Рябов?» — «Да». — «Ну-ка, возьми скакалку. Прыгай. Еще раз». «Ему ноги мешают, Александр Игнатьевич». «Вот что, Рябов. Придешь через три дня. В пятницу. За эти три дня научишься прыгать до пятидесяти. Пятьдесят раз подряд, понял?»

Четыре взмаха — воздух, четыре — воздух. А Мотоциклетные Очки все отдышаться не могут. «Главное на ринге — дыхание. Его, как бровь, надо беречь. Не как зеницу ока — как бровь, это важнее для боксера. У противника сбить, а свое беречь».

Раз, два, три, четыре — воздух; раз, два, три, четыре — воздух. «Раз-два, раз-два...» Скакалка путалась в ногах, ты падал. Репейник на брюках. Пустырь — вдали от глаз. Внимательная ворона на ржавом ведре без дна. Запах гашеной извести. Раз-два, раз-два... Когда вечером ложился в постель, кровать прыгала вместе с тобой — вверх-вниз, вверх-вниз. «Ну-ка, Рябов, покажи, чему научился за три дня». Замерший спортзал. Далекий визг трамвайных колес. Глаза — отовсюду. Бум, бум, бум — глухо, размеренно. Ступни окаменели. «Молодец!» «Семьдесят два раза, Александр Игнатьевич, я считал». Семьдесят четыре — ты тоже считал, но не проронил ни слова. «Будешь отличным боксером, Рябов. Отличным!»

Десять минут второго, передохни. Солнце в стеклянном куполе. В пятницу у нее рабочий день, как и у тебя, впрочем. «Я ждала тебя завтра». «Извини, я репутал. Мама листок календаря сорвала преждевременно. Она передовик у меня».

Голос, поворачиваешься. Мотоциклетным Очкам поговорить вздумалось.

— Слишком теплая, говорю, вода. Двадцать четыре градуса.

Морж? Рекомендуешь море — там хорошо сейчас.

— Да нет, что вы! Рано еще.

— Вы полагаете?

— Уверен. А вы хорошо держитесь. У вас разряд?

«По плаванию — нет». «А по какому виду?» Хвостун.

— Увы!

— Но вы очень хорошо держитесь. Я наблюдал за вами.

Сделайте же и вы комплимент мне. Или не оценили до сих пор?

Тогда я еще продемонстрирую, смотрите.

Смотришь. Самоходная баржа. Колесо с лопастями и спортивным

тщеславием. Тихо на спину ложишься. Легкими квадратиками зарешечено синее небо.

«Александр Игнатьич... я решил оставить ринг». «Не понимаю». Удивлением и тревогой преобразено деформированное лицо. Рыжие жесткие усы — как две зубные щетки. «Не понимаю.— Он все понимал, но еще не верил в это.— Ты не хочешь со мной работать?» Вероятно, в глубине души он ждал от тебя подобного финта — слишком уж равнодушен ты был к спортивным триумфам. Да и что то за триумфы! — а кубка Вала Баркера тебе не видать. И все-таки он делал ставку на тебя, ибо кто как не ты был олицетворением того главного, без чего немислим бокс,— трудолюбия и беспощадности к себе? «Если б я остался на ринге, я работал бы только с вами. Вы знаете это, Александр Игнатьич. Всем, чего я достиг, я обязан вам». Кто обвинит тебя в неблагодарности? «Ты ничего еще не достиг! Ты ноль, пешка, груша для тренировок. Труд и беспощадность к себе — и я гарантирую тебе мастера. «Я не хочу мастера». Так рушатся иллюзии. Ученик, который мог прославить учителя. «Но почему? Я хочу знать: почему?» *«Просто я равнодушен к боксу. Я стал заниматься им в силу необходимости, но теперь я добился чего хотел».* Ты и не мог этого сказать — ведь даже на ринге ты славился корректностью. «У меня сложные семейные обстоятельства. И потом, я запустил с учебой. Второй курс». — «Значит, ты не навсегда уходишь? Когда все устроится...» — «Навсегда. Я вам очень благодарен, Александр Игнатьич. За все». — «Ты пожалеешь об этом. Ты крепко пожалеешь об этом, Станислав. Я никогда еще не ошибался, поверь мне». Стало быть, это первая ваша ошибка, тренер. В сорок с гаком — не так уж худо. Продержаться бы тебе до этого возраста!

Небо над стеклянной крышей, но солнца нет — за клочок облака спряталось. Что это было с тобой четверть часа назад? В Жаброво, немедленно, день за свой счет? Этак не протянешь без ошибок до сорока с гаком.

Переворачиваешься, плывешь к бортику. Вертикальная лесенка с тремя перекладинами. Тяжестью наливается тело. Благородная усталость. Спокойно ступаешь на сухой кафельный пол — заслужил право следить.

В душевой жарко, и влажно, и желто от электричества. Мотоциклетные Очки холят под душем распаренное тело. Нежно-розовый, в зеркальных бликах живот.

— Изумительно! Словно на свет заново родился.— Выполз из кабины, новорожденный. Выпуклые нежно-розовые глаза — два миниатюрных животика. Поворачиваешься спиной к нему, будто желая отрегулировать воду.— Всех своих друзей агитирую — не хотят. За справкой лень сходить...

— А может, очков нет?

— Что? А-а, очков. Нет, не поэтому. Очки купить можно. В любом спортивном магазине — пожалуйста. Не хотят просто. А ведь это так для здоровья полезно.

— Еще бы!

— Я третий раз сегодня. Между нами, я похудеть хочу, но вот взвешивался — пока ничего. Поправился на двести граммов.

Гмыкаешь. И двух недель не протянет, нет. Сегодня взвесился, завтра — и прощай бассейн, источник бодрости и здоровья.

«На предприятии вас встретят во всеоружии. Экспериментировали, скажут, очень даже, но, увы, никакого эффекта. Отсюда вывод: долой внутрихозяйственный расчет! Я бы сравнил такого руководителя с одним моим знакомым, который решил похудеть. Пришел в бассейн, поплескался полчаса, бегом на весы. Никакого эффекта».

Хороший пример для сегодняшней лекции. Ты приведешь его, говоря о выделении ремонтного хозяйства в самостоятельную службу — в учебнике сказано об этом невнятно и робко. Хозрасчет в ремонтных цехах! Кое-кто считает это делом далекого будущего; поразительно, что авторы учебника именно так ориентируют студента. Нечто вроде полета в соседнюю галактику — в принципе возможно, но не сейчас.

— Будете в среду? — интересуются Мотоциклетные Очки.

— Не знаю. Вряд ли.

— Ну, увидимся. Счастливо!

А душ кто будет закрывать?

— До свидания.

Еще холоднее, вот так. Ничего не забыли Очки, не вернутся? Ты бы не хотел, чтобы они видели, как печешься ты об общественном добре — голый, но высокосознательный. Закручиваешь краны — сперва в своей кабине, потом в соседней. Широкая натура у Мотоциклетных Очков — за чужой счет.

«На фабрике сдается дом. Твоя мать могла бы получить там квартиру, а эту нам оставить. Так все родители делают». Мама? Мама могла бы? Твоей супруге при всех ее добродетелях порой явно изменяет чувство реальности. Ты бы многое мог рассказать ей про свою маму — хотя бы о путевке, от которой она отказалась в пользу работницы из шоколадного цеха, но ведь это бахвальство — превозносить собственную мать! Да и не приняты в вашей семье подобные речи. Вот разве что диктору прощаются они — большой милый ребенок, баловень дома.

Тишина. Абсолютная тишина — мертвый час на плавательном предприятии. Вытираешься. Откуда взялось на пляже полотенце в некупальный сезон? Народ заботится о своих героях. «Мунутку, граждане! Минутку.— Моя милиция меня бережет.— Ваша фамилия, гражданин?» Карандаш наготове — народ должен знать своих героев. «Никифор,— юродствуешь ты.— Панюшкин. Студент из Бахчисарая».

А майка и трусы, которые ты натягиваешь сейчас на раскрасневшееся тело, приобретены ею. «Вы с ним? Вон палатка, видите? Там можно белье купить».

Ты был надежно огорожен кабинкой с выразительными рисунками внутри, но растрепанная петушиная голова торчала над этим оплотом целомудрия. Ты дурашливо улыбался и никак не мог приступить к делу. Она поняла и отвернулась. Благодарный, энергично стянул с себя мокрые трусы, положил их вместе с майкой на угол кабины. Она спокойно взяла их и пошла к морю — полоскаться...

Солнце в стеклянном куполе. Красные, синие, желтые шапочки. Ты есть и тебя нету — таешь, как сахарная вата. Ну, Рябов!

7

— Прошу прощения.— Братец? Аудитория дружно поворачивается к двери.— Разрешите, Станислав Максимович?

Такого он еще не откалывал. Пожимаешь плечами:

— Пожалуйста.

Кажется, трезв — и на том спасибо. Близоруко сузив глаза, обводит взглядом аудиторию — место ищет. Борода а-ля Хемингуэй. Грубошерстный черный свитер под подбородок — цитата из того же источника. За кого приняли его студенты?

Помешкав, пристраивается за вторым столом — сзади все занято.

На чем ты остановился?

«Повышение производительности труда жестко связано с ростом оборудования и его более интенсивной эксплуатацией. Как следствие

этого увеличивается доля ремонтных рабочих, что неминуемо снижает производительность труда...»

Пришел на день рождения звать. Или пятерку перехватить до четырнадцатого.

«Возьми, но ты обратил внимание на странное совпадение: мы никогда не видимся с тобой по четырнадцатым числам?» Братец полагает, что за ненадобностью ты складываешь ассигнации ровными пачками в ящик для белья.

— На первый взгляд мы зашли в тупик, из которого нет выхода. Но выход есть, причем я не имею в виду метод поузлового ремонта и уж тем более стендового. Методы эти прогрессивны, но мы еще недостаточно богаты, чтобы внедрять их, так сказать, массовым тиражом. Оборудования не хватает, это наше узкое место, и, по-видимому, в ближайшие годы — самые ближайшие — мы эту проблему не решим. Как быть? Нельзя ли повысить производительность ремонтных работ без дополнительных капложений? Как в цирке: ничего — и вдруг курица. Из воздуха. Можно! И секрет тут прост: централизация ремонтного хозяйства.

Исподволь задеваешь братца взглядом. Преувеличенно сосредоточенное лицо, складка между бровями. Видишь, с каким уважительным интересом внимаю я тебе, мой младший брат? Хотя, если начистоту, ни черта-то не смыслю я во всей этой галиматье. Но ради нашего семейного престижа я обязан до конца выдержать роль. Оцени и подкинь пятерку до четырнадцатого.

— Вы думаете, начальники цехов с восторгом примут идею централизации? Вряд ли. Они будут отмахиваться от нее руками и ногами. Посудите сами. Сейчас все ремонтники у начальника в кармане, он распоряжается ими как бог на душу положит. Аврал с планом — на аврал, нужно достать что-то в соседней области — в соседнюю область толкачом. При централизации это исключено. Необходим ремонт — будь добр, пиши заявку главному механику, тот выделит тебе людей, и ты заплатишь за все по счету, копейка в копейку. Строгий внутривладельческий расчет — без этого централизация ремонтной службы теряет всякий смысл.

Самый раз привести пример с бассейном, но ты мешкаешь. Вдруг братец поморщится — это волнует тебя?

«Все плаваешь? Хочешь жить долго? Ну-ну... Шатун тоже хотел, за бутылкою побежал, да взял и окочурился.»

Потому и окочурился, что за бутылкой. И не одну ведь, не две — сколько вылакал их за свою жизнь! — а когда пожелтели глаза и отвезли в больницу, где и суток не протянул, ахнули: вчера ходил еще!

«Не пьешь, не куришь, в бассейне купаешься. Не изменяешь жене. Хоть бы один недостаток — все достоинства!» Братец устроил процесс над тобой, узурпировав права обвинителя. На каком основании, интересно знать?

«Камень преткновения при хозрасчете в ремонтных цехах — учет...» Сказал или только собирался? Сосредоточься, отложи свой бунт против братца хотя бы до конца лекции. *«Учебник рекомендует систему внутривладельственных цен, но на практике этот способ не оправдал себя...»* Нельзя так. Ты помнишь, что значил для тебя учебник в студенческие годы?

— Кое-кто считает возможным оценивать объем работы по плановым ценам. Теоретически это выглядит весьма привлекательно, но попробуйте осуществить такой учет на практике. Он сложен и трудоемок, поскольку требует различных оценок одних и тех же объектов. Более прост котловой способ, о котором мы уже говорили, но при нем невозможно установить, чем вызваны те или иные перерасходы. Уже одно

это обстоятельство исключает использование котлового способа при хозрасчете.

Семь минут, успеешь. Но ведь ты еще собирался вычертить на доске схему позаказно-нормативного учета. Необязательно. Если принцип поймут — схему сами составят.

...Звонок, но никто не встает, ждут, пока закончишь. Доволен? Продемонстрировал братцу власть над аудиторией?

— При определении фактической цеховой себестоимости общезаводские расходы не раскидываются механически по цехам. Если, скажем, завод уплатил неустойку, то выясняются виновники и сумма штрафа целиком ложится на этот цех.

— А если виновны несколько цехов?

Вопрос после звонка — лучший дифирамб лекции.

— Тогда на несколько цехов.— Смеешься, разводишь руками: это же так просто!

Поднявшись, к выходу течет аудитория. Медлишь, пропуская студентов. На братца не глядишь, но каким-то образом угадываешь, что свитер а-ля Хемингуэй тоже плывет к двери. Аудитория — не место для личных разговоров. Тактичность прорезалась в братце в канун тридцатилетия.

«Так ты в Крыму был? Один?» «Почему — один? Без жены, но это не значит, что один. Крым, знаешь, не слишком располагает к одиночеству». Для чего? Кассационная жалоба на обвинительный приговор братца? «Не пьешь, не куришь, не изменяешь жене».

Ждет в коридоре у окна. Приближаешься, растянув рот в улыбке.

— Благодарю. Ты очень мило держал себя.— Весенний свет слепит тебя, и ты не слишком хорошо различаешь лицо брата.

— Я не должен был заходить? — Кажется, потяжелел взгляд.

— Напротив. Спасибо за посещение! — Становишься боком к окну. Что с тобой, Рябов? Неужто волнуешься? Неужто так важно тебе его мнение о лекции — мнение человека, который ни черта не смыслит в экономических вопросах?

— Давно мечтал увидеть тебя в этой роли.— Пристальный, с хитринкой взгляд: я насквозь вижу тебя, мой милый, — тебе не терпится узнать, что думаю я о твоей лекции.

Ничуть не бывало! И вот доказательство, которое ты с ухмылочкой предъявляешь:

— Ну и как? — Теперь видишь, сколь безразличен я к твоему мнению, если так откровенно спрашиваю о нем.

— Отлично,— не спуская с тебя взгляда, отвечает братец.— Как все, что ты делаешь.

Скалишь зубы.

— Я ведь не претендую на большое.

Широкое лицо каменеет. Молча и медленно отделяется от окна. Следуешь рядом.

Намек на несостоявшуюся карьеру художника усмотрел братец в твоих словах? Или это ты и имел в виду?

— Сюда,— подсказываешь ты, ибо, кажется, братец намерен проследовать мимо лестницы.

«Хотя я и твоя мать, я не собираюсь, да и не имею права принуждать тебя. Ты бросил институт, поскольку быть преподавателем черчения не прельщает тебя. Что ж, это твое дело. Возможно, у тебя есть талант художника, я не разбираюсь в этом, но я знаю другое. Жить, не служа обществу, то есть не работая, имеют право лишь инвалиды, старики и дети».— «Я работаю с утра до вечера».— «Но если общество не оплачивает твой труд, значит, оно не нуждается в нем».— «В Ван Гоге оно тоже не нуждалось. За всю жизнь он продал лишь одну картину».—

«Ты берешь от общества все, взамен ему не давая ничего». — «Ты хочешь сказать, я у тебя беру все? Хорошо, больше не буду».

Хлеб, сгущенка, чай. Разгрузка вагонов — раз в неделю. Хлеб, чай, маргарин. «Спасибо, я сыт». Глаза опущены. Длинные вздрагивающие ресницы. «Не хочу, я уже завтракал».

Поворачиваешь голову. Грузно спускается, не касаясь перил, — ступенька за ступенькой. Пожалуй, лишь это и осталось в нем без изменений — длинные, как у ребенка, ресницы.

— Пардон! Оденусь только.

Ни слова в ответ и даже размеренного шага не замедляет — простить не может «претензии на большое»? А вот твоя нехудожественная натура безропотно сносит его затянувшееся обвинение. В ранг высшей судебной инстанции возводят себя неудачники: мы честны и бескорыстны — именно потому ничего и не добились в жизни. Логика лентяев!

Никого на кафедре, лишь лаборантка Нина грустно зябнет у окна, за которым капель и солнце. Но сюда не проникает весна, здесь тихо, пасмурно и пахнет валокордином.

Пузырек в маленькой твердой руке директора кондитерской фабрики. Отвернувшись к окну, капли считает — беззвучно, выцветшими глазами. «Ты переутомляешься, Шура. Так нельзя. — Всерьез озабочен здоровьем жены диктор областного радио. — Счастье — понятие отрицательное. Отсутствие болезней и угрызений совести. Так Толстой считал». «Нет, Максим, это понятие положительное. Налей мне воды».

Угрызения совести... Маме неизвестно, что это такое. Мама не рефлекситрует. Компромисс и мама — понятия несовместимые. И тем не менее дай бог тебе так твердо стоять на ногах, как стоит директор лучшей в зоне кондитерской фабрики. А цена? Цена, спрашиваешь ты. Гипертонические кризы... Впрочем, еще неизвестно, фабрика ли довела до них своего директора, сумасбродства ли первенца. Попробуй вынести, обладай ты хоть какой волей, если твоя кровинушка, плоть от плоти твоей, изматывает себя непосильным трудом на железнодорожных станциях, а все питание — хлеб с маргарином!

— Видели Архипенко? — Рукой придерживает на груди пуховый платок.

— Увы! И сегодня уже не увижу.

Как отражение в воде, зыбко и прозрачно бледное лицо. Станислав Максимович! Я не имею права задерживать вас, но вы так нужны ему. *«Серьезно? Передайте ему, что до декабря я не собираюсь за границу. А дома у меня нет марок».*

— Он ждал вас. Хотел с вами часами поменяться.

— Филателистические замашки.— Снимаешь пальто с вешалки.— Баш на баш?

Не забыть надеть завтра шарф Марго. «Чтобы сделать удачный подарок, надо любить этого человека». Излишне обобщаете, тетя. Марго преисполнена ко мне материнских чувств, но посмотрите на этот шарф!

— Ему понедельник нужен.

Кому, Архипенко?

— Понедельники всем нужны.

Не пригласит на день рождения — явишься сам, плотно закутав профессорским шарфом израненное самолюбие. Должен же присутствовать кто-то из семейного клана!

— Уступите ему, Станислав Максимович. У него неприятности.

— Бедный доцент! А если я поменяюсь с ним часами, неприятности исчезнут?

Слабая улыбка. Все шутите, Станислав Максимович!

— Жена на него жалобу написала. В партком.

В удивлении замирают твои бегущие по пуговицам пальцы. Полный, тихий, с печальными залысинами. Читая лекции, ни на мгновение не отрывает от конспекта выпуклых очков.

— За что? Зарплату пропивает?

«Станислав Максимович... Вы меня извините. Если вам представится возможность, привезите из Югославии марок...»

— Вы разве не знаете? — недоуменно изогнулись над небесными глазами тонкие брови. — Он на нашей студентке женился.

Мешковатый костюм, грязью обрызганы стоптанные башмаки. «Расскажите о Югославии. — За толстыми стеклами выпученные скорбные глаза. — На Адриатическом побережье были? Это, должно быть, изумительно».

— Лихо!

— Она на пятом курсе учится. Кончает в этом году.

Ярко-красные губы на полном лице. Животик. Сорок? Сорок пять?

— Любви все возрасты покорны. Потомство есть у него?

— Сын. В армии служит.

«Спасибо за марки. Очень ценные. Я не знаю... Мне стыдно предлагать вам деньги. Может быть, я смогу что-нибудь сделать для вас?»

— А она? Его юная супруга?

— Ее я мало знаю. Она на технологическом. У нее преддипломная сейчас.

Гмыкаешь.

— Красивая дама?

Слабо пожимает плечами под пуховым платком. Худое болезненное лицо. Ты хам, Рябов, — ей ты не имеешь права задавать такие вопросы.

— Ничего... У нее диабет, говорят.

«Я так испугалась за тебя. Решила, у тебя судорога».

— Кажется, в мае переизбрание?

...Объявляется конкурс на замещение вакантной должности...

— В том-то и дело. Полтора месяца осталось.

Сострадание в голосе: переживаю я за него, Станислав Максимович, хороший он человек, доцент Архипенко.

Полтора месяца... Неужто подождать не мог?

— Страсть овладела человеком. — Протягиваешь руку, чтобы снять с вешалки мохеровую шапку — гордость твоего гардероба. Но, оказывается, она на голове уже. — Роковая любовь.

— Он очень порядочный. — Печальны небесные глаза. — Я прошу вас, Станислав Максимович.

— Ну, раз порядочный, пусть берет мой понедельник. Это ведь один раз только? Он больше не собирается жениться?

— Нет. — По-птичьему склоняет набок простоволосую голову. Шутник вы, Станислав Максимович. Но я знаю, вы добрый. — На среду или на пятницу? Когда вас больше устраивает?

Пятница... Что-то было у тебя в пятницу.

Солнце в стеклянном куполе. Разноцветные шапочки. Тасшь, как сахарная вата. Не в субботу в Жаброво — в пятницу, день за свой счет. Глупости!

— Мне все равно. Узнайте, когда ему удобнее, — я позвоню.

— Спасибо. — Благодарность в светлых глазах.

— Привет! Передавайте доценту Архипенко мои поздравления.

Улыбается, кутает плечи в пуховый платок. «Слышали? Профессор Александр женится на лаборантке Нине с кафедры экономики».

Быстро идешь по коридору, в окна глядишь — в одно, другое. Братец где?

«Важные дела задержали?» Злые сузившиеся глаза. Под бородой желваки ходят.

Студенты с непокрытыми головами — поодиночке, группами. А брата не видать. Ушел? «Я не хочу, чтобы мне дважды повторяли, что я ем чужой хлеб».

«Послушай, старик, так нельзя. Я говорю сейчас с тобой не как отец — как товарищ. Как мужчина с женщиной». — «Не надо, папа. Я знаю, что ты хочешь сказать. Прекрати комедию и ешь с нами — так ведь?» — «Ты огрубляешь. Жизнь сложна и причудлива...» — «Я все понимаю, папа. Пусть это комедия, но я не желаю, чтобы мне дважды повторяли, что я ем чужой хлеб». — «Мать не так сказала». — «На тебя я не сержусь, отец. Ты добрый малый и мой товарищ по несчастью. Пошли замажем! Мы вчера втроем разгрузили вагон — у меня чемодан денег».

Стоит у дерева, курит, глядя перед собой. Кажется, ты преувеличил его самолюбие. Разве он уйдет, если ты нужен ему? «Дед, я знаю, я должен тебе кучу денег, и мне страшно неудобно снова просить, но... пятачку, до четырнадцатого».

Бесшумны твои замшевые туфли на толстом каучуке. Тихо оставливаешься рядом. Забыто дымится сигарета, взгляд неподвижен. Что приковало его? Спекшийся грязный снег — останки снежного человека, месяц назад возведенного на перемене двадцатилетними дитя-тями?

Сооружение из планок и вошеной бумаги — в центре комнаты на месте мольберта. «Что это?» «Не узнаешь? — Улыбка гения, сотворившего шедевр. — Змей». «И что он здесь делает? Позирует тебе?» — «К старту готовится. В субботу первое испытание. „ТАИТИ-1“». — «Что олицетворяет это название?» — «Остров, на котором жил Гоген». — «А! Он что, тоже змеев строил? Гоген?» — «Гоген был великим художником».

Вздрагивает, поворачивается, хотя, кажется, ты не произвел ни звука. Воспаленные глаза.

— Освободился? — Голос глух.

— Я — да. — «А ты? Обдумываешь картину под названием «Агония зимы?»» — Но я могу подождать. — Простодушно улыбаешься.

Молчит, тушит сигарету о дерево — та сыро шипит. Рядышком идете. Потертое холодное пальто — и зимнее и демисезонное одновременно. Плащ и по совместительству шуба. «Чтобы сделать хороший подарок, надо любить этого человека. Позвони мне сегодня после трех».

На улицу выходите с институтского двора. Капает с крыш на универсальное пальто брата, на обнаженную голову — но что ему подобные пустяки? О судьбах мира мыслит.

Ну нет, пальто — слишком. Покушение на семейный бюджет, оплот любви и взаимопонимания.

«Расскажите мне о Югославии, Станислав Максимович. На Адриатике были? Это, должно быть, изумительно». Вытаращенные детские глаза за стеклами очков. Ты так и не узнал, сколько ему лет. «Сын в армии служит». Сорок пять, не меньше.

Клокочущий мутный поток устремляется в решетку на мостовой. Выбрызгивая фонтаны из-под колес, проносится «Волга». Девочки взвизгивают — преувеличенно громко, чтобы мир знал: вот они! Отскакивают, придерживая подошвы руками. У тебя рот до ушей, братец же наблюдает молча и опытно. Закуривает.

«Поздравляю. Первый солнечный день, а ты уже загорел. Не в Крыму ли?» — «Именно там. Южный берег». — «У тебя условный рефлекс — во всем первым быть. Даже в загаре». Что ж, ты примешь

это как должное. Как справедливое возмездие за «не претендую на большое».

Замечательное изобретение — табак. Смотри, какой глубокий смысл придает сигарета его долгому молчанию. Твое же выглядит невежливым и глупым.

Темная кухня, окно. Отблеск фары на черных стеклах соседнего дома. Усмехаешься.

— Вчера я пожалел, что не курю.

Первым таки нарушил молчание. Условный рефлекс — во всем первым быть.

Брат поворачивает голову на короткой шее — тяжело и отрешенно. В каких высоких сферах витали его мысли? Позабыл, должно быть, что ты рядом, и теперь это неприятно удивило его.

— В чем же дело? Кури.

«Случилось что-нибудь?» — «У меня? Напротив, все отлично. В Крыму был — субботу и воскресенье. Прекрасно провел время». — «Один?» — «Что?» — «В Крыму, говорю, один был? Без супруги?» — «Без, но... но не совсем один.»

Среди луж и сырости проталины сухого тротуара — солнце выпарило. Ты аккуратно ступаешь по ним, братец же в своих потрескавшихся кораблях шпарит напропалую. Плотно сжатый рот, ноздри широкого носа ритмично раздуваются. «Разрешите, Станислав Максимович?» Смирение и учтивость. И получасу не прошло, а от Хемингуэя, который весело вошел в аудиторию, не осталось и следа. Резкие перепады настроения — признак природы нервной и тонкой. Восхитись же, Рябов-младший, восхитись, книжный червь! — тебе недоступны ни эти стремительные взлеты, ни бездонные падения, от коих захватывает дух.

— Чему смеешься? — подозрительно-мрачно.

— Я? — Всего лишь неосторожно гмыкнул, а братец из-за своей обостренной восприимчивости — еще одно свидетельство природы нервной и тонкой — принял это на свой счет. — Весна! Весной пахнет.

Солнце мокро поблескивает в густых длинных волосах — следы капли. Не ранняя ли седина укрепила природную неприязнь братца к головным уборам?

— Ты свободен вечером?

«Тогда приходи в семь к Тамаре».

— Завтра?

— Сегодня. Сейчас. — Неудовольствие: братец не любит, когда его не понимают с полуслова.

«Я тебе нужен?» — «Надо поговорить». — «Слушаю». — «Ну не здесь же...» В кафе, за бутылкой шампанского. Иная обстановка не располагает художника к откровенности.

Новая женитьба? Крупная сумма денег — не до четырнадцатого, бессрочно? «Не беспокойся, я отдам. Я все свои долги записываю». Где, интересно? Не на чистом ли холсте — перед тем как класть на него краски?

«Я хотел у тебя узнать... Если я приглашу на завтра стариков, они пойдут? Вернее, если ты пригласишь их от моего имени?»

Будь реалистом, Рябов! — этого тебе не услышать никогда.

«Не волнуйся, мама, я больше не переступлю порога этого дома. Этого склепа. Домá для живых, мертвецы же обитают в склепах». Ни слова не проронила в ответ мама, лишь выше подняла голову, но то был не жест гордости — другое, и тщетно пыталась многоопытный администратор закамуфлировать это надменностью, которой в ней отродясь не водилось.

— Есть женщина, которая хочет познакомиться с тобой. — Сухо и в лоб. Очередная попытка братца подорвать твою нравственность?

— Ей понравился мой профиль?

«Хотите, я познакомлю вас с моим младшим братом? Кандидат наук, известный экономист, читает лекции в политехническом, автор блистательных статей, остроумен, щедр, прекрасно воспитан, одевается по последней моде, чемпион области по боксу, и при всем том ему еще нет тридцати».

— Который час? — Размеренная твердая походка. Я помню, что часы на руке, но я слишком погружен в размышления, чтобы отрываться и смотреть.

— Двадцать две минуты пятого. — Ты предельно точен.

«Между прочим, в субботу я опять еду на экскурсию». — «Куда?» — «В Жаброво. Есть такая точка на карте».

— Я должен позвонить до пяти. Если вечер у тебя свободен.

— Позвони, — разрешаешь ты. Почему бы и нет?

Вторник, среда, четверг, пятница... Ты распутник, Рябов.

— Я вчера из Крыма прилетел.

Повернувшись, прошупывает тебя взглядом — будто все, что ты делаешь, нечисто и он, твой старший брат, видит тебя насквозь.

— Командировка?

— Экскурсия. Самолет — автобус — самолет. Пользуйтесь услугами Аэрофлота!

Почему — распутник? Ты ведь знаешь, что ничего не будет между тобой и женщиной, которой понравился твой профиль. «Пardon, но я уже занят. Меня ждут». — «Где, позвольте узнать?» — «В Жаброво. Есть такая точка на карте». И тем не менее ты пойдешь с братцем. Ты ничего не станешь добиваться — если угодно, пусть добиваются тебя. Элегантен и неприступен будешь ты. Не надеть ли тебе лайковые перчатки, Рябов?

— Ларка тоже ездила?

Оскаливаешься.

— Зачем?

Глаза чуть сужаются, а под ними — мешки. Припухли и слизисто блестят толстые веки. Валидол в кармане.

— Ломаю голову, что преподнести тебе завтра. Тамара нынче утром прочла мне на эту тему популярную лекцию.

Ах, как непринужден и беспечен ты! Хемингуэй заинтригованно вглядывается в тебя: что с его братом?

«Станислав! Ты нетрезв?» Полночь, нетронутый кефир с крапинками влаги, мама в стеганом халате. Кто посмел совратить моего ребенка? «Дыхнуть, мама?»

— Когда ты был у Тамары?

— Я же говорю: сегодня утром.

Не витают больше мысли братца — здесь они, на земле, рядом с тобою.

— До работы, что ли?

— Лужа, — говоришь ты и показываешь глазами.

Хемингуэй игнорирует предупреждение. Экая важность, лужа! С младшим братом что? — вот главное. Настойчив и остр его взгляд. Ты дурашливо улыбаешься. Воспаленные глаза еще сужаются. Добрый смех сбегает по добрым морщинкам в добрую бороду.

— Ты с кем ездил?

Озарение художника. Вот таким я тебя люблю, проказник! Люблю и благословляю как старший брат. Наконец-то нарушил обет верности!

Лицо твое плывет, как масло на сковородке.

— Один.

Разумеется, он не верит тебе. У тебя отличный брат, капитан!

— Ты вчера прилетел? — Сопоставляет и высчитывает. Неужели? Стало быть, и ты — по моим стопам! Давно пора.

— В двадцать два тридцать. Время московское.

Ты весь как на ладони. Не угодно ли спросить еще что? Угодно, но зачем, я и так все понимаю. Я ведь художник, а творческие натуры — люди пронизательные.

Телефон-автомат. Свежевыкрашен — весна.

— Так я звоню?

— Разумеется! — С полуслова понимаете друг друга — как никогда.

Шаришь по карманам в поисках двушки. Брат ждет, удерживая расплзающиеся довольные губы, а когда протягиваешь монету — не берет, молча отворяет дверь кабины.

— Осторожно, — предупреждаешь ты, веселясь. — Окрашено.

Через плечо взглядывает на тебя. Это ты мне говоришь, что окрашено? Художнику? Но тоже весело — красно-синий мячик летает между вами, кружась. Журчит вода, девушки смеются, в доме напротив распахнуты окна. Солнечный блеск стекол. Гудки машин, где-то наяривает музыка. Солнце в стеклянном куполе, разноцветные шапочки — синие, красные, желтые. По телу вода стекает. Ты есть и тебя нету. Нечто бело-розовое искрится, тает, шекотно и нежно растекается по горячему языку. Запах углей и жареного мяса. В вышине горы белеют.

Растрепанная записная книжка. Мусоля палец, переворачивает разбухшие страницы. Заботливо прикрываешь дверь кабины. Набирает номер. Предельно собрано бородатое лицо, словно цифры, которые он трогает толстым пальцем, — живые существа.

Полумрак зимнего вечера, пылающая плита, отблески огня на красном лице мальчика. Откинув голову — жаром пышет плита, — мешает вытянутой голый рукой в алюминиевой кастрюле. На узкой кушетке — его младший брат, укрыт ватным одеялом. Почему, больной, лежишь не в комнате, а на кухне? Теплее? Или не хотел оставаться один, пока старший подогревает жидкую манную кашу? Горло заматано чем-то колючим и жарким, глазам больно, а в теле озноб. Тяжело прикрываешь горячие веки. Дрова трещат. Известью пахнут свежевыбеленные стены.

Набрал номер, ждет, сдвинув брови, одна опалена. Что-то долго не отвечают, но тебя не волнует это. Нынче вечером собирался прочесть наконец брошюру Александрова. «Станиславу Рябову от автора, который глубоко верит в ваш мощный и мужественный талант».

«Вы слышали, профессор Александров женится на лаборантке Нине». Еще немного, и ты поверишь в этот бред.

«Сын в армии служит». Детские вытаращенные глаза за толстыми стеклами. «Нудный, как доцент Архипенко». Кажется, ты готов пересмотреть свое отношение к доценту?..

Ответили. Складка между бровями углубляется, борода вскинута — Андрей Рябов разговаривает с женщиной.

Странник с посохом, за спиной — мольберт, высокомерно оглядывает двоих, что приветствуют его смиренно и почтительно. Вызывающе задрана острая бородка. Лишь его фигура смеет отбрасывать тень — двое других и собака не удостоены этой чести. Великий человек перед ними!

Братец не забрал с собой эту репродукцию — с год еще висела над бывшей его кроватью, до первого ремонта.

Переговоры затягиваются. Отворячиваешься — для тебя это не

столь важно. «ПЕЙТЕ ТОМАТНЫЙ СОК!» Белозубая девица во всю стену с красным бокалом в руке. Работа братца? *«Впечатляющая вещь. Правда, лично я никогда не пил томатный сок из бокала. Или вы таким образом рекламируете заодно и шампанское?»* Не надо! Будь великодушен — он твой брат, он заботится о твоём досуге и к тому же завтра ему исполняется тридцать. Нужно щадить самолюбие творческого человека.

«Здравствуйте, господин Курбе!» — так называлась репродукция. В страннике с посохом художник изобразил себя — надо думать, он не страдал гипертрофированной скромностью. Лишь пес глядит на него без должного подобострастия — вот что значит не разбираться в живописи!

— Все о'кей!

У братца приподнятое настроение — не портить его томатным соком в бокале. Он отпустил тебе твои грехи — вернее, ты сам искупил их своей крымской фривольностью.

— Куда пойдем? У меня двадцать рублей с собой...

— У меня есть деньги.

Что? Скорей сгони удивление со своего вытянувшегося лица, сделай вид, что не произошло ничего сверхъестественного.

— Как зовут мою даму?

— Лариса. Немецкий язык в школе преподает.

— Удобное совпадение.

Братец не сразу понимает тебя.

— А, тезки. Она знает, что ты вчера должен приехать?

Теперь ты не понимаешь.

— Я и приехал вчера.

— А она знает? Или ты так и сказал, что у Тамары ночевал?

Вот за что отпущены тебе твои грехи! Братец переоценил твои способности.

— Я не ночевал у Тамары. — Почти каешься, но у тебя есть смягчающее обстоятельство. — У нее другой человек ночевал.

Воспаленные глаза глядят на тебя серьезно и с недоумением, твои же невинны, как голуби.

— Куда мы идем? — интересуешься ты.

Бабушка в длинном, до пят пальто продает подснежники. Ласково ловит взгляд — почему твой, а не твоего импозантного спутника? Ты жизнерадостно глядишь сквозь нее.

— У Тамары был кто-то?

— У Тамары никого не было. Но это мы исправили. Я попросил ее приютить на ночь одну мою знакомую. Так куда мы идем сейчас?

Почему-то на твой лоб смотрит братец. Ощеривается. Мелкие попорченные зубы. Как низко пал ты в его глазах!

— Мы ко мне идем. Мне переодеться надо.

А я-то думал, ты стал наконец мужчиной! Обрадовался. Ни на что ты не способен, братишка, кроме как считать коэффициенты. Жаль, жаль. Очень жаль мне тебя.

— Там плакат висит: пейте томатный сок. Между прочим, он возбуждал во мне жажду. Сок в бокале! Стакан показался художнику прозаичным?

Мелочишься, Рябов. Не стыдно?

— Это где мы звонили? — Рассеянно. — Дикая мазня! Я говорил на собрании.

Гмыкнув, с возросшей бдительностью выбираешь каучуковой подошвой сухие островки на асфальте.

Грязным дерматином обита дверь, из дырок и дырочек лезет пакля. Братец сопит и шарит по карманам. Ключ — символ суверенности. «Для меня главное — отдельный вход. И еще свет, конечно». Два неперемennых условия, предъявляемых им к своей берлоге. Художник — существо вольное. Кто смеет посягать на его право возвращаться домой когда и с кем угодно?

— Входи.

Полумрак. В нос кисло шибает запах мокнувшего белья. Старательно вытираешь ноги о бывшие штаны. Облезлый рукомойник, под ним широкий цинковый таз. В мыльной воде плавают выжатая лимонная долька. Чистое ведро на табурете прикрито задубевшим холстом. Почему бельем пахнет? Насколько ты помнишь, у брата никогда не было прачечных склонностей. Кособокий веник, дрова, блюдец с молоком.

— Еж все еще живет у тебя?

Тетюньки уподобляешься, демонстрируя знание подробностей? Год не навещал брата, но ведь это ерунда, раз ты помнишь все.

— Егор Иванович? — А вот имя запомнил. — Скрипим помаленьку.

Сует ногу под табурет — хочет представить тебя Егору Ивановичу? Звяканьем откликается подтабуретное пространство. Бутылки? НЗ на случай суровых времен?

Распахивает дверь в комнату. Яркий дневной свет. Много воздуха, плавательные дорожки, тренерша в красном костюме с белой полосой. Гора холстов на массивном гардеробе — отвергнутые шедевры. Краской пахнет.

Ржавые качели. Группа утомленно порасселась на низких длинных скамейках, экскурсовод не спускает глаз с шоссе — где автобус? Окна общежития, приютившего вас на ночь, распахнуты: полы красят. Ты и девочка из Жаброва стоите в стороне, отдельно от всех. Что-то неприятное было там. Что?

— Проходи.

Диван с неприбранной постелью. Древесным жучком изъеден стол, но зато — старинный, на гнутых ножках; с размахом, надо думать, жили люди. «Он изобретатель. Самоучка, семь классов образования, но голова — золотая». Нет, это на предыдущей квартире. О нынешних хозяевах ты не слыхал ни слова.

Модель крейсера на тумбочке. Пылью покрылась полировка.

— Что не раздеваешься?

Снимаешь пальто, оглядываешься, ища вешалку. «ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА». Какой странный вид у стюардессы! Эскиз рекламы? Братец берет у тебя пальто, уважительно вешает на гвоздь, вколоченный в боковину шкафа. Свое на диван бросает.

— Садись.

Мешкаешь — краской заляпан канцелярский стул с ободранной спинкой. Улучив момент, рукой проводишь по сиденью. Устраиваешься на краешке.

Блеклая мимоза в бутылке из-под молока — забытый неким посторонним лицом знак мужского внимания. Живописный творческий беспорядок — посторонних лиц, надо полагать, он тонизирует.

Запах краски поослаб. Или привыкать начинаешь?

Что неприятного было там? «А тебе? Что досталось тебе?» «Старая занудливая скряга, именуемая памятью, а еще молодая, но подающая надежды лысина». Медленно поворачивается, смотрит так, что все сдвигается в тебе и плывет — вниз, вбок... И все-таки что-то неприятное было.

Книга на столе — «ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ». Открываешь наугад. Четыре коричневые женщины в неестественных позах, в нелепом одеянии, на фоне расплывчатых пятен, означающих, по всей видимости, кусты и деревья. Груды обвисли, лица топорные и бесстыдные. И это тоже нравится брату? Лично ты предпочитаешь «Боярыню Морозову» Сурикова.

— Пиво будешь?

Два граненых стакана, на вид — чистые.

— Если угостишь.— Не прозвучало ли обреченности в твоём голосе?

Бутылка без этикетки. О стул открывает. Легкий сизый дымок — симптом свежести или наоборот? Профан ты в пиве, Рябов!

Вот что было там неприятным — вся группа вместе, а вы в стороне, у ржавых качелей, обособленно от остальных. Спиною, всем телом ощущаю на себе насмешливые взгляды. Ей же — хоть бы хны, и это придавало тебе мужества. Скалил зубы, беспечно рассуждая о чём-то, а сам напряженно прислушивался: не идет ли автобус? Это-то и было неприятным. Какая разница, что подумают о тебе люди, которых ты никогда не увидишь больше! К свободомыслию располагает жилище брата.

Тебе льет? Еще немного, и пена полезет через край. Не останавливай, пусть! Вылакаешь до дна, показав себя удалым парнем. Ковбоем с Дикого Запада... Лариса, немецкий преподает. Что ж, ты не так уж плохо владеешь этим языком. Сдавая минимум, единственный из всех аспирантов обошелся без единого русского слова.

Братец залпом осушает стакан. Полуприкрытые глаза, длинные, очень длинные ресницы, слегка загнутые на конце. Кадык ходит под задранной бородой. Бр-р! Не подавая виду, старательно дуешь на пену, ждешь, пока осядет. А вот ковбой не брезгает погружать губы в это живое ноздреватое месиво.

— Ты чего? — Еще мгновенье, и братец заподозрит тебя в немужественности. А ведь ты и так упал нынче в его глазах.

— Пью.

Горьковатая жидкость с помойным запахом — каким варварским вкусом надо обладать, чтобы выстаивать за этим зельем длинные очереди! Но мужская солидарность превыше всего, и ты пьешь не морщась, ты наслаждаешься, ты ставишь ополовиненный стакан не потому, что на большее у тебя не хватает мочи, а чтобы продлить удовольствие.

Ржаво скрипят петли — братец окно открывает. Холодильник между рамами. Какая новая отравка в этом комке промасленной бумаги? Держись, Рябов,— готовится очередное покушение на твой несчастный желудок. Разворачивает. Сгорбленные ломтики сыра — останки последнего пиршества. Настоянная поэзией и страстью богемная жизнь. Вежливо берешь кусочек.

Фотография дочери — на стене, на самом видном месте, аккуратно приклеенная изоляционной лентой. «Машку я люблю. Когда вырастет, все объясню ей. Она поймет». — «Ребенку не объяснения нужны, а забота». — «Нет, мама, ребенку любовь нужна. Любовь! Ты не понимаешь этого. Я говорю страшные вещи, но это правда — ты не понимаешь. А для Машки я делаю все, что в моих силах. Но лгать я не намерен — даже ради нее. А если я останусь с ее матерью, это будет ложь. Сплошное каждодневное вранье. Неизвестно, что хуже для ребенка».

Взгляд твой не задерживается на фотографии, хотя, если разобраться, при чем тут твоя дочь — это во-первых (да и откуда ты взял, что у тебя будет дочь — дочь, а не сын?), а во-вторых — что мо-

жет быть естественней твоего интереса к племяннице? Ты даже осведомляешься:

— В школу в этом году пойдет? — А сам исподтишка съешь сыр под газету.

— На будущий.— Лаконично и отрывисто. Это слишком свято для меня — моя дочь, и поэтому прошу: не лезь.

Ради бога! Неторопливо отхлебываешь пиво. «ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА». Асимметричные, неправильной формы крылья.

— Ты уверен, что этот аэроплан взлетит? — Не дразнишь, нет, просто интересуешься — неотъемлемое право всякого дилетанта.

— Он уже летит.

Твой брат сошел с ума. Поворачиваешься и с любопытством глядишь на него.

— Новый тип самолета? Летит, не отрывая шасси от земли?

Игнорирует — весь там, в шедевре. Губы плотно сжаты.

— Это очень хорошая работа.— Протяжный вздох. Как мне жаль тебя, мой младший брат! Хорошо, я растолкую тебе популярно. — Можно нарисовать самолет в воздухе, но лететь он не будет. Картина не должна вонять моделью, она должна пахнуть ею. Это некто Ренуар сказал. Здесь передано движение. Внутренняя энергия, которая отрывает машину от земли.

Грустно мне, Станислав. Все же ты мой родственник, а так непросто туп.

Благоваришь улыбкой. В отношении самолета тебе понятно.

— Я слышал, при отборе стюардесс учитывают внешние данные. Ты убежден, что твоя кандидатура пройдет конкурс?

Братец с кривой усмешкой отворачивается от шедевра, стягивает, кряхтя, свитер. Что спорить нам? Заранее согласен я с любой твоей ересью, только, ради бога, замолчи, не мучай меня своими вульгарными замечаниями.

— К тому же,— не унимаешься ты,— ей не хочется лететь.— Достанет ли у него силы воли не обзывать тебя кретином в своем собственном доме? — Мне кажется, она думает не о полете, а о том, что забыла выключить утюг.

Ты закончил. Ты обреченно берешь свой ополовиненный стакан. Мутные потеки на внутренней стороне стекла, но — надо пить.

— Как ты сказал?

Что означает этот тон? Эта замершая коренастая фигура со свитером в руках? Угроза применения силы? Уж не забыл ли он в приступе авторского самолюбия, что ты был финалистом областного первенства по боксу? Не чемпионом, как любит аттестовать тебя твой старший брат, а всего лишь финалистом, да и то среди юниоров, но этого вполне достаточно.

Ты миролюбиво улыбаешься. На нем розовая майка. Или не розовая — грязная?

— Я ведь дальтоник,— оправдываешься ты.

— Ты гениально сказал! Ты понял самую суть вещи. Ей действительно не хочется лететь, она думает о своем, о своих земных делах. Что утюг забыла выключить — об этом, может. Не знаю о чем. Важно другое. Ты помнишь Светку? Или ты не знал ее? Светку-стюардессу, с Сашей Бараненко летала?

Можно временно отставить стакан.

— Не помню Светки-стюардессы.

— Я писал ее. И страшно хотел передать это ее выражение. Надо лететь, надо улыбаться пассажирам, конфеты разносить, а на душе — пакостно. Совсем другое на душе.

Пластмассовый стаканчик с минеральной водой. «Пожалуйста, — галантно протягиваешь ты своей тогда еще безымянной спутнице, но она отрицательно качает головой, будущая девочка из Жаброва, и тогда ты предлагаешь: — Может, сладкую?» Самому смешно: Станислав Рябов в роли дамского угодника. «А есть?» Стюардесса терпеливо ждет с подносом в руках. Вытянув, как гусь, шею, находишь чашечку с лимонадом. Осторожно берет двумя пальцами, на указательном — стрелка пореза в слабой желтизне йода.

— Это невероятно трудно: на душе кошки скребут, а ты обязана быть веселой и приветливой. У Лотрека это здорово передано в его певичках.

В иллюминатор косо бьет солнце, разъединяя ее брови на отдельные волосы. Не смотрит на тебя, но ты угадываешь: помнит, все время помнит, что ты — рядом. Или это последующие события отбросили ложный и значительный блеск на те первые минуты?

— ...Никак не получалось. Поймать выражение не мог. Пять или шесть эскизов сделал, я тебе покажу. Потом плюнул и вместо портрета за рекламу сел. Тут-то и понял, чего не хватало, — контраста! Самолет — это движение, сгусток энергии, и этой энергии надо подчиниться. Нельзя не подчиниться. Она подчиняется, но только внешне, на душе у нее совсем другое, ты правильно сказал. Видишь, сейчас она улыбнется. Ей необходимо улыбнуться! Самолет взлетит, а она улыбнется. Это самое трудное: поймать не момент, а его преддверие, за секунду до. Не важно до чего: до крика ужаса, до смеха, важно — до! Тут цвет колоссальную роль играет. Линией так не передать, как цветом. Не цветом даже — оттенком. Оттенок — это предчувствие цвета. — Умолк с растопыренными волосатыми руками, вслушивается — в себя или кто входную дверь открыл? — Как здорово я сказал: оттенок — это предчувствие цвета!

Не верит, что это он сказал. Подтверди.

— Это ты сказал. — Тебе не надо чужих лавров.

— Что?

Ты хам! Брат выкладывает перед тобой душу, а ты скоморошечьи шелкаешь ее по носу. Интересно, есть ли у души нос?

— Я слушаю. — Серьезно и внимательно и даже слегка киваешь, подтверждая. Что? Не важно. Главное, подтверждая.

Цвет, оттенок, линия... Неужто и впрямь не понимает он, что для девяноста девяти процентов все это просто слова?

— Сезанн мечтал выразить цветом черное и белое. Цветом! Хотя черное — это отсутствие цвета.

Сезанн, Тулуз-Лотрек и как его? — бросаешь взгляд на книгу — «ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ». Накладные расходы человечества. Однако ты не собираешься утверждать, уподобляясь классическому образу технаря, что можно обойтись без них. Напротив!

«Технический прогресс влечет за собой рост накладных расходов — это неизбежно, и именно поэтому проблема управления производством становится в наши дни все актуальней...» Жаль, не довел до конца эту мысль! Автоматизация производственных процессов должна идти параллельно с автоматизацией процессов управления производством — как ты мог не сказать этого! Кто-то из студентов вопросом сбил.

— Динамика — в стремлении, и это надо передать цветом. Посмотри на небо, оно у меня не зеленое, оно как бы хочет стать зеленым, стремится к этому. Еще чуть-чуть — и станет. Я страшно долго бился над этим. Самолет взлетит, девушка улыбнется, а цвет неба станет чистым. За секунду до!

Волосы на груди — густые, курчавые, жесткие. Предмет мужской гордости. Завидуешь? «Женщины так и норовят дотронуться — будто

случайно». Загадочная женская душа! Орангутангом бы стать — отбою от поклонниц не будет.

Умолк — вдруг, на полуслове. Что-то спросил, а ты не соизволил ответить?

— Извини, я слушаю.— Весь внимание. Авось братец простит тебе недопитое пиво.

— Слушаешь! — Обнаженные в грустной усмешке почернелые зубы. Не над тобой смеюсь — над собой: перед кем распинаюсь! — Ты ведь не разбираешься в цветах.

На землю свалился со своего зеленого неба.

Беспомощно разводишь руками:

— Но при всех своих пороках зрения я вижу, что это не голубое, а зеленое.

— Не зеленое! В том-то и дело, что не зеленое, а только хочет стать зеленым.— На грани отчаяния. Как можно не понимать такого! — Хочет! В этом все дело.

— Понятно. Вот только почему оно хочет стать зеленым, а не голубым?

Братец перестал выворачивать свитер.

— Как?

Все ясно, ты сморозил чушь. По-видимому, ему еще не приходилось слышать такой чистопородной глупости. Что ж, неси дальше свой крест, расписывайся в махровой своей невежественности.

— Я, конечно, дальтоник — во всяком случае, окулисты утверждают это, — но тем не менее я почему-то склонен считать, что небо у нас голубое. Прости меня.

Братец понял. Братец вновь принялся выворачивать свитер.

— Небо может быть разным. Розовым, желтым, голубым, зеленым.— Скучно стало художнику Рябову — разве это собеседник! Экономист с засушенной душой. Производное от цифр. Чудовище! Видимо, тебе все же до дна придется лакать это зеленое зелье с прожилками осевшей пены. Или не зеленое — голубое? — Над Мелеховым всходило черное солнце. Черное!

Как свитер, который братец, аккуратно сложив, бросает на диван с неприбранной постелью. Сдавайся, Рябов-младший, — классиков мобилизует в союзники.

— На какой улице собираются повесить это?

Смирение в твоём голосе — публично признаешь себя болваном.

— Это? Ни на какой. Я даже заканчивать не стал. Разве такое повесят у нас! Небо должно быть синим, стюардесса — жизнерадостной, а самолет — летящим.

Это уже не в твой адрес. И то хорошо. Напряги и ты воображение, бодни рекламных начальников.

— Вывешивают же томатный сок в бокалах.

Братец электробритву берет. А ты полагал, борода исключает бритве.

— Разве только это! Белозубые красавицы со стеклянными глазами. Художественное панно! На всех площадях висят. Ренуара человек видит раз в жизни, ну два, три или даже ни разу, а это — каждый день. Утром, днем, вечером. Привыкают. Ренуар после этого мазней кажется.

О как! Worse, оказывается, не томатный сок рекламирует братец — просвещает массы эстетически. Куда тебе до него со своими локальными проблемами внутрихозяйственного расчета!

Тулуз-Лотрек? Он сказал «Тулуз-Лотрек», или ты ослышался?

— ...А у нас брезгуют. У нас это не считается искусством. Брезгуют и не умеют.

Жужжанье. Приподняв ладонью бороду, толстую шею бреет. Ат-

лет! Но ты знаешь, как обманчива его борцовская внешность — ни силы, ни физической выносливости в этом мешке с мясом.

— Ты сказал что-то о Тулуз-Лотреке?

«*Завтра увидишь его в широком ассортименте*». «Знакомый букинист сделал. Он грезил этим альбомом». Сюрприз любимой тети.

— Я сказал, что он был мастером рекламы. Реклама прославила его. До этого его знали лишь избранные. Ну, какие избранные — такие же кутилы, как он. Потом на улицах Парижа появилась реклама Мулен-Руж — и все ахнули.

— А,— произносишь ты и понятиво наклоняешь голову. Спрашиваешь невинно: — Крамской тоже был мастером рекламы?

В сторону бритву, долой. Глаза сужаются. Пигмей, как смеешь ты при мне позволять такое!

— Когда ты пытаешься иронизировать над тем, в чем ни черта не смыслишь, ты выглядишь дураком.

— А,— произносишь ты и понятиво наклоняешь голову.

— Крамской, Рафаэль, Тулуз-Лотрек — для всех них главным было одно: чтобы их работы народ видел. Рафаэль капеллы расписывал, Крамской колесил с выставками по России, Лотрек рекламы писал.— «*Пожалуйста, не размахивай включенной бритвой — это опасно*». Попрдержжи язык, иначе вы поссоритесь и ты не увидишь прекрасную Ларису, которой понравился твой профиль.— Меня всегда бесит, когда ты начинаешь рассуждать об искусстве. Даже не бесит — поражает: неужели ты не чувствуешь своей ущербности?

Спокойно, Рябов. Обрати внимание, как надрывно жужжит на холостом ходу бритва.

— Ты бы выключил. Электроэнергию надо беречь.

— ...Не чувствуешь, что мир красочней, ярче, душистей, чем ты видишь его? Ты хотя бы подозреваешь это? Ты умный человек, ты должен если не видеть, то хотя бы подозревать.

Отхлебываешь пива. Странно, но ты не заметил, как оказался в руке стакан с этим изысканным напитком.

— Моя ущербность, если я правильно понял твою вдохновенную речь, заключается в том, что я не могу отличить Ван Гога от Гогена. Кто, кстати, из них гениальней? Каюсь, не могу. Но скажи мне, пожалуйста, из чего складывается национальный доход? — Бритва вновь по шее ползает, по одному и тому же месту. Я не желаю слушать подобную галиматью! — Или какая разница между основными и оборотными средствами?

— Мне это ни к чему, я не экономист.

— А я не художник.

— Ты дальтоник. И не только зрением — во всем.

Благоваришь улыбкой.

— Если никто в стране не отличит Ван Гога от Гогена...

— То никто не помрет, ты это хочешь сказать?

Снова долой бритву. Решил посостязаться с тобой на полемическом поприще? Ну что ж...

— Именно это. Общество не перестанет существовать. Что-то потеряет, не спорю, но погибнуть — не погибнет. А вот если ни одна душа в стране не будет знать, из чего складывается национальный доход или как образуется себестоимость, государство рухнет. Ты бы все же выключил бритву.

— Ты хочешь сказать, людям жрать надо? — Сейчас бить начнет.

— В общем-то, у меня есть такое подозрение.

— Но и стаду овец надо жрать. Ты обыватель! Только не квартирный, не тот, что заботится о домашнем уюте — хотя и тут ты не упустишь своего, — у тебя размах шире. Глобальный обыватель. Дай

тебе волю, ты засадил бы человечество в теплую комнату, на мягкий диван и потчевал бы его до отвала. Глобальный обыватель — я страшно точно сказал. — Даже бритву выключил: решил в тишине насладиться собственным глубокомыслием.

— Благодарное человечество поставило бы мне памятник.

— Тебе?

— Да, ибо, по данным международной организации Красного Креста, миллиард людей на сегодняшний день голодает.

— Тебе плевать на этот миллиард. На все плевать. Возможно, ты принесешь людям пользу, не знаю, но если тебя припрет, ты пойдешь на все. Хотя ты, конечно, чистюля и предпочитаешь без крайней необходимости не марать руки. Выгодно! — чистыми руками больше загребешь. — Спокойно, профессор. Обрати внимание, какие длинные у него ресницы. — А на миллиард тебе плевать. Если тебе до лампочки один человек, вот хотя бы эта стюардесса, которой плохо — ты задумался, почему ей плохо, что случилось у нее? — то тебе и на миллиард плевать. Человечество нельзя любить оптом.

Еще один афоризм. Братец в ударе нынче.

— Мы не опоздаем?

— Твоя беда, что ты вообще никого не любишь. Никого! Даже себя. Если вдруг ты потерпишь крах.. Не внешний, нет, этот ты не потерпишь никогда. Другой! Если это случится, ты не сможешь даже убить себя. Чтобы покончить с собой, надо хоть немного любить себя.

Выпей еще. Вот так. Может, хотя бы это реабилитирует тебя в глазах брата? Не любишь себя, зато любишь пиво.

Бритьё возобновлено. Отбой, братец удовлетворил потребность обличать зло. Я неудачник, да, я ничего не достиг к тридцати годам, но я горжусь этим! «Вот ты... ты задумывался когда-нибудь, почему тебе так везет?» Намек на тайную ложь и скрытые подлости. «Золотой ключик у меня в кармане». Художник Рябов невесело улыбнулся. Ему жаль своего младшего брата — рано или поздно ему придется поплатиться за все.

Бритьё завершено, радио включает — во избежание невежливой тишины? Спасибо, но тебе не скучно, ты наслаждаешься шедеврами «ГОГЕНА В ПОЛИНЕЗИИ».

...ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫПУСКА В РЕДАКЦИЮ ПРИХОДЯТ ТЫСЯЧИ ПИСЕМ. НАРЯДУ С ОТВЕТАМИ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ НАМИ ВОПРОСЫ МЫ НАХОДИМ В НИХ ВСТРЕЧНЫЕ...

На часы глядишь. Через семь минут — местная трансляция, голос диктора областного радио ворвется в эфир. Не потому ли включил? Пу-повину рвать не хочет?

Приторный запах цветочного одеколona — на «Шипр» денег нету? Преподнести «Шипр» завтра — подарок, прямо пропорциональный его братской привязанности к тебе.

Осматриваешься — чем бы пиво запить? Ведро в коридоре, но не лакает ли из него еж Егор Иванович?

Модель крейсера. Неряшливая, приблизительная работа — вершина судомоделирования, которую покорила будущий художник Андрей Рябов. Мидель явно заужен — по-видимому, братец спутал середину судна с талией женщины. Или слишком рано для тринадцатилетнего мальчика?

Рубанок, стамески, пахнет стружками и столярным клеем. Брошюры — с обложками и без, замусоленные чертежи. Многочасовые бдения над верстаком в сарае. «Дай! Подержи! Принеси! Живее, ну!» Младший брат не протестовал — иначе ведь и не обращаются с подмастерьями. Торжественное поднятие флага на фок-мачте. И сразу же заложен фрегат, но лишь остов корпуса вырезан — на большее не хватило тер-

пения. Новая страсть у мастера: шахматы. Облезлая шахматная доска извлечена из дивана. Не все фигуры — пусть, есть пуговицы, есть катушка из-под ниток, которая, если вымарать ее чернилами, вполне сойдет за черного коня.

Фрегат заканчивал подмастерье. Мастер посмеивался: сколько ужающей инерции в младшем брате! Шахматы — вот единственное достойное мужчины занятие!

Не спеша переворачиваешь плотные страницы. Аляповатые искаженные фигуры — опыты ребенка с красками. Можно представить, какая отчаянная скука терзала господина Гогена в его Полинезии. Миллиард людей голодает на планете, а взрослые мужчины транжирят жизнь на раскрашивание картинок.

«Тебе плевать на этот миллиард». Тебе, не ему! Слезами исходит от жалости к полуголодному человечеству. Выкатившись из глаз, в бороде застревают блестящие капли.

«Сыночек! Что же ты наделал с собой, сыночек!»

Тебя поразило, что у Шатуна, оказывается, есть мать. Да и не такая уж старая... К сроку добралась со своего Урала и еще успела продать кольцо — единственное, что было у нее, — чтобы хоть как-то помянуть пусть спившегося, но сына. «Послушай, может, дать ей денег?» «Как ты смеешь! — Слезы в бороде — так растрогало горе матери. — Она сына хоронит. Сына — понимаешь?» Соседки, однако, оказались не столь впечатлительными. Шушукаясь и суетясь, скидывались кто сколько может. Братец не замечал этой пошлой возни. Возвышенной жалостью к несчастной старухе пылала его отзывчивая душа. «От нас двоих», — шепнул ты соседке. Разделение труда: пока братец оплакивает горе, ты пытаешься горю помочь.

«Ты мертвец. Живой мертвец! В тебе нет недостатков — ты убил их, но заодно ты убил в себе душу. Чтоб не обременяла». «Ты хочешь сказать, я недостаточно сентиментален?»

«Приветик! Не ждала? Полагала, я не настолько старомоден, чтобы переться бог знает куда для продолжения заурядного курортного флирта!» «Честно сказать, я не думала, что вы приедете. — Домашний халат: суббота, на работу не идти. Или в Жаброве и по субботам рабоботают? — Сразу нашли?»

«Простите, где живет Зина Дмитриева?» Женщина с коромыслом. Подозрительный взгляд из-под низкой косынки: что за фронт в смехотворной шапочке? «Фельдшерница-то? Вон дом, у колодца». Забыв о ведрах, долго глядит вслед.

Братец, расщедрившись, подливает пива. Твоя рука вздрагивает, инстинктивно пытаешься защитить стакан, но ты благоразумно удерживаешь ее на «ГОГЕНЕ В ПОЛИНЕЗИИ». Цени! — наступив на трепещущее самолюбие, художник первым делает шаг к примирению.

— Спасибо. Себе оставь.

Брюки уютжит. Выйдет холеный и надушенный, неся перед собой хемингуэевскую бороду.

Скомканная грязная простыня, конфетные обертки на полу. Из коридора кислым бельем несет.

«Экономисты на производстве нередко выполняют роль бутафоров. Со стороны глянешь — все считается, учитывается, взвешивается — словом, вполне грамотное современное предприятие. Но копните глубже — и перед вами предстанет хаос. Ни конца, ни начала. Такое предприятие напоминает человека, который, как денди лондонский, одет, но дома у которого грязь и беспорядок...» Непременно использовать! Возможно, популяризация чрезмерная, но для областной газеты, если ты правильно понял их, требуется именно это. К пятнице закончить...

Переворачиваешь плотный лист. Что за высокомерный тип с азиатскими глазами? Император Японии на своем троне? «ГОГЕН В ХАРАКТЕРНОЙ ПОЗЕ, МЕЖДУ ДВУМЯ ВАЖНЫМИ ПЕРИОДАМИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ. ОН ТОЛЬКО ЧТО ПРИБЫЛ ИЗ БРИТАНИИ».

Император Японии! Актер... Как и твой братец, начитавшийся романов из жизни великих людей. Вечный маскарад, спектакль перед самим собой, ширпотребная трагедия. «Три кита, на которых держится мир, сын мой! Поэзия, любовь, работа. Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ты унаследовал мою душу, Станислав».

Я унаследовал твои торчащие уши, папа, а душа и все прочее досталось художнику. Но душа — бог с ней, жаль шевелюры, которой я весьма кстати замаскировал бы свою лопухость.

...ПРИНЯТИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОИСК РЕЗЕРВОВ...

Москва все еще. Двадцать семь минут шестого. Выпорхнет через три минуты.

«ЖЕНЩИНА, ДЕРЖАЩАЯ ПЛОД». Цветистое полотнище понижее пупка. Левая грудь целомудренно покрыта грушей — или что это у нее? Все же японский император не так непристойен, как гений рекламы.

С трудом стягивает брюки на толстом животе. Трикотажная рубашка мышинного цвета — чтоб реже стирать? Светлые пятна под мышками — пот выел. Рубашку ты и подаришь ему — белую, из чистейшего нейлона. Размер — сорок третий. Именно сорок третий — в отличие от мамы ты помнишь это твердо.

Не мелочись, Рябов, мама тоже помнила. «Я просила сорок первый, а продавщица... Там такой галдеж стоял». Когда видел ты директора кондитерской фабрики в таком смятении? Кончик носа порозовел... Ну что ты, мама! Я верю, что ты ошиблась, что ты покупала рубашку мне и думала при этом обо мне, а вовсе не о нем, своем непутевом первенце. Словом, оговориться ты никак не могла и сказала «сорок первый», а не «сорок третий», рассеянной же продавщице слышалось: сорок третий. Или, может быть, кто-то сзади тебя сказал «сорок третий», а продавщица решила — это ты, и завернула тебе. Все в порядке! Я обменяю ее на сорок первый или... Нет, что ты, я вовсе не собираюсь отдавать ее своему неблагодарному брату, я имею в виду другое. Когда-нибудь я, может, тоже нальюсь до сорок третьего, и тогда твой подарок будет мне в самый раз. К этому времени они наверняка снова войдут в моду. А пока пусть полежит. Не переживай, мама, твоя принципиальность и твоя воля вне подозрений. Ты ничем не скомпрометировала себя: братец по-прежнему убежден, что у него нет матери. Это ничего — ведь у него есть няня, человек великой души.

— Поля тебе носки передала. Я оставил у Тамары.

Недоумение. Даже рубашку перестал заправлять.

— Какие носки?

— Подарок няни своему мальчику в день тридцатилетия.

Что он хочет высмотреть в тебе? Собирается сказать что-то, но нет, раздумал. Туалет продолжает. Но почему так медленно? И почему — сопя?

— Я свинья. Забыл пригласить ее.

Гмыкаешь. Уникальный случай: братец недоволен собой.

...ЧАСОВ ТРИДЦАТЬ МИНУТ. ПЕРЕДАЕМ ОБЛАСТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ.

Здравствуй, папа! На секунду замирает рука, расчесывающая бороду, — только на секунду, не более. Может, и без папы не состоится юбилей? В долгой войне сына с директором кондитерской фабрики диктор занимал благородный нейтралитет.

— Полшестого только. Успеем к Поле забежать,

Без энтузиазма встречаешь это решение свыше. «Стасик, ты? Господи, я и не узнала. Ну, как ты живешь? Статью твою в газете читали». — «Спасибо». — «Это Стасик, вы разве не помните? В семнадцатой квартире жили. Сын Александры Ивановны, на кондитерской фабрике работала. А отец на радио объявляет. Диктором».

...ОСУЩЕСТВЛЕН РЯД КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ И РАЗВИТИЮ...

— Как он там? — На динамик кивает. — Рыбалит все?

В бороду от сузившихся глаз сбегают добрые морщинки — повеселел. В предвкушении паломничества на родной двор?

— Во вторник двух карасей принес. Или лещей, что ли. — Ты знаешь, что лещей (с карасями их даже ты не спутаешь), но тоже спешешь продемонстрировать свое ироническое отношение к предку. — Сам чистил, сам жарил.

Замерла протянутая к шкафу рука. Ждет, что еще скажешь.

— Он все так же по вторникам выходной?

— Вроде бы.

Завтра вторник. «Последний раз на подледный схожу.. Три божества, которым ваш отец всегда поклонялся. Ну, еще, может, рыбная ловля».

Дверца шкафа визжит, как трамвай на повороте. Вероятно, братец умышленно не смазывает ее: трамвайный визг напоминает ему детство и милый двор, куда вы отправитесь сейчас приглашать на день рождения старую няню.

Ненароком внутрь заглядываешь. Коробки, соломенная шляпа, шахматы — памятник еще одной рухнувшей иллюзии: чемпионом мира другой стал. Приспособленцы!

...ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ В КОЛЛЕКТИВЕ ПОЛУЧИЛА ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ТОКАРЯ МАТЮШЕНКО...

Смех. Быстро и удивленно взглядываешь на брата.

— И жарит, значит, сам!

— По три часа от плиты не отходит. Хобби!

Исчерпан конфликт — полное перемирие. Мальчики традиционно подтрунивают над папой.

Братец готов. Захлопываешь «ГОГЕНА В ПОЛИНЕЗИИ», встаешь. Из-под дивана интеллигентно выглядывает еж. Как жизнь, Егор Иванович?

«В субботу в Жаброво еду. Не слышал такого?» «Ты? Зачем?»

Ему бы она понравилась. Или не очень? Пытаешься увидеть девочку глазами брата, но — странное дело! — пальто видишь (приталенное, рябенкое и ярко освещено вспыхнувшим из морской черноты прожектором), видишь воздушный шарфик в горошек, а девочки нет. Нет, и все тут. Старая скряга память, что с тобой?

— Потопали? — предлагает хозяин, демонстрируя тем самым братское равноправие.

Он душист и наряден. Ты мешкаешь у стакана с недопитым пивом — вылить и вымыть бы, но, по всей вероятности, это не в традициях дома — убирать посуду. Выходишь первым,

Голубятня, песочница посреди двора, бабушки с колясками. «Победа», цепью прикованная к столбу. Со временем дядя Петя получит за нее кругленькую сумму. Не как за средство передвижения — как за музейный экспонат, сохраненный в идеальном состоянии. За рулем дядю Петю ты не помнишь — лишь под машиной и около.

Умолк и подобрался братец: воспоминания нахлынули. Все как шестнадцать лет назад. Милый, милый двор! Как много и проникновенно написано об этом чувстве—не испытывать его просто неприлично.

Пять минут седьмого.

— Где мы встречаемся?

Братец трудно возвращается в сейчас из милого, милого далека.

— Что? — Безрадостное возвращение.

— Я спрашиваю, где встречаемся с дамами.

Морщится. Не понимаю, как можешь ты в такую минуту думать о ерунде.

— Извини, пожалуйста. Я помешал тебе.

В усмешке кривятся толстые губы. Какой же ты циник, мой младший брат!

Лидия Павловна... С клюкой, а все равно бежит — разучилась спокойно ходить за семь десятилетий. А может, за восемь?

«Мальчики, где тут у вас зубной врач живет?» — скомканный носовой платок у щеки.

— Здравствуйте, — внятно выговариваешь ты, а братец молчит, но шаг замедляет.

— Здравствуйте, Стасик! — бодро, звонко. Над коричневым личиком, сухим и сморщенным, как гофрированная бумага, парит гордая шляпка. — Навестить нас?

Преглупо улыбаешься, и вот вы уже стоите друг перед другом.

— Как живете, все хорошо? — В сторону брата сверкают из гофрированной бумаги живые и быстрые глаза. Тот загадочно молчит, с трудом сдерживая готовые расплзтись толстые губы. Не узнаете, Лидия Павловна? Меня — и не узнаете?

— Спасибо, — благодаришь, — хорошо.

Кивает удовлетворенно. Клюка нетерпеливо отрывается от земли — Лидию Павловну пациенты ждут. Вот уже семь десятилетий как они ждут ее. Или даже восемь.

— Здравствуйте, Лидия Павловна, — отдельно, глухо, выжидательно.

Взгляд-прыжок. «Лидия Павловна себе на уме. — Поля все о всех знала. — Дома-то если лечишь — налоги плати, а она так...»

— Андрюшка!

Расплылся. О бороде говорит Лидия Павловна — то ли возмущается, то ли восхищается. Из-за бороды не узнала... Не торопится более — подождут пациенты.

— Ну как ты, что ты? Сколько не видела тебя! А мне ведь говорили, что ты бороду отпустил.

Ты неприкаянно улыбаешься, с интересом изучаешь серебристые завитки каракулевой шубки.

Сколько еще остановок до конечного пункта — оранжерейной Полиной комнаты? «Андрей, ты! Андрюшка! Андрюха!» Ты был тих, а братец уже тогда самоутверждал себя разнообразно и шумно. Разбитые мячом окна, оборванная слива в палисаднике Матюхина, побег из дому, костер из стружек в подвале — душою всех этих мероприятий был, разумеется, твой старший брат. Негодование, восторг, сочувствие — какая бесконечная гамма чувств у соседей! Он похищал их душевную энергию, а люди по натуре своей скупы; не мудрено, что они запомнили твоего старшего брата лучше, чем тебя, — ведь ты не брал у них ничего. К тому же ты удачлив, здоров, перспективен, у тебя красивая жена и ты не платишь алиментов, а что может быть слаще жалости к ближнему! Упитья широтой своей души, ее чуткостью и изысканным благородством, а заодно еще раз убедиться в несокруши-

мом своем благополучии: у вас хуже, чем у меня, но я не думаю об этом — ваше горе разрывает мне сердце. Экое деликатесное чувство возбуждает братец у окружающих — как после этого не любить его!

— Хорошая бабка.

— Кто, зубной врач?

— Мы всегда с нее начинали, когда собирали на что-то. На волейбольную сетку, помню, двадцать пять рублей дала. По-старому.

Мерило человеческой добродетели. А впрочем, ты и сам терпеть не можешь сквалыг — жадность, на твой взгляд, вскормлена отсутствием чувства юмора.

Кто-то еще шествует навстречу, но тебе незнакомо это рыбе лицо с желтыми бакенбардами. Благополучно разминулись.

Вам направо, но братец замедляет шаг, издали глядит на бывшее ваше парадное. Ушедшее навсегда босоное детство... Косишься: не блестят ли слезы в бороде? Ба, да он недоволен чем-то, он хмурится! Что смело омрачить радость свидания? Заинтригованный, прослеживаешь за его взглядом. Что-то изменилось там, но никак не понять, что именно.

— Сливу срубили, сволочи!

Яма, лопата, тоненькое, прислоненное к стене деревце — будущая слива. Диктор областного радио вдохновенно руководит посадкой. Га-лоши на домашних тапочках.

На святыню посягнули! Выкорчевали дерево, которое сажал сам Андрей Рябов! Сопит, страдая.

«Ты походя делаешь несчастной свою дочь: отнимаешь у нее отца. Хотя бы в этом ты отдаешь себе отчет?» — «У нее будет отец». — «Раз в месяц или в лучшем случае раз в неделю, по воскресеньям. Ты считаешь это нормальным детством?» — «У нас не лучше было. Мы тебя сутками не видели — ты не выходила со своей фабрики». — «Тогда другое время было». Мама права: другое время, другая фабрика. «А ты? Ради чего ты жертвуешь счастьем своего ребенка? Чтобы похоть удовлетворить? Мне стыдно, что ты мой сын».

Бедное деревце! Терпеливо ждешь, пока братец оплачет его. Отвернулся, угрюмый, двинулся к Полиному подъезду. Ветер седеющую гриву развеивает. Ты семенишь рядом — педант, сухарь с пластмассовой душой, неспособной пожалеть невинное дерево.

Общая кухня, огромная и мрачная. В тазу на примусе кипятится белье. Фикус в кадке с ржавыми обручами — Поля из комнаты выставила? Братец стучит костяшками пальцев, не ждет, в нетерпении дергает дверь. Любимец старой няни, разве не имеет он права без разрешения вламываться к ней в любое время суток?

— Кто там? — скрипуче, досадливо: я никого не жду — оставьте меня в покое.

— Я, Поля. Открой.

Гейзером извергается радость за дверью. Звяканье и скрежет за движек, ключей, цепочек. Твоего «я» было бы явно недостаточно, принялась бы с подозрением уточнять, кто именно скрывается за ним.

Дверь распахивается — спешит няня. Кошка выныривает из-под кривых ног в вылинявших чулках, но в замешательстве замирает: люди. Поотвык, поотвык от цивилизации зверь.

Занавесочки, зелень, цветы в горшках. Пахнет незрелыми помидорами. Диктор областного радио с лейкой в руках. «Люблю в земле копать. Природа!»

Неспешно и снисходительно шествует братец по комнате. Хозяин! Торопливо прикрыв дверь, няня тянется следом — мимо тебя, не глядя на тебя.

— ...Не заходишь и не заходишь. Я уж думаю, случилось что. Сегодня утром Стасика видела — все в порядке, значит.

«Ты мертв. Ты и страшен, потому что ты мертв».

— Жив курилка!

Няня вздрагивает, оборачивается. Разглаженное сияющее лицо. Я и позабыла о тебе, Стасик, а ты вот он, оказывается.

— Проходи, что же у порога? Проходи.

— Прохожу, — заверяешь ты, не двигаясь с места, но няня верит тебе на слово. Ты получил свою порцию радушия. Располагайся, как тебе угодно, занимай сам себя. Хочешь — вздремни на кровати рядом с кошкой, которая, выходит, так и не покинула комнату, или это другая? Можешь в платяной шкаф спрятаться. *«Ку-ку, я тут»*.

Заложив руки за спину, разглядывает братец портрет няни. Работа четырехлетней давности, начало эпохи бездомности. Разумеется, он и сейчас мог жить здесь, но куда в таком случае водить поклонниц своего самобытного дарования?

Няня хлопчет. Ты снова попадаешься ей на глаза, и она гостеприимно затаскивает тебя в глубь комнаты. Видишь, как ты несправедлив к ней — она и тебя любит, а уж об уважении и говорить не приходится. *«Стасик-то большим человеком стал. Ученый. У него голова... Ах, какая голова у него!»* Гордится тобою старая няня. Андрюша любит, а тобой гордится. Дифференциация чувств. *«Дальнейшее развитие организации управления производством немислимо без строжайшей дифференциации»*.

Братец приближается к кадучке с лимоном, почтительно трогает крохотный, как грецкий орех, темно-зеленый плод. Няню волнует, что он до сих пор не снял пальто — неужто бежать собирается? А пастилла? А клубничное варенье — немного осталось, я приберегла! Знает старая няня, чем соблазнить бородатого мальчика.

«Надо не грызть его, а сосать. — Мелкие, острые, неровно наколотые кусочки сахара на газете. — Вон как Стасик сосет. А ты грызешь. Так быстро и удовольствия нету».

Кажется, братец так и не освоил эту премудрость — спрятать за язык колючий поначалу кусочек и, лелея, бесконечно долго выкачивать из него сладость.

«Господи, мать на кондитерской фабрике работает, а дети сладкого вдоволь не видят. Слишком уж честная».

Так как же пастилла и клубничное варенье? Молящий взгляд устремлен на брата: я прошу тебя, Андрюша, это быстро, мои старые руки уже наготове и вздрагивают от нетерпения, разреши им — и они мигом извлекут все из шкафа.

— В другой раз, Поля. Мы спешим. Ты ведь знаешь, зачем я пришел к тебе.

— Нет... — Взгляд хочет удрать, но братец, умудренный психолог, насильно удерживает его.

— Завтра в семь у Тамары. Ты поняла меня?

— Завтра? — Взгляд убегает все же, а сизые губы беспомощно чмокают в поисках слова. — Завтра... Так чего же я? Там вся молодежь, а я чего? Только веселью вредить.

— Не говори глупостей!

О как! Учись разговаривать со старушками, если хочешь, чтобы и тебя потчевали клубничным вареньем. «Бедокур! Такой бедокур — спасу нет».

— А как же...

Что-то мучает ее, но выговорить не решается. Кошка встает на

кровати, лениво восходит на подушку, прикрытую ажурной накидкой, ложится.

Что терзает няню?

«Давайте рассчитаемся, Полина Михайловна. С первого октября вы свободны, но мы оплатим вам еще две недели. Компенсация за отпуск. Максим Алексеевич, и я, и, разумеется, дети очень признательны вам. А это вам на память от нас». — «Спасибо... Но я... я хотела сказать, что если вам... Что мне можно меньше платить, если...» — «Вы неправильно меня поняли, Полина Михайловна. Мы отказываемся от ваших услуг не из-за денег. Просто дети выросли и надобность в домработнице отпала». — «Да... Я понимаю... Я... Я на сто пятьдесят рублей согласна. Питание и сто пятьдесят рублей. Как же я без них-то?» — «Будете видаться — ведь мы пока живем в одном дворе. Вы нам очень помогли, и мы благодарны вам, но теперь, я полагаю, вам лучше пойти на производство. Там вам будет лучше. Здесь в вашем труде нуждались лишь четверо, на производстве же таких людей будет много. Вы сразу почувствуете себя иначе. Если хотите, я возьму вас на фабрику. Уборщицей, на полторы ставки».

— Ты чего? — Братец тоже заметил страдания няни.

— А как же я... Я не знаю, чего подарить.

— Так ведь ты подарила уже. Ему передала. — Кивок в твою сторону, и ты расцветаешь от этого «ему», как тюльпан под солнцем.

— Но как же я... Все с подарками, а я так.

Это уж ты виноват. «Сами завтра отдадите, он всегда приглашает вас». Напористости не хватило. Братец на твоём месте бесцеремонно сунул бы носки — и что там еще было в целлофане? — в ее древнюю сумку.

Забыл о пальто, которое начал было застегивать, забыл, что пора идти, — на няню глядит сузившимися глазами. Вот так смотрит художник на свою модель: изучающе, проникновенно, с восторженным недоумением. Ты напоминающе хмыкаешь. Братец шагает к няне, ладонями касается старушечьих плеч.

— Не выдумывай. Завтра в семь. Где там у тебя пастила?

Враз о всех сомнениях позабыла — вспорхнула, к шкафу бежит. Кошка заинтригованно подымает голову. Ты презираешь сладкое, но и ты берешь пастилу — иначе вам сегодня не выбраться отсюда. Дисциплинированно проглотив рыхлую липкую массу, платком вытираешь пальцы, выходишь первым, предоставив художнику право один на один расправиться с вазой.

Над примусом с бельем высится шофер Осин. Скалка в вытянутой руке — помешивает, далеко назад откинув голову.

Сверкающий черный «ЗИС» с начальственным номером. «Ну-ка лезьте, у кого ноги чистые, — до ворот без остановки». Давка, ругань, визг, смех — работая локтями, подрастающее поколение штурмует флагман отечественного автомобилестроения. У тебя не было оснований считать свои ноги грязными, но ты никогда не принимал участия в битвах за место в лимузине — издали без зависти наблюдал за баталиями.

Без зависти?

У шофера Осина профессионально цепкий взгляд: пар глаза выедает, а заметил-таки тебя, поворачивает крупное лицо добросердечной лошади. Здравоваешься.

— Привет! — рочет в ответ виртуоз баранки и обнажает в улыбке великолепные желтые зубы.

— Проведать зашли, — киваешь на дверь няни. Хоть ты и скучал в стороне, когда бушевали сражения за место в машине, трудно без слов профланировать мимо бывшего соседа.

Вот именно — скучал. Стало быть, не было зависти.

— Как жизнь? — философски интересуется он, но работу не прекращает.

— Течет.

— Все течет, все меняется? Андрей как? Что-то я давно не видел его.

— Сейчас увидите.

Шофер Осин замедляет вращательные движения. Шофер Осин совсем прекращает их.

— Он тут?

В числе первых прорывался братец в автомобиль — как не ценить его хотя бы за это?

— Он тут.

Наружу вылезает распаренная скалка. До белья ли, когда сам Андрей Рябов соизволил навестить родной двор! А вот и он — царственно возникает в проеме распахнутой двери. Здравствуй, господин Курбе!

Ветошью не глядя вытирает огромные руки мастер баранки. Обниматься будут? Нет, рукопожатие, долгое и прочувствованное.

— И не зашел стервец, а!

Не могут налюбоваться друг другом.

— Я на минутку, дядь Леш. Честное слово!

За спиной брата розовеет старая няня — не нарадуется на любовь, какую возбуждает у народа ее первенец.

— Зайдем, а? Лида хоть глянет на тебя. Мы как раз вспоминали вчера о тебе. Она расстроится: был и не зашел.

Скалишь зубы. Бедная Лида!

— Мы горопимся.

Братец великодушен: «мы».

С досадой взглядывает на тебя ас. Сейчас последует новое приглашение: шофер официально объявит, что о тебе тоже вспоминали вчера с супругой Лидой.

— Две секунды, а?

Первозданная... Нет, первобытная, пещерная искренность. Я не приглашаю тебя, но позволь заграбастать на пару секунд твоего старшего брата. Не обессудь: я человек простой — что на уме, то на языке.

Цветешь. Пожалуйста, дядя Леша, пожалуйста, ас, пожалуйста, виртуоз и мастер, человек простой. Слышите, как браво стучит мое сердце — за брата радуется.

Лицо добросердечной лошади говорит тебе что-то, ты согласно киваешь, и лишь после проступают слова:

— Может, тоже заглянешь?

Вот и тебе перепало от соседской любви.

— Спасибо, воздухом подышу. Весна!

Капель, пустые деревья. Празднично — ах, как празднично горит крыша под заходящим солнцем. Что ни черепица, то маленькое зеркальце. Небо высоко и много воздуха. Землей пахнет.

Как же страшно было Шатуну — лежать и знать уже трезвому: все, конец, больше никогда не выйдешь отсюда!

Почему прозвали его Шатуном? Длинное и безволосое, с тяжелым подбородком лицо... Длинные, с огромными кистями руки... Или оттого, что шатался, как медведь, в поисках недостающих копеек? Сколько раз подстерегал тебя у подъезда, и ты торопливо лез в карман, торопливо выгребал мелочь. А может быть, фамилия — Шатунов?

— Здравствуй, Стасик. — Женщина с ведром, полным картофельной кожуры и жестяных банок. — В гости?

Ощерешься:

— Милый сердцу уголок.— Как зовут ее?

«Куда вы, тетя? Андрей Рябов в этом доме. Спешите видеть!»

«Господи, он ведь знал, что умирает. Глаза-то пожелтели, а в приемном покое, когда привезли, ляпнул кто-то: опять циррозный. Думали, без памяти, а он слышал. Ольга рассказывала (она ему сок принесла): так смотрел, так смотрел, а спросить боялся».

Своими торопливыми копейками ты, наверное, ускорил его смерть, но знай ты тогда, какая жуть это — умирать одному, пришел бы в больницу, только не с соком, как племянница — или кто там она ему? — Ольга, а с четвертинкой. Пусть бы выпил, раз все равно никаких надежд, только бы не глядел, обмирая от страха, пожелтевшими глазами.

Визжат трамвайные колеса на повороте — как полтора десятилетия назад.

Не хандри же, Рябов! Видишь, птица летит — тяжело и устало, на ночлег. Одинокая птица в огромном небе. Это символ, капитан, не правда ли? Лишь муравьи живут кучей.

Братец, обласканный и счастливый, выползает наружу. Веселишься ему в лицо:

— Порадовал супругу Лидию?

Молча погружает в тебя взгляд: все глубже, глубже — через зрачок, через глазной нерв, в самое сердце.

— Так что супруга Лидия? — не унимаешься ты.

А сердце, между прочим, напоминает фигу. Живую жилистую фигу с синим пальцем. Удовлетворен, братец?

Выходите за ворота. Все звенит и смеется вокруг.

— Послушай, у меня к тебе просьба.— Прекрасно! Ты обожаешь, когда к тебе обращаются с просьбами.— Что купила мне Поля?

Это и есть просьба?

— Хрустящий целлофан, в котором упакованы носки и еще что-то. Возможно, абрикосовый джем.

Страдальчески кривится бородатое лицо.

— Ты бы мог взять все это и отнести Поле?

В лужу наступаешь, обескураженный:

— Поле отнести?

Не устаивает ответом. По-моему, я сказал достаточно ясно.

Яснее некуда. Поругался с любимой няней? Исключено.

«Надо учиться любить у Поли. Она любит не за что-то, просто любит. Меня, во всяком случае, никто так не любил — ни женщины, ни мать. С точки зрения матери, у меня недостаточно развито чувство гражданственности. Я недостойн ее любви».

Мама тоже так считает — недостойн и оттого, принося, к своему стыдливому изумлению, вместо сорок первого размера сорок третий, смущается, а кончик носа розовеет. Оттого не оспаривает слов: «Нет, мама, ребенку нужна любовь. Любовь! Ты не понимаешь этого. Я говорю страшные вещи, но это правда — ты не понимаешь», — не оспаривает, но пальцы опущенных рук быстро бегают, норовя схватить что-то, а поднятое директорское лицо с поджатыми губами непроницаемо и сурово. Бедная мама! — как уследить сразу за лицом и пальцами!

— Поля без подарка не придет. Купит еще один.

— Но ведь она подарила уже.— Ты чувствуешь себя идиотом. Удивительно светлое чувство!

— Поля без подарка не придет,— тихо и четко, сквозь зубы: нельзя не понимать такие элементарные вещи!

— Я должен вернуть ей подарок, чтобы она самолично вручила его тебе?

— Да.

Где ты читал, что отсутствием чувства юмора — именно этого чув-

ства — можно объяснить появление в Заполярье стеклянных аэровокзалов?

— И ты еще раз поблагодаришь ее, на этот раз публично?

Лица, трамвай, шапки, лакированные сапожки, звон и многоголосье. Муравейник.

— Скажешь, ты не передал мне. Не смог.— В детстве братец обо-жал цирк.— Пожалуйста, сделай это с утра.

Поразительно, каким учтивым может он быть!

— А почему бы тебе самому не преподнести ей ее собственный подарок? Она поблагодарит тебя. Потом она преподнесет его тебе, и ты, в свою очередь, поблагодаришь ее. После этого весь цикл можно повто-рить снова.— Тебе весело — на сей раз взаправду. А ведь ты едва не захныкал, когда десять минут назад вышел из кухни.— На будущий год вы заново проделаете всю процедуру — с этими же носками. Ты только не надень их по рассеянности.— Пляшешь, как дикарь у кост-ра,— вот как весело тебе.— И так из года в год. В промежутках между именинами можно дарить носки приятелям, но с условием непременно-го возвращения.

Разноцветные перья торчат в голове — вакханалия радости.

— Напрасно ты так, старик. Поля тебя тоже любит. Просто она стесняется тебя. Если б ты знал, как она гордится тобой! У нее даже твои статьи есть — из газеты вырезала.

Получил? Так тебе, поделом! Пляши же, пляши дальше!

— Да и Осин... К тебе с уважением относится. Его жена спраши-вала о тебе. Они все тебя большим человеком считают — потому так сдержанны с тобой. Боятся назойливыми показаться. А я для них тот же Андрияха, хоть и бороду отпустил. Шалопай.

Доплясался? Вскачь несется галдящая улица — с людьми, капелью, смехом, машинами, и все мимо, мимо. Все — мимо, а ты на месте, ты уже давно на месте, один, а всем кажется, ты летишь вперед. А может, и впрямь летишь? Может, и впрямь обогнал всех и потому-то — только потому! — один?

Братец по плечу хлопает — подбадривает.

— Выше голову, старина!

Выше? Он сказал: выше?

— Вот так, да? — И двумя пальцами схватив его за бороду, тя-нешь вверх.

Братец опешил. Братец глядит на тебя почти с ужасом, а ты смеешься и дергаешь его за бороду. «Выше! — ликуешь ты. — Еще выше!» — пока он, придя наконец в себя, не отталкивает твою руку.

10

Борода, живописные волосы с проседью — вид ресторанного за-всегдатая, а официантка к тебе подошла. Или на расстоянии чуют пла-тежеспособность клиента? Взглядом к брату отсылаешь. Поворачи-вается — с карандашным огрызком наготове. Андрей Рябов проклады-вает между бровями озабоченную складку.

— «Осетрина», — читает он. — Отварная или балык?

Сколько требовательного внимания в поднятом на официантку гя-желом взгляде! Все богатство своей артистической натуры передал старшему сыну диктор областного радио.

«Пока нет дам, ты, может быть, проинструктируешь меня? Я могу пригласить на завтра родителей?» «Она не пойдет». Ни грана сомнений в нравственной стойкости директора кондитерской фабрики. «А он?»

Не отвечает. Ветер треплет неприкрытые волосы. Руки в карманах пальто. «Идут».

Веру ты узнал сразу, но Вера не предназначалась тебе. Жизнерадостно и не без любопытства взирал на ее сухопарую подругу: буклистое макси до щиколоток, шапка, напоминающая... не ежа, нет,— дикобраза, что ошетилил колючки. «Меня зовут Лариса». Некоторый вызов почудился тебе в ее высоком голосе. Ты ухмыльнулся.

— А вы, значит, преподаете? — Вялая и длинная, без выпуклостей рука на подлокотнике кресла. Обручальное кольцо.

— Время от времени.— Братец столь пышно представил тебя, что тебе не остается ничего иного как быть скромным.— Коллеги в некотором роде.

— В некотором роде, — меланхолично соглашается Lehgerin¹.
Боже, на какую скуку ты обрек ее!

И так весь вечер. Манекена подсунули ей, не мужчину, — манекена, начиненного цифрами. Иное дело у Веры. Художник, натура самобытная и яркая. Ранняя седина в волосах, мешки под глазами, больные, с потрескавшимися белками глаза. Валидол в кармане. Что ты по сравнению с ним? Ни следов страданий на твоём весеннем лице, ни мучительных страстей, ни напряженного творческого поиска. Даже не куришь! В ожидании яств художник и обе дамы со вкусом затягиваются, на твою же долю выпала честь нести застольную чепуху. С легким снихождением внимают тебе. О незаурядности природы свидетельствует молчание, но что делать? — для одного стола достаточно и трех внутренних богатых личностей. Кто-то должен быть престофилей и шутком для контраста и приятности времяпрепровождения.

«Здравствуйте, Зина. Приятная неожиданность». — «Почему?» — «Не думал, что встретите меня». — «Но ведь мы договаривались. Первым автобусом...» — «Вы всегда верите уговорам? Знаете, как я рисовал себе свой приезд в Жаброво? Вхожу в избу, а вы встречаете меня с заспанным лицом и в домашнем халате». — «В избу? Мы в доме живем». — «За вами бежит коза и уличающе блеет. Вы гневно удивляетесь моему легкомыслию».

Золотокаймовым графинчиком завладевает братец. Вопрошающе подымает на тебя глаза, но ты, как петрушка, браво и отрицательно качаешь головой.

— Вино. — Ниже все равно тебе уже не пасть.

«Вам не холодно?» — «А что? У меня посинели губы?» — «Нет. Но, наверное, вода еще холодная». — «Я согрет сознанием своего героизма». — «Все равно. Вам надо выпить немного водки». — «Водки? Я предпочитаю молоко. Парное. Пригласите меня в Жаброво, и вы убедитесь в этом».

— Андрей великодушно показал мне сегодня свою последнюю работу, но я осрамился. Знаете, что я потребовал, неблагодарный? (Вера смотрит. Затягивается Вера — глубоко и медленно.) Я потребовал, чтобы небо было синим, а не зеленым. В крайнем случае голубым. Вообразите, какой гнев навлек я на себя этим неосмотрительным заявлением.

Вниз, в бороду, ползут хемингуэевские морщинки. Доволен и добр и, в общем-то, я люблю тебя, младший брат... Поклонись! Скорее поклонись и снова неси чушь, улыбайся до ушей. Тебе нечего терять, потому что ты единственный за столом, а может быть, и во всем ресторанном зале, который ничего не ждет от сегодняшнего вечера.

«Парное молоко. Вы говорили, любите».

Обожаешь. Хотя, если начистоту, ни разу не пробовал. Ну и что? Скоро, скоро исправишь этот пробел.

¹ Учительница (нем.).

— А ваш муж смотрит сейчас телевизор?

Надо же дать понять, что ты разглядел ее обручальное кольцо. Иначе *есть* не будет.

Подействовало: вилку берет.

— Мой муж? — Привередливо разрушает архитектурный ансамбль столичного салата. — Нет. Там нет телевизора.

Многозначительно и мрачно и к тому же не подымает глаз. Роскошные рыжие волосы. Ты не силен в косметике, но их цвет кажется тебе натуральным. Господи, уж не окочурился ли он? Или в таком случае кольцо носят на левой руке?

Молчи на всякий случай. Жуй и молчи.

— Он геолог.

Фу-у! Ты смеешься.

— Обожаю геологов.

Не улыбается. Изучает твое лицо. Точки зрачков, тире черточек, удлиняющих глаза, — азбука Морзе. Братец с Верой вполголоса препарируют свои сложные отношения.

— А я вас другим представляла. — Это ты уже слышал, забыл только название фильма. — Андрей много о вас рассказывал.

Тоже сложности хочет?

— Он художник. Вы должны простить ему его фантазии.

Осторожно потупляет взгляд.

— Вы всегда пьете сухое вино?

— Не всегда. Иногда я пью чай.

Ты сумчатое, Рябов! У всех сложно, все решают проблемы, и лишь тебе все просто и ясно и ты расплываешься до ушей. Но будь хотя бы учтив — подыграй партнерше. *«Вы не находите, Лариса, что цивилизация превращает человека в автомат, в машину? Он не чувствует, он лишь мыслит»*. Чем не современный диалог? *«Как ни прискорбно, но это так»*. — *«Почему прискорбно? Изобретая самолет, люди, надо полагать, больше мыслили, нежели чувствовали»*. — *«В вас экономист говорит. Сперва люди мечтали летать. Как птицы. А прискорбно это потому, что думать умеют и машины, чувствуют же только люди»*. Стихи начнет читать. По-немецки или по-русски? *«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...»* Почему с помощью именно стихов все так любят демонстрировать свою утонченность?

Цветы. Живые цветы, которых в нынешнем году еще не видели в Жаброве.

«Только ты не обидишься, нет? Надо снимать бумагу, когда даришь».

Прекрасно, ты снимешь бумагу. Никакой опыт не проходит для тебя даром, а собственный тем более. Снимешь и: *«Это вам. Компенсация за парное молоко, которым вы, помните, грозились угостить меня. Натуральный обмен — зародыш экономических отношений»*.

А как, интересно, ты повезешь их в Жаброво? В руках? В портфеле? Именно портфеля и не хватало тебе для полной респектабельности. Гордо прошествуешь с ним через притихшую от изумления деревню.

— За творчество! — Lehregin рюмку подымает. На человека искусства обращены ее кошачьи глаза.

Братец медлит. Я не прочь, если вы выпьете за меня, но, в общем-то, я сегодня скромн.

— У тебя есть? — Тебе.

Как чертик, выскочивший из шкатулки, вздымаешь вверх фужер с вином.

— За Станислава! (Ого!) За научное творчество. (Уточнение в сторону Lehregin: я вовсе не игнорирую ваш тост, я диалектически развиваю его.) Будь здоров, старик!

Фейерверк великодушия.

«Поля тебя тоже любит. И Осин... с уважением к тебе относится». Видишь, я не эгоист. Я самоотверженно делюсь с тобой любовью, которая предназначена мне одному.

Пьешь.

«Тебя можно уважать, можно восхищаться тобой, завидовать, но любить — нет». — «Разумеется. Для этой цели существуешь ты». — «Иронизируешь? Ты надо всем иронизируешь, даже над собой, мне кажется...» Еще бы! «Те, кто мало знает тебя, принимают твою иронию за броню. Они думают, ты прикрываешь ею свое легкоранимое сердце. А ведь ты ничего не прикрываешь. Ты пуст, потому тебя можно жалеть, но нельзя любить».

«Эти цветы — компенсация за парное молоко, которым вы обещали угостить меня».

А ведь ни в какое Жаброво ты не поедешь.

— Ваш брат такого мнения о вас! Он считает, вы многого добьетесь.

Из металла соткано ее узкое платье — сверкает и струится в электрическом свете, как елочное украшение.

— У вас красивое платье.

— Danke. Sprechen Sie Deutsch?

— Ein bischen ².

Вот видишь, и у вас начался разговор с подтекстом. Сложные, внутренне противоречивые люди. Назовите человека подлецом и хапугой — он не так обидится, как если вы отнесете его к разряду элементарных личностей.

Вздрагиваешь от неожиданности — музыка. Но это же чудесно! Слушай и потягивай себе вино, оценивая букет, вкус и что там еще?

«Когда-нибудь, когда ты все поймешь, тебе очень скверно будет, но ты даже напиться не сможешь. Твой мозг слишком живуч, чтобы опить его». Тут, пожалуй, братец прав. Ум твой не тускнеет от водки, лишь желудок реагирует на нее, причем не самым изысканным образом.

А почему вдруг тебе будет скверно?

— Ihre Aussprache ist nicht schlecht ³.

Сейчас официантка начнет менять скатерть: решит, вы иностранцы.

— Спасибо, но ростбиф лучше. — Иначе не перейдет на русский.

— Лучше чего?

— Моего произношения.

Отрезав кусочек, с аппетитом кладешь в рот. Тебя всегда подмывало узнать, о чем говорят женщины наедине с другими мужчинами. О чем-нибудь менее отвлеченном, надо думать.

Финал: всеми четырьмя конечностями пляшет ударник на инструменте.

Тишина.

— ...Так я не смогу, Андрей. Ты знаешь, как я отношусь к тебе, но так я не смогу.

Вот о чем говорят женщины с другими мужчинами.

Братец мрачно наливает себе водки. «С кем ты сегодня будешь? С Верой?» — «Да. Чему ты улыбаешься?» — «Радуюсь твоему постоянству». — «Я всегда с ней буду». — «А-а».

Неторопливо запиваешь мясо минеральной водой. Вера сигарету достает — нервные маленькие руки. Веки не подымает, но под ними, угадываешь ты, блестят глаза. Братец зажигает спичку. Терпеливо ждет секунду, другую, прежде чем она, заметив огонь, точно и быстро прикуривает. Затягивается, выпускает дым через нос. Тонкие ноздри трепе-

² — Спасибо. Вы говорите по-немецки?

— Немного.

³ У вас неплохое произношение.

щут. Чуть приметные голубые прожилки на белках глаз. Черные волосы гладко зачесаны — по-старинному. Тугой пучок сзади. Не глядя ставишь бокал с водой, сосредоточенно работаешь ножом и вилкой.

«Ты не знаешь, что такое любить женщину. Волноваться, дрожать, что она не придет вдруг, заранее рисовать себе, как откроется дверь, как войдет она, что скажет, как посмотрит на тебя. О какой-нибудь ерунде заговорит, взглянет мельком и сейчас же примется снимать шляпку, но ты видишь: она твоя». — «Весьма заманчиво, только на меня это, к сожалению, не распространяется. У меня нет двери, в которую может войти прекрасная незнакомка». — «Не понимаю». — «Я говорю в самом прямом смысле». И для наглядности киваешь на дверь, за которой царапается еж Егор Иванович. «Слушай, а ведь ты пошляк. Ты грязно относишься к женщинам. Это дико звучит, но, наверное, даже девственник может быть пошляком и развратником. Я только сейчас понял это». — «Каюсь, я Дон Жуан». — «Ты? Нет. Дон Жуан благоговел перед женщиной, он искал в ней идеал, который жил в нем самом. За это они и любили его. Он возвышал их. Мужчина, который не благоговееет перед женщиной, мертвец и пошляк. В женщине человечество сохранило все самое лучшее, что есть у него. Ты никого не любил. Я не упрекаю тебя за это. Наверное, я тоже никого не любил — по-настоящему. Но я верю, что когда-нибудь это будет. Ради этого я пожертвовал бы всем. Для тебя же любовь — всего-навсего дверь в отдельную комнату».

В музыке голос закопошился, рядом. На Lehrgesin смотришь.

— Простите.— Включаешь слух.

— Вы озабочены чем-то?

— Нет, заслушался.— Взглядом гладишь оркестр. Да здравствует какофония звуков!

Ты поедешь в Жаброво! В субботу, непременно!

— Как относится ваша жена к тому, что вы задерживаетесь после работы? И от вас пахнет вином? Sie riechen nach Wein⁴.

— Переводить не надо — по-русски я понимаю.— Амортизируешь улыбкой.— Жена относится к этому с пониманием.

— У вас прекрасная жена.

— Ваш муж лучше. Он вообще никак не относится к этому.

— Если б он был здесь...

— Вы позволите? — Томный красавец с усиками. Рука изящно протянута к локтю твоей дамы, но обращается к тебе.

Едва с кресла не привстаешь.

— Ради бога!

Частые шажки: слишком узка юбка. Длинные ноги слегка подламываются. Как на шарнирах тело. Платье змеится и сверкает.

«Лариса, я поздно сегодня.— Суховато — все еще не простил ее крымский фокус.— Надо встретиться с одним человеком». «С Минаевым? — Потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить фамилию.— Насчет кооператива?» Все верно: с одним человеком — значит, с нужным человеком. Логика абсолютной веры в тебя: ты не станешь транжирить время на пустяки. «Нет. С Минаевым завтра». «А сегодня?» Сегодня? Что у нас сегодня? Репетиция завтрашнего торжества. Симпозиум учеников профессора Штакаян. Все что угодно может быть сегодня, но супруга не спрашивает, ты лишь слышишь в трубке ее близкое дыхание, а потом — еще ближе: «Постарайся пораньше. Я буду ждать».

Добавляешь воды в бокал. Душно... Ближе к Вере двигается брадец — вместе со стулом.

Почему тебе так важно знать, как другой вел бы себя на твоём

⁴ От вас пахнет вином.

месте? Ты похоже разыгрываешь перед супругой обиду и гнев — еще в детстве ты смешно копировал близких, — но ведь это не ты, это она своим покаянным видом надоумила тебя нынче утром рассердиться на нее: сам бы ты, признайся, не додумался до этого. Внеочередное дежурство во время эпидемии гриппа — как ни напрягай воображение, трудно усмотреть здесь что-либо предосудительное. Но тогда позвони в клинику, спроси, кто дежурил в ночь с субботы на воскресенье.

«Слава, ты? Не ужинал еще? Я так и знала! — С упреком. — Ешь, не жди меня. Мы тут у Стахеевой — вся компания, из нашей группы. — Поразительно говорит она по телефону! Она говорит по телефону так, что твое ухо ощущает ее щекочущее теплое дыхание. — Нина Иванчук приехала — в командировку. Я задержусь немного», — с полувопросом, навстречу которому ты уже летишь со своим «да-да, конечно» и даже передаешь неведомой Нине Иванчук пламенный привет. «А может, подъедешь? Тут все свои». Увы! У тебя срочная статья, у тебя реферат, у тебя лекция завтра — привет, привет, привет Нине Иванчук!

Снег, мороз. Фонари на пустой улице. Первый час ночи. Черт бы побрал эту Нину Иванчук! Постукиваешь нога об ногу... Двое. Издалека узнаешь — по рыжей шубе, искристо вспыхивающей под фонарями. В темноту отступаешь, что, впрочем, излишне: у нее неважное зрение. В кино, когда гасят свет, надевает очки... Поодаль останавливаются; если приглядеться, можно разобрать, что делают, но тебе нет до этого дела. Старательно разогреваешь ноги. Мороз, поздно. Было б свином, если б кто-то из бывших сокурсников не вызвался проводить. Сейчас, когда она познакомит вас, ты с благодарностью пожмешь ему руку... Торопливый перестук каблучков о промерзлый сухой тротуар. Одна. Ну что ж, стало быть, не состоится знакомство. Шаги медленней, глуше — что за тень впереди? — но почти тотчас же вновь ускоряют каблучки свой веселый бег. «Ты? — Приятно удивлена. — Добрый вечер. Давно стоишь?» Ухмыляешься и молчишь. А почему, собственно, она должна докладывать, что кто-то провожал ее? Равенство и полное невмешательство в личные дела — современная здоровая семья. «Засиделась. Хотела сбежать, но где там! Отпустят разве! — Иней на воротнике от дыхания, но не везде: чьим-то неосторожным прикосновением сбита с длинных ворсинок сверкающая одежда. — Замерз? — Заботливо, огорченно: такой холод! — А мне ведь телохранителя выделили. — Со смешливостью, которая непостижимым образом разъединяет вас, хотя так ласков и доверителен ее грудной смех, а глаза с расширившимися зрачками совсем близко. — Четверо мальчишек было — с нашего курса все. Рыцарски распределили обязанности». В отличие от нее ты не находишь тут ничего смешного. «Тебе невежливый конвоир достался. До дому не довел». «Так и скажу ему, если увижу». «Увидишь»...

Задохнувшись от истомы, умирает музыка. С почетом на место доставлена Lehtegin. В кресло плюхается.

— Пожалуйста, налейте воды.

Наливаешь. Пьет, медленно запрокидывая голову на длинной шее.

Ставит фужер на край стола. Не свалился бы. Откинувшись, глядит на тебя издалека. Сейчас дразнить начнет. Улыбаешься, капитулируя. Так затребовавший пощады секундант выбрасывает на ринг полотенце.

— Экономисты презирают танцы?

— Не умеют.

«Мой муж там, где нет телевизора». Одна живет? Отдельная квартира в центре города? Сегодня ты еще не раз разочаруешь ее.

— А геологи владеют этим искусством?

— Геологи? — Длинно обнажаются в улыбке розовые десны: мне смешон ваш вопрос! — Мой муж превосходно танцует!

— Вам повезло.

— Heute habe ich das begriffen⁵.

А ты полагаю, тебе так легко сойдет безразличие к прелестям шарнирного тела?

Настольная лампа, тишина, непрочитанная статья Мирошниченко в мартовском номере. Сегодня ты разве что просмотришь ее.

«Нет-нет, разговор этот нельзя комкать. Потерпим до завтра». Рубаха-директор. Потерпим, конечно, но это не то, о чем ты думаешь. Кого-кого, а уж тебя Марго проинформирует в первую очередь, реши она подать заявление. Преемник... Что ж, она не раскается в своем выборе.

— Ich bitte Sie den nächsten mit mir zu tanzen⁶.

— Меня? И вам не жаль своих туфель?

— Иногда надо рискнуть.

Бедовая женщина!

Журнал со статьей Мирошниченко пришел в четверг, а сегодня уже понедельник. Лоботрясничаете четвертый вечер подряд, завтра — пятый...

«Извини, Андрей, но сегодня не могу. Я должен посидеть еще». Пороха не достало. Разве это мужчина, если он предпочитает обществу молодой и свободной женщины с отдельной квартирой сомнительную статью об определении себестоимости работ! Оказывается, и в тебе тлеет инстинкт стадности.

Осмотришь: может, не ты один, может быть, все так — лишь делают вид, что упиваются этим ресторанным смрадом. Осмотришь, Рябов. Бутылки, дым сигарет, парящее от счастья лицо блондина в круглых очках, улыбки ползут, упоение, восторг, ожидание. Карнавал чувств, беспардонная инсценировка страстей — от скуки, от ленивой неповоротливости ума. Но ведь и ты поедешь через три дня в Жаброво?

Музыка. Твое тело настроено замирает. И в Жаброво поедешь и пригласишь сейчас свою даму.

— Gestatten Sie?⁷

К пятаку шествуем. Блондин в круглых очках, массивный, как Пизанская башня, навис над пухленькой партнершей. Оркестр неистовствует. Ты ухмыляешься. Ты не знаешь, как взять Lehgerin, но она уже прильнула к тебе и твои ноги одеревенело топчутся...

Что-то случится сейчас: или коленкой лягнешь, или оттопчешь туфли. Бдительно предугадываешь каждое ее движение. Гибкое тело под елочным платьем. Это должно волновать тебя.

Откинув голову, близко глядит на твое порозовевшее от напряжения лицо. Изучает — авось пригодишься. Геолог ищет себе нефть, а квартира тем временем нерентабельно пустует. Скучно! Ох, как скучно! Навоз, слякоть, лошадь с красным крестом на боку — жабровская «скорая помощь». И вдруг — море, пальмы. Какой мужчина не покажется принцем в этаким обрамлении! А тут еще он сигает в студеную воду спасать мальчугана — в майке и трусиках. Ну чем не рыцарь? Женат, правда, но для истинного чувства это разве преграда?

«Я знаю, что буду счастливой. Я это однажды поняла. Лежала на скамейке — узенькая такая скамейка, на могиле у мамы, чуть пошевелишься — и упадешь. Я на спине лежала. А надо мной, очень высоко, верхушки сосен раскачивались. Я смотрела на них, ни о чем

⁵ Сегодня я поняла это.

⁶ Я приглашаю вас на следующий танец.

⁷ Разрешите?

не думала и вдруг поняла, что буду счастлива. Очень-очень. Аж дух захватило. И стыдно стало: на кладбище, на маминой могиле и — такое».

А ведь в тот момент, признайся, ты не уловил сентиментальности в ее словах. Умилили... Надо думать, на тебя тоже подействовала романтика юга. Кипарисы, прибор — какая девушка не покажется принцессой в таком обрамлении!

Продолжай, Рябов, хорошо. Не надо думать о ногах — самим себе предоставь их. Вот только как долго еще будет длиться это очаровательное танго? Самоуглубленные замкнутые лица — делом заняты люди. На узкой спине, обтянутой красным, — мужская, с растопыренными пальцами рука. Часы на волосатом запястье — рукав съехал. Золотой корпус, люстра горит в циферблате. Чуть наклоняешь голову, и люстра уходит. Девяти нет — неужели? Будь мужествен, Рябов: гений — это терпение.

11

Оживаешь на свежем воздухе — даже к настольной лампе, светочу знаний, тянет не столь сильно. Буклистое пальто-макси, шапка-дикообраз... Тебе нравится, когда женщина одета со вкусом — одно это стимулирует настроение. К тому же разве предполагал ты даже в самых дерзких своих планах, что уже в половине одиннадцатого вы очутитесь на улице?

«Мне пора». Вера щелкнула своей миниатюрной сумкой. Братец отрешенно взирал на пустой графин. Мысленно усмехнувшись — она надеется увести его отсюда! — ты честно проявил мужскую солидарность: «Так рано?» «Я обещала сыну вернуться к одиннадцати». Дабы скрыть удивление, кивнул, как болванчик, — Вера чрезвычайно нуждалась в твоём одобрении. «Сколько сейчас?» Братец не сводил глаз с графина. «Десять минут одиннадцатого. Поешь». Он послушно взял вилку. Что с ним? Он не заказывал больше водки. Он даже не допил вино, которое осталось в бутылке. Он встал, едва вы расплатились — не ты один, вдвоем. Ты не узнавал Андрея Рябова. Когда вы направлялись к выходу, вступил оркестр. Не туш ли?

— Сколько лет Веринному сыну?

К театру подходите, храму тетки Тамары.

— Шесть.

— А у вас... — Но неожиданно срывается твой голос. Прокашливаешься. — А вы еще не обладаете таким сокровищем?

Вспыхивает, гаснет, снова вспыхивает неоновая реклама — голубой ответ играет на посерьезневшем лице твоей спутницы.

— Нет.

В ресторане она была многословней. Отрезвела? Ранним уходом опечалена? Или это ты виноват?

— Ваши ученики не ухаживают за вами?

Ей идет ее шапка-дикообраз.

— Они всем скопом влюблены в меня.

Загадочная женская душа: чем все-таки ты разгневал ее? Будь погалантней, Рябов, скажи комплимент.

— Я понимаю их.

Двери распахиваются, и зрители неспешно покидают храм.

— А у вас есть дети?

«У меня нет даже ежа».

— Предпочитаю платить малосемейный налог.

Берет, роговые очки... Виноградов? Как всегда, сосредоточен и подтянут твой молочный брат. «Здравствуйте, Юра. Как спектакль?»

Получили эстетическое наслаждение?» «Спасибо, у меня достаточно материала».

А ведь он не один. Лица не видишь, но тебе хорошо знакомо это просторное пальто, отделанное по краю подола искусственным мехом. У Люды такое же — самой красивой женщины института.

Тесно на тротуаре, и у тебя есть предлог придержать за локоть Lehgerin. Она, Люда. А почему, собственно, тебя удивляет это? Или ты полагал, что раз она отлынивает от шампанского, то ведет монашеский образ жизни?

— Нам прямо? — Ты бодр и беспечен.

— Да.

Повернув голову, изучаешь ее профиль. «Я приглашаю вас на следующий танец». — «Меня? И вам не жаль своих туфель?» — «Иногда надо рискнуть».

— Что вы на меня смотрите?

Хорошо развитое боковое зрение.

— Вы торопитесь?

— Не очень.

Не очень, но тороплюсь.

«Мой муж там, где нет телевизора». И отсюда ты заключил, что она живет одна. А любящая мама? А свекровь, которая ревностно следит за нравственностью невестки?

— Беспокойтесь, что остынет ужин?

— Нет, не беспокоюсь.

Обходит лужу — небрежно и о тебе не заботясь. Если не устраивает, отпустите мою руку и обойдите тоже. Перешагиваешь.

— Есть кому подогреть?

Полуобернувшись, мерит тебя взглядом.

— Некому подогреть. Я живу одна.

Разгульно улыбаешься. «Если желаете, можем зайти выпить кофе. У меня растворимый». «Спасибо, но мне надо еще поработать. Статья некоего Мирошниченко. Почти детектив».

— И вас не угнетает одиночество?

Вторник, среда, четверг, пятница... Ты не принадлежишь себе се годня.

— Есть уйма способов развеяться.

Воротник, морозно заиндевевший от дыхания, остров голых ворсинок — чье-то прикосновение сбило с них серебристую одежду... Ты мелочен и недемократичен, Рябов, в отличие от твоей жены, которая верит тебе беспредельно.

— Сегодняшний вечер, вероятно, относится к таким развлекательным мероприятиям?

— Вероятно.

А ведь она не собирается приглашать тебя на чашку кофе.

— И он оправдал себя?

Сирена — негромко, сдавленно. Пожарная машина.

«Нет, не оправдал... Не совсем оправдал... А как вы думаете?»
«Лично я доволен. Я получил все что желал».

Разве это неправда? Разве не был ты единственным человеком за столом, а может быть, и во всем ресторанном зале, который ничего не ждал от сегодняшнего вечера?

— Нам сюда.

Что же, это право женщины — не отвечать на некоторые вопросы.

— Это не ваш дом горит?

— Нет.

— Вы уверены в этом? — Роль шута и простофили продолжаешь играть?

— Да.

— Почему же?

— Потому что мой дом вот.

Окидываешь взглядом архитектора. Четырехэтажный особняк из кирпичей и балконов.

— Ein neues Haus⁸.

— Не совсем.

А вот братец бы никогда не скатился до этого пошлого разговора. И уж разумеется не стал бы ждать, пока его пригласят на чашку кофе. «*Вы не хотите пригласить меня на чашку кофе?*» Вполне поджентльменски — избавить женщину от необходимости проявлять инициативу.

— Ein schönes Haus⁹. — Ты в восторге от дома.

Хилые голые деревца. Из разноцветных окон на землю падает свет. Она черна, оттаяла, и, как осевшая пена, желтеет снег. Жестяная консервная банка с задранной крышкой. С деревянной скамьи за вами настороженно следит кот.

— Ist das Ihre Katze?¹⁰ — Ты занимателен как никогда.

— Нет. У меня нет кошки.

Будь более дерзок, капитан, — женщины презирают рохлей.

— Мяу. — А почему, собственно, тебе не побеседовать с котом? — Не отвечает. Как по-немецки «мяу»? Или это интернациональное слово?

— Возможно. Надо будет посмотреть в словаре.

«*Давайте вместе посмотрим*».

В конце концов, тебе ничего не грозит. Для тебя это так — забава, эксперимент. В субботу ты будешь в Жаброве.

«*Я пойду. Спасибо, что проводили. До свидания*».

— Wollen Sie mir nicht eine Tasse Tee anbieten?¹¹

В доме играют на пианино.

Отрицательно качает головой.

— Warum?¹²

А ведь ты поклялся не задавать женщинам этого вопроса.

Парочка. В руках у нее ветка мимозы — весна! Провожаешь насмешливым взглядом.

— Спасибо за вечер. Мне пора.

Ты чувствуешь, как блестит и веселится твое лицо.

— Haben Sie keinen Tee?¹³

— Есть, но уже поздно. — Просто и откровенно: я не собираюсь уязвлять ваше самолюбие, экономист. — У меня завтра урок в восемь.

Eine Lehrerin!

Твои руки в карманах пальто. Тебе очень идет твоя мохеровая шапочка.

— До свидания. — Руку протягивает. Пожимаешь. — И не надо так плохо думать о людях! — горячо, торопливо.

«На пару секунд! Лида хоть глянет на тебя. Расстроится: был и не зашел. Мы как раз вспоминали о тебе вчера».

— О'кей! — говоришь ты тоном братца, но, кажется, говоришь не то. «Auf Wiedersehen»¹⁴ надо было, а вылетело «о'кей!».

Кот соскочил и бежит за Lehrerin. Учительница гуманно пропуска-

⁸ Новый дом.

⁹ Прекрасный дом.

¹⁰ Это не ваша кошка?

¹¹ Вы не хотите пригласить меня на чашку чая?

¹² Почему?

¹³ У вас нет чая?

¹⁴ До свидания.

ет его впереди себя. Нехорошо так поздно играть на пианино. К соседям неуважение.

Поворачиваешься, идешь. Легка и упруга твоя походка. Eine herrliche Nacht! Die Vögel singen¹⁵. Нет, птички поют, когда herrlicher Tag¹⁶. Но все равно — о'кей, как говорит братец. Или auf Wiedersehen, как говоришь ты. Вторник, среда, четверг, пятница.

Троллейбуса нет, но что за нужда — ты и пешком дойдешь. Статья Мирошниченко подождет немного. Вторник, среда, четверг, пятница и кусочек, совсем немного, понедельника.

Чего ради Lehrgin дала тебе дружеский совет — не думать плохо о людях? Видит бог, ты ничем не скомпрометировал себя. Тебе ничего не надо было от сегодняшнего вечера, ничего! Учужала, и оттого высокомерная холодность? «Это ваш дом горит?» — «Нет». — «Вы уверены в этом?» — «Да».

— Вас можно на минутку?

Двое — навстречу, из темноты.

— Конечно.

Гостеприимно улыбаешься. Никого вокруг. «Дай закурить». Приближаются. Чьи-то торопливые шаги, но далеко, за углом.

— Курить есть? — Коренастый, в заячьей шапке. Сперва его сбить: маленькие злее и жилистей.

— Нету. — Чистосердечно раскаиваешься в этом.

— А может, поищешь?

Длинный помалкивает, всматривается. Ухмыляясь, разводишь руками, но до конца не опускаешь. Неприметно отводишь назад правую ногу.

— Нету, ребята. Не научился. Вы уж простите меня.

Лужа слева. Поосторожнее, иначе шапочка из мохера — гордость твоего туалета — угодит в воду.

— Пойдем! — Длинный за локоть тянет коренастого соратника.

— Постой! — Высвобождает руку. — Деньги есть?

— Конечно. — Рот твой расползается. — А у вас?

— Пойдем, Миша! — За обе руки держит.

Тот вырывается, вернее — делает вид, что вырывается. Взглядом пронзает тебя.

— Я могу идти?

— Да-да, — торопится длинный. — Извини, парень.

— Пожалуйста. — Вежливо благодаришь наклоном головы, удаляешься.

— Напрасно удержал меня. — В спину, зло. — Я б пощекотал его, гада!

«Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это даже не смелость». «Нет, конечно». Двоих ты обесточил сразу, а с третьим пришлось повозиться: он успел шмякнуть тебя камнем по плечу. Потом ты огляделся. Братца не было поблизости. Ты прошел с полквартила, прежде чем он виногато окликнул тебя. «Мне показалось, ты тоже убежал. У меня кровь пошла, я не видел ничего. Вот». Платок, темный от крови. Ты протянул ему свой. «Правильно сделал. Ты бы только мешал нам». «Какой я подонок! Никогда не прощу себе». — «Простишь». — «Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это даже не смелость».

— Нет закурить?

Опять? Но не громила, нет, — услышав твое «не курю», торопится дальше. Со свидания?

¹⁵ Изумительная ночь! Птички поют.

¹⁶ Изумительный день.

«Первый автобус приходит к нам в половине десятого».

И суток не прошло — одиннадцать только. Сейчас завернешь и увидишь свет в окнах. Или только в одном окне — у стариков. Жена спит. А впрочем: «Постарайся пораньше, я буду ждать». Верит жена, вне подозрений твоя нравственность.

«Я напишу тебе, если смогу приехать». — «Не надо». — «Что?» — «Не надо писать». — «Почему? Всякое может случиться». Ты предусмотрителен. «Не надо. Что не сможешь приехать, не надо писать».

Странно, что ты никак не можешь представить себе ее лицо. Золотистые и прямые, до плеч волосы, а брови — темные... Но ведь это не девочка из Жаброва, это Люда, самая красивая женщина института. Она-то тут при чем?

Свет — во всех окнах. Не спят. Блудного сына ждут. Мужа блудного.

Автобус с потушенными огнями — и вчера стоял на этом же месте. Шофер живет?

«Что не сможешь приехать, не надо писать». Вдруг в последний момент обстоятельства изменятся, но письмо уже уйдет — тогда как? Этого боялась?

Ты глупец и трус: как смел ты подумать, что не поедешь в Жаброво? Ресторанный чад, сигареты, бесстыжая музыка... Маски, карнавал — возможно, но какое отношение имеет ко всему этому девочка из Жаброва?

«Вы разве не знаете? Архипенко на студентке женился — с пятого курса. Жена жалобу в партком написала».

Выбрось глупости из головы: еще минута — и ты предстанешь перед супругой, утомленный и деловой. Кстати, ты все еще дуешься на нее, не забыл?

12

У порога встречает отец. Седящая шевелюра, томик стихов в руке.

Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви...

Запах ванили и свежей выпечки. Внимаешь, исподволь расстегивая пальто.

...Обратясь к кавалеру намеренно резко,
Ты сказала: и этот влюблен.

Захлопывает книжку. Можно дух перевести. Раздеваешься.

— Гордись, сын мой: твой отец создал сегодня шедевр.

Профаны работают на телевидении — такому мастеру отказать!

— Поздравляю. Шедевр декламации? Или кулинарии? — Втягиваешь носом воздух.

— Ага, почувствовал! Запах, один запах чего стоит! А шедевры декламации, между прочим, отец ваш всю жизнь создавал.

Не твой — ваш. Канун тридцатилетия дает знать о себе? «Я могу на завтра пригласить твоих родителей? От своего имени, если хочешь». — «Она не пойдет». — «А он?»

Вкусно прищелкиваешь языком, оценивая запах. Не миновать дегустации — после ресторанного-то ужина!

Супруга не выходит. Побудь с родителями, Станислав, я не ревнива; к тому же у нас с тобой целая ночь впереди.

«В субботу уезжаю. Одного сотрудника навестить надо. Он в санатории». «Это далеко?» «Да. — Во сколько последний автобус из Жаброва? — Возможно, не управлюсь одним днем».

Заглядываешь в комнату родителей. Директор фабрики на посту — в очках, над бумагами.

— Привет!

Заметив пальцем место в ведомости, оценивающе глядит поверх очков.

— Добрый вечер.

На мой материнский взгляд, что-то ты и сегодня странен. Уж не пошел ли ты по стопам старшего брата? «У тебя семья, ребенок, и ты предаешь все ради минутной прихоти. Мне стыдно, что ты мой сын».

— Мать, скажи-ка ему, как пирог.

— Вкусный. — Склоняется над бумагами — работа не ждет. Учись, Рябов: истинный руководитель всегда на вахте.

«Нет, Станислав Максимович, завтра поговорим, с утра, вы не возражаете?» Идя к Марго, ты уже будешь знать все.

Отцу не терпится — скорее же оцени его шедевр. Вымыв руки, бодро направляешься в кухню. Мужественно приступаешь. Не оплошай — видишь, с каким проницательным вниманием глядит на тебя автор.

Киваешь со знанием дела — гурман! Еще раз — уловил новый нюанс. Папа ликует.

— Мать три куска съела.

Еще бы! Такой вершины ей не покорить. Всю жизнь кормила вас переваренной лапшой или недожаренными котлетами. Не потому ли на склоне лет отец ударился в кухонное искусство?

— Знаешь, что было последней книгой Александра Дюма? Дюма-отца, прославленного автора «Трех мушкетеров»? «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго»...

Те самые растрепанные тома, которые диктор областного радио и его первенец рвали из рук друг друга? Ты тоже добросовестно брался за них, но бросал на половине. И это при твоём железном правиле до конца доводить всякое дело! Глупая, скучная вереница неправдоподобных историй... «Мне нравится наш отец. Он добрый малый. Как он там?»

— Последняя книга Александра Дюма — сборник кулинарных рецептов. Французская кухня, русская, английская.

«Отличный пирог, папа, хотя, признаться, я абсолютный профан в этом. А вот Андрей — специалист. Он бы, думаю, оценил его по достоинству. Завтра, кстати, его день рождения».

Не стоит без главы семьи. «Она не пойдет». У брата на этот счет нет иллюзий. И он прав. Конечно же, она не пойдет, однако ты обязан выполнить свой долг. Или потому и выполняешь, что уверен: не пойдет?

А вдруг? Ты отлично знаешь свою мать, но порой и она — даже она! — ведет себя непредсказуемым образом.

«А этот самый... Шатун... Его неожиданно схватило? Или какие-нибудь симптомы были? Ведь цирроз печени, насколько я знаю, не может развиваться сразу». Знаешь? Откуда, мама? Медицина никогда не волновала тебя, а от алкоголизма, слава богу, пока что никто не помирал в нашем клане.

— Будучи в России, Дюма специально изучал русскую кухню.

Понимающе наклоняешь голову.

— Поездка с просветительскими целями? — На два укуса осталось, но не надо спешить, иначе придется жевать еще порцию. — Ты выходной завтра?

— Да. У него был роскошный замок, он принимал в нем гостей и угощал блюдами собственного приготовления.

«Хороший человек. Жаль только, романы писал». Оставь иронию — она торпедирует миссию мира.

Идет. Придерживаешь у рта завершающий кусок. Синеватый след на переносице — два часа, не меньше, прокорпела над бумагами.

— Есть с кооперативом новости?

Супруга проинформировала...

— Завтра, мама. Сегодня не видел этого человека.

Что означает мимолетный вопрос в усталых глазах директора фабрики? Недоумение? Завтра день рождения брата, а ты наметил деловую встречу? Пижон, ты плохо думаешь о своей матери. «Запомни, Андрей: если бросишь ребенка, я не хочу больше знать тебя. Это не пустая угроза, ты знаешь. Это крайнее средство. Я не очень надеюсь, что оно поможет, но если я не воспользуюсь им, я перестану уважать себя». «Не бойся, мама: ты никогда не перестанешь уважать себя».

Ой ли! «Пожелтели глаза? Но ведь это уже почти перед смертью. А раньше? Были же раньше какие-то симптомы?» Чего вдруг так заинтересовала директора кондитерской фабрики клиника болезни вашего несчастного соседа? Что ей этот асоциальный тип с его циррозом и грозно желтеющими глазами? Какие тревожные параллели породил он в ее материнском мозгу? Праздное любопытство и показная гуманность — сроду не водились за ней подобные грешки. Как и склонность к рефлексии. Компромисс и мама — понятия несовместимые. Быть может, как раз в этом и сила ее? Не слабость, а сила?

— Отменный пирог! — Вытираешь салфеткой пальцы. — Нельзя ли завтра на бис повторить?

— На бис? Слышишь, мать, на бис! Не-ет, так вас избалуешь. Ши да каша — пища наша. Завтра будет свежий судак.

Последние часы подледного лова — до именин ли тут!

— Из «Нептуна»?

Оскорбленно встряхивает седеющей шевелюрой. А чем ты будешь встряхивать в его возрасте? Ушами?

— Хотел бы я посмотреть, какого судака поймает ты в «Нептуне». Мерлуза да треска. И еще эта, как ее? Блины — я ее называю.

— Камбала?

— Камбала.

Мама не участвует в диалоге — столь низкие предметы не занимают ее ум. Высока и прекрасна ее орбита, но ты, верный долгу, вынужден заземлить ее.

— Рыбак ты прекрасный, отец, но кулинар еще лучше. — Сыто хлопаешь себя по животу. — Завтра на бис надо повторить. С цифрой «тридцать». Ты можешь выложить цифру «тридцать»? Из мармелада или чего там.

Тускнеет, опадает вдохновенное лицо диктора областного радио. Взгляд в сторону уползает. Руки ищут чего-то, но не находят, а матери — сухие и быстрые — невозмутимо смахивают крошки со стола.

— На мясном пироге — из мармелада... — Сопит и на тебя не смотрит: все так славно было, я шедевр создал, а ты пришел и испортил все. Зачем?

— Ты прав: мармелад плохо сочетается с мясным фаршем. Но у тебя блестящая фантазия, папа, ты придумываешь что-нибудь.

Мама аптечку открывает. Давление? Весна, время кризов, суровая пора для гипертоников.

Быть может, не следовало затевать этого разговора? Или аптечка всего лишь тактический ход, долженствующий продемонстрировать принципиальность мамы? Прошу не обращать на меня внимания —

лично я не участвую в этом никчемном диалоге. Я своих мнений не меняю. Полагаю, Максим, ты тоже будешь достаточно последователен.

Папа мечется. Конечно, он вполне суверенен, диктор областного радио, но воля и незапятнанный авторитет главы семьи грузно давят на него.

«Почему ты молчишь, Максим?» «Да, конечно... Ребенка жаль... Но... Я не знаю... Вообще-то другие разводятся. Может... Может, он любит другую?» — не без страха выговаривает папа и попадает в точку. Необъяснимо пронизателен порой витающий в облаках, красноречивый и трогательно поверхностный папа. Они усыпляют твою бдительность, эти его прелестные качества, а между тем с ним надо держать ухо востро.

Любит другую! — экое богохульство, но тем не менее глава семьи настроена снисходительно. И этот постыдный вариант готова обсудить она. «Мало ли кто кого любит. На свете есть еще кое-что кроме любви. И кроме собственной персоны, которую нас так тянет улаживать».

Тянет, мама, тянет. И не только собственную.

«Лук отдельно, Андрей не ест с луком». «То есть как отдельно? — негодует гурманская душа Максима Рябова. Один из первых и, стало быть, один из самых сильных приступов кулинарного зуда. — Что это за вареники с картошкой — без лука?» Мама не отрывает глаз — тогда еще не очков, а глаз — от бумаг: вот как важны для нее цифры и графики и вот как не важны вареники, о которых она упоминает лишь к слову, лишь истины ради. «Я не говорю: без лука. Только не надо класть его внутрь. Каждый себе посыплет». Папа сердится. Кухня — его вотчина, и он не желает терпеть чьих бы то ни было вмешательств, пусть даже главы семьи. «Он всегда любил с луком». «Никогда», — замечает мама и сосредоточенно перекладывает на маленьких счетах пластмассовые костяшки.

А ты? Как ты любишь — с луком или без? И вообще какие блюда предпочитает младший сын, кроме холодного кефира и сырка с изюмом? Мама этого не знает. Ты не обижаешься на нее, ибо этого не знает никто, и ты в том числе. По-видимому, у тебя нет любимых блюд. Пробел в твоём мировосприятии!

— Пойду спать. — Отец сопит, хмурится, к пирогу, чуду кулинарии, интерес потерял. — Завтра вставать рано.

Седеющая грива — лев, но старый, пообтертый.

Пузырек раунатина в руках — стало быть, не тактический ход; стало быть, ничего не собирается демонстрировать мама. Напротив, стоит спиной к вам, и ты, как ни стараешься, не можешь подглядеть, сколько таблеток выкатывается на ладонь. Это и твое будущее лекарство: гены директора кондитерской фабрики несли в себе не только работоспособность и обостренное чувство долга, но и раннюю склонность к гипертонии. Ты знаешь это и ты начеку. Ни крепких бодрящих напитков, ни ночных бдений, строжайший режим, основа которого — чередование работы с активным отдыхом.

А она? Опять это нелепое ощущение, что ты холишь свое здоровье за счет кого-то. Не кого-то — ее. Но ведь это совершенная чепуха, ибо хотя бы раз нервничала она из-за тебя?

Глотком холодного чая запивает. Всего глотком — значит, одна таблетка.

При чем тут ты? Да, ты делаешь по утрам зарядку, да, ты плаваешь, но ведь если ты расхвораешься, как говорит Марго, ей от этого легче не станет. Наоборот! Разумеется, наоборот, хотя она и не знает твоего любимого блюда. Пока что, слава богу, ты не принес ей этих огорчений. Вообще никаких.

«А тебе не кажется, что ты преступница по отношению к нам — еще большая, быть может, чем я к своей дочери? Ты лишила нас самого святого, что может быть у человека: любви к матери. Мы ведь не любим тебя — ни я, ни Станислав. Уважаем, боимся, преклоняемся, но — не любим. Я сиротам завидую: у тех хоть мечта есть, что их мать была самой прекрасной, самой доброй женщиной на свете».

«Говори за себя, дорогой. За себя!»

У тебя и сейчас не повернулся бы язык сказать такое. В этом доме лишь диктор областного радио имеет право на прочувствованные речи — большой, милый ребенок. А как, интересно, ты мог отмежеваться от речей брата, не впад при этом в сентиментальность? Не мог. Почему же тебе до сих пор так не по себе от того давнишнего молчания? Да и молчания, строго говоря, не было: ты иронически гмыкнул. Не густо, но ведь у тебя очень емок этот звук — чего только не выуживает из него братец!

— Спокойной ночи, мама.

Не тревожься, я больше не стану докучать намеками о завтрашнем торжестве.

Щель светится в двери — не спит супруга, ждет. Чистишь зубы, умываешься — долго и тщательно. Замашки инквизитора прорезались в тебе, Рябов! Худо! Словно шлаком завален ты необязательными вещами: натужный флирт с Lehgerin, на супругу гнев по ее же шпаргалке, наивные попытки примирить родителей с сыном, о Жаброве мечты... Стесняясь своего голого лица, малодушно напяливаешь на него маски: смотрите, я такой же, как все. Ну так будь последователен, надень обиду — тыходишь в комнату.

Крахмальная свежая постель о двух подушках. Одеялом полуприкрыты кружева ночной сорочки. Читает в ожидании мужа. Роман про любовь? Хорошее дополнение к вечернему интерьеру. Не только же на твоих лекциях читать романы.

Сядишься за письменный стол спиной к супружескому ложу. Запах духов — мелькнул и нету.

— Ты работать еще?

Зажигаешь лампу.

— Где шарф Штакаян?

— В шкафу. Надеть хочешь? -- Удивление: супруг всегда был так разборчив в одежде.

«Да. И спать в нем».

Журналы берешь. Свежий, что сегодня пришел, лежит отдельно — чутка и предупредительна жена ученого.

— Передавали, завтра пять градусов тепла.

На крещенские морозы рассчитан подарок Марго — зимой вязала, в холод.

Пробегаешь оглавление. Чесноков — о внутрихозяйственных плановых ценах.

— Завтра, — интересуешься, — нет ночного дежурства?

В крайнем случае можешь явиться и один на юбилейное торжество — братец не обидится.

— Завтра же у Андрея день рождения. — С нежной готовностью пожертвовать собою: твой брат, знаю я, не пылает любовью ко мне, но ради уважения к тебе — слышишь, не ради него, а ради тебя! — я считаю себя обязанной пойти на именины.

Профессор Капрович. Это ас, этого непременно надо прочесть, и не кое-как, а на свежую голову.

— У Тамары собираются?

И Тамара, знаю, не встретит меня с распростертыми объятиями — что ж, тут нет ничего удивительного; я тоже не в восторге от твоей

тети — на мой взгляд, она претенциозна и завистлива, но какое это имеет значение, раз у твоего брата день рождения? Я пойду.

Спасибо.

— В семь часов.

Размахнулся, однако, Капрович — печатный лист, не меньше. Тебе не дали бы столько. Справедливо: уровня старика ты не достиг пока.

— Там помочь, наверное, надо. Я могу раньше подойти.

Видишь, на какие жертвы готова я ради твоего брата? А ты мелочишься, ты не можешь простить, что я не смогла отказаться от внеочередного дежурства. Но ведь я врач, Станислав, как ты не понимаешь этого?

— Не надо раньше.

Гитарин — не тот ли? Ну конечно, Е. Гитарин, он самый. И все та же маниакальная идея: упразднение деления рабочих на основные и вспомогательные.

Что, однако, беспокоит тебя, кандидат? Крахмальная постель о двух подушках? Ну брякнись в нее — кто запрещает тебе?

«Я еще в агентстве поняла, что ты с женой собирался. Когда ты мне путевку дал. Там «Рябова» стояло».

Смешны и старомодны твои сомнения — братец в улыбке покривил бы свой заросший бородой рот. *«В праведника играешь? Гримируешь под любовь заурядную курортную интрижку? Мини-интрижку. Это похоже на тебя, ты ведь все привык делать фундаментально. Но если это любовь — брось все и уйди. Как я. Как доцент Архипенко. (Об Архипенко братец не знает.) Ты ведь созидатель, а не разрушитель. Полезный человек. По этому поводу Бодлер... (Ты не путаешь? Бодлер, — он любит пожонглировать этим именем.) Бодлер по этому поводу сказал следующее: гнусность, считаю я, быть человеком полезным».*

Скажи мне, кто твой кумир, и я скажу, кто ты.

«ПРИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЗАДАЧ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛУЧЕННЫМИ НА КАКОМ-ТО ЭТАПЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ»... Капрович — его вязкий стиль. У иного студента язык богаче и выразительней. Но все же ты предпочитаешь читать Капровича, нежели Е. Гитарина, который, отдай должное, не уступает тебе в живости изложения.

Ты не только старомоден, ты еще и ханжа. Пойти в ресторан с Lehreip, напрашиваться к ней в гости не считаешь аморальным, а здесь ты крепок, как настоятель монастыря.

«...МЕТОДИКА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОКРАЩЕННЫХ ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ...»

— Ты не скоро?

Оставь Капровича, сейчас ты не осилишь его.

— Поработать надо.

Мартовский номер, статья Мирошниченко. Вступительный абзац, еще один... Три вступительных абзаца! Кошмар.

Скрип тахты. Не хочет спрашивать, срочно ли это.

«...ПРИ КОТЛОВОМ СПОСОБЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАТРАТ МЕЖДУ ЗАКАЗАМИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ПЛАНОВОЙ СТОИМОСТИ».

Встает? Это еще зачем? Точно, встает. Не отвлекайся, профессор!

Ныне стало хорошим тоном обрушиваться на котловой способ. Даже ты боднул его на сегодняшней лекции — неблагоприятно-с.

Что-то делает за твоей спиной. Халат надевает?

«...ЭТОТ ПРИНЦИП УЧЕТА НЕСОВМЕСТИМ С ПРИНЦИПАМИ

ХОЗРАСЧЕТА, ТАК КАК СНИЖАЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ФАКТИЧЕСКИМИ... ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ...»

Твой дисциплинированный взгляд не отрывается от журнала, но видит, видит в полуметре от тебя белоснежный, махровый, до пят халат с откинутым капюшоном. Неподвижен.

Итак, нельзя установить... Что нельзя установить?

Тихо садится.

«...НЕЛЬЗЯ УСТАНОВИТЬ, ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ПЕРЕРАСХОДЫ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВИНОВНИКОМ...» Сидит и смотрит. Просто сидит и смотрит. «...КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВИНОВНИКОМ...» Правда, кто?

«Ты все еще сердисься на меня?» «Я? Нисколько. У тебя замечательные духи». И это правда, ибо духи — тоже твой подарок. Тебе нравится, когда от женщины хорошо пахнет. «Почему ты сердисься на меня? Ведь я не могла поехать, ты знаешь. Или ты не веришь мне?» «Ну что ты! Жена Цезаря вне подозрений». Это обидело ее, и напрасно. Ведь не над ней иронизировал — над собой. Только над собой.

«Она красивая у тебя. — В чем, в чем, а уж в этом братец знает толк. — Но... — Не договорив, размышляет. — Если бы я писал ее портрет, я бы знал о ней все». «Попроси. Может, согласится попозировать». «Она твоя жена». — «И что из этого следует?» — «То, что я не буду писать ее». — «А-а». — «Ты опять понял меня грязно. Я не буду писать ее вовсе не поэтому. Я думаю, она подходит тебе. Она даст тебе все, что ты рассчитываешь получить от брака».

И долго она намерена сидеть так?

«Если не веришь, можешь позвонить Маркину». Хороший человек Маркин!

А что, собственно, ты рассчитывал получить от брака?

«Постарайся пораньше, я буду ждать». И дождалась. Я дождалась тебя, Станислав! — а ты уткнулся в свою дурацкую статью.

«...ЭТОТ ПРИНЦИП УЧЕТА НЕСОВМЕСТИМ С ПРИНЦИПАМИ ХОЗРАСЧЕТА, ТАК КАК...» Тут ты права, дорогая, статья дурацкая. «Так почему же ты мучаешь меня из-за нее? Я и так весь день как на иголках. Рецепт неправильно выписала». «Халатность врача преступна». «Ты только и думаешь о своем приоритете. На работе, дома — везде. Самый умный, самый добрый, самый честный. Лучше бы ты пьяницей был!» «От пьяниц рождаются ненормальные дети». На это у тебя не достало духу — побоялся выдать себя. И без того ты был где-то неосторожен, если папу угораздило вдруг продекламировать тебе — не ей, а тебе! — стихи про младую рощу, которая теснится около корней устарелых, а вдали стоит один угрюмый их товарищ. «Угрюмый! — под черкнул он с воздетым к потолку указательным пальцем. — Ты-то понимаешь это, я знаю, а вот она...» Откуда взял папа, что ты понимаешь? Твоя неосмотрительность повинна тут или та самая чудесная пронизательность, которая порой необъяснимым и опасным образом снисходит на диктора?

На диктора-то снисходит, а вот ты... Нет, этого не может быть. А почему, собственно, не может? Рано или поздно это должно случиться. «Нужный человек Минаев. Может кооператив сделать». Как насторожилась она, услышав это! Даже джемпер натягивать перестала... Ты справедливо не усмотрел тут ничего симптоматического — какая женщина не мечтает жить отдельно! — но вдруг этот повышенный и нетерпеливый интерес к квартире зиждется на иных, более сокровенных и пока что тайных для тебя, лимитирующих сроки обстоятельствах?

Не дури, Рябов. Читай о принципах расчета, что несовместим с принципами хозрасчета, и не дури. Ты достаточно знаешь свою жену: неужто допустит она такое, пока еще полная неясность с квартирой?

Да и разве не дала она тебе понять, что вообще не торопится с этим? «Слава, дорогой, я не хочу быть только самкой, только женой, только матерью. — Доверительно и взволнованно, а глаза надеются, глаза верят, что ты поймешь ее. — Прежде всего я — женщина и всегда буду ею».

Ну и чудесно! Ведь именно на женщин, если ты не ошибаешься, природа возложила эту деликатную функцию. Поэтому ничего сверхъестественного нет в твоём внезапном подозрении. Никогда еще она не сидела вот так перед тобой — в столь поздний час и без единого слова.

Не дочитав до конца, деловито переворачиваешь страницу, быстрым скошенным взглядом задеваешь из-под ресниц ее лицо. Зажмурься, Рябов! Покачай головой. Не веришь? Это она, твоя жена, и ты снова, как некогда, понимаешь посторонних мужчин.

— Спокойной ночи. — Негромко и как-то сдавленно, будто натягивает джемпер через голову.

Ты слышишь, ты видишь спиной, как тихо укладывается она под свое одеяло. Свое! Ты чудовище, Рябов! Твоя жена хотела поговорить с тобой, она ждала тебя, а ты уткнулся в словоблудливого Мирошниченко. Что собиралась сказать она? Не «спокойной ночи», для этого не вылезает из постели, не облачаются в халат и не сидят в ожидании с бесконечным терпением.

Запрокинув голову, упруго, с хрустом разводишь руками.

— Крым хорош летом. Можно прокатиться верхом на медузе...

И еще что-то плетешь дальше — остроумие уровня Панюшкина. не выше, — и вдруг эта невинная дорожка приводит тебя к повороту, перед которым у тебя на секунду захватывает дух. Но ты решаешься. Отпуск в декабре, это, конечно, ужасно, но и в декабре можно прелестно отдохнуть. Не в Крыму, нет, а, например, в Карпатах, где, слышал ты, замечательные лыжи. «Я не смогу в декабре кататься на лыжах». «Почему?» — наивно подымаешь ты брови. «Не смогу...»

— Но ведь мы в Польшу собирались в декабре.

В Польшу... Прекрасная страна — Польша. Там жил Коперник и еще кто-то.

— Коперник — великий ученый! — провозглашаешь ты. Без помады ее губы напоминают ветчину, и ты едва удерживаешься, чтобы не поделиться с подружкой жизни этим тонким наблюдением.

Ты кретин, Рябов. Ни одна душа на свете не подозревает, какой ты кретин. Даже братец. Сиди и читай, читай до посинения про котловый способ, при котором затраты изумительно распределятся между заказами пропорционально их стоимости.

13

Придерживая дверь, вворачиваешь шуруп.

— Текущий ремонт? — Тетюник в клетчатом пиджаке. — Смотрю и поражаюсь: вас и на это хватает. Удивительно! Просто удивительно! У вас феноменальная работоспособность, Станислав Максимович. Фено-ме-нальная.

Извлекаешь на свет одну из глупейших своих улыбок. Все, достаточно — иначе резьбу сорвешь. Еще шуруп — и никакая сила не отделил ручку от двери.

Причмокивает, качает головой. Одобряю, Станислав Максимович! Все, что ни делаете, даже ремонт дверной ручки, — одобряю. Но простите, мне некогда, меня работа ждет, бегу.

Бежит. Не к Панюшкину ли? Провожаете взглядом. Туда.

«Заходите, Станислав Максимович, кто бы ни был у меня. Для вас моя дверь открыта всегда».

И все-таки лучше подождать. К Марго в половине двенадцатого, время есть. К тому же ты вовсе не сгораешь от нетерпения узнать, что за разговор приберег для тебя директор института. Не сгораешь, так ведь? Ты и на ринге никогда не форсировал события, отдавая предпочтение добротной французской школе, девиз которой — надежная защита. Двумя перчатками закрыто лицо — и попробуй достать его! А свои удары всегда возьмешь, только не надо торопиться, надо подождать, пока противник, потеряв терпение, не откроется в легкомысленном азарте.

Все!

— Можно вешаться — выдержит.

Люда подымает голову от бумаг. Она чудесно относится к тебе — смотри, сколько дружелюбия в ее ласковых глазах. Она все понимает, самая красивая женщина института. И ты тоже. Ты тоже понимаешь теперь кое-что, но не подаешь виду. Ты даже не спрашиваешь, понравился ли ей вчерашний спектакль.

У тебя железное самообладание, Рябов, — о каких пустяках думаешь ты за несколько минут до «главного разговора»!

Конечно, пустяках! Тебе нет дела до самой красивой женщины института. До сотрудницы — есть, а до женщины — нету; разве ты не установил это раз и навсегда?

Звонок, Федор Федоров срывает трубку. Поговорить — вот единственная отдушина после закрытия охотничьего сезона.

— Минутку. Станислав Максимович!

Берешь.

— Слава? Привет, старик. Минаев. Ты звонил мне?

По-студенчески просто. Мало ли кем стали мы: ты — кандидат наук, я — номенклатурная единица, но прежде всего мы товарищи, сокурсники, не так ли?

— Я в субботу домой тебе звякнул, думал — что срочное. Мне сказали, ты в Крыму. Красиво живешь, старик.

В общем-то, разыскивал ты меня, но не будем считаться. Нужен тебе — я к твоим услугам,

— Экскурсия? Завидую, старик, завидую. С удовольствием присоединился бы. Как погода там?

О делах не спрашиваю. Дурной тон — с ходу интересоваться, зачем понадобился тебе. Во мне теперь многие нуждаются, но то — служба, то — официально, а с тобой мы приятели.

— Молодец, что дал знать о себе, — сколько не виделись! Что ты, как?

У меня отдельный кабинет — надеюсь, ты уже понял это по моему тону? Никаких сослуживцев, один. Ни Федора Федорова, ни Люды, самой красивой женщины института, ни Малеевой, матери своих детей. В приемной сидит кое-кто, но ничего, подождут. Мы ведь сокурсники с тобой. В институте, кажется, ты не слишком жаловал меня, я был в твоих глазах пронырой, ловкачом, карьеристом — кем там еще? — но кто старое помянет, тому глаз вон. Мы приятели и мы можем быть полезны друг другу. Не желаешь ли, старина, в кооператив вступить?

«Вы с Минаевым учились? Так в чем же дело — он как раз курирует этот отдел».

— А вообще, слушай, что это за разговор! Надо встретиться, посидеть. Ты где обедаешь, дома?

Это тебя устраивает. Иначе пропадет еще один вечер — какой по счету?

— Отлично, я тебя приглашаю. В час в «Москве». Я позвоню, чтобы оставили столик. Будь здоров, старик!

В «Москве» в час, у Марго в половине двенадцатого. Достаточно! Шеф больна, и ты просто не смеешь задерживать ее.

Звонок. Уж сейчас-то Федор Федоров утолит жажду.

— Вас.

Опять? Благодарно киваешь. А по имени не назвал — осерчал старик. Пусть вы и начальник без пяти минут, а несправедливо все же. Вам два раза подряд, а мне ни одного. И сезон закрыли и не звонят. Как жить дальше?

— Станислав Максимович, вас Архипенко беспокоит. Здравствуйте.

«У него неприятности. Жена жалобу написала».

— Значит, не возражаете. А когда вам удобнее — в среду или пятницу?

Не похоже, что убит горем. А почему, собственно, горем? Он парить должен — от счастья. Не парит. Ни то ни се. Марки собирает.

— Спасибо, Станислав Максимович. Я передам в учебную часть, обязательно. Большое вам спасибо, до свидания.

Нудный, как доцент Архипенко.

«И не надо так плохо думать о людях» — завещание Lehrerin.

А что, теперь думаешь о нем лучше?

«Вы слышали? Рябов из отдела Штакаян с женой разошелся».—

«Да ну бросьте!» — «Я вам говорю». — «Боже мой, как же так! А ведь его в заведующие прочили — как Штакаян на пенсию уйдет». «Прочили», — со вздохом.

Слишком всерьез принимаешь ты все, кандидат. Так нельзя! Подымайся и иди: тебя ждет директор. Для главного разговора.

«Садитесь, Станислав Максимович. Ближе, ближе. Вы что же думаете: чем ближе сядете, тем дольше задержу вас? Догадываетесь, о чем речь пойдет? Так уж и нет! Все знают, а вы нет. Маргарита Горациевна уходит на пенсию». — «В первый раз слышу. Когда?» — «Не знаете? Любимому ученику и не сказала вдруг? Бросьте, Станислав Максимович. Зачем нам с вами лукавить друг перед другом? Вы молоды, у вас все еще впереди, а я... ну, не первой свежести, так скажем. Но кое в чем я еще могу быть полезен вам. Вас ждет блестящее будущее...»

Ни в какое Жаброво ты не поедешь. Глупость, наваждение — переться бог знает куда, в глушь, в деревню, к Татьяне Лариной. Мало, что ли, здесь женщин? Тебе легкости не хватает, Рябов. Женщинам нравятся мужчины фривольные и дерзкие, ты же утомительно порядочен с ними.

«Вас ждет блестящее будущее...»

Открываешь дверь:

— Разрешите?

Один. Нет, с телефоном, как всегда. Рукой машет: входите, не стесняйтесь, я сейчас.

— Да-да, я слушаю. Да.

Можете располагаться — вот сюда, в кресло. Не на стул — нет-нет, в кресло, вот так. Смелее, смелее! Главный разговор предстоит.

— Добро! Письмо напишите... Можете на мое имя, можете вообще без имени — в этом ли суть!

Смотри внимательно: перед тобой Минаев в возрасте. А в час дня в «Москве» увидишь молодого Панюшкина. Панюшкина на взлете.

— Добро... Добро... Пока!

Трубка виновата, что тебе ждать пришлось, — летит, отвергнутая. Чудовищное изобретение — телефон!

— Прямо напасть какая-то! Звонят, звонят — работать некогда. Здравствуйте!

Дряблая маленькая рука, а на вид — крепыш, боровичок. Кнопку вдавливают. Секретарь Клавдия — не входя, приоткрыв дверь.

— Не соединяйте меня. Меня нет.

Вот как я уважаю вас, Станислав Максимович. Серьезный, главный, долгий разговор у нас с вами — приготовьтесь.

— Как лекции вчера? Все нормально?

Больно уж издалека. Этак ты и к Марго не поспеешь.

— Скромничаете. Ох скромничаете! Судя по вашим статьям, студенты должны обожать вас. Живо, доходчиво... Обожают, а? Признавайтесь.

Директор в роли подхалима. Уникальное зрелище!

— По-разному. Одни — слушают, другие — романы читают.

Уж не идея ли соавторства зреет в голове рубахи-директора?

«Спасибо, Иван Акимович. Это очень лестное предложение, но я не уверен, что справлюсь». — «Скромничаете! Ох скромничаете». — «И даже не в этом дело — справлюсь или нет. Круг тем, которые я затрагиваю в своих работах, довольно локален — как, впрочем, и у всякого автора. По-моему, это естественно. И будет, я думаю, несколько странно, если я сунусь вдруг не в свою тарелку». — «Почему не в свою? Я потому и предлагаю вам, что это ваша тарелка».

— Поражаюсь вашей работоспособности.— Это ты уже слышал сегодня. Не много ли на одно утро? — Ведь кроме всего прочего, вы, по сути дела, еще и отделом руководите. У меня здесь справочка... Вот.— Ключок ведомости. Он демократичен и прост, директор, меловая бумага ни к чему ему.— С первого января Маргарита Горациевна проработала в общей сложности двадцать два дня.— Без очков шпарит — наизусть вы зубрил? — Двадцать два. Это чуть больше трех недель. А с Нового года, слава богу, минуло почти четыре месяца.

Смолкнув, умно глядит водянистыми глазами. Тебе предоставлено право сделать вывод из этой грустной статистики.

«При всем этом, товарищи, здоровье Маргариты Горациевны уступает здоровью наших космонавтов. Поэтому естественно, что Маргарита Горациевна физически не в состоянии вникнуть во все тонкости работы института. Я, как директор, констатирую это с огорчением, ибо советы и консультации Маргариты Горациевны были б весьма полезны для нас».

— Вы руководите отделом, а получаете оклад научного сотрудника. Кроме того, вы ведь выполняете и свои обязанности. Другой давно взбунтовался бы на вашем месте, а вы — нет, вы тянете. Честь и хвала вам за это. Честь и хвала!

— Спасибо, только вы преувеличиваете. Маргарита Горациевна в курсе всего, что делается в отделе.

— Я ценю вашу скромность, Станислав Максимович. Как и ваше благородное отношение к своему учителю. Но, право, у руководства института, в конце концов, тоже совесть есть. Я хочу быть с вами откровенен, Станислав Максимович. Мы все глубоко чтим Маргариту Горациевну. Она отличный ученый, прекрасный человек...

«Но ее здоровье уступает здоровью космонавтов. Этим я и объясняю резкость высказываний Маргариты Горациевны. Я убежден, у Маргариты Горациевны и в мыслях не было опорочить наш коллектив, руководство института».

— Давайте назовем вещи своими именами. Работать ей трудно. Вы согласны со мной? Честно, по-мужски! Забудьте на минуту, что она ваш учитель, что вы многим обязаны ей, забудьте. Жизнь есть жизнь. Сегодня она, завтра я, послезавтра вы. Диалектика. Согласны?

— С диалектикой согласен.

— Только с диалектикой? А с остальным? Но не буду пытаться вас: я ведь понимаю, что вам труден этот разговор. Я и Маргариту Горациевну понимаю. Одна, ни детей, ни родственников. Невеселая старость, чего уж там... Вы-то что, вы-то об этом еще умозрительно судите, а я уж сам подбираюсь. Маргарите Горациевне нелегко расстаться с коллективом. Но я хочу быть с вами до конца откровенен, Станислав Максимович. Мне кажется, на вас можно положиться.

Водянистые глаза — два всплывших к поверхности осторожных окуня. Не такой уж он рубаха, директор Панюшкин. Не двигаешься, ждешь — при желании это можно растолковать как знак согласия: положиться можно.

— Недавно у нас состоялся разговор с Маргаритой Горациевной. Неофициальный и вполне дружеский, я бы сказал. Я предложил ей следующее. Если она не возражает, институт будет ходатайствовать о назначении ей персональной пенсии. Уверен, что наше ходатайство не отклонят: вклад в науку профессора Штакаян общеизвестен. — Горестная пауза. Сейчас главное последует. — Маргарита Горациевна отказалась. Она заявила, что не собирается уходить на пенсию.

Твое сердце зачастило, но ведь ты умеешь владеть собою, не правда ли, Рябов? Ни один мускул не дрогнул на твоём голом лице. Ты не разочарован, нет, — напротив, ты искренне рад, что мэтр и учитель не намерена покидать свой пост.

Окуни в глубину ушли — директор сказал все. Он обессилел — все это чрезвычайно трудно, Станислав Максимович! Чрезвычайно! Жду вашего слова.

— По-моему, надо поблагодарить Маргариту Горациевну. Наука только выиграет от этого.

Печальная улыбка. И вы говорите это всерьез? Конечно, я тоже рад, что, несмотря на нездоровье, Маргарита Горациевна остается в наших рядах, но...

«Научное руководство осуществляется крайне неквалифицированно. Я привела всего несколько примеров, но число их можно увеличить. Не понимаю, как товарищ Панюшкин мог согласиться на руководство исследовательским институтом, не имея опыта научной работы».

Откуда столько силы в этой маленькой женщине на тонких ножках? Завидуешь, Рябов... Чему? Вот ахнули бы все, узнав. Зависть и Станислав Рябов — понятия столь же несовместимые, как мама и компромисс. Между прочим, они похожи — твоя родная мама и мать крестная. Странно, что тебе до сих пор не приходило это в голову.

Недоумеваешь: чем, собственно, озабочен директор? Ликовать надо: такой специалист — и остается в институте!

— Вы действительно уверены, что наука выиграет от этого?

Удивляешься: а как же?

Чего он хочет от тебя?

Окуни вновь всплывают. Есть способ проводить профессора на пенсию, но ведь вам не требуется шпаргалка, товарищ Рябов. Думайте, думайте, ворочайте мозгами — в конце концов, не я, а вы преемник заведующего отделом.

— Наука должна выиграть. — Ты делаешь ударение на слове «должна». — У Маргариты Горациевны огромный опыт.

Как все же вы недогадливы, Станислав Максимович! Хорошо, я подскажу вам.

— Опыт большой, но при ее теперешнем положении ей трудно передавать его. Она почти не бывает в институте. Будем откровенны: если б не вы, вся работа отдела полетела бы к чертовой матери. Разве не так?

Думайте, думайте, я подсказал достаточно.

— Я не один в отделе.

Скромность украшает человека.

— Перестаньте, Станислав Максимович! Мы ведь не дети с вами. Я уже понял, что вы скромный молодой человек, и хватит об этом.— Пожалуй, это уже грубость.— Вообразите, что вас не было б в отделе.

Не стоило ему грубить тебе — теперь ты будешь непонятлив, как охотник Федоров.

— Другой был бы.

— Но не всякий другой уложился бы в график. И это естественно. Неестественно другое: заведующий отделом три месяца не приходит в институт, а график тем не менее выполняется. А если б нет? Представьте на секунду такое положение. Реально оно? Вполне! Подходит срок сдачи работы, а работа не готова. С вас, разумеется, спросить не могут. Наоборот, вы спрашиваете с нас: будьте добры, товарищ директор, обеспечьте нормальное руководство отделом. Штакаян прекрасный ученый, но почему мы должны страдать из-за ее бесконечных болезней?

Теперь-то вы понимаете, Станислав Максимович?

Теперь понимаешь. Но не подавай виду: разве столь гнусная мысль может сразу уложиться в целомудренной голове молодого ученого?

— Работа будет закончена в срок.— Ты обязан проинформировать руководство, раз оно заговорило об этом.— Тридцатого апреля мы сдадим ее.

Поединок взглядов? Пожалуйста! — твои глаза голубы и невинны.

— Вы в этом уверены?

— Абсолютно.

Сколько вам лет, Станислав Максимович? Двадцать восемь? И вы не понимаете, о чем я? Да провалите вы эту чертову работу! Провалите — никто ведь вам слова не скажет. Вы старший научный сотрудник и отвечаете за себя. Только за себя, а не за отдел в целом. Загляните в план — кто ответствен за выполнение темы? Штакаян. С нею и разговор будет. Заслуги заслугами, но производство, уважаемая Маргарита Горациевна, не должно страдать. Нам очень жаль — и поверьте, мы говорим это не для красного словца, — но здоровье не позволяет вам дальше руководить отделом.

— Кроме вас, в этом не уверен никто.

Не понимаешь. Чужда твоему отвлеченному мышлению эта вульгарная заземленность. Ты там, в облаках, где лишь цифры да графики.

— В чем не уверен?

— В том, что работа будет закончена в срок. Во всяком случае, с вас за нее никто не спросит — это я вам гарантирую. Потом, когда вы станете заведующим отделом — а это при известных условиях я вам гарантирую тоже, — мы будем спрашивать с вас в полную меру. Но это потом.

Куда уж яснее! А впрочем, ты слишком молод, чтобы усекать такие вещи с полуслова.

— Но ведь работа почти готова.

— Станислав Максимович! (Переиграл.) Вы или смеетесь надо мной, или вы поразительно наивны. Я склонен думать, что первое. Ответьте прямо: вы хотите заведовать отделом?

Ва-банк.

— Но ведь мы говорим сейчас о теме, над которой работает отдел.

— Одно связано с другим. Если работа не будет сдана в срок... Подержите ее еще май. Только май, один месяц, и я обещаю вам заведование.

«Вы мерзавец! Вы отъявленный мерзавец, Панюшкин. — Братец

сжимает кулаки. Борода его воинственно задрана — здравствуйте, господин Курбе! — *Как вы смеете предлагать мне такое? За кого вы принимаете меня? За последнего подонка? Я набил бы вам морду, не будь вы старше меня на двадцать лет*».

Брезгливый взгляд на директора сквозь роговые очки. Он не услышался? Он совсем юн еще, Виноградов, последний аспирант профессора Штакаян, он на два или три года моложе тебя, и ему трудно поверить, что подобное возможно.

Не услышался. Возможно. Подымается и молча выходит из кабинета — последний аспирант профессора Штакаян.

— Вас шокирует мое предложение. Оно кажется вам безнравственным и жестоким, я понимаю. Но иногда приходится быть жестоким, раз этого требуют интересы дела.

— И безнравственным.— Скучно усмеаешься. В тебе нет возмущения, и ты не намерен симулировать его. Достаточно и одного спектакля, разыгранного тобой: Жаброво.

— То, что идет на пользу делу, не может быть безнравственным.— Как омерзительно стар он, директор Панюшкин! Старее Марго и нянечки Поли, вместе взятых.— Штакаян не в состоянии больше работать, это ясно всем, в том числе и ей самой, но сделать из этого должные выводы у нее не хватает смелости. Мы обязаны помочь ей.

Стар. И скоро, скоро окажется за бортом — не выкинутый, вежливо выпровоженный на берег. Однако пока он на корабле, он может попортить немало крови.

— Мы?

— Да, мы. Один, как известно, в поле не воин.

А что, собственно, он может сделать с тобой? Ты рискуешь потерять из-за него темп — пока он у руля, это в его силах.

Темп.

— От вас требуется совершенный пустяк: не сдавать работу, покуда я не скажу вам. Все остальное я беру на себя.

«Стало быть, не желаете помочь нам? Хорошо, обойдемся без вас. Но не рассчитывайте, что вы выиграете от этого. Кстати, позаботьтесь перенести ваши лекции на вне рабочее время. На субботу или на вечер. По понедельникам я прошу вас впредь быть на месте».

— Вас смущает что-то? Поделитесь — вместе помозгуем. Если мое предложение неприемлемо для вас — откажитесь. Я не буду в претензии — слово мужчины. Рано или поздно Штакаян уйдет на пенсию, и тогда это место будет ваше. Но, конечно, полной гарантии, как сейчас, я не могу вам дать. За два или три года много воды утечет. А Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет.— Разводит руками. Это уж не в моей власти. До самой могилы будет скрипеть, а когда это случится, одному господу богу известно. Так что выбирайте.— Я не тороплю вас — взвесьте все хорошенько.

Нет, он не отважится пойти против тебя — тем более теперь, по рукам и ногам связанный столь доверительным разговором. Какого маху дал он, решившись на него! *«Я ответственно заявляю, что товарищ Панюшкин подбивал меня не сдавать законченную работу».* И тебе поверят. Он знает, что тебе поверят, и, слава богу, не знает другого: на такое ты не пойдешь никогда. Выиграв у Панюшкина, который и без твоих вмешательств продуется в пух и прах, ты сильно проиграешь в ином: тебе перестанут доверять. На человека, способного публично козырять приватными беседами, нельзя положиться. Панюшкин не понимает этого. Стар, стар, безнадежно стар директор Панюшкин!

— Тридцатого апреля работа будет сдана.

«Догадываетесь, о чем говорить будем? Маргарита Горациевна уходит на пенсию. Вас ждет блестящее будущее».

Мальчишка!

«Штакаян может проработать и дольше. И четыре и пять лет».

«Никто из нас не вечен.— Большие блестящие армянские глаза. Она любит тебя как сына.— Не пугайтесь, вас я не имею в виду. Просто тянет обобщать с определенного возраста. Философствовать. Некий мудрец, между прочим, назвал философию наукой умирать».

Дурные, юркие мысли. Прочь!

Все? Или еще будут вопросы?

— Вы хорошо подумали?

Надеется, на попятную пойдешь?

— Да. Я всегда говорю подумав.

«Не буду в претензии на вас — слово мужчины». Ораторская фигура?

«Я вчера дал вам расчеты. Пожалуйста, верните мне их. Не смею загружать вас». «Завтра принесу. Я уже посмотрел их. Кое-что исправил».

Расчетов немного, но раньше одиннадцати не вернешься от брата. Сегодня час-полтора и завтрашнее утро — успеешь.

— Ну что же, Станислав Максимович: на нет и суда нет.— Вглубь, навсегда ушли окуни.— Откровенно говоря, я и не ожидал от вас ничего другого.

Представьте себе! И весь этот разговор затеян исключительно с целью проверить вас. Вашу нравственную устойчивость, так сказать. Вы уж не вздыхайте. Зато теперь я уверен в вашей порядочности. Вашу руку, Станислав Максимович!

— Рад, что не разочаровал вас.

— А я рад, что лучше вас узнал. Я себя вспоминаю в ваши годы — я ведь таким же был. Молодости, увы, несвойственна гибкость — это ее плюс, но это и ее минус. Когда-нибудь вы поймете, что прав был все же я, а не вы.

— Но поздно будет?

— Почему? — Вверх взлетают кустистые брови.— Я же сказал: мое отношение к вам не изменится. Единственная просьба: все это между нами.

Словом, не мешайте нам. А уж мы придумаем что-нибудь. Без вас.

Ради бога! Ты ни во что не намерен вмешиваться — у тебя достаточно своих дел.

Встаешь.

— Я могу идти?

— Можете. А можете и сидеть. (Рубаха-директор!) Я по-прежнему всегда к вашим услугам. Кстати, за какую команду вы болеете? (Не понимаешь.) Я о футболе. За какую команду?

«Посмотри хотя бы один матч. Современный футбол — это прежде всего мысль. Красота, мысль, мужество». Вот когда ты пожалел, что не внял совету брата.

— Ни за какую.— Улыбкой просишь о снисхождении.

— Как — ни за какую?

Бог с ней, со Штакаян,— это все мелочи, ерунда, но вот футбол... Неужто вы равнодушны к этой волшебной игре?

— Да.— Раскаиваешься. Свою неполноценность признаешь: нельзя быть таким в наш футбольно-хоккейный век. Хлеба и зрелищ! — как и сто и тысячу лет назад. Не гуртом умнеет человечество — отдельными индивидуумами.

— Этого не может быть! — Встал от волнения.— Немедленно выберите себе команду и начинайте болеть. Немедленно! Да-да, я серьезно! Преступление пренебрегать хоть чем-то, что делает жизнь разнообразнее и веселее. Очень мудрый совет я вам даю, Станислав Максимович! Муд-

рый! Не работой единой жив человек.— До двери провожает: теперь убедились, что мое дружеское расположение к вам не ослабло? Мешковатые неглаженные брюки.— Так мы договорились: все между нами.— Влажная ладонь. Интимно придерживает твою руку.— А команду выбирайте себе — непременно! Потом скажите — может, совпадет. Так что за кого я болею — секрет пока.

Сейчас дверь перед тобой распахнет. Опережаешь.

Посетитель в приемной. Черная папка на коленях — двумя руками держит.

— Вы ко мне? Простите, Христа ради, ждать заставил. Прошу!

Рубаха-директор. «Я не буду в претензии на вас — слово мужчины».

«Заслуги Маргариты Горациевны перед отечественной наукой трудно переоценить. Мы гордимся, что...»

И после этого ты готов верить ему? Не видать тебе заведования как своих ушей. «Работа будет сдана тридцатого апреля». Рубаха-директор не простит этого.

Но ведь ты не агрессивен, как Марго. Ни крушить, ни нападать не собираешься. Ты миролюбиво и вежливо отклонил предложение — из этого вовсе не следует, что ты принял сторону Марго. Ты вообще не намерен принимать чью бы то ни было сторону: не дело ученого барахтаться в склочной луже.

Входишь в отдел, за свой стол садишься. Федор Федоров трещит на арифмометре. Еще нет одиннадцати — рано к Марго.

Люда кладет перед тобой сетевой график — уже? Самая красивая женщина института, она умеет работать! Еще час назад ты планировал перевести ее на свое освободившееся место... Мальчишка! Теперь подождать придется самой красивой женщине.

А Виноградову Панюшкин осмелился б предложить такое?

У тебя комплекс неполноценности, Рябов, — чем Виноградов лучше тебя? Конечно, ты плебейски завидуешь его ушам — они не торчат у него, а ловко пригнаны; роговые очки придают лицу вид возвышенный и гордый, но на рубаху-директора это обстоятельство вряд ли подействовало б.

«Никто из нас не вечен. Некий мудрец, между прочим, назвал философию наукой умирать...»

Юркая нечаянная мысль — да, она была, но почему ты решил, что Виноградова не посещают подобные мысли? Никто не ведает, что творится в черепной коробке ближнего. И не надо заглядывать туда. Человеческая судя не по тому, что он думает, — по его поступкам.

«Мне плевать, как истолковывают мое поведение. В душе, я знаю, я чист, добр и честен.— В грех самоуничтожения не впадет братец.— Если б кто-нибудь знал, какие мне сны снятся! Мне такие сны снятся...»

А тебе? Что тебе снится? Пожимаешь плечами. Какая разница, что кому снится, главное — чем наяву заняты твои руки. Поэтому брось хандрить, все идет прекрасно! Панюшкин мстителен — не может простить Марго ее нападок, но гнев скверный советчик. Зачем рисковать, ускоряя события, которые и без того грянут в свой час?

«Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет». У страха глаза велики.

«Я не в претензии на вас — слово мужчины». Нет, это не риторическая фигура. Он желал обрести в твоём лице союзника, но раз ты предпочитаешь нейтралитет — пусть будет так, твой нейтралитет приемлемей твоей враждебности.

Все хорошо, Рябов, и у тебя прекрасное настроение. Великая вещь — чувство дистанции. На ринге оно попросту незаменимо, а в тебе

оно есть, Станислав. Это я тебе говорю, а я никогда еще не ошибался. поверь мне.

Верю! Я верю вам, Александр Игнатьевич, вы блистательный тренер, и лишь из-за подножек судьбы вам не удалось воспитать своего Валерия Попенченко.

Ты не позволишь судьбе сыграть с собой подобную шутку. Ты крепко держишь ее в руках, капитан, но сейчас — пора! — в половине двенадцатого мэтр и учитель ждет тебя, а ведь ты еще собирался купить для нее букетик мимозы. Мэтру и учителю будет приятно, тем более что этот знак внимания нельзя истолковать дурно. Она сделала для тебя все что могла — больше ты не зависишь от нее. Напротив...

14

— Вот как кстати: поможете мне в единоборстве с Виноградовым. Проходите. Теперь-то, Юра, вам наверняка придется капитулировать. Станислав Максимович будет на моей стороне.

Судя по взгляду, Виноградов принимает тебя за шкаф. Что ему Станислав Максимович? Если уж вы, профессор, не сумели переубедить меня, то неужели это сделает некто Рябов, пусть он хоть трижды ваш любимый ученик и преемник? Я могу лишь кивнуть на его приветствие — кивнуть, не приподнявшись со стула. Не нравится мне ваш Рябов. Это не рисовка, это настолько искренне, что меня, видите, увлекла старая газета.

Прискорбно, конечно, что Виноградов принимает тебя за шкаф, но он одинок, твой молочный брат, ибо все остальные принимают тебя за Станислава Максимовича Рябова, за кандидата Рябова, за потенциального доктора Рябова, за потенциального заведующего отделом Рябова, за потенциального... «Слава, у меня торжество, ты уж будь добр...», «Старина, я всецело поддерживаю...», «Можешь всегда рассчитывать на меня...» Ты не кичишься, ты констатируешь факт. У потенциального Рябова множество не потенциальных, а уже сегодняшних союзников, и лишь господь бог ведает, почему молочный брат предпочитает держаться на расстоянии от тебя. Ты не сердись на него. И ты не ревнуй его к Люде, самой красивой женщине института.

— Садитесь, Станислав Максимович. Вдвоем-то мы положим на лопатки этого упрянца. Вам известно, что соискатель Виноградов отказывается рассчитывать экономический эффект от рационализации управления? Не из-за лени — просто он считает, что цифра эта существенной роли не играет. А так как к тому же она весьма невелика — стало быть, Юра, вы все же высчитали ее? — то может стать козырем против рационализации. Поэтому лучше вообще ее не давать. А на каком фундаменте в таком случае держится вся эта громоздкая постройка? На очень простом: совершенствовать уровень управления — это не только искать какое бы то ни было экономическое равновесие, но также и создавать те жизненные условия, в которых человек сможет развивать свои способности, дать обществу лучшее, что в нем есть. Это цитата из Жоржа, как вы помните. По-моему, я сама же и приводела ее на одной из лекций. Теперь мне ее возвращают, но уже в качестве аргумента против старого и косного профессора. Старый и косный профессор в данном случае — это я. Мне не остается ничего иного как пойти на кухню варить вам кофе, а вы тем временем подискутируйте тут. Или вы предпочитаете чай? Как, Станислав Максимович?

В общем-то, ты предпочитаешь минеральную воду, но не пристало капризничать в этом доме, а уж тем более отказываться от тонизирующих напитков, ссылаясь на раннюю склонность к гипертонии. Элементарная неучтивость — печься при Марго о собственном здоровье.

— Все равно.

— Спасибо, Маргарита Горациевна. Мне пора.

Я понимаю, что это ваш преемник и любимый ученик, но дискутировать с ним у меня нет охоты.

— Как так? Да вы просто малодушно хотите удрать. Не выйдет! Станислав Максимович, я прошу вас всю использовать свои полемические способности. Вы схлестывались когда-нибудь? Трезвость и железная логика, — пергаментная ручка в твою сторону; что ж, ты не возражаешь, — и фантазер, мечтатель, поэт в экономике. Надо непременно сшибить вас лбами — удивительные искры высекутся.

— Я должен идти, Маргарита Горациевна. — Длинные прямые русые волосы — поэт и мечтатель.

— Ретироваться, вы хотите сказать? Опасаетесь, что Станислав Максимович вдрызг разнесет вашу эфемерную постройку? Экая проза — нехватка производственных площадей, моральный износ оборудования, острейший дефицит вычислительной техники! Со всеми этими проблемами диссертант справляется просто: он игнорирует их. Его предприятие существует в идеальных условиях. Конечно, это не утопия, это фантастика, причем фантастика научная, но пожалуйста, Станислав Максимович, опустите его на грешную землю. У вас это получится лучше, чем у меня. Скажите ему, что на этой грешной земле... На сколько, не помню, наша зона обеспечена компьютерами? На шестнадцать процентов? На восемнадцать?

К тебе — ты помнишь все. Осклабиваешься и молчишь. Ты-то здесь при чем, если профессору угодно подразнить своего последнего аспиранта?

— Со временем будет обеспечена на сто. — Не спорит, дает справку.

«Отрадная цифра. Надо думать, вы получили ее аналитическим путем». Воздержись.

— Вот видите, сто! Вы эгоист, Юра. Вы отбиваете хлеб у своих будущих коллег. Смотрите, его и это не смущает. Знаете, что он сейчас ответит мне? Что Циолковский-де не отбивал хлеб у Королева. И мне нечем будет крыть.

Прощелыга! Вы видите, какой это прощелыга, Станислав Максимович! Ему плевать на мой авторитет, на мое имя, на мой возраст, в конце концов! Ему вообще на все плевать, но я люблю его, чертенка!

Тебя профессор Штакаян не бранила так. С тобой профессор Штакаян была корректна.

— Я, конечно же, согласна с вами — со временем будет обеспечена на сто. А как сейчас жить, при восемнадцати процентах, экономиста Виноградова не интересует. Не желает приспособливаться к реальным условиям.

— Вы полагаете, надо приспособливаться?

«Разумеется! Нелепо и опасно пользоваться в наш автомобильный век правилами уличного движения эпохи дилижансов. Нелепо и опасно!» Помолчи! Не к тебе обращается молочный брат — к маме.

— Сдаюсь, — со смехом разводит мама тоненькими ручками. — Я неосторожно выбрала слово. Не приспособливаться — учитывать. Учитывать реальные условия.

— И вести себя сообразно с ними.

— Бесспорно.

Губы будущего сонскателя странно кривятся.

— Многие так и делают, — произносит он.

Кровь медленно приливает к твоему лицу. Спокойно, Рябов. Спокойно. Он млад, твой молочный брат, а молодости свойственны опрометчивость и горячность.

Молочный? Только ли молочный? Ты вдруг чувствуешь, что Виноградов больше достоин быть сыном твоей матери, чем ты и твой братец-шалопут, вместе взятые. Спокойная сила угадывается в нем — та самая сила, что держит на ногах Марго и директора кондитерской фабрики. В себе ты не ощущаешь ее. Не всегда ощущаешь, скажем так.

Кофе! Ах, как кстати вспоминает о нем профессор! — и вот вы уже вдвоем с братом.

Марго права: не приспособливаться — учитывать. Что было б, поддержи ты ее тогда на ученом совете — открыто, во всеуслышание? Дрязги. Группировки и дрязги, пользы же — никакой. Скорее вред, ибо открыть противнику расстановку сил — это уже наполовину проиграть бой. Ты выиграл его. Разумеется, выиграл — а как иначе классифицировать то, что произошло сегодня в директорском кабинете? Выиграл спокойно и тихо, не размахивая руками, но тем основательней твоя победа.

Молочный брат не понимает этого. Молод! Строгие губы, строгие серые глаза за стеклами очков. Слишком строгие. Ты вовсе не ревнуешь его к Люде, самой красивой женщине института. Полвторника прошло уже, еще среда, четверг, пятница. Твой автобус приходит в Жаброво в половине десятого.

— Ей нельзя на ногах долго. — Негромко и сухо. Оставляю на вас ее, так что уж будьте добры, проследите. Запах табака. — Врачи вообще не разрешают вставать.

Звяканье в кухне. Понимающе кашляешь.

«Штакаян может проработать и больше: и четыре и пять лет».

— Сердце?

Ты не ревнуешь, нет, но тем не менее ты болван, Рябов. Разве не соблазнял ты ее шампанским? Кто поручится, что это не стало известно твоему молочному брату? Ну как после этого пылать любовью к тебе! Тут, только тут и зарыта собака, а тот ученый совет ни при чем здесь. Да и что может знать о нем Виноградов!

— Не только сердце. Мне сестра сказала... — Крохотный шрам на переносице под дужкой очков. — Приходила в одиннадцать укол делать.

Озабоченность на твоём лице. Худо, но как быть?

Испытующий взгляд: я не все сказал. «Сестра предупредила, что...» Тебе нелегко, но ты готов мужественно встретить любую весть. И, разумеется, сделаешь для Марго все возможное.

— Я поставила воду — через десять минут кофе будет готов. — Выпрямляешься. Ты и не заметил, как слегка изогнулось твое тело, поддавшись к Виноградову. — Вы поиздевались над ним, Станислав Максимович? Над фантазерами иногда полезно поиздеваться: это возвращает их на землю.

Ссохшаяся кукольная старуха с огромными глазами. Ну что не задержаться ей еще на минуту!

— Настанет время — сам упадет.

— О, это больно будет. Лучше постепенно, с парашютом.

Не смотришь на Виноградова, но видишь: поворачивается, уходит. Теперь — все, теперь ты никогда не узнаешь, что еще собирался он сказать тебе. Лоб твой блестит.

«Приспособливаться к обстоятельствам...» Смешно!

— Простите, Станислав Максимович, я провожу мечтателя.

Киваешь. Один. Заметил ли что?

Стеллажи с книгами. Джек Лондон, Купер...

Не приспособливаться — учитывать. Принципиальное уточнение! Все-таки Марго умница. Скверно, что у нее со здоровьем так. К сожа-

лению, ты бессилён помочь ей. Все бессильны — это хотел сказать твой молочный брат? Ей под шестьдесят, но неизвестно, что будет с тобой в этом возрасте. Надо думать, в двадцать восемь она не глотала дибазол с папаверином. Ты обязан спешить.

Коллекция морских камней под стеклом, на синем бархате. «Я случайно начала собирать, когда в Коктебеле отдыхала. А теперь бросить не могу. Вы только посмотрите, на какое чудо способна природа!»

Бедная Марго! Тебе искренне жаль ее.

Мимоза в портфеле. Сразу не дал, а теперь как? Она тебе кофе, а ты ей цветы? Товарообмен.

А что, собственно, мог он заподозрить? Ты заволновался, но ведь это так естественно.

Оснащенность ЭВМ на сто процентов — что же, он моложе тебя, а юности не возбраняется поозорничать. Правда, лично ты благополучно избежал этих завихрений. Ты рано повзрослел — настолько рано, что даже не помнишь, когда произошло это. Или ты всегда был взрослым? Во всяком случае, свой досуг ты никогда не услаждал собиранием морских камушков.

Но ты делал кое-что похлестче: приглашал на шампанское девушек, которые любили других. «Спасибо, но я...» — «Вы презираете шампанское...» — «Не презираю. Но...» — «Болит горло. Ангина». — «Горло не болит. Но...» — «Понимаю. Репетиция хора. Примерка. Занятие в секции декоративного рыбоводства».

«Знаешь, сегодня Рябов опять подкалывался ко мне. В ресторан звал». «А ты?» — интересуется молочный брат. «Я ничего. Он ведь собразительный и нас. Сам приглашает и сам же отказывает вместо меня». Испарина на лбу. Нет! Люда не могла так.

— Отличный парень! Фантазер немного, но, по-моему, это даже хорошо. — Ну конечно не могла. Ты патологически мнителен, Рябов! — В отличие от многих он экономист, а не бухгалтер. Улавливает разницу? — Синие жилки на висках. Огромный восковой лоб. «Врачи не разрешают вставать». — Идешь по улице и видишь: очереди то за тем, то за этим. Сердце сжимается. Ведь мы гораздо лучше можем жить. Исходные данные, так сказать, у нас прекрасные, но мы хозяйничать не умеем. А ведь это наша с вами вина. Экономист — рулевой производства. Садитесь, что вы стоите.

— Спасибо.

Опускаешься — нет, падаешь в кресло: чересчур низкое. На рост хозяйки рассчитано.

— Наша наука все же очень человечна. Я не говорю — интересная, это само собой, но еще и человечна. Об астрономии или алгебре этого не скажешь. А экономист должен любить людей — непременно. Иначе он превратится в бухгалтера.

Морские камушки на синем бархате. «Присмотритесь: каждый камень — как маленькое музыкальное произведение. В нем и настроение, и законченность, и как бы воспоминание о чем-то. А перелив цветов!» И все это уживается с ее сильным и ясным умом!

— Виноградову скоро защищаться?

— Зимой. Но не знаю, что получится. Чуть ли не каждый день забегает ко мне, терпеливо выслушивает мое ворчание, соглашается — во всяком случае, не спорит — и продолжает все делать по-своему.

А вдруг не ревность, вдруг другое? Что? Или, может быть, ревность иного рода? *«Прислушайтесь к Станиславу Максимовичу, Юра. У него светлая голова. Удивительно светлая!» — это вам я говорю, старуха, которая кое-что понимает*. Еще бы! Например, то, что не столько за консультацией бегают сюда диссертант Виноградов, сколько на-

вестить больного и одинокого ученого. Думает, ученый — профан и не видит этого.

Неприметно окидываешь взглядом комнату. Порядок, ни пылинки на пианино. Почему же одинокого? Разве ты не застал у нее однажды женщину, которая убирала здесь? Надо думать, материальное положение профессора Штакаян не ухудшилось с тех пор.

«Прислушайтесь к Станиславу Максимовичу...» Кому приятны подобные советы, если Станислав Максимович чуть ли не ровесник твой? Но и эту ревность (не зависть, нет, — к чему сильные слова?) — и эту ревность ты готов радостно простить своему молочному брату.

— Расчеты посмотрела. Мне кажется, кое-где мы игнорируем реальное положение вещей. — Ты весь внимание. Уйдешь без четверти час — пятнадцати минут с лихвой хватит, чтобы добраться до «Москвы». — Поузловой ремонт, например, в ближайшие два-три года им не подныть. Мне так кажется. — Трогательное уточнение. Я понимаю, Станислав Максимович, что хотя я и числюсь руководителем работы, вы знаете ее много глубже меня. Такие уж обстоятельства. Но совет-то я могу дать?

— С запчастями у них неплохо. И мы не планируем поузловой на предприятие в целом. Только цех холодной обработки.

— Да? Ну может быть. Меня другое беспокоит — уложимся ли в срок?

«Подержите работу еще май. Только май, один месяц, и я обещаю вам заведование».

— Две недели еще. — В глаза смотришь.

Вздыхает. Ваш ответ уклончив, Станислав Максимович, но что делать? Требовать большего не имею права.

— Хорошо бы успеть. А если нет — виновник вот он, перед вами. Весь квартал прохворала, старая перечница. Завод подведем — это плохо. Так некстати все. Впрочем, болезни всегда некстати. — Слепительные молодые зубы. Выше голову, Станислав Максимович, все уладится. — Пойду кофе заварю.

Коротенькое туловище на паучьих ножках. Детская кофта — как на вешалке.

«Виноградов почти каждый день забегает». Но у него предлог — диссертация, а у тебя? *«Здравствуйте, Маргарита Горацевна, — вот пришел навестить. Цветочки пожалуйста!» «Мимоза, мне? Старая перечница, к седьмому десятку подбирается, а ей цветы таскают. И что прикажете делать с ними?»*

Ты едва не сваял дурака, Рябов. Хорошо хоть, что в последний момент благоразумие заставило тебя сунуть в портфель этот целлофановый букетик. Убираешь бумаги — скоро, по-воровски, пока ее нет. Не хватало еще, чтобы профессор Штакаян узрела цветы в твоём портфеле. Минаеву преподнесешь как залог мира и взаимопонимания.

Встаешь, к стеллажам подходишь. Куприн, Лев Толстой, Купер... Майн Рид. Тебя всегда поражал подбор книг в библиотеке доктора экономических наук. Вот только что сказок нет. Есть! Есть сказки: «Тысяча и одна ночь». Восемь золотистых томов с синими завитушками — восточный орнамент. Пошарь взглядом: не отыщутся ли «Приключения барона Мюнхгаузена» в собрании ученого?

Темная чеканка: старец в сутане, спиной к стене прислонился, голову набок склонил — страдает. Или проповедует? Что с Марго? — до сих пор ты не замечал за ней религиозных склонностей.

«Заслуги заслугами, уважаемая Маргарита Горацевна, но здорově не позволяет вам руководить отделом. К тому же вы веруете в бога».

Развеселился — с чего бы это? «Ей нельзя на ногах долго. Сестра сказала. Приходила в одиннадцать укол делать».

Ты клеветешь на себя, капитан! К тому же разве не установил ты с непреложностью, что человек не ответствен за свои мысли, только за поступки — слышишь, капитан, только за поступки! — а тут твоя совесть чиста.

— Комитасом любуетесь? — Оборачиваешься. Запах кофе, серебряный поднос с чашечками и сахарницей. — Нравится? Мне из Еревана прислали. Садитесь. — На журнальный столик ставит.

— Я недостоин пить ваш кофе, Маргарита Горациевна.

— Да? Почему?

Все-то вы шутите, Станислав Максимович!

— Не знаю, кто такой Комитас. Плохо учили меня. — Прекрасный тон! Так непринужденно, так беспечно и следует, видимо, говорить с тяжелобольными.

— Не может быть! — Даже сервировать перестала. — Кстати, я понятия не имею, как вы относитесь к музыке. Что предпочитаете?

У тебя задатки гипертонии, но если на то пошло, ты предпочитаешь кофе.

— Лучше спросите меня об основных и оборотных средствах.

Ты не кокетничаешь, нет, хотя, случается, и в тебе замирает все, когда вдруг из распахнутой форточки доносится едва слышимая мелодия. Но то всего-навсего Чайковский, то традиционно и общедоступно, да и о каком глубоком понимании говорить тут, если все мысли разом выветриваются из твоей утилитарной головы? Все! Хорошо хоть, что длится это прелестное состояние минуту-другую, не дольше.

— Комитас — один из величайших композиторов. Не только Армении, вообще. Но сначала, конечно, он армянский композитор. Вы слышали хоть что-нибудь его? Я могу поставить, у меня есть.

С должным почтением изучаешь чеканку. Сколько раз пробовал ты, дисциплинированный, слушать музыку — не контрабандой, не из чужой форточки, а самым что ни на есть законным и уважительным способом, — слушать и понимать, но тут твой обычно покорный тебе мозг артачился и упрямо занимался своими делами.

— По своей темности я решил, что это священник.

— В общем — да, он учился в духовной академии. И у него много духовной музыки — прекрасной музыки! У нас некоторые с убеждением относятся к этому виду музыки. Считают, она устарела. Но, на мой взгляд, куда быстрее устареет музыка светская. Слушаешь ее и видишь платья с кринолином. Я сделаю вам кошунственное признание, Станислав Максимович: я не люблю оперу. Да, не люблю. — Виновато разводит крошечными руками. Видите, Станислав Максимович! А вы-то небось думали обо мне... Великодушно отпускаешь учителю ее маленький грех. Она же, приободренная твоей солидарностью, произносит нечто совсем уж еретическое: — От оперы, по-моему, отдает нафталином. — Bravo, Марго! Bravo, профессор! — А вот Бах, который, между прочим, не написал за всю жизнь ни единой оперы, современен. А народные песни Комитаса! Я поставлю? Это всего несколько минут. Вы ведь не очень торопитесь? — С надеждой. — Будете пить кофе и слушать.

Мэтр и учитель — смеешь ли отказать?

— Спасибо. Только это не утомит вас? — Все же ты обязан заботиться о ее здоровье.

— Меня? Комитас? — Судя по размерам пластинки, тут пахнет не несколькими минутами. — Сейчас нагреется. Вы не бывали в Армении?

Отрицательно и покаянно качаешь головой.

— Побываете! Знаете, когда я впервые приехала в Армению? Когда мне было уже тридцать. Тридцать, да. Но я сразу же узнала ее. Представляете, сразу, хотя до этого знала ее лишь по Сарьяну и Комитасу. Так и вы. Послушаете сейчас, а потом, когда приедете в Армению, пусть даже через несколько лет, вспомните и узнаете.— Пускает проигрыватель.— Пейте кофе,— шепотом.

Пейте, если вы такой варвар! Пейте, если вы способны слушать Комитаса и одновременно насыщать желудок.

Ты не варвар. Посмотрите на меня, Маргарита Горациевна,— я сосредоточен и подтянут. И вообще, между нами говоря, я равнодушен к кофе.

Унылые звуки, унылый женский голос. Это и есть духовная музыка? Ах нет — народная песня. Ты честно вслушиваешься, но, как и следовало ожидать, все слова звучат для тебя на один лад: в отличие от немецкого армянский ты не знаешь. А Марго? «Мне было тридцать, когда я приехала в Армению».

Английский... Откладывать больше некуда. Без немецкого еще можно обойтись, но без английского... Два года, с твоей памятью этого достаточно. А там — докторская.

Пергаментный палец предупреждающе поднят: внимание! забудьте обо всем, Станислав Максимович, я прошу вас! забудьте и растворитесь в музыке. Вот сейчас... Вот.

Триумфальный блеск глаз — ну что я вам говорила? Божественно?

Киваешь, соглашаясь. Лучший уголок земли — Армения. А ты и не подозревал, что умная Марго так близко к сердцу принимает подобные штуки. Лично тебя никогда не занимала национальность человека, а пристрастные разговоры на эту тему вызывали у тебя ироническое недоумение. Что может быть менее существенно в человеке, нежели его национальность? Разве что размер обуви, которую носил ваш предок в четвертом колене?

«Ты не русский!» Братец полагал, что бросил тебе в лицо страшное обвинение. Ты не возражал. Ты смиренно признал, что ты новозеландец, — если ему заблагорассудится. «Нет. Не новозеландец, не русский — никто. Человек без национальности». — «Отлично! Стало быть, я человек будущего. В будущем, в далеком и прекрасном завтра, нации упразднятся. Будет просто человек, житель планеты Земля. Ты, конечно, игнорируешь общественные науки, но эти истины знает даже школьник». — «Если ты человек будущего, то я не завидую нашим потомкам».

Кто-то звонким голосом зовет на улице Катю. Откликнись, Катя,— мама волнуется.

Все? Не шевелись, сиди смиренно.

— Еще одну, хорошо? Это недолго.

Пожалуйста, Станислав, для меня! Я счастлива — вы же видите. Счастлива, что вам нравится эта музыка.

Такой ты еще не видел Марго. На краешке тахты, подобравшись — вспорхнет и полетит. Свет играет на высоком лбу. Губы шевелятся — чуть-чуть, но шевелятся. Или это мерещится тебе? Пальцы, как тонкие восковые палочки, касаются незримых клавиш, вздрагивают, снова касаются.

«С матерью... нехорошо». Ты никогда не видел отца таким испуганным. Едва сунул в скважину ключ, как дверь распахнулась — словно караулил тебя у порога, спеша сообщить о приступе. Зачем? Дабы переложить на тебя свой непосильный груз? Непосильный! Будто есть ноша, которая пришлась бы по плечу диктору! Так безоглядно верит в твое могущество, что полагает, ты без всякой «скорой помощи» можешь исцелить мать. Но «скорую», слава богу, догадался вызвать, о чем тоже торопливо проинформировал тебя. Я сделал все возможное, Станислав,

но она не шевелится. Не открывает глаз... Раунатин не помог... Ничего не помогло... С мольбой заглядывал тебе в глаза и не умолкал ни на минуту. Такой жалкой казалась его львиная грива... Ты что-то говорил в ответ — почти спокойно, потому что был, по существу, единственным взрослым человеком тут и не мог ударяться в панику. Но в груди у тебя сделалось отвратительно пусто. Наконец ты вошел в комнату. Она неподвижно лежала на тахте с прикрытыми, но не до конца глазами — узкими полосками светились белки. Тебя поразило, какое маленькое у нее лицо.

То был страшный миг. Самый страшный за всю твою жизнь.

Улыбка на губах Марго. Или это тоже игра света?

А ведь ты совсем не знаешь ее! Дикая мысль! — почти десять лет под ее опекой, любимый ученик, духовный сын, преемник, и все-таки ты ее не знаешь. Должно быть, она и сама музицирует. Сколько раз бывал здесь, видел пианино, но это не приходило тебе в голову... А в молодости, должно быть, она была красива. Не в молодости — в детстве, когда это плоское тельце еще соответствовало ее возрасту.

«Мама!» Утреннее солнце бьет в окно, разрисованное морозом. Вы в ночных рубашках до пят — ты и Андрей, на огромной кровати, которая, должно быть, не была такой уж огромной. На матери овчинный полушубок, мужская шапка с опущенными ушами. Лицо побелело от мороза. Куда-то ездила, что-то выбивала для фабрики. Сколько отсутствовала — неделю, две? «Мама!» В одеяле барахтаетесь, в простынях, которых почему-то очень много, гораздо больше, чем следует, они путаются под ногами, мешают прыгнуть на пол и босиком броситься к матери. «Десятый час, а дети в постели», — выговор няне. Никель сакво-
яжа запотел с мороза.

Тишина, но еще секунду тоскующий голос армянской певицы звучит в твоих ушах. Марго оседает, тяжелеет. Ей велика ее вязаная кофта.

Не шевелишься: жертвенно готов выслушать еще песню.

Выключает радиолу.

— Хватит. А то ведь у меня меры нет — замучаю.— С усилием подымается с тахты.— Давайте кофе пить. Если не остыл.

Касаешься кофейника. Пальцы расплывчато отражаются в металле.

— Горячий.

Куда девался тот сакво-
яж? У Поли, должно быть. И кровать тоже. Где отец был в то утро?

Разливает, придерживая крышку кофейника. И себе? «Врачи не разрешают вставать...»

А Виноградову она проигрывала Комитаса?

— Спасибо, я без сахара.— А пластинку не сняла — без тебя до-
слушает? — Он давно жил? Комитас?

— В тридцать пятом году умер, в Париже. Но последние двадцать лет не писал ничего.

Придержав чашку, почтительно вопрошаешь взглядом. «Так дого-
ворились, старик, в час дня в «Москве». Я позвоню, чтобы оставили столик».

— Вы, должно быть, слышали об армянской трагедии? Пятнадца-
тый год, когда турки почти половину нации вырезали.

Да что вы говорите? Хмурясь, осторожно ставишь чашку на блю-
дце. Слишком горячо.

— Комитас не перенес этого. Последние двадцать лет он провел в больнице для душевнобольных.— Я говорю об этом спокойно, я даже отпиваю кофе, но вы не удивляйтесь — я ведь уже давно знаю это. Да и не подобает говорить о Комитасе с аффектацией. Но вы вдумайтесь, вы только вдумайтесь, Станислав Максимович, в то, что я сказала вам.

Вдумываешься. Двадцать лет!

— Знаете, я завидую композиторам. Их отваге.

Отваге?

— Я не оговорила: отваге. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество. Мужество — больше ничего. Ведь это очень рискованно — быть счастливым. Рискованно, потому что счастье в любой момент может кончиться. По самой своей природе оно исключает продолжительность — счастье. А люди не любят терять.

«Я знаю, что буду счастливой. Я это однажды поняла. Лежала на скамейке — узкая такая скамейка, на могиле у мамы, а надо мной, очень высоко, верхушки сосен раскачивались».

Отважная девочка из Жаброва.

«Я так испугалась. Думала, у тебя судорога. Когда ты нырнул. У берега уже».

Стало быть, мужество. Только мужество и ничего кроме?

Солнце в стеклянном куполе. Вода по пояс. Разноцветные шапочки — синие, красные, желтые. Брызги. Дети смеются. Что-то смещается в тебе — вниз, вбок.

«Хорошо. Если вы настаиваете, что после купания в море надо выпить водки, я выпью. Не могу не подчиниться медицинскому работнику. Но вы составите мне компанию». — «Пожалуйста». — «Лихо! И что же вы будете пить?» — «А мне все равно. Я даже спирт пила. Ведь у меня спирт есть». Вызывающий взгляд: ясно вам? «Неужели? Тогда я приеду к вам в Жаброво». — «А однажды я пьяная напилась. Смешная была ужасно. А на другой день все расспрашивала, как вела себя». — «Не помнили ничего?» — «Нет, все помнила. Притворялась. Интересно, когда рассказывают о тебе».

Братца бы восхитило это.

«Ну, где ваш спирт? Чему вы удивляетесь? Я ведь из-за этого и приехал в Жаброво».

— Очень люблю кофе. — Вздох — то ли наслаждения, то ли сожаления.

— А можно?

Улыбка. О чем вы говорите, Станислав Максимович! Нет, конечно, но у меня недостает силы воли отказать себе в этом. Я очень люблю кофе. Еще глоток, последний. Я так живо чувствую его губами, языком. Чувствую, как он внутрь проходит.

С любопытством отхлебываешь. Тепло и горько.

«Вот вам спирт. Я всегда выполняю свои обещания. Но ведь вы говорили, что не пьете».

Ставит чашку — с сожалением. Не смотрит на кофейник: зачем расстраивать себя? Я и так делаю преступление — мне ведь категорически запрещено.

Слышишь свой голос:

— Тридцатого сдадим работу.

Что? К чему это вы вдруг? А вы хорошо подумали, Станислав Максимович? До тридцатого меньше трех недель. Или вы это ради меня? Но я не подгоняю вас. И я ни словом не упрекну, если не уложитесь в срок. Это моя вина.

— Тридцатого апреля работа будет сдана. Обещаю. Если позволите, я налью себе еще кофе.

— Ну что вы, девушка, вы напрасно обижаетесь. Разве я утверждаю, что это не табака? Это табака, но это не дыплята. — Подмигивает, и ты солидарно скалишь зубы. — Так и передайте Александру Юрьевичу: его надули. Под маркой дыпят великовозрастных кур всучили.

Предупреждение официантке: будьте бдительны! С самим Александром Юрьевичем знакомы!

Холодные накрашенные глаза. Лилово-серебристые губы. А мне плевать — и на вас, и на Александра Юрьевича, и на табака, которые не цыплята... Злорадствуешь? По студенческой привычке, должно быть, — всегда мысленно руки потирал, когда отбрасывали его.

«Слушай, Минаев, а ты ведь сачок. Как в колхоз на картошку, так болен». — «Здоровье у меня хиленькое». — «Хиленькое! На харю свою посмотри». — «Харя ужасная, согласен. Кирпича просит, но здоровье хиленькое, ребята, это точно».

— Чего глядишь? Будку отъел? Черт его знает, и зарядкой занимаюсь и ем вроде не очень. Ну, когда поддам — люблю поесть. А поддаю часто, тут уж не отвертись. Ты как насчет этого?

— Умеренно.

— Да? А я считаю, возраст умеренности не наступил еще. Пока здоровье позволяет, надо жить. Жить!

Братца бы на твое место — как поняли б друг друга!

«Мразь твой Минаев». Почему вдруг? Вряд ли острокритичный ум художника Рябова простирается столь глубоко.

— Помню, ты и в институте славился умеренностью. Да и я, между нами, стараюсь поосторожнее со жратвой.

Жирные губы — они маячат перед тобой, куда бы ты ни смотрел. Губы — его, но это не мешает твоей руке тянуться к салфетке.

— Главное — работа, тут я согласен. Это фундамент, его труднее всего возвести. Мы-то с тобой, думаю, справились с этим. Досрочно, а?

Отбросим ложную скромность, Рябов. Всех в группе обошли, не так разве? В институте, правда, мы не дружили особенно... Я-то ничего, я ко всем с открытой душой, это ты не слишком благоволил ко мне. Впрочем, ты со всеми был сдержан, Станислав Рябов! Зато теперь мы вместе. Вон какие фундаменты отгрохали! Мы вдвоем. Даже Горбушко потстал, хотя отличник был, именной стипендиат, — ты да он, двое в группе.

— О Горбушко слышал что-нибудь?

Я? Разумеется! Я о всех знаю. Дай проглотить только. И пивка хлебнуть. Жаль, совещание вечером — нельзя покрепче чего-нибудь.

— Горбушко в Первомайском районе. — Кисло: в такой-то дыре!

— А там что?

— Завод химэлементов. Не завод — заводешко. Кажется, и пяти сотен не работает. Женился, ребенок. — С сочувствием: как можно так неосмотрительно! — Тоже, конечно, фундамент, но какой! Смолоду нужно фундамент закладывать. У Горбушко ведь неплохая голова была, а? Ну, поехал в Первомайск. Хорошо. Но через год-два можно было бы сорваться. Красный диплом — неужели б не устроился? Ко мне бы обратился, в конце концов! Самому трудно пробиться, я понимаю, но ведь существуют товарищи, соученики... Страшная вещь — инерция... Ты чего не жуешь?

— Инерция.

Смеется красными губами. Помню-помню, ты всегда был ядовит, Рябов. Но вот позвонил все же. И я помогу тебе. Я простецкий парень, Рябов. Рубаха-директор...

«Мразь твой Минаев». *«Почему? Ты непоследователен, Андрей. Вон как он любит жизнь — во всех ее проявлениях. Курит, не дурак выпить. Высоко ценит женский пол и при этом не без взаимности. Эмоционально развит, словом. Ярый поклонник массовых зрелищ».*

— За какую команду болеешь? — Знаменательный момент: впервые произносит подобное твой язык.

— Я? В футбол, в хоккей? — На выбор! А пока с крылышком покончу.— Ты матч смотрел вчера? Слушай, это же отвратное зрелище. Вторую шайбу как протолкнули, помнишь?.. Ветчину будешь?

— Нет-нет.— Почти испуганно. Отодвигаешь тарелку.

— Инерция? Знаю я твою инерцию! Как там Марго, не померла еще?

— Жива.— Кладешь в рот кусочек сыра.

Жуете. Щелки глаз блестят на тебя весело и прозорливо. Знаю я твою инерцию! Марго ты ловко обработал — старуха души в тебе не чаяла. Это ведь она сделала, что тебя здесь оставили. К себе в НИИ, кажется, взяла — я уж не помню. Кстати, у тебя, наверное, дело ко мне? Выкладывай, не стесняйся. Все, что в моих силах,— пожалуйста. Кооперативная квартира? Всего-то? О чем ты говоришь, старик! Три дома заложены, в какой желаешь? Я как раз курирую это.

Панюшкин на дистанции. В самом начале, только-только стартовал. «Я себя вспоминаю в ваши годы. Я таким же был, Станислав Максимович. Таким же, да. Так что ваше «нет» ничего не меняет. Я не в претензии на вас — слово мужчины».

Прожевал. Сейчас рассуждать начнет — о фундаменте. Опережаешь:

— Доедай рыбу.

— Нет, это твоя.— Не глядит, дабы не соблазниться ненароком. Я, конечно, гурман, но справедливость превыше всего.— Давай-давай.

— Не могу больше. Сыт.

Я тоже сыт, но ведь это осетрина.

— Ну смотри, тогда я дожду ее. Хрена нет — она с хренком хо-роша.

Наливаешь в фужер минеральной воды.

«Слава, ты не понял меня.— Доверчиво и с придыханием, симптомом обиды.— Разве я говорю, что твои родители притесняют меня? Просто я хочу жить отдельно. Это так естественно». «Я тоже хочу». «По тебе это не видно. Не обижайся, хорошо? — Заглядывает в глаза.— Но по тебе это не видно.— У нее прямо страсть уговаривать тебя не обижаться, хотя ты столько раз информировал ее, что сухари экономисты вообще не грешат этим.-- Разве ты не можешь пойти к Панюшкину и попросить, чтобы он помог с кооперативом? Тут нет ничего зазорного. Правда, Слава, нет! Иначе разве бы я послала тебя! Ты ведь не согласишься квартиру — ты хочешь купить ее. За свои деньги». «К сожалению, не я один хочу этого». «Ну конечно! Нельзя быть эгоистом.— А теперь уже придыхание — симптом волнения.— Прости меня, но вы с мамой помешались на этом». «*Перестань! Я не позволяю тебе говорить так о моей матери*». Кишка тонка! Лишь диктору простительна подобная выпренность — большой, милый ребенок, баловень дома. Да и что значит: позволяю, не позволяю? Твоя жена — свободный человек и вправе высказывать любое свое мнение. И потом, говоря объективно, разве мама и впрямь не перебарщивает порой? Зачем она отказалась от путевки? — она-то в ней нуждалась не меньше работницы из шоколадного цеха. Зачем по три года не берет отпуска? Переоценивает, явно переоценивает мама свои силы.

— А вообще как-нибудь вечером надо встретиться. В субботу, а? — Что, с рыбой покончено уже? Быстро! — Это разве отдых? У тебя как жена, ничего?..— Растопыренными пальцами в воздухе играет.— Если задерживаешься?

Заинтригованно вглядываешься. Уж не приобретает ли твое лицо семейное выражение, когда ты думаешь о жене?

— Я как раз сейчас размышлял сейчас об этом. Ничего. Свои задержки я объясняю тем, что возвожу фундамент.

Неблагодарный! Он угощал тебя осетриной.

— Так как насчет субботы?

— В субботу меня не будет в городе.

«Вы все еще носите мой шарф? Не жарко?» — «Нет. Самый раз». — «Небось специально надели... Да, так я вам и поверила... До свидания. Спасибо, что зашли... Почему — не за что? Спасибо! Сейчас вы молоды, но когда-нибудь поймете, за что я благодарна вам. Наступает такой момент в жизни, когда важно убедиться, что человек, на которого ты возлагал надежды, не подвел тебя. Я рада, что не ошиблась в вас... Знаете, в чем ваша сила? В том, что вы не жадничаете. Я говорю не об элементарной жадности, не о крохоборстве — нет. О другом. Как бы это поточнее выразить? В каждом времени чего-то недостает. Что-то уже устарело и минуло, а что-то, напротив, еще не наступило. Именно это отсутствие и терзает жадного человека. Почему было, а сейчас — нет? Или почему будет, будет потом, а не сейчас? Вы не задаете этих бесполезных и неблагодарных — вот-вот, неблагодарных! — вопросов. Вы работаете с тем, что есть. Я не говорю — удовлетворяетесь тем, что есть, а именно работаете. Не брюзжите, не парите в облаках, не ссылаетесь на объективные причины, не отсиживаетесь, как крот в норе, а — работаете. Это точное слово... Кажется, я немного высокопарна — простите мне этот грех. И, ради бога, не напяливайте мой шарф, если на улице плюс пять, как сегодня».

— А в следующую субботу? Теперь, надеюсь, мы не потеряем из виду друг друга. У меня тоже лояльная супруга. Тут, старик, есть один простенький секрет: если женщина видит, что мужчина делает дело, она снисходительна к его слабостям. Надеюсь, ты побываешь у меня. Не хочу хвастаться, но... Сейчас, кстати, трудно с мебелью. Если что, могу звякнуть.

— Спасибо.

— Обзавелся уже? Мебелью?

«Да нет. Откровенно говоря, у меня еще не назрела эта проблема». «Не назрела? Ты хочешь сказать, у тебя все еще не решен квартирный вопрос? Что же ты молчишь, старик!»

— Проблема мебели у нас решается кустарным способом.

— То есть?

Извини, старик, обычно я схватываю на лету, но сейчас что-то не понимаю.

— Тесть — краснодеревщик.

Побойся бога, Рябов, полковника запаса — в краснодеревщики!

— Да? В общем, тоже ничего. Мой-то в облсовпрофе работает.— Взглядом обводит разгромленный стол.— По-моему, они неплохо заколачивают?

— Краснодеревщики? Тысчонка выходит.

Разом утратил интерес к столу.

— В месяц?

— Ну! Иногда больше. Их ведь всего несколько человек в области. — Скромно кладешь на тарелку вилку с ножом.

«Ты собирался говорить насчет кооператива. С Минаевым, по-моему». — «Говорил. Оказывается, это не в его ведении». — «Значит, еще минимум три года?» — «Значит — да».

— А мать ее? Работает?

С тестем ты переплюнул меня, старик,— тут я признаю свое поражение.

— Она специалист по космическому питанию.— Краснодеревщика испустил.— Сейчас в Байконуре — месяц уже.

«Три года. Хорошо, будем жить здесь еще три года, только прошу тебя: скажи своему папе, чтобы он не читал мне стихов про младую

рощу». У тебя совсем неплохая жена, капитан. Она умна, терпима и любит тебя.

Как там говорила девочка из Жаброва? «Я лежала на скамейке, а надо мной вертушки сосен раскачивались. И тут вдруг я поняла...» Дите, ты умудрился усмотреть в этом тонкость натуры! Выходит, не все братцу досталось, кое-что перепало и тебе от бурной поэтичности диктора.

— У них одна дочь?

У них — это у краснодеревщика и специалиста по космическому питанию. Не забыть!

— Одна. А у тебя?

— В смысле — у ее родителей?

— Нет, у тебя.

Беспечностью и весельем сияет твое лицо.

— У меня сын. Два года.

За кого ты принимаешь меня, старик? Неужели я похож на человека, который плодит дочерей?

Беспечностью и весельем... Весельем и беспечностью.

«Три года... Хорошо, будем ждать еще три года».

Бандитским весельем и младенческой беспечностью...

Римский профиль официантки. За бумажником лезешь. Рука приятеля студенческих лет предостерегающе вспархивает.

— Ты мой гость.

В следующий раз ты угостишь меня, какая разница! Не будем терять из виду друг друга.

Из хандри, Рябов. Насколько тебе известно, чувство благодарности не атрофировано в тебе, но тем не менее сегодняшнее гостеприимство окажется безответным. Хоть раз в жизни испытаешь радость сквалыги, зажавшего обед.

Прощальная сигарета.

— Докурю — и потопаем. Так и не поговорили толком. У тебя... Может, у тебя дело ко мне?

Оцени тактичность! Ты ведь разыскивал меня не для того, чтобы отобедать со мной, но я сделал вид, что не понял этого, я искусно подыграл тебе, я терпеливо ждал, когда ты заговоришь о главном, намекал, что сделаю все возможное. Но ты молчишь, а времени у нас в обрез. Валяй, я слушаю.

— Никакого дела. — Твои глаза чисты и невинны. — Это Комитас все.

— Кто?

— Комитас, армянский композитор. Ты обратил внимание, что его музыка навевает воспоминания о юности? Так и тянет о былом поговорить.

Не верит: я ведь немного знаю тебя, Рябов, — ничего подобного не водилось за тобой прежде.

Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь молодая роща разрослась...

Забавляешься! Кажется, у тебя и впрямь отличное настроение. Вы не обманулись в своем ученике, Маргарита Горациевна. 30 апреля работа будет сдана. 30-го или даже раньше. Вы помните Минаева, профессор? Он преуспевает, но он барахтается в грязи и рано или поздно утонет в ней. В мире царствует справедливость — разве судьба вашего приемника не лучшее доказательство тому? Будьте спокойны за него — он не оступится и не упадет.

«Ты выигрываешь. Ты все время выигрываешь, но, как во всех бесприигрышных лотереях, крупных выигрышей нет в твоей жизни. Нет и не будет».

Ты экспрессивен, братец, но ты не прав. В мире царствует справедливость. Разве твоя судьба, художник Рябов, не лучшее доказательство тому? Но ты мне брат, и я обязан любить тебя, и я куплю тебе нынче отличную рубашку.

...А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто.

В мире царствует справедливость, только не ждать ее надо, уповая на судьбу, а смело шагать ей навстречу. Смело, но корректно.

Что с приятелем студенческих лет? Ему трудно. Он мыслит.

— Ничего не понимаю. При чем здесь композитор? А эти стихи?

— Это мои стихи.

Корректно, приятель студенческих лет. Корректно.

— Шутишь. — Проклюнулось чувство юмора. — Ты ведь не баловался стихами.

— А теперь балуюсь. Все меняется, старик. Нам не пора?

На сигарету глядишь. Не пора.

16

Теперь видишь, сколь глубоко проникла Европа в гостеприимный дом тетки Тамары? Стол с бутербродами, загнанный в угол, бар на подоконнике. Ассортимент напитков не слишком широк, но однообразие бутылок уравновешено их количеством.

Вы что-то не закусываете... Рыбу прошу... Будьте настолько добры, передайте салат... Мещанские штучки, да не прозвучат они в этом лучшем из домов! Самообслуживание. Подходи, пей, ешь.

Интеллигентно разбавляешь рислинг яблочным соком. Потягиваешь, стоя у стены. Запах духов, водки, копченой колбасы.

Бедный Джоник! Среди круговорота незнакомых людей единственный ориентир для него — хозяйкино платье. «Мой Джон привык к интимной обстановке. Многолюдье смущает его. Иди на кухню, Джон, я прошу тебя. Там тебе будет спокойней».

Борода именинника. Щуплый, скуластый, маленького роста художник Тарыгин. Без бороды, зато жестикулирует. Ах, как жестикулирует художник Тарыгин!

— А что Ренуар говорил? Разломайте ваши циркули, разломайте, иначе конец искусству!

Второй раз видишь с братцем художника Тарыгина, и оба раза они с грохотом рушат платформы друг друга.

Благовоспитанно не смотришь вправо, где карикатурист Волон развлекает твою жену. Традиция: где бы ни были вы, Лариса Рябова не обделена мужским вниманием. Ты не возражаешь — напротив, тебе лестно это. Ведь ты цивилизованный человек, Рябов.

«Не представляю женщины — понимаешь, не представляю! — которая не изменяла бы тебе».

Глоток рислинга пополам с соком.

Твоя память и впрямь старая скряга, коли даже эту гнусную инсинуацию способна удерживать столь долго. Сам братец наверняка позабыл ее. Он был пьян. Он прекраснодушно полагает, что пьяному дозволено все.

Яблочный сок смягчает вино. Пригубь еще — терпкости нет почти.

Саша Бараненко настраивает гитару. Пока общество удовлетворено магнитофоном, но настанет миг, когда оно с визгом потребует живой музыки. Дальновиден и добр Саша Бараненко.

«Ты все предвидишь, все рассчитываешь... — Смертельный грех, но Саше братец отпускает его. — Не понимаю, как ты до сих пор не задохнулся от скуки. Ведь ты не живешь — ты осуществляешь программу».

Против такой формулировки возразить трудно, но, пожалуй, можно уточнить ее. Вместо того чтобы подчиниться обстоятельствам, как это делает большинство, ты стараешься обстоятельства подчинить себе.

Исподтишка ставишь стакан на трюмо за фиолетовый флакон с золотым набалдашником. Мы все друзья здесь, мы любим друг друга, так сдвинем же бокалы — имеет ли значение, у кого чей?.. Ты предпочитаешь пить из своего, но отсюда вовсе не следует, что ты сомневаешься в санитарной безупречности присутствующих. Особое доверие в этом смысле внушает тебе Алексей Вениаминович, его голый желтый череп и дистрофичное тело. Пенсионер и по совместительству живописец. Впервые видишь его, но тебя отнюдь не удивляет его присутствие: братец никогда не грешил щепетильностью в выборе друзей.

«Признаю только один барометр — друзья. Есть друзья — живешь правильно, нет — значит, что-то не то».

Он живет правильно, а страдать должен Джоник. Пес привык к интиму, у него камерный характер, а тут вдруг столько ног и еще больше омерзительных запахов.

А почему разнообразия ради и тебе не собрать как-нибудь на свое торжество орду едоков и любителей выпить? Пусть обжираются и хлещут вино, а в паузах между икотой провозглашают здравицы в твою честь.

«Выходите в океан, Станислав Максимович. В океан! Пролив Каттегат, Скагеррак, Ла-Манш и — Атлантика» — бывший матрос Тютюник. *«Ура Рябову!»* — Скачет-зайчик. *«Глубокий исследователь, новатор, тонкий и добросовестный аналитик...»* — все остальные. И не важно, что повторяемся, что все это уже говаривалось на банкете после защиты диссертации. Истина всегда истина, а если она к тому же услаждает слух виновника торжества, то она истина вторично.

«Но ведь это не друзья, это прихлебатели». Не привык братец церемониться в выборе выражений. Пусть! При надобности ты легко поправишь бы его. Союзники. Единомышленники. Или в крайнем случае — не враги, а это уже много. Никто не лезет лобызаться с тобой, но никто не строит против тебя козни, ибо зависть, даже зависть можно усмирить великодушием и корректностью.

60:59 и 59:60, 59:60 и 60:59, пятый же — 59:59 с твоим преимуществом. Это-то не измеряемое очками преимущество и лишило исход боя. А ведь достаточно было одного твоего неосторожного удара — не нокаутирующего, которым ты, в общем-то, не владел, не просто тяжелого или хотя бы точного, а именно неосторожного, — и рефери запретил бы твоему противнику Диме Ломако, у которого поврежденная бровь едва дышала, продолжать бой. Что стоило произвести это «неосторожное» движение в пылу и азарте финального поединка, однако ты не коснулся брови. И судьи оценили это, но еще до их решения Дима Ломако сразу же после гонга высоко поднял, благодарный, твою руку. Побеждать не мудрено, не так уж много, в конце концов, требуется тут ума, но вот побеждать так, чтобы побежденный сам подымал твою руку, — это искусство.

— Пикассо говорил, что пишет не то, что видит, а как понимает. Как понимает!

А Виноградов, твой молочный брат? Что-то пока он не торопится подымать твою руку... Брось, Рябов, какой это враг! Не далее как вчера вечером у театра ты установил, что скрывается за его холодным отношением к тебе.

«Приспосабливаться к обстоятельствам...» Чепуха! По-мальчишески подводит идейную базу под заурядную ревность. Недоразумение, обычное недоразумение, и ты исправишь его играючи. Ты ведь не посягаешь на Люду, самую красивую женщину института, ты вообще не посягаешь ни на что чужое, ибо ты не пират, ты каменщик, возводящий фундамент. Просто каменщик.

Оставил карикатурист твою жену. К бару пробирается. Танцуют — одна, нет, уже две пары. Можешь пригласить супругу, но ты не делаешь этого: недостойно мужчины захватывать место временно отсутствующего. Кстати, там уже черное, джерси, платье с зеленым врезом. Тетя нетороплива, она ненавидит суету и, разумеется, попевает всюду. Ты не смотришь на нее, она не смотрит на тебя, но она знает, что ты замечаешь все и ценишь ее благородство. Так ведь, Станислав, ценишь? Я не очень люблю твою жену, и ты знаешь почему (не знаю, тетя! ей-богу, не знаю), но сегодня я хозяйка и все гости равны для меня.

А впрочем, догадываешься. Не знаешь, но догадываешься. Не та ли готовность к смеху, которая постоянно живет в твоей супруге, вызывает тайное раздражение самолюбивой и мнительной тетки Тамары, сводя на нет и ласково-сострадательный взгляд и нежный голос? Тетя попросту не верит им.

Тишина вдруг — пленка кончилась? — и снова о Пикассо, который, оказывается, считал, что живопись не поддается исследованиям, а вечно остается вопросом. Вечно! И если называть вещи своими именами... Но ты не услышал, что будет, если называть вещи своими именами, ибо опять грянула музыка.

Карикатурист возвращается к твоей жене — с полными рюмками, но без бутербродов, тетя же тактично удаляется. И вот уже она возле тебя. Ты светски заводишь разговор о югославской эстраде. Она понимает тебя с полуслова. Да, конечно, о чем ты говоришь, Станислав, я сделаю тебе два лучших билета. При этом, заметь, я даже окольно не спрашиваю, с кем ты идешь, мне до этого нет дела, и уж, поверь мне, я ни словом не обмолвлюсь твоей жене. Спасибо, тетя. Только на сей раз ты ошибаешься, я ни с кем не пойду. Пойдет Люда, самая красивая женщина института, а с ней Юра Виноградов, мой молочный брат, последний аспирант профессора Штакаян. Именно они. При этом ты оставишь в силе свое приглашение на шампанское, только уточнишь, что надеешься распить эту бутылку вдвоем — она, ты и Юра Виноградов, который глубоко симпатичен тебе. Он ведь чрезвычайно талантлив, Люда, и очень, очень порядочен. Она благодарно улыбнется в ответ, самая красивая женщина института.

А вдруг это и впрямь не ревность, вдруг — другое?

Кандидат! Не будь мнителен, как твоя тетя. Учись у супруги. «Мог бы поухаживать за кем-нибудь — там были интересные женщины». А у самой в глазах, сияющих быть серьезными, уже летают искорки. Что забавного видят они? Есть, кроме нее, и другие интересные женщины — это? Или вдруг представляет тебя в роли великосветского волокиты? Так или иначе, но жена преподнесла тебе урок демократичности — прояви же и ты себя достойно! Отныне карикатурист Волон не интересуется тебя.

Лавируя между танцующими, плывешь к Саше Бараненко. Навстречу Поля лавирует с бутылками минеральной воды — старая няня и здесь отыскала себе работу. Любопытно, вернул ли ей братец загодя подаренные носки в целлофане?

Дружелюбной улыбкой встречает тебя Саша Бараненко. Из нынешнего цикла друзей братца единственно с Сашей знаком ты накоротке. Среди творческой интеллигенции, безраздельно царящей тут, лишь вы двое, грубые утилитаристы, представляете земные профессии. Впрочем, к Саше, бортинженеру Аэрофлота, это можно отнести с известной натяжкой.

«В Москву летал... Там изумительная выставка сейчас. Саша Бараненко протащил — зайцем. Туда и обратно».

Не в этом ли тайная причина их затянувшегося приятельства?

«Не надо так плохо думать о людях» — Lehgerin.

— К бою готовимся? — на гитару киваешь. *«Между прочим, позавчера на вашем самолете в Крым летал».*

Саша парит в небесах, а девочка Лида смиренно ждет его на земле. Она всегда ждет его, даже когда он рядом. Посмотри, как счастлива ее замершая фигурка — вот он, ее Саша, около нее, и ей ничего не нужно больше. Впитывать Сашин запах, слышать брэнчание струн, трогаемых Сашиними пальцами... Конопатое счастливое личико в рыжих завитках.

Пристраиваешься рядом.

— Не танцуется?

Лида улыбается в ответ. Мне хорошо, я счастлива, и вы это видите, правда? Я знаю, что я некрасива, но я добрая, я очень-очень добрая, и я люблю Сашу.

Ну что вы, Лида! Вам чудесно идет ваша белоснежная блузка в синюю звездочку. И пышный бант на довольно-таки плоской груди. У вас, случайно, нет рябого приталенного пальто и легкого платка в крупный горошек? Выхватив из темноты навесы, кабинки для переодевания, скелеты грибков, которые скоро обтянут парусиной, прожектор уходит, и все предметы и рябенькое пальто быстро и косо перемещаются — предметы и пальто в одну сторону, а резкие тени от них в противоположную. С моря дует ветер.

Откровенно говоря, выбор бортинженера представляется тебе странным. Красивый и большой мужчина, летающий мужчина, мужчина, который играет на гитаре, — и куда только смотрят женщины!

— А вы почему не танцуете?

У нее глаза рыжие, или это рыжие завитушки отбрасывают отсвет?

— Не владею этим сложным искусством.

«Ich bitte Sie den nächststen mit mir zu tanzen»¹⁷.

Вы неправду говорите, да? Это ведь так просто — танцевать! Вы смеетесь надо мной? Смеетесь, я знаю. Вы думаете, раз я такая молоденькая, то уж и не понимаю ничего.

— Все люди умеют танцевать.

— Тогда я урод. Впрочем, однажды я танцевал. В детском саду на елке. Зайчика изображал.

Присесь на корточки и поскакать, приставив к затылку два растопыренных пальца. Через всю комнату, между танцующими, к спутнице жизни, которую развлекает карикатурист Волов. *«А это мой муж. Как все ученые, он немного рассеян. Иногда по ошибке принимает себя за зайца».*

Приснув, прижимает ко рту рыженькую ладонь подруга Саши Бараненко.

— Представили меня в образе зайца?

Часто виновато кивает. С вами так весело — обсмеешься прямо, но люблю я все-таки Сашу.

¹⁷ Я приглашаю вас на следующий танец.

«Вообразите только, Эльвира Ивановна: среднесуточный рост бамбука три миллиметра». «Ах, неужели! А вы Петушкова знаете? Ему гланды вырезали, так они опять выросли. За неделю, как бамбук».

Запах кипарисов стимулировал чувство юмора: перлы остроумия обрушивал ты на девочку из Жаброва. Она смотрела на тебя сбоку и смеялась. Плотные, очень белые зубы, в которых сверкало крымское солнце; один, вытесненный другим, рос немного вкось.

— Это Джоник, и он тоже не умеет танцевать. Как видите, я не исключение здесь.

Она любит Сашу, а ты лезешь к ней со своими идиотскими шутками. Встань и присоединись к пенсионеру-живописцу, который наслаждается Тулуз-Лотреком. Шумный успех имеет подарок тетки Тамары.

Еще не менее двух часов веселиться...

«Я сейчас почувствовал, как время идет. Когда прожектор меня осветил. Оно идет, а я стою. Даже странно как-то».

«Странно» или «страшно» сказала она? Пожалуй, «странно», ибо чего ей бояться — ведь она знает, что будет счастлива. Она поняла это, когда лежала на спине и высоко над ней поэтически раскачивались верхушки сосен. А если б не сосен, если б акаций, что, интересно, тогда бы поняла она?

Вы тоже интересуетесь Лотреком? По-братски уступает местечко рядом с собой пенсионер-живописец: вместе будем упиваться шедеврами!

— Чистый Дега, не правда ли? — Зубной пастой «Мятная» веет от полированного черепа.— Та же тесная композиция, и колорит тот же — не находите?

Находишь. Эксперт в вопросах живописи Станислав Рябов...

Помедли, изучи — с кондачка не решаются столь хитрые проблемы. Зорче взглядишь в эту медноволосую даму с обнаженной спиной, которую она неизвестно зачем демонстрирует зрителю. Позарез необходимо знать человечеству тайнства женского туалета.

— Для Лотрека это не характерная вещь, вы согласны? — Бережно переворачивает лист.— Хороша, но не характерна. А вот это уже чистый Лотрек!

Жирная потаскушка, неряха с распущенными волосами, всей тушей навалившаяся на туалетный столик,— чистый Лотрек!

Братец в полуметре от вас, слышит, но квалифицированные рассуждения пенсионера не зажигают его. Иными проблемами поглощен мастер.

— ...Почему у меня всегда все так сложно? — Веру пытается.— Почему?

Дух захватывает у братца — от противоречий и бескрайности собственной души.

Перейми у братца опыт осложнения жизни — это разнообразит твое существование. На карикатуриста Волова взгляни — видишь, он вновь наполнил рюмку твоей жены. На этот раз он оказался галантней: снабдил ее четвертинкой яблока. Посмотри, помучайся, поревнуй — будет и у тебя сложно.

Жена замечает твой взгляд. Жена интимно улыбается тебе, жена подымает рюмку, символически с тобой чокаясь. Я люблю тебя, мой Рябов, только тебя, а все остальное так, игра — ты ведь понимаешь меня.

Не выходит трагедии. Жизнь катастрофически упрощается, едва ты касаешься ее,— от головокружительных экономических проблем до неурядиц семейного плана.

«Не посоветуешь, что мне надеть?» Вчера вечером, конечно, ты обошелся со мной по-свински — предпочел мне статью какого-то Мирошниченко. Но я не злопамятна, как видишь. В отличие от тебя. Я даже советуюсь, в чем пойти на день рождения твоего брата. «По-моему, это все равно. Любая одежда только портит тебя».

Она справедливо расценила это как комплимент и надела брючный костюм. «Он нравится тебе», — чуть виновато, хотя, право же, Слава, я тут ни при чем.

Карикатуристу он тоже нравится, и тоже она тут ни при чем. Не на двоих ли думают разделить четвертинку яблока?

— Дега считал: нет художника рациональней его. — Откуда все же этот мятный запах? Или пенсионер-живописец на ночь полирует лысину зубной пастой? — Все, что он делает, это якобы результат обдумывания и изучения старых мастеров. Так он сам заявлял. О темпераменте и вдохновении, говорил он, я ничего не знаю.

— ...Ты не веришь мне. Ты думаешь, у меня все пройдет, и тогда... — Братец смолкает вместе с музыкой.

Бренчание струн — Саша Бараненко берет власть в свои руки. Нет, пленка не кончилась.

«Все пройдет, и тогда...»

— И тогда? — напоминает Вера.

Ты не видишь ее. Ее черные блестящие волосы собраны в пучок. Красивая шея.

— И тогда ты вернешься к нему. Он примет тебя — ты это знаешь.

И такому мужу она предпочла — пусть даже временно — твоего брата!

«Почему ты решила, что я бросаю жену и ребенка? А может, жена не хочет жить со мною?» — «Она не хочет, потому что ты ведешь себя безобразно». — «Ты так считаешь? А тебе не кажется, что супружеская верность может быть безнравственной самого дикого разгула?» — «У вас есть ребенок». — «У тебя их двое. Но ты жертвовала нами ради соевых батончиков».

«Высокое. Очень высокое». Цифры не назвала, дабы, видимо, не пугать пациента — просто «высокое, очень высокое» — и потребовала немедленной госпитализации, но мама, уже окончательно придя в себя, отказалась. Как можно в конце года оставить фабрику без директора!

— Вы согласны со мной? — Пенсионеру просто необходимо знать твое мнение.

— Согласен. Хотя среди присутствующих, откровенно говоря, я самый крупный профан в живописи.

— До нас не дошли скульптуры Дега, а Ренуар считал их лучшим...

— Ты разлюбишь меня, и я вернусь к нему... Как всегда, ты думаешь только о себе.

Браво, Вера!

— Я не о себе думаю.

— Нет, Андрей. — Кремовое платье без единой побрякушки. Красивые нервные руки. — Я вернусь, когда ты разлюбишь, — ты так сказал. Когда ты разлюбишь. А я? Мое чувство, по-твоему, значения не имеет — я все равно вернусь.

«Мне пора. Я обещала сыну, что в одиннадцать буду». Братец молча поднялся; ты редко видел, чтобы он покидал питейное заведение с такой легкостью.

«Сколько лет Вериному сыну?» — «Шесть». — «А вы не обладаете таким сокровищем?»

Lehregip покоробил этот разговор — не здесь ли причина ее неожиданной метаморфозы?

А четвертинка яблока исчезла уже... На пару съели? Откусила — осторожно, чтобы не размазать губы, оставшуюся же часть быстрым, как бы шутливым движением сунула в с готовностью разинутый розовый рот карикатуриста?

Звонок. Еще гости?

Гибкое черное платье с зеленым врезом скользит к двери. Следом, вынырнув из-под стульев у стены, торопится Джоник.

Саша Бараненко один со своей гитарой. Танцует подруга.

Дуновение свежего воздуха — входную дверь открыли.

Подруга Саши Бараненко поворачивается к тебе спиной, и ты видишь ее партнера. У него металлические зубы, он стеснителен и тих, но даже братец, заметил ты, сдержанно-уважителен с ним. Что-то гуттаперчевое в его длинном лице... Как он назвал себя, знакомясь?

Пенсионер-живописец переворачивает наконец лист с потаскушкой. Говорит что-то.

— Я уже не мальчик, Вера. Я устал. И я знаю, что мое отношение к тебе не изменится... Я не то говорю. Изменится, конечно. Успокоится. Но так у меня...

Отец!

Крупная рыбина в руках. Свитер.

«Рыбак ты прекрасный, отец, но кулинар еще лучше. Надо завтра на бис повторить пирог. С цифрой «тридцать»...»

Карманы ватных брюк оттопырены.

«Но, может... Может, он любит другую». «Я не понимаю тебя, Максим. Он вправе любить кого угодно — этого я не знаю, но я знаю, что нельзя строить свое счастье на несчастье других».

«Я не понимаю тебя, Максим!»

В шерстяные белые носки заправлены штанины. Только-только с рыбалки, сын. Не переоделся даже. Принимай подарок!

— Судак! — Двумя руками протягивает. Такой рыбины он не притаскивал еще.

К свитеру прильнула растроганная борода. Я так благодарен тебе, папа, — все же ты не забыл меня.

Озадаченно хмурится диктор. На сыне костюм, довольно приличный, как это ни удивительно, так как же примет он уникальный дар?

Рыбина тяжело повисла в руках, хвост осклизло слипся. Озирается диктор. На пол шмякнуть?

Музыка смолкла ввиду торжественного момента. Чудо-рыбой поглощено общество. Расспросы, восторг. Максим Рябов счастлив — наконец-то он в центре внимания, вот только проклятый судак мешает принять соответствующую позу. Тяжеловат, да и держать неудобно на вытянутых руках.

«Ну-ка дай мне!» С усилием растягивает твой эспандер — раз, другой. На пятый возвращает. «Фу! А ты сколько?» Размеренно считаешь до сорока. В мышцах гудит, но ты улыбаешься в лицо диктора. До бесконечности готов продолжать.

Слизь тянется из мертвого рыбьего рта.

— Всего трое ловили. Лед ни к черту. Зато шансы!

Одышка, но никто, кроме тебя, не замечает ее. Папа — профессионал. Папа умеет владеть голосом.

— Это отец Андрея? — На ухо. Пенсионер-живописец вернулся к действительности.

— Да. И мой тоже, кажется.

«Поля тебя тоже любит. У нее статьи твои есть — вырезки. Да и Осин... с уважением к тебе относится».

Художник Тарыгин, энциклопедист, оказался в числе прочего и знатоком подледного лова. Это скверно — он загораживает тебе зрелище.

Перемещаешься вправо. На живот сползла рыбина. Как долго еще выдержит?

— На кухню давай.

На кухню! И после этого братец считает себя психологом! Затем ли, тайно раздевшись в прихожей, впер он сюда это чудо, чтобы через минуту самому же унести его? Он должен, он обязан торжественно вручить материальное воплощение своего триумфа. Кому только?

Взгляд твой проворно обегает присутствующих. Не все туалеты выдают изысканность вкуса, но надо отдать должное: на судака ни один из них не рассчитан.

Поля! Старая няня держится в стороне, но еще секунда — и диктор, увидев ее, обрадованно вскидывает рыбу. Знамя не брошено — оно передано из рук в руки.

— Штрафную? Согласен, но учти, сын мой: я должен быть в форме. Мне еще судака готовить.

Так провозглашают декреты.

— Зачем? Полно закуски.

Скептически оглядывает стол. «Ты знаешь, что было последней книгой Александра Дюма?»

— Это разве закуска? Сорок минут — и вы узнаете, что такое настоящая закуска. Нет, я хочу выпить со всеми. За тебя, Андрей. Если общество не возражает, я скажу тост.

Как может возразить общество?

Покорно направляешься к трюмо, извлекаешь из-за флакона с золотым набалдашником персональный стакан.

Ведает ли директор кондитерской фабрики, где сейчас ее муж?

«Отец у нас добрый малый, но у него жена, в присутствии которой неприлично быть добрым».

Не добрым. Жена, в присутствии которой неприлично быть рохлей. Но разве станет братец вникать в подобные тонкости! Свое гнет: Иванушкой-дурачком заделался папа, ибо Иванушке-дурачку простительно все.

— Сегодня замечательный день в твоей жизни, сын мой. Тридцать лет! Возраст, который подводит черту молодости и открывает зрелость. Стихи будет читать.

Общество покорено. Такой судак, такая грива — седина и благородство, прекрасно поставленный голос и при всем том овечьи носки и свитер.

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянушей за смятение всех,
Верь сам в себя наперекор Вселенной
И маловерным отпусти их грех...

Премьера — этого ты не слышал. Специально ко дню рождения приготовил? Опускаешь стакан. Что за стук возле тебя? Косишься. Джоник. Умиленно глядя на хозяйку, бьет хвостом по паркету. Умный Джоник!

...Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.

Зачарованные рыжие глаза Лиды. Я люблю Сашу Бараненко, я очень люблю Сашу Бараненко, но и этот человек — прелесть.

Вольтеровская улыбка на губах тетки Тамары: такое ли слыхивали эти стены!

Братец подтянут и суров: отцовской мудрости внимает. Когда последний раз было это? Лет десять тому?

Снисходительно полуприкрыл глаза пенсионер-живописец. Весьма занятно, но лично я предпочитаю Дега.

Умей поставить, в радостной надежде,
 На карту все, что накопил с трудом,
 Все проиграть и нищим стать, как прежде,
 И никогда не пожалеть о том...

«Отца жалко. У него была женщина, я знаю, но он боялся потерять нас и потерял себя».

Солидарность! — но не мужская, нет, ибо в них обоих, отце и сыне, меньше мужества, нежели в одной Александре Рябовой.

Останься прост, беседуя с царями,
 Останься честен, говоря с толпой;
 Будь прям и тверд с врагами и друзьями...

Маху вы дали, телевизионщики, маху! Как не оценили вы этот гордый пафос! А это породистое лицо?

Когда, кстати, он успел побриться? Судя по его живописному виду, он ввалился сюда прямо с рыбалки.

Наполни смыслом всякое мгновение...

С ним ли рыболовное снаряжение? Или забежал домой, побрился, оставил коловорот и снасти и не переодеваясь — сюда, на день рождения первенца! В ватных брюках, свитере — не обессудь, сын мой: прямо с озера! Теперь видишь, как я люблю тебя? А вы, друзья и соратники именинника, радуйте глаз рыбацким колоритом, дивитесь, как широк может быть человек. Виртуозный артист, постигший душу высокой поэзии, и одновременно мужик, который не чурается заурядной рыбалки.

— За тебя, сын мой.

Ухмыляясь, чокаешься с теми, кто протягивает тебе рюмки, отпииваешь немного. В подполье уходит стакан — на прежнее место, за флакон с набалдашником. Незаметно перемещаешься в прихожую. Полушубок — не на вешалке, на габуретке; вязаная шапочка, сапоги. Ни коловорота, ни снастей.

Был, стало быть, дома. Был и не переоделся. Карнавал! И тут карнавал. Лишь на лице матери никогда не бывает маски — честное и спокойное в своем непритворстве лицо.

— Привет! А ты чего здесь? — жуя на ходу, спешит диктор в кухню, к своему судачку. — Сейчас тост такой был! — с соблезнованием: экого удовольствия лишился!

— Я участвовал.

— Да? А я не видел тебя.

Мудрено ли — как различить со сцены подробности зрительного зала?

Свитер под самый подбородок — снимал, должно быть, когда брился. Снял, побрился, протер кожу одеколоном «Кремль», удовлетворенно похлопал ладошкой по гладкому лицу. Снова надел.

— Чего улыбаешься? — Неладное заподозрил.

Ясные глаза взрослого ребенка.

— Жизни радуюсь. Весна!

А возможно, вернулся еще днем, принял ванну, отдохнул, а затем вновь облачился в колоритную рыбацкую робу.

Соглашается:

— Весна. — Полной грудью вдыхает спертый воздух. — С подледным — все, до будущей зимы. — В кухню входите вдвоем. — Видел какой? Красавец! А ты говоришь — «Нептун». «Нептуну» и не снилось такое. — Рукава засучивает.

А как директору фабрики объяснено таинственное вечернее бегство из дому? День рождения сына — причина неуважительная. Беспринцип-

ным мальчишкой надо быть, чтобы после всего, что произошло, явиться на торжество тридцатилетнего оболтуса.

Одна сейчас над своими бумагами, где надежно рассованы по графам «Мишка косопалый» и «Вафли апельсиновые». Две, три, четыре таблетки раунатина... Не помогает. Зажмурив под очками глаза, сидит неподвижно — благо никого нет и можно позволить себе передышку. Оставь этот балаган — туда, к ней, вот только что скажешь ты, явившись? «Салют, мама! Нет ли у нас горчицы?» И секунды не задержится на ней твой жизнерадостно летящий взгляд, но даже так, мазнув, заметит усталость и бесконечное одиночество в глазах. За что? Нет человека на земле, которого б она обидела или обделила в пользу себя, — нет, но люди на всякий случай держатся от нее подальше.

— Сейчас мы его... — Ножом вооружается.

Музыка возобновлена. Можешь вернуться в комнату: пенсионер-живописец недообъяснил принципиальной разницы между Дега и Тулуз-Лотреком.

Братец. Торжественно, как свечи, несет по обе стороны от бороды полные рюмки.

— Давай, отец. Еще по одной. — Расслабленный, съехавший набок галстук на хемингуэевской шее.

— Хочешь, чтобы я испортил судака?

— Ну его к черту, судака! Давай выпьем.

Хулиганство! Чистое хулиганство — посылать к черту судака, но чего только не простишь первенцу!

«Летит! Летит!»

Большой плоский змей, разрисованный акварельными красками, — одна из первых работ будущего художника. «Часов в двенадцать лучше. Раньше не могу — у меня эфир». Братец великодушно переносит запуск.

Мчишься по пустырю, зажав в руке конец суровой нитки. Дернулась, потянулась, рвется из рук. Оглянуться не смеешь: приказано жать что есть мочи. Нитка напряженно дрожит. Мгновениями ослабевает вдруг, словно проваливается. «Летит! Летит!» Даже самый искушенный радиослушатель не узнал бы в этом истошном вопле баритон диктора.

Кладет нож с налипшей чешуей, критически осматривает мокрые руки. Двумя пальцами — рюмку.

— А Станислав? — Как-никак, но ведь и он сын мне.

Братец тяжело поворачивает голову. Как, и ты здесь?

Кланяешься. Рад приветствовать именинника.

Художник не разделяет твоего восторга.

— Будешь? — Влажные воспаленные веки.

— Я уже пьян. — Тебе весело. В комнате куролесит музыка.

— Нет-нет! — В одной руке диктора рюмка, другую вытирает о полотенце. — Мы непременно должны выпить втроем. Непремсно!

Не этим ли полотенцем освежает Поля посуду?

— За судака? — Любознательность, не более.

Братец не считает возможным послушаться родителя. Молча ставит на краешек стола рюмку, уходит, возвращается еще с одной. Благоговеино принимаешь.

— За тебя, отец! — Осушает махом. Протяжно втягивает трепещущим носом воздух — закуска!

Диктор страдает, но пьет. Ты медлишь. Тебе видится, как сырые губы пенсионера-живописца припали к рюмке — той самой, что сейчас в руке у тебя.

— Я рад, что мы вместе сегодня. — Еще больше папа рад, что водка наконец там, внутри, и можно перевести дух. — Что бы ни случилось, бывают дни, когда люди должны быть вместе.

Глубоко и поучительно. Внимаешь, забыв о рюмке. Папа несколько опоздал на торжество, но так уж получилось — он чистосердечно раскаивается в этом.

Гмыкаешь.

С суровым вопросом глядит на тебя братец: что означает сей звук? Ничего. Лично ты прощаешь отцу его опоздание.

— Прямо ведь с озера. — Невинно ухмыляешься.

Диктор не оспаривает. Диктор подробно объясняет технологию подледного лова. Она такова, эта технология, что при всей пылкости отцовских чувств он никак не мог освободиться раньше.

Нежно глядишь на свежевыбритые щеки. Мерещится или вправду различаешь запах одеколона?

Братец не спускает с тебя глаз. Что примечательного отыскал он в твоей физиономии? Весело взглядываешь на него. Розовые прожилки в белках глаз. Под бородой скулы напряглись. Отворачиваешься. Да-да, папа, продолжай, я слушаю тебя. Это чрезвычайно интересно — подледный лов. Или ты уже не о лове, а об узах, что неразрывно связывают отцов и детей? Это тоже интересно. Самый раз на стихи перейти.

Руку протягивает братец к твоей рюмке.

— Дай.

Папа, осекшись на полуслове, вникает в сцену. Этот ракурс семейных уз не очень понятен ему. Ничего, папа, сейчас поймешь.

Послушно разжимаешь пальцы. Рюмка перекочевывает на стол — очень осторожно, не потеряв ни капли.

— Бог дал, бог взял. — Ты настроен теологически.

— Зачем? — недоумевает папа. — Он ведь не выпил.

Добрый, добрый человек — диктор областного радио! Теперь уже ты явственно различаешь запах одеколона.

— Не надо, чтобы он пил.

Поблагодари: брат заботится о тебе. А на тон не обращай внимания: человеку трудно сейчас. «Нет, Андрей... Как всегда, ты думаешь только о себе».

— Почему — не надо?

Не спеши, папа. Наберись терпения — это чуть посложнее подледного лова.

— Ему вредно пить. Он должен беречь свое здоровье.

— Но сегодня такой день.

Ах, папа!

«Летит, летит!» Вскинутое в небо счастливое лицо. Ветер гриву треплет, тогда еще не тронутую сединой. И хвост змея треплет. Ты наивный человек, папа.

— Ему всегда вредно.

Признательно улыбаешься. Именинник намерен сказать еще что-то? Если нет, ты удалишься в комнату. У отца с сыном, надо думать, найдется о чем поговорить.

Намерен.

— Неужели тебе не страшно?

«Поля тебя тоже любит. Она всегда спрашивает о тебе. Просто она стесняется тебя. И Осин... к тебе с уважением относится».

А еще мама. Она тоже относится к тебе с уважением и даже убирает в холодильник кефир, ибо вундеркинд терпеть не может теплого кефира.

— Тебя интересуется, страшно ли мне. — «Какой я подонок! Но я убежал, потому что у меня пошла кровь. Я ничего не видел. Физически ты смел, не спорю, но, может быть, это не смелость». — Однажды ты

сам ответил на этот вопрос. Ты сказал, что недостаток фантазии лишает меня радости страха. Помнится, тогда у тебя шла кровь носом.

— Какая кровь? Андрей! Станислав! О чем вы? Вы зачем собрались тут?

— Есть судака, — выдвигаешь гипотезу.

— Извини, отец. Он хочет унижить меня. — Невинен и мудр. — Я не об этом страхе говорю. — Сигареты в руках.

— О страхе одиночества. — Расхлябанно улыбаешься. Какая буйная музыка гремит в комнате!

«Спасибо, Станислав Максимович. Спасибо! Когда-нибудь вы поймете, за что я благодарна вам».

Братец не глядит на тебя. Братец охлопывает карманы брюк, осматривается. Напрасно! — спички отсутствуют в ультрасовременной кухне тетки Тамары. Электрозажигалка для газа. Прикуривает от конфорки. Запах паленого.

— Идите-идите! Через полчаса горячая закуска будет подана. Конечно, это будет не фискеболлар — Станислав пробовал, он знает, что такое фискеболлар, — но все же, думаю, гости останутся довольны.

Папа — миротворец. Рыбья чешуя прилипла к гладкой щеке.

— Не волнуйся, отец, все хорошо. — Опаленные брови. — Я покурю здесь.

Как тщательно выбрито лицо диктора!

— Чешуя. — И, показав глазами, неторопливо удаляешься.

«Неужели тебе не страшно?»

«Большое спасибо! Я рада, что не ошиблась в вас. Как это важно, что человек, на которого возлагал надежды, не подвел тебя! Большое вам спасибо».

Супруга с карикатуристом танцует. Вера — в одиночестве, у «бара», в задумчивой руке — бокал. В окно глядит, а там, за черным стеклом, парит комната. Вам не страшно, Вера?

Что-то мягкое у ног. Джоник.

— Где Андрей? — спрашивает совсем рядом тетка Тамара. Седая аккуратная голова высоко поднята, но это не помогает: все равно заметны морщинки на шее.

— Андрей на кухне. Фискеболлар стряпает.

Тетя вольтеровски улыбается. Очень, очень тонко, Станислав. Большинство, конечно, не оценили б, но я (я!) понимаю тебя с полуслова. Ты умница, племянник.

Художник Тарыгин гневно жестикулирует. Приближаешься.

— По-вашему, это верх искусства. На колени готовы плюхнуться. А я считаю, это еще не искусство. Это манифест. Указатель на дороге. Подмостки — вот что это такое. Роскошные подмостки, на которых ни черта не происходит. — От ярости скулы порозовели.

«А народные песни Комитаса! — На краешке тахты, без дыхания. Мгновенье — и взлетит. — Приедете в Армению, вспомните и узнаете».

Металлические глаза — негодует художник Тарыгин. Пенсионер-живописец морщит сырые губы. А вы горяч, молодой человек, крепко-с горяч. Но это хорошо. Продолжайте, мне по душе ваш темперамент.

— Импрессионизм — это техническое изобретение. Чисто техническое. Как телевизор. Как цветное кино.

Красные, синие, желтые шапочки... «Ты дальтоник, и не только в зрении — во всем».

— Сезанн, Ренуары — все это гурманы в искусстве. Они смакуют коктейли, когда рядом...

«Знаете, я завидую композиторам. Их отваге. Да-да, отваге. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество. Только мужество, больше ничего».

«Да, я хотела, чтобы вы приехали в Жаброво. Я ждала вас, очень ждала. Да вы и сами заметили, как обрадовалась я, когда вы вышли из автобуса. А сейчас... В Крыму вы были другим. Или, может, мне показалось. Пальмы, море. Я люблю шампанское, но сегодня я...»

— Андрей! Я думаю, вы рассудите наш спор.

А ты и не заметил, как вошел братец.

Надеваешь осмысленное выражение: чрезвычайно заинтриговала дискуссия о живописи. Во всяком случае, это куда занимательней вашего с братцем диалога на кухне. Не случайно он состоялся именно там — на традиционном плацу кастрюле-плиточных баталий.

«В Крыму вы были другим. Вы обманули меня. Зачем вы надели шарф, когда пошли к Марго?»

Что за чушь?

Как там фискеболлар? Предвкушающе втягиваешь носом воздух.

— Вы передергиваете! Я не говорил, что отрицаю импрессионизм. Я не отрицаю его, это шаг вперед, но только в форме. А по сути? Помните: выставки импрессионистов — первые выставки! — совпали по времени с нашими передвижниками. Но что там, а что здесь? Пока Дега корпел над «Голубыми танцовщицами», Перов создавал «Тройку» и «Чаепитие в Мытищах». Там ломали голову, какой оттенок у травы в полдень, а здесь думали, как жить.

Вот и союзник у тебя отыскался — да здравствует художник Тарыгин! Ты бы охотно поддержал его, ты привел бы данные о голодающих на планете, но он не к тебе апеллирует — к братцу.

«Тебе плевать на всех этих голодающих. Если тебе плевать на одного человека, вот хотя бы на эту стюардессу, которой плохо... Ты задумывался, почему ей плохо?»

Задумывался. Ей мужества не хватает. Чтобы быть счастливым — хотя бы день, хотя бы час, — надо иметь мужество, больше ничего.

Где твоя жена? Музыка буйствует, а их нет среди танцующих.

У «бара» — с рюмками, вдвоем. Четвертинкой яблока закусьвают?

«Зачем вы приехали? Вам ведь не нравится, что у меня один зуб неровный». «Глупости! Я думал о тебе в бассейне. Я хотел еще в пятницу приехать. Бросить все и приехать».

Тишина. Пауза, или пленка кончилась?

— Может быть, Сезанн и гений — его «Дом повешенного» милая картинка, — но мне он отвратителен. Прожить семьдесят лет и все семьдесят лет биться над тем, как лучше изобразить яблоко. Люди умирали, голодали, а господин Сезанн рисовал яблоко. На улицах баррикады возводили, а господин Сезанн рисовал яблоко. Дрейфуса приговорили к каторге — ну и черт с ним, есть Золя, он защитит его; у господина Сезанна поважнее заботы — он яблоко рисует. — Он безвкусно одет, художник Тарыгин, но ты готов простить ему даже это. — Вы думаете, Перов не нарисовал бы яблоко? Посмотрите «Проводы покойника» — мастерства там не меньше, но об этом...

«Дом повешенного», «Проводы покойника»...

«Иногда мне жутко бывает. Я боюсь, что сделаю с собой что-нибудь. Тогда я ухожу из дому и гуляю до утра». Сверхнервная натура — может ненароком укокошить себя. Или ухо отрезать. Кому из художников принадлежит этот почин?

«Ты даже не сможешь убить себя. Чтобы покончить с собой, надо хоть немного любить себя».

«Какая кровь? Андрей! Станислав! О чем вы?»

Почему вдруг отец заговорил о крови?

— Андрей, вы странно отмалчиваетесь.

Какая нелепость: чтобы покончить с собой, надо любить себя!

— У меня тост.— Ни на кого не глядит. Складка между опаленными бровями.

За что его любит Вера?

Снова музыка — должно быть, эта пленка не кончится никогда. Ты ничего не имеешь против: музыка учит людей быть счастливыми. Мужественные люди — композиторы!

Выключает магнитофон. Потерпите с танцами! — я именинник и я желаю сказать тост. За Тулуз-Лотрека! За искусство, которое вечно! Если б не было Эйнштейна, теорию относительности все равно б сформулировали, но не родился на свет Рафаэль, мир не узнал бы «Сикстинской мадонны».

Наливайте, я подожду. Карикатурист и твоя супруга готовы — предусмотрительные люди. Бережно извлекаешь из-за флакона с набалдашником свой стакан — нетленный, как искусство.

— Мы тут говорим о Сезанне, о передвижниках. О гармоничной личности. Все это хорошо.— Но «Сикстинская мадонна» лучше. Что ж, ты готов выпить за мадонну, раз того желает именинник. До дна! У тебя прекрасное настроение, капитан! — Я тоже верю в гармоничную личность, но до нее еще далеко. Мы все пока что разновидность питекантропа. Человек — впереди. Наша планета знала и людей, но это были единицы. Когда-нибудь их будут миллионы. Искусство тоже внесет в это свою лепту.— Еще бы! Кудесник Сезанн ликвидирует голод на земле натюрмортными яблоками.— Искусство — это компас человечества. Оно показывает направление. Идеал. Но компас сам по себе не рождает движения. Для этого другое нужно. Техника нужна. Наука. Нужны люди, которые смыслят в этом. Которые посвящают этому жизнь. У них нет времени заниматься тонкостями цвета и линии.— А как же мадонна? Ты чувствуешь себя идиотом.

— Знаете что? — спрашивает братец и несколько долгих секунд сосредоточенно смотрит перед собой.— Знаете что...— повторяет он глухо.— А ведь они жертвуют собой, эти люди. До гармоничной личности еще далеко, но именно они приближают ее. Приближают тем, что отказываются от собственной гармоничности. Это трудно. Гораздо легче... Нет, не легче. Не легче... Радостней — вот! Гораздо радостней упиаться вот этим,— в Тулуз-Лотрека с яростью тычет пальцем,— нежели думать о хлебе насущном. Искусство — это праздник человечества, но праздник невозможен без будней. И чем величественней, чем роскошней праздник, тем дольше и суровой будни.

Смолкает, но никто не решается нарушить тишины. Ну чего ты боишься, Рябов? Поля тебя тоже любит. Да и Осин... с уважением к тебе относится.

— Я предлагаю выпить за моего брата.— Так ты и знал! — За моего младшего брата, который всегда был старшим. Вы понимаете, старшим! Всегда и везде. Всегда и везде — старшим братом.— Братец замуривается.— Всегда и везде,— шепчет он и наконец открывает глаза.— Я пью за тебя, Станислав!

Полновесно ощущаешь свое горячее лицо. Нос, щеки. Торчащие красные уши.

«Неужели тебе не страшно?»

Надо ответить что-то...

«Никакой надежды? Но я же видела его... Совсем недавно». Что ей до Шатуна? Какое отношение имеет спившийся бедолага к ее кондитерской фабрике, к ее дому, к ее принципам, которые она свято блюдет? Никакого. Но почему тогда беспокойство в выцветших глазах, и

страх, и стыд — ну конечно, стыд, коли она торопливо отводит взгляд, она, которая всегда всем смотрела в глаза прямо? Почему? Ведь вам обоим чужда сентиментальность, вы сильнее, вы пришли в этот мир работать, а не вздыхать, вы — каменщики, но, боже мой, до чего же малы ее руки и как опасно, как нездорово проступили на них синие жилы!

Брось, Рябов: до матери ты не дотягиваешь.

Снова музыка, снова танцуют, а ты снова возле трюмо — интересно, когда это успел ты ретироваться? Во время тоста ты высился как истукан посреди комнаты. Нет, там стояла тетка Тамара. Ее губы вольтеровски улыбались. А где ты был? Или ты не двигался с места?

Удивительно: твой стакан пуст.

Бородой щекочет тебя братец. Бородатое запрокинутое лицо — пьет. Широкие звериные ноздри. Узкий лоб питекантропа. Того самого, которого мы все разновидность. Запах водки и табака.

— Не сердись, старик. Я многое наплел тебе, я знаю, — забудь! Все это больше ко мне относится. Мы ведь с тобой страшно похожи, дед. Я только сейчас допер.

— Близнецы.

— Что? — Влага в глазах. — Не близнецы, нет. Просто две половинки чего-то целого.

Яблока. Не чего-то, а яблока. Того самого, что всю жизнь рисовал господин Сезанн. Но хорошо хоть половинки, а не четвертинки, иначе бы худо пришлось вам в грациозных пальчиках радеющей о ближнем супруги.

— Мне очень хреново, старик. Тридцать лет... А я ни черта не умею. Ни черта! — Зажмуривается. — Только ты и есть у меня. Ты да отец.

Ты да отец... Да старая няня. Да Вера. Да тетка Тамара. Да еж Егор Иванович. Да Осин, который относится к тебе с уважением. Да мать — и мать тоже, хотя он и не подозревает об этом. А у тебя?

— Передавай привет Егору Ивановичу.

Недоуменная складка между бровями.

— Кому?

— Егору Ивановичу. Ежу. Если надоест, — предлагаешь ты, — можешь подарить его мне.

Братец тревожно всматривается в тебя.

— Зачем он тебе?

Кто? Ах, Егор Иванович.

— Зажарим, — говоришь ты. — Из ежатины превосходный фискеболлар.

В руке у тебя пустой стакан.

17

Не возражаешь: судак был отменен. Как, впрочем, и вечер в целом.

— Вот только Андрей чертовски опьянел. — Меня как отца не может не огорчить данное обстоятельство.

— Чертовски? — со смешливым удивлением переспрашивает супруга. Судак тоже произвел на нее впечатление — не меньшее, чем карикатурист Волон, а вот факт опьянения остался не замеченным ею.

— Пьяный он несет бог знает что...

Уж я, отец, знаю своего первенца. Так что, Станислав, не принимай близко к сердцу его галиматью.

Не принимаю, папа. Мы мирно попрощались с ним, а наше сердечное рукопожатие было символом вечной дружбы. «Спасибо, ста-

рик». «За что?» Напротив, признателен был ты ему: только одиннадцать, а он даже не сделал попытки задержать вас.

Некрашенный деревянный забор — подземный переход строят. Шагаем со временем в ногу! Еще два дня назад здесь холмиками лежал снег, а сейчас вытаял, оставив освещенные прожектором спекшиеся слитки грязи.

«Спасибо, старик». Я обидел тебя, но ты оказался выше этого — спасибо!

Не за что, братец. Просто я смотрю на все свысока — один из пунктов твоего же обвинительного заключения.

Голубовато светятся окна — век телевидения. То там, то здесь вылетает из распахнутых форточек — весна! — скороговорка хоккейного репортера.

Ветер с моря; незнакомые очертания южных деревьев. Вверху на узких асфальтированных дорожках прогуливаются люди с транзисторами. Твои руки в карманах незастегнутого пальто. «Когда долго смотришь на море, оно будто подымается. А сама вниз падаешь». На светлеющей шее — косынка в крупный белый горошек.

Ну и что?

Ты благодарен сегодняшнему вечеру.

— Волов понравился тебе?

Видишь, как я откровенна с тобой? Это потому, что у нас с ним не было ничего предосудительного. Психология! — мы проходили ее в институте.

— Карикатурист Волов? Симпатыга парень. Лопухостью не страдает. — Четвертинка яблока, от которой твоя жена откусила кусочек, а остальное бережно положила в по-птичьи разинутый рот карикатуриста. — Я не шучу. Я завидую. — Ты очень благодарен сегодняшнему вечеру. — Ты когда-нибудь замечала, что море подымается, когда на него смотришь долго?

Хмурится. Молчит и хмурится. Понимаю твой намек: опять упрекаешь, что не полетела с тобой в пятницу.

Вовсе нет! Я добр сегодня как никогда. Тротуар разбит и выщерблен, и ты заботливо придерживаешь ее за локоть.

— Да, забыл вас предупредить. — И все же телевизионщики правы: Максим Рябов не гениальный актер. — Мы встретились с вами около дома. Я — от Захарова.

Осторожно: вода в выбоинах асфальта.

Как понимать это? Ни на каком дне рождения не был — задержался у Захарова, рыболовного приятеля? Оставил там снасти, поужинал, выпил. В глазах директора кондитерской фабрики это куда меньший грех, нежели самовольное посещение отверженного сына.

— Понятно! — На лету схватывает твоя жена подобные вещи. Опыт? — Так вы не заходили домой?

Мне необходимо знать все, чтобы поддержать интригу.

— Некогда. Поздно вернулись и сразу к Захарову. С подледным баста в этом году. Решили отметить это событие. Вот только освободился. С вами у дома встретился.

— Все ясно! — грудным, нежным, с легким придыханием голосом. Не знаю, как Станислав, а я одобряю вашу маленькую хитрость. Вы поступили гуманно и изобретательно, Максим Алексеевич.

— К тому же, — добавляешь ты, — у Захарова отличная бритва.

На секунду зажмуриваешься в темноте... Ну что ты, Рябов! Ничего ведь не случилось — просто рухнула концепция, возведенная на гладковыбритых щеках. Тем лучше! Ты еще раз убедился, до каких чудовищных размеров разбухают пустяки, если смотреть на них не с высоты, а близко.

— Не понимаю! — Озадачен Максим Рябов.

— Выбрился чисто.

Подозрительно ощупывает пальцами лицо. Не беспокойся, папа, все на месте.

«Ты не веришь мне, Вера. Ты думаешь, у меня все пройдет. Почему у меня все так сложно? Почему?»

А у тебя все так просто — настолько, что тебе совестно признаться в этом. Ты элементарен, как амeba.

— ГОЛ! НА ЧЕТВЕРТОЙ МИНУТЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА...

В дребезжанье трамвая тонет голос комментатора. Разочарованный диктор снова прибавляет шаг.

«Выберите команду и начинайте болеть. Немедленно! Потом скажете — может, совпадет. Преступление пренебрегать хоть чем-то, что разнообразит жизнь».

Амеба! Совершенствуйся же скорей, эволюционируй. Команду выбери! Как стремительно взлетит в глазах братца твой эмоциональный престиж!

«Ты дальтоник, и не только в зрении».

Ужасное обвинение! Чтобы смыть его, готов исполнять все их обряды — вздыхать, страдать, жалеть, негодовать, размахивая руками, преклоняться перед Тулуз-Лотреком. Камни коллекционировать. Восхищаться природой. Что еще?

— Ты согласен со мной?

Смотришь на диктора. Багрово его лицо — от падающего из окна абажурного света. Багрово и вдохновенно.

— Да, конечно.

С чем, интересно, согласен ты?

Гул самолета.

Ты смешон, Рябов. Готов переться в глушь, в неведомую дыру за восемьдесят километров, лишь бы доказать себе, пыжась, что и твое сердце склонно к экстазам. Гримасничаешь.

«Ты не знаешь, что такое ждать женщину. Заранее рисовать себе, как она откроет дверь. Как посмотрит на тебя. Что скажет. Интонацию угадывать».

Штакаян права: тебе всегда были смешны скряги — так не жадничай и ты. Оставь братцу его радости — тебе и своих достанет. На таких, как ты, держится мир — без вас человечество превратится в стадо.

Ты высокопарен, кандидат, но да прости себе это: нынче знаменательный день. Отныне ты пойдешь вперед налегке, а стало быть, еще быстрее.

Что-то супруга говорит — будь же учтив, Рябов.

— ...своего знакомого? Минаев, кажется. Который с кооперативом может помочь.

На славу удалось торжество у братца, раз твоя жена только сейчас вспомнила о кооперативе. Весь мир заслонил образ карикатуриста Волова с четвертинкой яблока в руке.

— Мы обедали вместе.

«У тебя дело ко мне?» «Никакого. Тесть работает краснодеревщиком, а теща...» Забыл — что-то связанное с космосом.

— Ели жульен из дичи. Довольно вкусно.

«Ты, конечно, чистюля, но если тебя припрет — не остановишься ни перед чем».

— И это все?

Плохо, конечно, но я не упрекну тебя ни словом.

— Все.

У тебя великолепная жена, капиташ!

«Здравствуй! Я обещал написать, если не смогу приехать в Жаброво. Увы, так оно и вышло...»

Сдается тебе, будет честнее, если оставишь девочку в покое. Для тебя это блажь, острая приправа, она же... «Я лежала под сосной, надо мной раскачивалась в небе вершина, и я вдруг поняла, что буду счастлива. Очень-очень». Так-то, Рябов. Ты не смеешь мешать ей.

На свою улицу сворачиваете. Молчаливая парочка в тени.

«Я не смогу приехать — ни сейчас, ни потом. Не сердись. Я торжественно обещаю, что отыщу какую-нибудь захудалую сосну, растянусь под ней и буду внимательно смотреть, как раскачивается вершина. Тетка Тамара велела кланяться тебе».

Без обратного адреса.

— Запах! Вы слышите, какой запах! — Задрал голову, диктор дегустирует атмосферу. — Почками пахнет, чувствуете?

Гмыкаешь.

— А у сосны бывают почки?

Не юродствуй! Вспомни, как возвращался позавчера вечером со своей крымской экскурсии. Не на этом ли месте в городе, где всюду асфальт, умудрился учуять запах оттаявшей земли? И сорока восьми часов не минуло...

Не желают отвечать, есть ли почки у сосны. Варвар, скomorох, как смеешь ты нести всякую околесицу, когда такой воздух!

— Сосна, между прочим, не радуется так. — Стало быть, твой вопрос не игнорирован. Спасибо, папа! — И ель тоже. Вообще вечнозеленые. Потому что они вечно зеленые. — В два слова. Нет, выходит, почек у сосны. — Так и жизнь. Не вообще, а человеческая...

Ого! На философию провоцирует весна. На сравнение деревьев с жизнью — не вообще, а человеческой, — которая, оказывается, потому только и радуется, что конечна.

— Бессмертие, считаю я, было б ужасно.

Не беспокойся, папа, тебе это не грозит. Телевизионщики позаботились...

Свет в окне — в правом нижнем углу, пятном. Настольная лампа.

«Салют, мама!»

Сжатые губы. Родинка на подбородке. Пытливо вглядывается в тебя: это правда, что вы только сейчас встретились с отцом?

Конечно, мама! Разве твой младший способен лгать?

Однако только ли это означает пытливость маминого взгляда? Только ли это хочется ей узнать? Что же еще?

Как там он? Здоров ли? Пьет? Конечно, пьет, но как? Не заметно ли желтизны в глазах?

«Шатун понятия не имел, где печень, а потом вдруг пожелтели белки. Правда, чего только не лакал он последнее время! Даже лосьоны. А есть не ел».

Как аппетит? По-прежнему один или с кем-то?.. Язык не повернется у мамы спросить прямо, но глаза, глаза — им не прикажешь. Ах, мама! О младшем сыне они никогда не вопрошают так, но ведь это естественно. Ты всегда здоров, всегда сыт. Ничего не желтеет у тебя. Да и у кого вопрошать — ты под боком. С тобою все ясно, а вот старший... Непутевый, блудный старший сын. Хорошо быть блудному!

«Продавщица перепутала. Я просила сорок первый, а она... Там такой галдеж стоял».

Ревнуешь? Ну что ты, мама! Не сердце ведь, а камень в груди твоего младшего сына — разве способен он ревновать, плакать, радоваться весне и поэтически сравнивать вечнозеленую сосну пусть не с зеленой, но вечной жизнью? Не человеческой — вообще. Так пинайте же его, отворачивайтесь от него, выхватывайте из рук рюмку с вином — он

выдержит. Он железный. Вернее, каменный. А еще вернее — из железобетона, этакая современная конструкция двутаврового сечения.

Все хорошо, мама. Он твой первенец, и как можно вырвать его из сердца? Как можно! Это природа. Не слабость, мама, а природа, физиология, поэтому к чему изводить себя? Ты обязана беречь себя. Слышишь, мама, обязана! Сейчас весна, пора кризов, страшное время для гипертоников.

Неподвижное маленькое лицо с синими губами. Это, конечно, иллюзия, лицо не могло стать меньше, но почему-то именно это (такое маленькое!) пугает тебя больше всего. Пугает наперекор твоей воле, и это, пожалуй, единственный случай, когда твоя воля пробуксовывает. Ты презираешь себя за слабость и страх, для которого, твердишь ты себе, нет оснований. Конечно, нет! С минуты на минуту придет вызванная отцом «скорая», сделают укол, и ей сразу же станет легче. Только не паниковать! Только не бояться, ибо страхом можно накликать беду. Прочь гонишь ты нелепые мысли вроде той, что лицо ее стало меньше. Белые полоски под полуприкрытыми веками — ну и что, некоторые даже спят так. Дыхания нет, но это тоже иллюзия, обман зрения — ведь жилка на шее пульсирует. Слабо, но пульсирует. Ты не отрываешь от нее взгляда.

Люби кого угодно, мама. Не замечай меня вовсе. Даже не ставь кефир в холодильник, когда я задерживаюсь, — вундеркинд и теплый попьет. А лучше вообще не выставляй, ибо и ледяной он попьет тоже. Но, пожалуйста, живи... Я перегрызу горло своему братцу, если этот пузатый гений с утонченной душой посмеет хоть раз еще играть у тебя на нервах.

Почтовый ящик на углу вашего дома. Тускло отсвечивает округлое ребро. Ты сегодня же напишешь в Жаброво.



А. МЕЖИРОВ



ИЗ НОВОЙ КНИГИ

* * *

Льется дождь по березам, по ивам,
Приминает цветы на лугу.
Стало горе мое молчаливым,
Я о нем говорить не могу.

Мне желанья мои непонятны,
Только к цели приближусь — и вспять,
И уже тороплюсь на попятный,
Чтоб у сердца надежду отнять.

* * *

Молчат могилы, саркофаги. склепы —
Из праха сотворенный, прахом стал,—
Все разговоры о душе нелепы,
Но если занесло тебя в Бенгал,
Днем, возопив на крайнем перепутье,
Сырым огнем Бенгалии дыша,
Прозреешь душу вечную в Калькутте,
Которая воистину душа.

В чем виноват, за все меня простили,—
Душа и представлялась мне такой.
Воистину как сказано в псалтыри:
Днем вопию, а ночью пред тобой.

СТАРИННОЕ

Ездили на тройках в «Яр»,
При свечах сидели поздно,
И покрылась воском бронза,
Диких роз букет увял.

Но когда увяла эта
Бледно-розового цвета
Роза дикого куста —
Не увяла красота.

Но едва увянув, сразу
 Стала краше во сто крат.
 Розы пепельные в вазу
 Опустит — пускай стоят.

Жизнь ослабла. Смерть окрепла.
 Но прекрасен ворох пепла.
 Так забудь дорогу в «Яр»,
 Не печалься о разрыве, —
 Стал букет еще красивей
 Оттого, что он увял.

ВМЕСТО АВТОГРАФА

В лоб времени писал и напрямик,
 И потому немало строк моих
 Изъяло время. С ним согласен я
 И вычеркнул из списков бытия
 Своей рукой своих немало строк,
 Хотя к себе и не был слишком строг.

На книжных полках дружеских домов
 Среди чужих брошюр и томов
 Искал свой томик, временем изъятый,
 Чтобы изъять его из прочих книг.

В лоб времени писал и напрямик
 И не избег заслуженной расплаты.

Взамен изъятых временем и мной
 Вручаю вам, друзья, очередной
 Госкомиздатом выпущенный том,
 Чтобы у вас изъять его потом.

ТРОЕ

По острову идут на материк
 Сырые облака без перерыва.
 Два зонтика имперских на тронх,
 Британия бедна и бережлива.

В блаженном смоге, в лондонском дыму,
 В дыму-тумане голова гудела.
 Фонтаны и дожди. И никому,
 И никому ни до кого нет дела.

Эпоха... Спех... И все же где забыт
 Был третий зонтик? Вспомнить бы неплохо...
 Упрется в площадь Пикадилли-стрит,
 А там фонтан сухой и рядом Сохо.

Дождь не переставая льет и льет
 Над Лондоном, над черными мостами,
 И только бродят ночи напролет
 Три человека под двумя зонтами.

* * *

Свистят в потемках кинескопы —
 Окна телевизорной Европы,
 Под луной мерцают валуны,
 Светится туман морозно-свежий,
 Окна плодородных побережий
 Сине-серым светом зажжены.

Старый перекресток Амстердама,
 Дом Спинозы — прямо и направо
 И мемориал-полуподвал,
 Где философ стекла шлифовал.
 И горит-горит, хоть волком вой,
 За твоими стеклами Спиноза,
 В окнах, запотелых от мороза,
 Свет последней стадии склероза
 Дармовой культуры мировой.

МАСТЕР

Он был умен, бездушен, пустотел,
 Слагая строки полые, тугие,
 Чем занимался и чего хотел —
 Сказать неправду лучше, чем другие.

И этому, потратив столько сил,
 Всю жизнь паял по воробьям из пушек,
 Всех Буратин, Матрешек и Петрушек,
 Возлюбленных, загубленных игрушек
 Надежно и безбожно обучил.

И над тобой они простерли нынче
 Свою непререкаемую власть.
 Вы друг за друга, как боксеры в клинче,
 Цепляетесь, чтоб вовсе не упасть.

* * *

Женщин таких, как на старом Арбате,
 Не было, нет и не будет вовек.
 Их имена повторял как заклятье
 Лютый кавказец, лихой человек.

Он полюбил этой улицы старой
 Неторопливый и узкий пролет.
 Юной его семиструнной гитарой
 Каждая кровля по-русски поет.

Старый Арбат с переулками всеми
 Перепланирует новое время,
 Что-то прибавит младому проспекту,
 Что-то оставит седому поэту.



СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ

★

ИЗ ЦИКЛА «ФЕОДОСИЙСКИЕ СОНЕТЫ»

1

Не молодой мне женщиной предстала.
Ты в доме родовом своем таишь
Страстей и крови мертвенную тишь —
Состарилась от них, но не устала.

Давно сошла достойно с пьедестала
И, вдовствующая, теперь молчишь,
Но в складке губ невольно различишь
Величье дней, когда и ты блистала.

Ты царственно отцом наречена,
Пусть летопись твоя помрачена
И о тебе безмолвствуют витии!

Но у фонтана в жесте тощих рук
С кувшинами мной узнается вдруг
Сухой, горячий ветер Византии.

2

А иногда предстанешь сердцу ты
Четырнадцатилетней, полной страсти,
Но сдержанной, уж знающей отчасти
Жизнь, терпкую, как и твои черты.

Тогда в тебе безумствуют мечты,
И силы нет бороться против власти
Суровых рук без золотых запястий,
И строгих глаз — их умной черноты.

И ты сама не знаешь, как смесила
Мне чувства все младенческая сила,
Как сладостно разбить влюбленный стих

Об твой разгоряченный, нежный камень,
Рассыпать жарко пепел свой и пламень
На ласковую грудь холмов твоих.

3

Сказала жизнь: «Молчать не смеешь, пой!»
А я лежал в своем отрепье старом,
Сраженный навзничь молнийным ударом,
Средь лопухов — немой, глухой, слепой.

Прошли стада с холма на водопой
Вдоль спелой ржи, еще дышавшей жаром,
И вечером по свежим крутоярам
Чета бродила тайною тропой.

И ожил я. Вновь петь я обязался,
Но должен был все начинать с аза,
Хоть видели отчетливо глаза
И голос мой на звуки отзывался.
Великий свет влила в меня гроза,
А я себе обугленным казался.



ВЛАДИМИР ГОНИК



ВОСЕМЬ ШАГОВ ПО ПРЯМОЙ

Рассказ

Когда Рогов вышел, они еще стояли. Они поджидали его с восьми часов, а сейчас было около десяти. Высокий грел дыханием пальцы, а тот, что был пониже, пританцовывал, держа руки в карманах.

Они прятались от ветра у гаражной стены, за длинным рядом осыпающихся деревьев; лица их покраснели от холода. Должно быть, они потеряли надежду и уже не ждали его, а стояли просто так, не решаясь уйти.

Соседи, конечно, уже заметили их, слишком явно они торчали под окнами, мозолили всем глаза. В доме жили серьезные деловые люди, ходившие каждый день на службу, и им невдомек было, что можно праздно торчать под чужими окнами. При случае соседи были не прочь похвастать, что он живет здесь, в доме, но временами он чувствовал их иронию и снисходительность.

Где-то шла у них своя жизнь, он угадывал смутно, в институтах, на заводах, в министерствах, в лабораториях, в конструкторских бюро, ну да ладно, бог с ними, ему до них дела нет. Все чаще в последнее время он испытывал непонятное раздражение, хотя мышцы не подводили и сердце работало, как мотор.

Он уже давно привык к парням и мальчишкам, поджидающим его в разных местах. У дома его поджидали нечасто, но бывало. Адрес узнавали разными путями, обычно через адресный стол, нужны всего лишь фамилия, имя, отчество и возраст, но многие знали его рост и вес. Цифры были как будто важными показателями урожая или добычи полезных ископаемых, их часто повторяли в печати, и комментаторы гордились ими словно собственными.

Когда он вышел, они растерялись. Маленький увидел его первым и толкнул высокого в бок. Они отклеились от стены и испуганно таращили на него глаза.

По такой погоде они были одеты слишком легко. Расклешенные брюки, истоптанные каблуками, одинаковые дешевые куртки с блестящими пуговицами, но высокий из своей вырос и его голые тонкие руки торчали из рукавов.

Маленький был смуглым, черноглазым, черными были у него густые волосы, а на лице пробивался темный пух. Рядом с ним высокий казался светлее, чем был на самом деле: узкие плечи и длинные светлые волосы делали его похожим на переодетую девушку.

Порыв ветра сорвал горсть листьев, а те, что лежали на земле, смахнул и погнал вдоль стены; на ветру мальчишки казались совсем беззащитными.

Все утро они торчали напротив дома, шарили глазами по окнам, переговаривались, иногда толкались и подпрыгивали на месте, чтобы согреться, но сразу замирали, когда открывалась дверь.

На него часто пялились на улице и в магазинах, даже в других городах: знакомое лицо, люди напрягали память. А телевидение — отрада зимних вечеров, вся страна у экрана, бесконечное пространство — деревни, города, дома, квартиры, где уткнулись в экраны, а операторы так любят крупный план, когда человек сидит на скамеечке для штрафников; он посиживал не очень часто, но и не редко — не чурался.

Юнцы смотрели на Рогова, будто не верили глазам. «Сейчас автограф попросят», — подумал Рогов.

Обычно он молча расписывался, не глядя в лицо. Он считал это никчемным, но неизбежным занятием и покорился раз и навсегда — расписывался и шагал дальше.

Рогов снял замок и распахнул ворота. Мальчишки не двигались с места. Он выехал из гаража и остановился перед воротами. Мальчишки напряженно за ним следили. Он вяло слушал мотор, включил приемник, отыскал музыку, закрыл ворота и навесил замок — они все смотрели издали. «Странные какие-то», — подумал Рогов.

Они не выглядели разбитными городскими парнями, которые встречались ему каждый день. «Провинциалы. Когда-то и я был таким», — подумал он.

На ветру они выглядели сиротливо: дети, оставшиеся без взрослых; губы у них были совсем синими.

Рогов тронул машину с места; мелькнули их напряженные лица; машина проехала немного и неожиданно остановилась. Мальчишки смотрели все так же напряженно и серьезно.

Рогов подъехал к ним, перегнулся через спинку сиденья, открыл заднюю дверцу и сказал:

— Залезайте.

Они не двинулись, вроде и не слышали и смотрели, как прежде, серьезно и напряженно.

— Залезайте, кому говорю! — нетерпеливо повторил Рогов. — Машину выстудите.

— Кто, мы? — спросил высокий, не веря ушам, а маленький испуганно оглянулся: нет ли еще кого?

— Вы, вы!..

Мгновение они еще не верили себе, потом робко залезли, осторожно сели на заднее сиденье и сидели не дыша; высокий три раза хлопнул дверцей, но не закрыл. Рогов перегнулся и захлопнул.

Машина уже шла по улице, а они все еще не знали, что произошло, и не решались шевелиться. Он и сам не знал, что произошло.

— Продрогли? — спросил Рогов.

Оба кивнули и вместе одним дыханием по-деревенски ответили:

— Ага...

— Откуда вы?

Маленький потупился, а высокий помялся и сказал:

— Мы за городом живем...

— Сколько ж вы сюда добирались?

— Два часа.

— А встали когда?

— В четыре.

«В четыре мороз будь здоров», — подумал Рогов и в зеркало посмотрел на их одежду.

— Курточки ваши на рыбьем меху?

Они смущенно улыбнулись, еле-еле, одними губами.

Они встали в четыре утра, шли по морозу на станцию, дожидались поезда на платформе, а потом ехали в вагоне и добирались по утренней Москве, чтобы торчать на ветру под его окнами.

— У вас здесь дела, что ли? — спросил Рогов.

Они помялись, переглянулись и застенчиво потупились. Он рассмотрел их в зеркало: никак не меньше восемнадцати, только щуплые очень. Рогов вспомнил молодняк команды, их ровесников, которых называли полуфабрикатами: верзилы под стать взрослым мужчинам, примут на бедро или впечатают в борт — костей не соберешь.

Мальчишки отогрелись. Он услышал восторженный шепот и поймал их взгляды: на ветровом стекле висели маленький хоккейный ботинок с коньком и такая же маленькая клюшка. Играла музыка, исправно грела печка, славно так было ехать холодным осенним утром, тепло и уютно. Вчера было воскресенье, команда после субботней игры отдыхала, и Рогов ночевал дома. Обычно они ночевали на загородной тренировочной базе, где проходил сбор. Домашний ночлег ценился высоко, и отыграл Рогов в субботу прилично, и команда выиграла, но сидело в нем недовольство, не понять только чем.

По улице бежал сплошной, без просветов лаковый поток автомобилей; Рогов улучил момент и юркнул в середину. Машины неслись большим сплоченным стадом, уносились назад дома и люди, и было тепло, играла музыка, и чуть-чуть кружилась от скорости голова: мальчишки озирались и бросали восторженные взгляды на Рогова.

Он высадил их у метро и сразу о них забыл. Ещё оставалось время подъехать к бензоколонке и наполнить бак. Потом поехал на тренировку.

У катка кучками стояли болельщики. Это было их постоянное место да еще у касс на улице. В любую погоду они толпились здесь и спорили. Когда он вылез, они как по команде развернулись в его сторону и без смущения рассматривали в упор.

— Молодец, Рог, в субботу хорошо бодался, — сказал кто-то из них.

Он привык не обращать внимания, когда его рассматривали в упор и когда отпускали реплики, хотя после неудачных игр реплики бывали обидными, и первое время ему стоило труда пропускать их мимо ушей, но потом он понял раз и навсегда, что всем всего не объяснишь. К счастью, плохие игры случались редко.

Вдруг Рогов снова увидел мальчишек. Дул пронизывающий ветер, и они поворачивались к нему то спиной, то боком. «Опять они», — подумал Рогов, но не удивился. Он замедлил шаг, раздвинул толпу и приблизился к мальчишкам.

— Опять вы? Времени свободного много? — недовольно спросил он. Они молча потупились. — Почему бездельничаете?

— У нас отгул, — понуро ответил маленький.

— Отгул за прогул?! Знаю я таких!

— Нет, у нас правда отгул, — сказал высокий. — Мы не врем.

Они стояли словно побитые. Он прошел несколько шагов и обернулся.

— Ладно, пошли...

Они недовверчиво переглянулись и стояли нерешительно, не зная, что делать.

— Ну идите же! — раздраженно повторил Рогов, и они кинулись за ним.

Болельщики смотрели с интересом.

— Может, и нас возьмешь? — спросил кто-то.

Вахтер протянул Рогову ключ от раздевалки и бдительно перекрыл дорогу мальчишкам.

— Со мной, — сказал Рогов. Он снял трубку телефона, набрал номер и подождал; никто не ответил. Он положил трубку.

Втроем они прошли по коридору. Рогов открыл дверь, мальчишки осторожно вошли в раздевалку и стали озираться. Они стояли, как богомольцы в знаменитом храме, — едва дыша. Рогов любил приехать раньше всех и сосредоточенно, без спешки переодеться.

Рогов разделся, медленно зашнуровал панцирь, медленно приладил пластмассовые щитки. Идти на лед не хотелось. Он давно уже шел на лед, как ходят на давнюю привычную работу.

Дверь распахнулась от удара, ворвался Пашка Грунин, весельчак и балагур, самый быстрый нападающий в команде.

— Привет! — крикнул он живо и осекся. Потом, дурачась, поморгал. — У нас пополнение?

— Привел двух классных игроков, — ответил Рогов.

— Вот это удача! Повезло команде! Согласитесь за нас играть?

Они ошалело молчали.

— Не хотят, — сокрушился Грунин.

— Брось, — улыбнулся Рогов.

— А тебе, Алексей, благодарность. Вот это кадры! Вы где раньше играли? «Бостон брюинс», «Монреаль канадиенс»?

— Кончай, — сказал Рогов.

— Нет, Алексей, ты как знаешь, а я хочу расти. — Грунин выскочил в дверь и вернулся с двумя парами коньков. — Примерьте...

Они растерянно посмотрели на Рогова.

— Если хотите покататься, надевайте, — сказал он.

Они стали обуваться.

— Устроим совместную тренировку профессионалов, — Грунин показал на парней, — и любителей, — показал он на Рогова и на себя.

В зале было сумрачно и холодно.

— Свет! — заорал Грунин, прыгнул с порожка на лед и сразу, на одном толчке укатил к другому борту; его крик прозвучал гулко и одиноко в емкой пустоте темного холодного зала.

Электрик включил фонари. Лед засверкал, обозначилась цветная разметка, трибуны погрузились в полумрак.

Грунин заорал, засвистел и очертя голову принялся бешено носить, бросая себя в крутые виражи; на тренировках он заводил всю команду. Он еще испытывал голод по льду и по скорости, даже усталость не могла его уgomонить: на льду он все забывал.

Рогов и себя помнил таким, когда его волновал лед, а сила требовала выхода и рвалась наружу. Теперь он делал что нужно, не отлынивал и в игре отдавал что мог, но спокойно, без прежнего азарта.

Грунин без усталости носился из края в край катка. Рогов стоял у борта и смотрел. Молодость, твоя молодость скользила, неслась стремглав по льду сумасшедшей атакой на чьи-то ворота, жестким напором, в реве трибун, при ярком свете — вперед, вперед, и некогда перевести дыхание, лишь скорость и восторг забывают дух.

Он стоял и внешне спокойно, даже безразлично смотрел на безостановочное движение напарника.

Так незаметно проскользят годы, прокатятся безоглядно по льду, размеченному цветными полосами зон, и так же, как до тебя другие, откатаешь свое ты, исчезнешь незаметно, уступив кому-то место. Так было всегда, вечный закон, другого нет, но трибуны по-прежнему будут нетерпеливо требовать и лихорадочно молить, и кто-то горячий и неопытный будет рваться в ключья, забыв себя, как ты когда-то,

как сейчас Пашка, так будет после вас, — и что же дальше, что еще?!

Он ступил на лед и стал медленно раскатываться вдоль борта, влоча за собой клюшку как страшную тяжесть. Парни нерешительно вышли на лед и остановились.

— Веселей! — крикнул Пашка через все поле.

Они нелепо выглядели на льду в своих куртках с блестящими пуговицами, в длинных брюках, с которых сзади на коньки свисали нитки.

Грунин подвез и сунул им в руки клюшки, парни медленно покатились, а потом стали горячиться, стучать клюшками о лед и неумело гонять шайбу.

— Не робей! — крикнул Грунин и закружил вокруг них, засновал причудливыми резкими зигзагами, мелко-мелко сучил клюшкой, ведя шайбу, внезапно, без замаха ударял со страшной силой ею в борт и снова подхватывал.

Рогов спокойно, как в игру, выкатился вперед, угадал следующий шаг Пашки, поймал его на бедро и резко разогнулся. Грунин перелетел через него как через забор. Коньки взлетели, блеснули в воздухе и прочертили полный круг; Рогов медленно покати́л дальше.

— Ух ты! — восхищенно охнул высокий.

Маленький в восторге махнул кулаком:

— Во дал!

Пашка приподнялся и с уважением сказал:

— Как ты меня подловил...

Команда собиралась на льду.

Мальчишки стояли у борта и во все глаза пялились на игроков. Впервые они их видели так близко, наяву, могли слышать каждое слово и даже находились с ними на одном катке, вроде тренировались вместе.

Игроки постепенно ускоряли бег. Рогов подъехал к мальчишкам.

— Хотите посмотреть тренировку, снимите коньки и садитесь на трибуну, — сказал он и уехал работать.

Он забыл о них. На бегу он падал на колени, на живот, резко вскакивал, ездил в свинцовом поясе, водил по льду диск от штанги, отработывал рывки пристегнутый к борту тугим резиновым жгутом, а потом одного за другим принимал на себя стремглав бегущих нападающих и без передышки падал под шайбы, летящие от нескольких игроков, закрывая собой ворота, и сам стрелял по воротам; всей пятеркой они подолгу наигрывали комбинации и без жалости бросали друг друга на лед, потому что в игре их никто не жалел. Рогов взмок, пот скатывался со лба и заливал глаза, а по спине бежали струйки.

Это была его обычная ежедневная работа, в которой у него не было секретов и которую он всегда старался делать хорошо.

Сколько пота он пролил на этот лед за все годы, едкого пота настоящей мужской работы, но вот только в чем результат — в замирании ли трибун, в счете ли шайб, в неистовом мгновении победы, во множестве забытых игр или в тех немногих, которые помнятся?

После тренировки команда мылась под душем. Голоса, плеск воды, шлепки ладоней и смех сливались в гулкий неразборчивый шум.

Вот они, небожители, все голые, все на кривых ногах, потому что давно на коньках, мощные торсы и плечи под струями воды — сейчас всего лишь шумная компания здоровых молодых мужчин. Но вот наступает момент, когда они в яркой форме и в шлемах, под стать друг другу выходят один за другим на лед — выпрыгивают. И тогда они — команда! На льду они одно существо — команда, их принимают как

одно существо, и гордятся ими как одним существом, и любят как одно существо — неизменной вечной любовью.

Рогов стоял под горячей водой, едва можно было терпеть. Товарищи резвились в облаках пара.

— Рог наш воспитателем в детский сад устроился...

Все громко смеялись, но не зло, его любили. Он не наблюдал издали, когда в игре задирали товарища, а первым кидался на выручку, оттирая обидчиков, или устраивал им шлагбаум.

Кто знал его призвание? Знал ли он сам? Было оно в том, чтобы гонять шайбу, или в чем-то еще? Ладно, теперь уже поздно выяснять, нечего голову ломать.

— Ох и задумчив ты стал! — крикнул из пара голый Грунин и с размаху хлопнул его по спине. Даже звон пошел.

Рогов одевался, когда к нему подошел тренер и сел рядом.

— Как самочувствие?

— Нормально.

— А вообще жизнь?

— Нормально.

— У тебя что, сегодня приема нет?

— Почему? — засмеялся Рогов. — Есть.

— Не нравишься ты мне...

— Играю плохо?

— Почему плохо? Прилично. Игра у тебя идет. Настроение мне твое не нравится. Что-нибудь стряслось?

— Да нет, так, ничего...

— Как учеба?

— Какая учеба, хвостов набрал.

— Ничего, сдашь, надо же было в Канаду поехать.

— Вышибут меня, вот и будет Канада.

— Что ты преувеличиваешь?! — рассердился тренер. — Ты весело должен жить, легко... Вон как Пашка Грунин. Чего тебе не хватает? Из тебя защитник мирового класса может выйти, а ты... — Он умолк и глянул в глаза. — А?

«Ладно, — подумал Рогов, — надо кончать, поговорили». Он бодро кивнул.

— Да, — сказал он. — Конечно.

— Что? — опешил тренер.

— Все правильно, я и сам так считаю. Нормально. Не подведу.

— Да? — недоверчиво посмотрел тренер. — Смотри, держись, молодняк подпирает. Я на тебя надеюсь. — Он глянул еще раз внимательно и отошел.

Рогов не изменился в лице и не подал виду, но на мгновение кольнул страх. Он старался не думать об этом, ему только двадцать четыре, еще не вечер, поиграем, только и начинается настоящая игра. Но вот сказаны вслух слова — и впереди смутно обозначилась черта, за которой все неразлично.

Он подошел к столу вахтера и взял трубку.

— Леша, поедем? — спросил Надеин.

— Сейчас. — Рогов набрал номер, но ответа не было, и он положил трубку.

— Леша, поехали, — поторопил его Грунин.

Они вышли на улицу, сразу нахлынули болельщики, пришлось пробираться в плотной толпе.

Машина со всех сторон была облеплена мальчишками. Рогов тронулся с места и едва ехал, не переставая сигналить.

— Черт, под колеса лезут! — Он напряженно сжимал руль.

— А для него, может, счастье под твою машину попасть.

— А-а!..— в сердцах отмахнулся Рогов.— Балбесы! Развелось бездельников, прохода не дают.— Он посмотрел в зеркальце заднего вида: неподвижная плотная толпа мальчишек, запрудив дорогу, смотрела вслед машине.

— Удивляюсь я тебе,— сказал Надеин.— Что ты все звонишь? Ты вокруг посмотри — мало женщин? У тебя решающие игры, а ты... Сопляков каких-то привел...— продолжал Надеин.

— Да, а где они? — вспомнил Рогов.

— Не знаю, я видел, их сержант увез, натворили чего-нибудь.

Рогов неожиданно развернулся на перекрестке и помчался назад. Он резко затормозил у здания катка и побежал внутрь.

— Двое? В одинаковых курточках? — переспросил вахтер.— Они в милиции. Коньки увели.

— Как?!

— Украли. — Вахтер достал две пары коньков.

— Это Грунин им дал!

— Да? Значит, ошибка вышла. А их в отделение повезли.

Рогов бросился к машине.

— Леша, что стряслось? — невинно спросил Грунин.

Рогов глянул на него в бешенстве и рванул машину с места. Они подлетели к отделению. Парни сидели у барьера на жестком вокзальном диване. Вид у них был убитый.

Дежурный капитан сразу узнал Рогова, показал на парней и сказал:

— Отпираются.

Рогов набрал номер катка и протянул трубку капитану:

— Поговорите...

— Дежурный слушает,— сказал тот. Потом послушал и недовольно сказал: — Надо было на месте разобраться. — Он посмотрел поверх барьера на парней и спросил: — Что ж толком не объяснили? А то бормочете — мы не брали, а так все говорят. Можете идти.

Они недоверчиво встали и неуверенно пошли к выходу.

— Ну что? — спросил Рогов на улице.— Нашли приключение?

На улице гулял ветер. Было малоллюдно и оттого еще холоднее. Ветер гнал по асфальту сухие листья, наметая к стенам домов; листья бились в сточных решетках как живые.

Рогов открыл дверцу и сел на сиденье. Тихо работал мотор. Парни остались на тротуаре, ежились и провожали Рогова взглядами. Нет, с него хватит.

— До свидания,— сказал тот, что был повыше.

— Спасибо,— сказал маленький.

— Пока,— ответил Рогов.

Он включил печку и приемник. Заиграла музыка, прибавилось уюта, жизнь показалась веселее, да и вообще не было повода печалиться: все живы, все здоровы, вот и справедливость восторжествовала.

— Поехали, что ли? — спросил Грунин.

— Поехали,— ответил Рогов и сказал в окно: — Ладно, лезьте в машину. Подвезу.

— Да ты просто отец родной,— засмеялся Грунин.

Они ехали по улицам. На шесть была назначена вторая тренировка, после которой команда уезжала на загородную базу.

Вся их жизнь была расписана по часам день за днем, год за годом — менялись вратари, защитники, нападающие, но распорядок не менялся.

В редкие свободные минуты семейные торопились домой, а холостые находили занятие по душе, чаще бросались развлекаться, ныряя в городскую толчею. Еще недавно и Рогова это грело, но со временем интерес пропал — стареем, что ли? — веселье шло стороной.

Все тебя знают, все мечтают с тобой свести знакомство, девушки сохнут, мальчишки подражают, но вот выдалось свободное время — куда податься?

Город жил дневной суетной жизнью, улицы были полны людей и машин. Рогов притормозил у тротуара, они вышли втроем, мальчишки остались в машине, во все глаза они смотрели на игроков.

— А ты куда? — спросил Надеин.

— Позвонить надо,— сказал Рогов.

— Все звонишь, — засмеялся Грунин. — Леша, не грусти! Жизнь прекрасна! — Он погрозил через стекло юнцам. — Детки, не шалите.

Они пошли по тротуару элегантно-спортивные, броские, мужчины-загляденье, широкоплечие, веселые лица, ясно — удачливые ребята. Отхватили в жизни счастья, пробились... Надолго? Не стоит об этом думать... Пока все чисто, на горизонте ни тучки. Ну а потом, когда-нибудь? О, до этого целая жизнь!

Рогов вошел в будку, набрал номер, но никто не ответил.

Они снова ехали по улицам, полным дневной суеты.

— А вы раньше где играли? — спросил маленький.

Ему казалось, он в команде всю жизнь. Вроде бы в ней родился, рос и живет. Все у него в команде, и потеряй он ее сейчас, он не знал бы, как жить. Но ведь придется... Да, когда-нибудь. Но это потом, позже, еще долго... Постепенно отмирает в тебе что-то, отсыхает, и отпадает сам.

— Я на шахте начинал. Работал, ну и... шайбу гонял... в свободное время. На Дальнем Востоке было.

— В городе?

— Вроде... Поселок.

Город, городок — какой это город, избы среди гор. Правда, почти пять лет прошло, может, уже и город. Узкая долина, быстрая речка петляет среди хребтов, тайга начинается у дома.

Стоит зайти в кассу Аэрофлота, день в кресле, потом пересаживаешься на местный рейс, еще три часа в воздухе — сопки становятся все выше, приходится набирать высоту. Хрупкий самолетик в небе, болтается среди гор вверх-вниз, как детская игрушка на резинке, а ты — внутри. Но ничего, обходится...

По утрам люди идут горбатыми улочками к сопкам, переодеваются в брезентовые робы, натягивают сапоги и каски с лампочками, расходятся по штрекам и забоям. И пошла работа что твой хоккей: стране нужна руда.

— А играть страшно? — спросил высокий.

Маленький повернул к нему голову и сказал:

— Трус не играет в хоккей.

— А если бы наши и канадцы в открытую дрались, кто б кого? — спросил высокий.

— Не знаю, надо попробовать.

Он действительно не знал и не лукавил, но он всегда был готов идти до конца, противники это чувствовали и потому остерегались.

— А вы чем занимаетесь? — спросил Рогов. — В школе учиться?

— Работаем,— ответил маленький.

— Где?

— Мы монгажники,— добавил высокий.

— Нравится?

— Ничего,— вяло сказал маленький.— Только скучно.

— Почему?

— Каждый день одно и то же. На работу, с работы...

— Вот у вас жизнь! — сказал высокий.— Ездите всюду, играете...

Все вас знают, по телевизору показывают... Слава и вообще... А вас на улице узнают?

— Иногда узнают.

— А мы бы сразу узнали. Только не поверили бы. Нам и так никто не поверит, что мы с вами... ездили, говорили,— заметил высокий.

— Я и сам не верю,— вставил маленький, и все засмеялись.

— А что ж вы о себе не рассказываете? — спросил Рогов.

— Да это неинтересно, — ответил маленький. — Что мы, так... —

Он махнул рукой.

Ему тоже нечего было рассказывать, когда он работал на шахте. Руда, она руда и есть, какой в ней интерес. Долбишь ее изо дня в день, пляшет свет лампы на влажной черной стене, а ты забираешься все дальше в глубь земли, будто ты корень дерева и в тебе его жизнь.

— А хоккей вы любите? — спросил он у них.

— Любим! — ответили они вместе.

— Еще как! — добавил высокий.— Больше всего. Мы и сами дома играем. Скажите, а под шайбу страшно ложиться?

— Об этом не думаешь.

Они торопливо засыпали его вопросами, как будто опасались, что он вдруг исчезнет и они не успеют всего узнать. Глаза их горели, щеки пылали. Они ерзали на сиденье, а высокий то и дело возбужденно вскакивал и ударял головой в крышу.

— Слушай,— сказал ему Рогов,— так ты мне крышу пробьешь.

Представляешь, идет машина, а из крыши голова торчит.

Они представили и рассмеялись.

— А скажите... — начал высокий.

Хватит, голубчики, хватит, сыт по горло. Он не очень подходит для игры в вопросы-ответы. Для этого есть специалисты получше. А он умеет принять на себя шайбу, сам может щелкнуть без подготовки, может встретить любого нападающего, бросить на лед или прижать к борту, как прессом, умеет постоять за себя, за партнеров, если выдалась нервная игра,— что еще он умеет? А что еще нужно? Губят широкие возможности твою личную жизнь.

Он отыскал свободное место и остановился у тротуара. Все вместе они вылезли из машины и попрощались — в третий раз сегодня. Вокруг шла дневная московская суетолака.

— Вы, наверное, есть хотите? — спросил Рогов. Они застенчиво помялись.— Хотите?

— Мы завтракали, —сказал маленький.

— Когда это было! -- сказал Рогов.— Сейчас перекусим. Зайдем куда-нибудь.

Они вошли в ресторан. Мальчишки озирались и как привязанные настороженно двигались за Роговым, боясь отстать; сразу было видно, что они впервые в таком месте.

К столу приближался официант.

— Мои гости.— Рогов показал на сидящих напротив мальчишек.

— Очень приятно,— ответил официант почтительно, но с еле заметной иронией и положил перед ними меню. Потом вышколенно отступил.

Мальчишки заглянули в меню, ошарашенно переглянулись и оторопело взглянули на Рогова.

Официант быстро и умело расставил все на столе, поклонился («Приятного аппетита») и ушел. Мальчишки боялись пошевелиться.

— Вы что? — спросил Рогов.— Ешьте.— Они не двигались, и он повторил: — Ешьте, кому говорят!

Они смущенно улынулись и робко взяли вилки. Он сидел напротив и рассматривал их: лица загорелые, но загар медно-красный, как у матросов или рыбаков, видно, много находятся на ветру. Он и себя помнил таким, только вместо загара — въевшаяся в кожу рудная пыль.

— А вы на тренировках устаете? — спросил высокий.

— Как когда. Смотря какая игра. А вы на работе устаете?

— Сравнили! То работа, а то хоккеей! Мы что — подумаешь! Нас и не видит никто.

— Эх, пожить бы с командой, — вздохнул высокий.— Я бы клюшки за всех носил.

Рогов расплатился, они вышли на улицу.

— Счастливо,— сказал Рогов.

— До свидания,— грустно сказал маленький.

— До свидания,— как эхо повторил высокий.

Рогов вошел в телефонную будку, позвонил, но по-прежнему никто не отвечал. Может, с телефоном что?

Угораздило тебя влюбиться. И жениться готов. За тобой дело не станет, а она? Ты ведь спортсмен пока, а потом? Неизвестно. Ну то-то. А это ненадежно, непрочно.

Он почувствовал мимолетный страх — кольнул, пропал. Рогов медленно побрел по улице, дошел до знакомого дома. Подняться? Нельзя. Вот ведь как просто — третий этаж, взбежал, позвонил. И всё, все дела. Он постоял, повернулся в досаде и быстро пошел к машине. Мальчишки вприпрыжку бежали следом. Он шел, погруженный в свои мысли, не замечая, что они, толкаясь, вьются рядом и заглядывают ему в лицо. Наконец он их заметил:

— А, это вы... Ну хватит, хватит... Довольно. Гуляйте.

Они отстали, он дошел до машины, сел и поехал на вторую тренировку.

Когда он вошел, в раздевалке стоял гомон голосов и дружный хохот.

В молчании Рогов натянул тренировочный костюм и вышел в зал. Два помоста, шведская стенка, низкие гимнастические скамьи, станки со штангами... Здесь проходила атлетическая подготовка, но пока в зале было пусто. Рогов сел на скамейку, вытянул ноги, откинулся к стене и закрыл глаза.

Он не двигался, не имел ни сил, ни желания, и стрясясь что-нибудь, пожар или землетрясение, не тронулся бы с места. Не было точки опоры, какой-то твердой определенности, принадлежащей только ему, где было его начало и продолжение,— заповедного места, куда он мог вернуться, что бы с ним ни случилось и где бы он ни был, отовсюду. Весь он был сейчас здсь, целиком, весь, со всем, что имел. А человек должен иметь еще где-то часть себя — землю, людей, дела...

Послышался глухой топот ног, стукнула дверь, зал наполнился голосами и смехом. Сначала все разогревались, потом постепенно голоса и смех умолкли, и слышалось лишь натужное дыхание, грохот и звон штанг; по всему залу сгибались и разгибались игроки, цветные рубахи потемнели от пота. Рогов лежа отжимал от груди штангу. Надеин тронул его и показал глазами на окно: к стеклу были прижаты два лица. Стекло от дыхания быстро запотевало, и тогда появлялась ладонь и протирала его. Тренер тоже посмотрел туда и сказал:

— Ты меня удивляешь.

— Теперь ты от них не отделаешься,— заметил Надеин.

«Действительно, прилипли»,— подумал Рогов, выжимая штангу.

— Зачем они тебе? — спросил тренер. — Эти раззвонят, другие прибегут. Их столько набьется, не протолкнешься.

— Шантрапа, сразу видно, — сказал Надеин.

— Ты таким не был? — спросил Рогов, уложив штангу в козлы.

— Я? Нет. Я играть хотел, цель имел.

— Какой ты у нас целеустремленный! Ну и что ты теперь за ценность?

— Понимаешь, Алексей, — сказал тренер медленно, — разница между любым из вас и большинством людей в том... — он сделал паузу и посмотрел, все ли слушают, — что вы их работу, худо-бедно, сделаете. Подучитесь и сделаете. А они вашу вряд ли... Тут, как говорится, все от бога: если есть, то есть, а нет, ничем не поможешь.

«Пожалуй, так», — решил про себя Рогов и успокоился.

После второй тренировки все испытывали усталость. На улице их поджидал большой автобус, один за другим они поднимались на подножку и садились — каждый на свое место. Сейчас автобус тронется, шофер погасит в салоне свет и включит приемник, они будут долго ехать по городским улицам, лежа в креслах, как авиапассажиры, сонливо будут смотреть в окна, слушать музыку, слишком уставшие, чтобы разговаривать. Потом они выедут за город, автобус прибавит скорость, и они понесутся по вечернему шоссе мимо далеких и близких огней, пробивая корпусом темноту. Так они ездят день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а кто выдерживает — год за годом, и вдруг — стоп, сойди, твое место в автобусе занимает другой.

Вместе со всеми Рогов вышел из раздевалки и направился к выходу. На столе дежурного зазвонил телефон.

— Рогов, к телефону!

— Только недолго, — напомнил тренер.

Рогов подошел к столу и взял трубку.

— Слушаю... Ты! — Он задохнулся и подержал трубку на весу, чтобы прийти в себя, потом снова приложил к уху. — Я тебе звонил.

Она произнесла только одно слово, но и этого было достаточно, чтобы он почувствовал нестерпимое желание бежать к ней — без раздумий, сейчас, сию минуту. Она сказала «приезжай», и он уже чувствовал жгучее нетерпение, лихорадку, озноб, до него не сразу дошел смысл сказанного.

— Сейчас? — переспросил он и тут же понял, насколько это безнадежно.

— Рогов, веселее! — уже с недовольством крикнул тренер, стоя в дверях.

— Я попробую... — неуверенно сказал Рогов в трубку. — Ты одна? — спросил он, сразу понял неуместность вопроса и добавил твердо: — Сейчас я приеду. — Он положил трубку и приблизился к тренеру. — Мне нужно остаться. Я приеду утром.

— Что еще? — холодно спросил тренер. — Команда находится на сборе. Через день игра. Все едут на базу. И ты мне режим не путай.

— Могут же быть обстоятельства...

— Знаю я ваши обстоятельства! Каждому из них, — тренер мотнул головой в сторону автобуса, — только волю дай. Удержи их потом в узде. Чем ты лучше? Будешь тренером — поймешь.

— Я понимаю...

— Ничего ты не понимаешь! Ладно... Ночевать в городе не разрешаю, приедешь на базу к отбою. Все.

Автобус осветил переулок, тронулся с места и, мягко покачиваясь, понес тяжелый корпус вперед. Вскоре его красные стоп-сигналы исчезли за поворотом. Рогов направился к машине. Скорей, скорей, тебя

ждут. Каждая минута в счет свидания. Он открыл ключом дверцу и вдруг заметил мальчишек. Они стояли рядом и смотрели на него.

— Вы? — спросил он раздраженно. — Что еще?

— Ничего, — растерянно ответили они.

— Зачем вы за мной ходите? Что вам надо? Целый день шляетесь! Привыкли баклуши бить!

Они стояли, держа руки в карманах и горбясь от холода. Было видно, как они замерзли, зуб на зуб не попадал.

— А ну марш отсюда! И чтоб я вас больше не видел! — крикнул Рогов.

Они попятились, лица у них стали испуганными. Он сел в машину. Торопись, не теряй времени, не так много отпущено.

Возле машины уже никого не было. Он сидел в полумраке. Медленно, будто с великим трудом, он выжал сцепление, включил первую передачу и тронулся с места. Так на первой передаче он и ехал вдоль тротуара, проехал несколько домов, прежде чем их увидел. Они быстро шли впереди, держа руки в карманах брюк и втянув головы в плечи; некоторое время он медленно ехал сзади, потом остановился и сидел неподвижно, уткнувшись в рулевое колесо. Они скрылись из виду, он догнал их через квартал. Машина поравнялась с ними и дала сигнал; они испугались, шарахнулись в сторону и застыли, вцепившись друг в друга. Он открыл дверцу и сказал:

— Ну и пугливые... Садитесь.

Они поняли, но страх еще не прошел и лица оставались напряженными.

— Садитесь, садитесь, подвезу, — повторил Рогов. Они все еще смотрели недоверчиво. — Лезьте в машину!

Они медленно сели на заднее сиденье и настороженно застыли.

Они ехали по пустынному шоссе, было темно в поле по сторонам дороги, и только изредка появлялись и исчезали вдали огни; позади, где остался город, светилось все небо.

— Вы и работаете там или только живете? — спросил Рогов.

— Работаем, — ответил высокий.

— А когда заканчиваем, переезжаем на новое место, — добавил маленький.

— Значит, вы путешественники, — усмехнулся Рогов.

— Какие мы путешественники... — махнул рукой маленький. — А вы за границей часто бываете?

— Приходится...

— Вот бы поездить, — вздохнул высокий.

— Поездите, вся жизнь впереди, — успокоил его Рогов.

— Мы в отпуск в деревню свою ездим, — сказал высокий. — То крышу починить, то огород вскопать... Дело всегда находится.

Рогов подумал об этой давно забытой жизни. Она по-прежнему шла вокруг за какой-то чертой его существования — без аплодисментов и свиста, без постороннего одобрения или негодования, тихо текла и заполняла собой все время людей.

— Жаль, наши все уже спят. Никто не поверит, что вы нас привезли, — огорченно сказал маленький.

— И не докажешь, — подтвердил высокий.

— Докажете, — ответил Рогов. — Я вам сувениры подарю. — Он показал на маленькие конек и клюшку, висящие на ветровом стекле. — Из Канады.

— Да?! — не поверили они и в избытке чувств толкнули друг друга.

— Вы местность знаете? — спросил Рогов. — Где сворачивать?

— Там башня, мы покажем,— ответил маленький.

Разговор оборвался, мальчики зевали, сонно терли глаза, потом он услышал сзади сопение и в зеркале увидел, что они спят. Они спали в неудобных позах, привалившись друг к другу, рты их были приоткрыты, и лица выглядели совсем детскими.

Рогов доехал до позорота, притормозил, погасил фары и вылез, тихо прикрыв дверцу, чтобы не разбудить мальчишек. Он стоял, слушая тишину; вокруг была такая кромешная темнота, что, казалось, глубокая ночь окутала всю землю. Постепенно глаза привыкли, он различил далекие огни. Где-то лаяли собаки, доносились звуки гармони. Потом вдали запели девушки, пели протяжно, по-деревенски. Песня и гармонь удалялись в непроглядную черноту ночи. Рогов стоял и слушал, словно вспоминая то, что знал когда-то, но давно забыл.

Мальчишки спали на заднем сиденье, он постучал им и спросил:

— Здесь, что ли?

Они встрепенулись, заспанно выглянули и подтвердили:

— Здесь.

Рогов заметил вдруг неподвижные красные огни, необъяснимо висающие в темном небе. Он сел в машину и свернул на проселок. Свет фар скользнул по строительной площадке и осветил металлический вагон, увешанный плакатами по технике безопасности, штабеля труб и балок, железные бочки, лебедки; четыре массивные опоры поднимались из земли и уходили вверх.

— Здесь мы работаем,— сказал маленький.— Наверху.

Рогов притормозил и посмотрел вверх, но ничего, кроме красных огней, не увидел. Он опустил стекло и высунул голову: лицо обдало вечерним полевым холодом. Рогов погасил фары и сразу же как будто окунулся в ночь. Кругом лежало темное поле.

— Хотите посмотреть? — неожиданно предложил маленький и вылез.

Следом за ним вылезли высокий и Рогов.

В легкие попал холодный воздух. Рогов глубоко вдохнул, чувствуя его чистоту и свежесть. От дороги в сторону башни шел ухабистый проселок с глубокими колеями, выбитыми грузовиками.

Высокий подошел к сараю и дернул рубильник: сильные фонари осветили всю башню. Она стройно уходила вверх, вонзаясь в небо.

— Вы ее собирали? — спросил Рогов.

— Мы,— ответили они в один голос, а маленький добавил:— Это ретранслятор для телевидения. Выше будет, мы еще монтируем.

— Не страшно наверху?

— Нет,— улыбнулись они.

— Хотите, мы вам покажем? — спросил вдруг высокий и, не дожидаясь ответа, побежал к лестнице.

За ним побежал маленький.

— Не стоит,— сказал им вслед Рогов, но высокий уже лез вверх. За ним полез маленький.— Ребята, не надо! Бросьте!..

Они лезли быстро и проворно — казалось, лестница сама течет вниз, а они лишь перехватывают перекладины. Рогов отошел, чтобы лучше видеть. «Вверх, вниз, да не один раз на день, приличная нагрузка»,— подумал он.

Они дважды добирались до маленьких угловых площадок, но не остановились, а продолжали подниматься. Он представил ту высоту, расстояние до земли, открытое стылое темное пространство вокруг... «Черт меня дернул отпустить их!» — подумал он зло. Он вдруг почувствовал холод и пустоту в груди: по узкой балке, казавшейся отсюда лишь темной полоской, они перешли пролет, оказались с другой сторо-

ны и полезли дальше. Рогов выругался. На самом верху они сели отдыхать на перила.

У него перехватило дыхание, а ноги ослабли. Он отчетливо представил их наверху, как будто сам забрался туда, ощутил высоту и почувствовал головокружение.

Передохнув, мальчишки принялись бегать по балкам над пролетом. Рогов хотел закричать, остановить их, но боялся отвлечь их криком; он застыл, сжался и оцепенело смотрел вверх не двигаясь. Весь он был точно скован морозом.

Некоторые балки не были видны, и казалось, мальчишки сами по себе носятся в воздухе; вполне верилось, что они ненароком могут отбежать в сторону и вернуться.

Сверху доносились неразборчивые оживленные голоса и смех. «Веселятся»,— подумал Рогов. Страх отпустил его, и теперь он испытывал зависть: сверху им открывался ночной простор, разбросанные огни, а до звезд в разрывах облаков было подать рукой.

Передохнув, мальчишки вылезли на внешнюю сторону и, цепляясь за конструкции, стали по-обезьяньи перебрасывать себя с переплета на переплет, огибая башню снаружи. При этом они что-то весело кричали или распевали — он не разобрал.

Рогов бросился к башне, схватил на бегу металлический прут и принялся бешено колотить им по толстой опорной трубе.

— Прекратите! Прекратите! — кричал он, матерясь.— Сопляки! Балбесы! Слезайте, к чертовой матери!

Он еще продолжал стучать, а они уже торопливо лезли вниз; в тишине, как камертон, звенела башня протяжным угасающим звоном.

Рогов повернулся и зашагал к дороге. Он влез в машину и включил печку: его знобило. Мальчишки подошли и сконфуженно остановились.

— У вас мозги есть? — хмуро спросил Рогов. Они виновато молчали.— Цирк устроили. Что, жить надоело?

Они потупились, словно он был их начальником и распекал по работе.

— Я вас спрашиваю!

Они молчали. В тишине с шоссе донесся гул машины.

— Можно, мы пойдем? — тихо спросил маленький после долгого молчания.

— Садитесь,— мрачно приказал Рогов.

— Нам тут близко,— сказал высокий.

— Садитесь. А то еще куда-нибудь заберетесь. Я из-за вас спать не буду.

Они въехали в поселок и проехали по улице мимо темных окон. Свет фар скользил по заборам и отражался в черных стеклах.

— Здесь,— сказали они.

Машина остановилась возле большого рубленого дома. Теперь нужно было проститься, на этот раз окончательно. Все долго молчали.

— Ну что ж...— сказал Рогов.— Все. Прощаемся?

— Чаю хотите? — неожиданно с надеждой спросил маленький.

Рогов посмотрел на часы.

— Хочу,— сказал он.

Втроем они вошли в темный дом, за дверью слышался многоголовый храп.

Вспыхнул свет, осветил бревенчатую кухню с большой печью, от которой несло теплом; на веревке сушились портянки и носки, у печи шеренгой стояли сапоги.

— Садитесь,— пригласил маленький.

Рогов сел к дощатому столу, высокий достал термос и кружки и налил всем крепко заваренный чай. Маленький нарезал большими кусками хлеб, намазал сгущенным молоком. Было тихо.

— Я на шахте работал, тоже в общежитии жил,— сказал Рогов.

Они ели, посматривая на него, и не решались говорить.

— Сколько те балки? — спросил он.

— Какие? — не понял маленький.

— По которым вы бегали...

— Широкие. Двести миллиметров.— Высокий пальцами отмерил на столе расстояние.

— Двадцать сантиметров.— Рогов неодобрительно покачал головой: куда как широко.— А высота?

— Да там по прямой шагов восемь или девять всего,— успокоил его маленький.

«Всего», — подумал Рогов и представил себя там, наверху; нет, лучше без судей и правил играть с канадцами.

— А работать вы должны в поясах?

— Должны,— вяло ответил маленький, а высокий промолчал.

Рогов допил чай и посмотрел на часы. Пора, он встал.

— Может, переночуете? — тихо и без всякой надежды спросил маленький.

В тишине из-за стены глухо доносился храп. Мальчишки напряженно смотрели ему в лицо, ожидая ответа.

— Я уступлю вам кровать, — быстро сказал высокий.

— Мне рано вставать,— ответил Рогов в сомнении.

— У нас будильник,— торопливо сказал маленький.

Они повели его в соседнюю комнату, где было жарко и душно и стоял густой храп. Вспыхнул яркий свет. Рогов увидел просторное помещение, в котором было десять кроватей; на всех, кроме двух, спали люди.

— Зря зажгли, разбудите,— сказал Рогов, щурясь от света, но никто не проснулся.

Стены комнаты были оклеены журнальными картинками, фотографиями киноактрис, снимками хоккейных матчей. Он увидел и себя — на льду с кубком, поднятым над головой. Пахло прелой одеждой, мазутом, потом и было шумно от храпа. «Давно я не был в рабочих общежитиях», — подумал Рогов, ложась на кровать. И уже погружаясь в сон, он услышал шепот на соседней кровати:

— Никто и не поверит, что у нас Рогов ночевал. И не докажешь...

Он вспомнил о маленькой клюшке и маленьком ботинке с коньком, висящих на ветровом стекле. «Надо будет им отдать», — подумал он и уснул.

Его разбудили в шесть утра. Кроме мальчишек, в комнате все еще спали. Он вышел на улицу, плечи и спину охватил озноб. Было темно, холодно, туманно, в тумане чернели ближние дома. Рогов крепко потер щеки, чтобы прогнать сон, потом завел мотор, оставил его греться и вылез.

На парнях были теперь теплые ватные куртки, брезентовые брюки, заправленные в сапоги, монтажные пояса, к которым были приторочены каски,— рабочая одежда делала их, как форма хоккеистов, крупнее, чем они были на самом деле.

— До свидания,— сказал маленький.— Спасибо.

— И вам спасибо.— Рогов пожал им руки.— Пока...

— Вы и на Олимпийские игры поедете? — спросил высокий.

— Поеду, если возьмут.

— Вас возьмут,— убежденно сказал маленький.

— Возьмут,— подтвердил высокий.

— Ну, раз вы так уверены...— улыбнулся Рогов.

— Хоть раз бы съездить,— мечтательно и печально улыбнулся высокий.

— Ничего, ребята... У каждого свои олимпийские, поедете когда-нибудь,— сказал Рогов.

Он сел в машину и тронулся с места. Потом остановился и открыл дверцу.

— Обещайте, что без поясов вы там шагу не ступите. Обещаете?

Оба кивнули.

— Смотрите, вы слово дали.— Он захлопнул дверцу.

Рогов проехал по улице, в некоторых окнах уже горел свет. Он выехал из поселка и в размытой темноте увидел над полем красные огни; отсюда не понять было, на какой они высоте. Он подумал, что за-был отдать мальчишкам подарки, и огорчился.

Над лощинами стоял туман, но небо было чистым, и Рогов видел красные огни все время, пока ехал через поле. Он испытывал какую-то неловкость, смущение, но не отчетливо, а так, смутно, невнятно.

Он выехал на шоссе, прибавил скорость, машина понеслась, прорезая фарами сумеречный воздух; в кабине играла музыка, было тепло и уютно. Теперь ему предстояло так ехать до самой Москвы. Вскоре должно было светать.



АЛЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ



В СЕБЯ ВБИРАЯ НЕБО

* * *

О как давно в лесу я не был.
Какая радость! Без границ...
Иду, в себя вбирая небо
И пенье запоздалых птиц.

Хотя во власти перелета
Они кружатся не спеша...
Откуда эта беззаботность?
Да осень больно хороша.

Она просторно золотится,
Она туманится вдали,
И кажется: согреты птицы
Веселым пламенем земли.

* * *

На ветке снег. Какое кружево!
Не ремесло забытых лет —
С высоким таинством содружество,
В работе снег, в работе свет.

Какое доброе свечение
Полувоздушной белизны —
Горящих красок обобщение
И откровенье новизны.

На волшебство, пока не сдунуло,
Гляжу — оттаяло окно...
Должно быть, небом все продумано,
Земле же выполнить дано.



Словно тайная сила возникла...
В эту ночь у забытых могил
Я очнулся от птичьего вскрика,
От неожиданного шелеста крыл.

Я очнулся, но тьма не редела.
Предвещая тревожный восход,
Надо мной как душа пролетела
Та, что места себе не найдет.



Я всмотрелся в окно. До рассвета
Не усну, не прилягу. Во мне
Чей-то голос спокойный: «Не сетуй!
На оборванной болью струне
Не играй, тишину нарушая,
Ты на горе свое обопришь —
И в дорогу, чтоб жизнь небольшая
Продолжала огромную жизнь».



ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ



ТУДОР АРГЕЗИ

(1880—1967)

Вечерняя молитва

Вечность, вечность, явись!
Все купола свои разом
Сдвинь! — дабы в свисте слились
Бесконечном! О вечность! Вонзись,
Как стрела, в изнуренный мой разум,
В грудь, где страшные сны зажились.
Символ — вечность! Сожмись
До пушинки в своем сокращенье!
Прояснись во мне и распространись!
Дай из вечного вырваться круговращенья;
Метеором дай ринуться вниз!
Демон — вечность! Ко мне
Нисходи, как спускаются сумерки, кутая в тишине
Дальний скит,
Из которого — от серебристого купола —
Звуки рвутся в зенит.
С собою меня смешай!
Со славой моей перетри меня
В себе! Заплутаться в космосе дай
Пылинке славного имени!
О, дай мне могущество мага! И я разобью,
Рассыплю в мельчайшие дребезги землю твою.
Дабы вспыхнул глагол
Мой, как сполох огня всеметущего,
Вездесущего, змеей ползущего;
Дабы голос мой шел
По земле в виде плуга, несущего
Счастье, где бы он след ни провел...
Дай мне мощь погрузить на дно
Мир неясный, дряхлый, пустой;
Да восстанет из бездны той
Мир прекрасный, мир молодой!
Да поглотит тогда меня,
Просветленного, твой поток!
В этот вечный миф не вписал ли я
Новых несколько строк?!
Хоть раздавлена в нем, как нежный росток,
Мечта моя.

Пошли!

Будь любовь к неизвестному в этих глазах,
 Запредельная будь глубина —
 Ты пришла бы ко мне на свой риск и страх,
 Страх летящего в море челна.
 Разве жалкую жизнь не отдашь задарма,
 Если речь о большой глубине?
 Тайны тайн, запредельного тьмущая тьма,
 Поворачиваются во мне.
 Твой челнок раскачает кувшинковый сад,
 Звезды выступят всей глубиной...
 Рассказать тебе сказку на варварский лад
 О далекой стране одной?
 Пусть просыплются речи в ладони твои
 Сыпкой пахотой дальней весны,
 И в слезах пробужденных пробьются ручьи,
 Встанут реки той южной страны.
 Слушай! — в сердце моем эти реки текут.
 Слышишь ли ты?
 Кукурузы — ты слышишь? — початки растут,
 Разговаривают листья.
 Видишь? — улы в саду...
 В бурю волки бредут...
 Видишь? — промчался олень...
 Табуны и стада,
 Птичьи стаи, ячмень...
 Все мое, вся душа моя — тут.
 Ну а что не мое —
 От вершин снеговых
 До низин, где разлился поток, —
 Взял господь, сотворил себе ложе из них —
 И на отдых лег.

1927.

*Перевела Н. МАТВЕЕВА.***Песня на свирели**

Мое сердце — путь с дождями,
 Долгий, нудный шлях с гуртами,
 Скудный путь в тени деревьев,
 Плеть кривой лозы в селеньях,
 Двор, на пахоте зола, и —
 Ночи в собачьем лае,
 Стадо в зелени долины,
 На ветру вороньи стаи,
 Вол, поднявшийся из глины,
 Тяжелоголовый, сонный,
 Взор, в безмерность устремленный.
 Здесь и там оно трепещет:
 И в больном ребенка жаре,
 И в его суставах слабых,
 И в мушином злобном жале —
 Мое сердце. Рвется, плещет,
 Но не знает чистой вещи
 И пруда для водополя.
 На лугах сожженных стоя,

Головешки и молитвы
 День-деньской жует мой скож...
 Я ищу источник чистый,
 А хлебаю щи из грязи —
 Мутный ил больных болот.
 Мое сердце в папле серой,
 Во стреле ее небесной,
 И в терновника железных
 Остриях — в их острых пилах
 На заброшенных могилах.
 В полевых мышах бездомных,
 И в осе, и в пауке...
 Песнь дурна, слова не те,
 Словно вздох, уходит слово,
 Тих и слаб десницы взлет...
 Разверну ли крылья снова?

Бьет меня время: бьет меня день, мгновение бьет.

1927.

Перевел ИВАН КИУРУ.

ВИРДЖИЛ ТЕОДОРЕСКУ

Луч рассвета

Когда и вправду мир устроен мудро
 и вечен, сколько б хаос ни грозил,
 и после ночи наступает утро,
 и человек здоров и полон сил,

и если могут поделиться тайной
 земля и высь — их не разъединить! —
 и злого мрака взмах крыла случайный
 не разорвет связующую нить,

и если в недрах, в страшной мгле колодца,
 узнаешь отраженье: ч е л о в е к! —
 и если вечный, вешний лес напьется
 кристальной влагою подземных рек,

и если будущее всем сияет
 как близкого рассвета верный луч,
 и если бездна позади зияет,
 а впереди ни бурь, ни слез, ни туч, —

тогда никто не стерпит святотатства,
 и вера в труд и в жизнь поддержит нас,
 и сила человеческого братства
 не даст, чтоб светоч истины погас.

1979.

Перевел ВАДИМ СИКОРСКИЙ.



Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

ОТПУСК С БУДВИТИСОМ

I

Будвитис позвонил из Дотнувы: он уже в отпуске, если наш договор в силе — мне пора приезжать. На третий день я был в Вильнюсе. Сел в местный поезд и покатил в самую сердцевину Литвы — в Кедайняй.

Будвитис — ученый, директор того самого института, что в центре известного постановления ЦК КПСС «О работе Литовского научно-исследовательского института земледелия по повышению эффективности исследований и внедрению научно-технических достижений в сельскохозяйственное производство». Он лауреат Государственной премии СССР — тоже за повышение, за внедрение...

Это популярный в республике человек...

Говорю о личной известности, от какой отнюдь не страдают аграрники. В десятке, не больше, километров от Мироновки женщина-колхозница (она пекла домашний хлеб, мы зашли на запах) не узнала Василия Николаевича Ремесло, а Ремесло в селекции пшениц не всеюзная — мировая величина.

Но Ремесло создал новые пшеницы, Бараев — почвозащитную систему земледелия, кто-то вывел породу скота. Что сделал Будвитис? На чем основана — пусть только литовская — его популярность?

Что сделал — и теперь кратко сказать не могу. Не изобретал, не выводил... Сейчас вот, над листом, я обнаружил, что и темы его кандидатской диссертации не знаю.

Его сфера — внедрение. Поди объясни это даже сочувствующему человеку... Внедряет — чужое? Кто-то открыл, а он внедряет? Своего, значит, ничего не вносит? А надо ли так стараться, если оно толковое да здоровое? Ты покажи — сами переймут! Не глупые ведь и не враги себе.

Не переймут...

Внедрение есть осознание взаимосвязей. Изобретатель может быть романтиком, внедряющий — непременно реалист.

«Различные изменения в технике земледелия неразрывно связаны друг с другом и ведут неизбежно и к преобразованию экономики», — отмечает Владимир Ильич Ленин. Отмечает по поводу хозяйства А. Н. Энгельгардта, профессора, сосланного за демократическую пропаганду в смоленскую деревню Батицево.

Что изобрел Энгельгардт: лен? запашку пустошей? стальной плуг? Нет, все давно было. Просто ссыльный химик стал внедрять это и на развалинах крепостнического хозяйства складывать интенсивную коммерческую структуру. И если об открытии Энгельгардта, то оно разве только в понимании той детали, что ведет от нового орудия к самому работнику, его самоощущению.

«Вводятся плуги вместо старых бор, — комментирует В. И. Ленин перемены Энгельгардта, — и работа переходит от забывающегося крестьянина к формирующемуся рабочему».

Энгельгардт, торжествуя, сообщает об успехе нововведения, о добросовестном отношении рабочих, доказывая вполне справедливо, что обычные обвинения рабочего в лениности и недобросовестности есть результат «крепостного клейма» и кабальной работы «на барина», что новая организация хозяйства требует и от хозяина предприимчивости, знания людей и умения обращаться с ними, знания работы и ее меры, знакомства с технической и коммерческой стороной земледелия...»

Наука сама по себе еще не движущая сила, как локомотив без вагонов, рельсов, мостов еще не транспорт. Прямой производительной силой делает науку внедрение.

Самого термина этого — «внедрение» — ни у Энгельгардта, ни у Тулайкова даже нет (последний пишет — «распространение»). В русском языке это сравнительно новое образование — и очень неудачное. По-литовски понятие это передается словом «идегимас», которое в корне имеет росток, прорастание. А нашего смысла недр (значит — и высот, верхов, откуда исходит счастливая идея), намек на сопротивление (без усилия и лопату-то не в недр ишь!) родной Будвитису «идегимас» не содержит. «Не сверху вниз, а — от малого к большому», — говорит Будвитис. И замечает, что английское, например, обозначение процесса — «экстеншн» — в первом смысле есть расширение, продление. «Экстеншн сервис», службу внедрения, имеют все университеты США, она распространяет новые знания, сведения и умение среди фермеров, а также — особой программой — среди фермерш и среди сельской ребятни (и работа университетов оценивается как раз эффективностью этого сервиса, вовсе не числом выданных дипломов), но одновременно в ходу «экстеншн тэйбл», то есть, раздвижной стол, и если борта нарастить на кузове, тоже будет «экстеншн»... Продление, а не вгон с высот в глубинку!

Впрочем, «что в имени тебе моем?..». Важна суть.

Да, так всё... Наука — занятие правых. Не вышло — виноваты условия или сами внедряющие. Никогда не читал, не слыхал: «Своими поспешными рекомендациями наш институт дезориентировал хозяйства, нанес колхозникам такой-то ущерб и причинил такой-то вред». Не удается вытянуть колхоз, устали списывать долги — его или в совхоз вливают, или... передают опытному хозяйству НИИ. Но не бывало, чтобы признавался несостоятельным должником сам НИИ, раскассировалась за бесплодием опытная станция, закрывался по творческой импотенции филиал.

И не видал института, который бы исследовал и пытался бы моделировать саму сельскую жизнь. Не сорт. Не содержание чего-то в чем-то. Жизнь в четких данностях места и времени.

Тут самый раз про первую встречу с Будвитисом.

II

Нам посоветовали сделать телепередачу про институт, о котором говорит известное постановление. Совет есть совет, его не обсуждают, а раз уж и постановление и премия, так пробывать не придется, к тому же не предвидится творческих мук: фигура ясна, нужен говорящий портрет. А поездка все же в Прибалтику.

Созвонились. Встретить киногруппу не смогут. А аппаратура? Будет так: в пятницу в 16.00 к зданию минсельхоза в Вильнюсе автобус доставит экскурсантов, обратным рейсом может забрать нас. Только не надо опаздывать! Если мы опоздаем, автобус уйдет, но через час, в 17.00, снова подъедет к министерству. И на этот раз нас не будет — он вернется в Дотнуву пустым.

Суховато для встречи, верно? А еще сказано у Пушкина — «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли». Меня приехали снимать, да чтоб я транспортом не обеспечил?!

В 16.00 автобус был. Погрузились, поехали, провожатый даже микрофон взял: «Итак, мы с вами отправляемся в географический центр Литвы...»

В центре этом географическом я был, но в иной психологической обстановке — с министром мелиорации республики, вселитовски известным Ионасом Ионасовичем Величкой. Табак был несколько другим, а тут приехали — размещают в общежитии, вместе с кавказскими аспирантами. А у тех предпраздничное настроение. А на улице прибалтийский дождик. Куда идти, кому звонить? Завтра суббота, у них тут уик-энд уже начался, до понедельника все принадлежит семьям. Такие-то гусли.

Утро. Опять дождик. Парк ухоженный, в пору графский герб на ворота, но ворот никаких нет. Вообще оград нет — ни заборов, ни решеток, ни штaketника. Дома, стриженная трава, одинокие дубы, какие-то скотные огромные постройки, но без навоза. Ни хлама-завали, ни изгородей. Плодовый сад за каналом (видать — индивидуальные участки) тоже не огорожен и не разделен внутри, хотя смородина уже спеет...

Обошел главное институтское здание (рациональный барочный фасад) — есть лебеди на пруду, есть мускусные утки, но ни сторожа, ни единой научной души. Суббота. «Моя поэзия здесь больше не нужна...» Был бы «рафик» — рвануть бы всем гуртом на Вильнюс, свободно и раскованно!

Приведенный обстоятельствами к телевидению, я еще раз убедился, какая магия заключена во всякой запечатлевающей аппаратуре. Журналист с блокнотиком, будь он семи пядей во лбу, ни за что не сдюжит против увещанного блицами фотокамера, а уж про кинокамеру с магнитофоном нечего говорить. Осветители, звуковики, да и усталые от впечатлений операторы отлично знают эту людскую слабость и идут ей навстречу, не всегда бескорыстно отдавая свое суверенство.

Ну, бог и с талантами и с поклонниками — выйти-то познакомиться все-таки можно?

Посылаю узнать, сообщают: помнит, будет через пятнадцать минут.

Через пятнадцать минут он сел на садовую скамью перед общежитием. Очень высок, худ, подвижен.

— Все институты одинаковы — и имеют все же свое лицо. Аисты для нас совсем похожие, однако же отлично различают друг друга.

Этими аистами и представился. Литовцы говорят по-русски безо всякого акцента — видно, фонетически языки близки.

— ...Вообще ученый напоминает крота. В одиночку ищет свое. Крот — полезное животное, но сто кротов не подготовят луга к засеву травой. Потому что их работа не скоординирована! Отсюда задача координаторов... Но простите — я провожаю жену в Орел и должен идти. В тринадцать тридцать могу быть, вас устраивает?

Жену! Открытым текстом. Не «народ у меня собрался», не «сейчас у себя разгон дам», а — жена в Орел. Хорошо хоть не в Рио...

— Деловой, — заключил оператор Игорь с тем значением, какое вкладывает в это прилагательное современный московский жаргон.

Что за «телевизоры» в моем блокноте? Ага, еще одна байка Будвитиса, записать, пока помнится: «Если б радиомастерские работали так, как научные институты, то там только разбирали бы приемники и телевизоры, изучая, как они устроены, и никто бы не умел чинить и собирать. Анализ науке нужен, но жизни нужен синтез!» Примерно так, хоть у него было лучше.

Все ничего, но зачем мне знать про жену, Орел, проводы?

В 13.28 он был уже у нас — взял у агронома «уазик» с ведущим передком. Запинаясь на переключениях (чужая машина), повез по экспериментальному хозяйству.

Разговоры на подступах... Почему у них гладиолусы и розы не обносят, ведь без оград?

— Мы хотели повесить объявления: «Внимание, на ели спрятан снайпер! Извините, но промахов он не знает». И один раз в год — точный выстрел. Но нам отсоветовали... Весь коллектив один день в месяц работает в цветочестве.

Та-ак... Почему у домов ни легковых машин, ни гаражей — неужто не обзаводятся?

— Если «Москвич» тракториста гниет под дождями на улице, не ожидайте от него бережливости к технике. Человек зарабатывал, копил деньги, дал государству заработать — можно ли не сохранять? В экспериментальном хозяйстве еще двадцать шесть скотных помещений — глинобитные. Даже племенное поголовье не все переселено в кирпичные коровники. Но старинные животноводческие постройки мы все-таки отдали под гаражи. Каждый житель Дотнувы-Академии имеет право на гараж, платит два пятьдесят в месяц — и машина в порядке. Министерство и Стройбанк нам говорили: «Значит, «Жигули» важнее совхозных телок?» Нет, телка — или человек, его настроение. Не сохраним людей — скот одичает и возвратится в первобытное состояние. Два года шел турнир, теперь забылось.

Поля, фермы, довольно частые хутора, каналы, пруды, фермы. Наконец — поселок.

— Экспериментальный поселок Лиепос. Липки. Наша ошибка и наша вина. Наша вина перед крестьянином. Поселок не достроен, а уже умирает. Остаются одни старики. Шесть километров до школы — вот все решивший минус! Мы не учли его, хотя были предупреждения. Крестьянин строит дом один раз в жизни и хочет, чтобы в нем прожили жизнь и сыновья. Мы переселяли людей с хуторов и приняли нежизненные проекты. Да, тишина, безлюдье — но это дорого вильнюсскому архитектору, а не крестьянину. Механизатор и так целый день один в кабине трактора, отучается говорить! Если бы сельскому человеку поручили проектировать Вильнюс, он бы в самый центр поставил рынок, рядом — столовую, универмаг, может быть, цирк. Потом автостанцию — надо же домой уехать. А все прочее — жилые массивы, административные здания, заводы — он отнес куда-нибудь подальше, если вообще вспомнил бы о них. Примерно так же поступили и вильнюсские зодчие. Теперь дом в Лиепосе стоит пять-шесть, а такой же дом в самой Дотнуве — двадцать тысяч! Вот что значат в реальной оценке шесть километров... Собираемся сдавать эти дома литовскому Литфонду — писателю действительно нужен покой.

Еще пять-шесть объектов, притчи — и вселяется тревога: выговорится! Пока идет конденсат, но потом — ведь победа над новым слушателем одержана, зачем тратьте порох? — пойдет жиже, жиже, и к поре съежек в скважине может остаться одна вода. Бывалые киношники ставят в таких случаях заглушки, готовят коробки, замеряют свет и ловят камерой ту пору, когда человек еще заинтересованно, боясь неудачи, играет самого себя (документальное кино и есть умение снимать людей, играющих самих себя). Добавлять-отбавлять, доделывать можно и потом, но уловить пленкой первач, квинтэссенцию надо немедленно — «на то и ярмарка».

А что, товарищ Будвитис, даром-то ездить? Может, с утра нам и записаться?

— Но завтра же воскресенье! Я обещал быть у родственников под Каунасом.

Бесят именно родственники... Ну «выездная сессия», ну «специалистов собираем», просто «проверка опытных данных» — разве не удобней было бы и ему и мне? Телевизионный тертый народ все ведь мотает на ус — и что это за автор, если его можно так откровенно променять на родственников!

— Но в машине четыре свободных места. Можете посмотреть Чюрлёниса, не правда ли?

Воскресенье уходит на Чюрлёниса... И на музей чертей. Ни метра не снято. А дождь завтра? А вызовут его в Вильнюс, а начальство приедет, а солнце не взойдет?.. До чертей тут.

Записывать начали в 8.30 в понедельник. Потому что на половину десятого у него назначена встреча с белорусами. А после? Нет, после уедет на опытную станцию.

Расположились под стогом сена. Ведущий передачи превратился в ведомо-

го... Нет, вообще растворился. Будвитис проговорил тридцать минут. Баста, фильм был готов. «Дубли?» — спрашивает звуковик. Какие, зачем? Наверняка будет хуже. Это было вероятно — хоть сматывай удочки и уезжай.

О чем было сказано?

Если тракторист ходит весь грязный, с головы до ног в мазуте, он не сохранит на селе детей — разъедутся. Если доярка на приусадебном участке ковыряет землю лопатой и бьет колорадского жука двумя кирпичами — не ждите от нее рациональных советов по ферме (еще серия подобных «если — то»).

Поэтому при разработке технологий и моделей (Будвитис упорно произносил «моделей») наука может исходить только из того, что все должно делаться для жизни, для лучшей жизни и должно подходить жизни, быть выверено, испытано. Земля приусадебного сектора включена в севооборот экспериментального хозяйства, обработка — государственной техникой, защита растений — химическими средствами. Пользующийся участком оплачивает расходы и получает в конце лета уже обмолоченный, просушенный ячмень, хотя картофель еще сам подбирает за копалкой... Есть ванны в квартирах, есть финская баня — общедоступная! — и есть новое озеро зеркалом в тридцать пять гектаров. Нам говорили: «А сколько сена вы потеряли на затопленном лугу?» Ну, если нужно только сено, то в Литве немало озер, находящихся выше уровня моря, можно каналами опустить их и засеять. Будет сено, хотя не станет Литвы. Жители считают новое наше озеро — с островом, яхтами, байдарками — самой красивой постройкой. Когда весной начало прорывать плотину, все прибежали со своими мешками — набивать землей и загоразживать. А когда горел старый свинарник, люди только смотрели на пожарных.

Полезной моделью может быть даже не блок целого механизма, а деталь, но пригодная, наглядно работающая («Я в Каунасе на базаре охотнее куплю порабатанную автомобильную запчасть, чем ту, на которой еще солидол и бумага. Кто знает, что хранилось на складе!»). Институт предложил добавлять в травосмеси конские бобы. Зачем? Вико-овсяные смеси ложатся, их трудно убирать, а прочные бобовые стебли — зеленая арматура, хорошо держат массу.

Сложней с новыми блоками. Наука любит качественные (как?) и не любит количественные (сколько?) вопросы. Модель должна количественно и качественно объединять технологии! Поставили задачу: один гектар травы, только травы, должен прокармливать весь год одну корову. Обеспечивать при этом 25 центнеров молока и 1,5 центнера мяса. В республике на корову отводят до 4 гектаров. Создана опытная ферма, ей отдано культурное пастбище в 150 гектаров, здесь содержат 100 продуктивных коров и 100 телок (условно еще 50 взрослых животных). Никаких кормов сюда не завозят: зеленый корм, сено, сенаж, силос, травяная мука — все со своей площади. Нужно зерно — выменяй на травяную муку, взаимки не дадут. Этот блок вышел к расчетному потоку, то есть 2500 центнеров молока и 150 центнеров мясного привеса на 100 гектаров земли. Проблем масса — от биологических до простой подстилки (соломы ведь пастбище не дает). Но колхозы годами видят этот блок в действии — в такую часть механизма можно верить!

Право на внедрение не выдается — завоевывается. И всякий раз в жестком конкурсе. Трактористы Дотнувы участвуют в соревнованиях пахарей, они привезли 12 медалей всесоюзных конкурсов и 4 приза стран СЭВ. Но тут всякий раз отстаивает свое право учить один конкретный человек. А институт? Он обязан выставлять себя на объективный контроль. Мы применяем много химических (надо бы «химикатов»). Как со средой, экологией? Держим самую крупную в республике пасéку (трижды я поправлял — все оставалась п а с é к а), сборы меда высокие, а пчелу нельзя уговорить не умирать, можно только быть аккуратным агрохимиком.

В Дотнуве действует курсовая база — председатели колхозов и агрономы проходят переподготовку уже третий раз. Если бы курсы проходили в учебном

институте, зрелые люди — есть такая опасность — слушали бы те же самые лекции, что помнят со студенческой скамьи. А в Дотнуве — самое новое! Сделано все возможное, чтобы агрономы, биологи, почвоведы, культуртехники работали вместе, над одной темой, по единой методике, составляли общий учет, и все 11 станций и филиалов института были единым научным организмом (тут были упомянуты те луговые кроты)...

Та-ак. Бобы, яхты на озере, гаражи в давних конюшнях и прочую натуру снимет сама киногруппа. А я вот что... Я пойду вместе с Будвитисом на его встречу с белорусами! Да, не слишком честный прием: и тут и там вступительная лекция, материал один. Будет проиграна та же пластинка — и я возьму реванш! Зачем мне он? А не надо было по родственникам...

— Вот этот кубок у нас, — комматным тоном начал Будвитис, опершись локтями на короткую ему кафедру, — он не только спортивный трофей. Он имеет организующую функцию. Мы даем его стенографистке, и как только докладчик исчерпал регламент, секретарша кладет кубок набок... Понимаете, если председатель будет звонить, а докладчик просить еще две минуты, зал начнет следить за их борьбой, появятся болельщики, но порядка не будет. У нас просто повалят кубок — и конец. Перед кубком все равны, не правда ли?

Экскурсанты из Минска заерзали, заулыбались.

Затем пошла речь. Торопливая, перенасыщенная, от таких человек устают уже на двадцатой минуте — отключаются, начинают подремывать: заливают приемышние шланги, льется поверх... Но Будвитис уложился ровно в двадцать (минута ушла на кубок).

Задача земледелия Литвы — все сезонные работы проводить в срок, а не с опозданием на две, на три недели, как это сейчас. От затяжек теряется огромная часть реального и потенциального урожая как в валу, так и в качестве. Затем — как производством зерна догнать растущие потребности? Выявлено три пути. Поднять слабые посевы хотя бы до среднего уровня. Расширять площади за счет трав. Пока травы в Литве дают с гектара вполтину меньше кормовых единиц, чем зерно. (И это — литовский ученый? Да в институте, где в кукурузное наводнение выдержали такой бой, такой Грюнвальд, не дав распахать травы? Не работал он тогда? Нет, работал! Поди разберись тут.) Наконец, надо меньше зерна скармливать коровам. Кто может есть траву — зачем тому зерно? У коровы драгоценная способность питаться травой — почему же переводим фермы на зерно? (Эх, и без того колхозу сосчитывают каждый центнер зерна в фураже, а тут наука со своей услугой...)

Земля, выяснилось, не стоит на трех китах. Но на них стоит земледелие! Мелиорация, механизация, химизация. Смысл этой последовательности не мы с вами открыли. Простой крестьянин знал: собери камни, убери пни, осуши участок (умный добавлял известкование) — тогда уже паши. Разбогател — вноси удобрения. Не раньше! Химизация — третий кит, а не второй и не первый. Почему же хотим дорогим азотом и фосфором перекрывать прорывы, недоделки в первых двух процессах? Тонна туков должна давать две тонны прибавочного зерна. В Белоруссии она дает только 600 килограммов. Потому что китов меняют местами!

Последовал период о сбережении природы. В Литве, оказывается, меньше леса, чем в индустриальной ГДР. Какой лес оставлять при мелиорации, что с отдельными дубами, которые еще с языческих времен украшали литовский ландшафт?.. Вообще — какой мы хотим видеть свою землю хотя бы через полвека? Тут было сказано о пчелах, о пасеке, но очком в свою пользу я той пасеки засчитать не мог.

И сберечь на селе человека разумного — настоящего гомо сапиенс! Чтобы не было так: на селе остаются дураки, а умные уходят в город. Был приведен пример с Лиепосом, но с жесткой квалификацией: «Наша ошибка, за которую крестьянин наказал переездом в Кедайняй и Шяуляй». Тоже неважное очко... Говорил о могучем притяжении города — интереснее жизнь, больше впечатле-

ний, товаров, удобств. Больше врачей, учителей, актеров, и все это действует, активничает, утверждает себя. Никак не помогая стиранию граней, напротив!

Покосившись на кубок, он закончил:

— Не принимайте без спора ничего. Истина, родившаяся вне спора, не живуча!

И сошел под неуверенные хлопки.

Все эти аисты, кубки, телевизоры, автобазары, кроты — все это слишком ладно придумано, чтоб быть импровизацией. Он пишет!

— Антанас Якубович, только честно: вы пишете?

— Скорей — печатаюсь. Seriously писать нет ни времени, ни опыта. Но дневниковые записи друзья-журналисты берут и один или два раза в год дают страницу в писательской газете или где-нибудь еще.

За кофе, приготовленным им в директорском кабинете, он пробовал пере- водить на выбор, но ему это было и неудобно и скучно. Были это миниатюры, притчи, байки, параллели («вообще» и «конкретно у нас»), а если возвратиться к первооснове, то о черкк происходящего — быстрые и лаконичные. Что смог записать — перескажу потом.

Я ни-че-го не знал о таком «деревенщике» — Антанасе Будвитисе! Дела нисколько не меняет, что и Будвитис не знает о существовании сегодняшней деревенской очеркности на русском (верно, есть основания не знать?).

Но вот проявлена пленка, готова магнитная лента, включен монтажный стол... Это — полемика. С кем-чем? С теми, кто видит в деревне к о р м и л и ц у, озабоченную лишь тем, как бы больше кому-то чего-то дать... Будвитис занят не сельским хозяйством, нет. Цель, смысл, корень его (их) экспериментов и устремлений есть, кажется, собственно сельская жизнь.

Не служебна деревня! Изначально она никому ничего не должна, а давать больше, чем может, она не может и не должна! Зато никто и ей д а р о м ничего делать не обязан, на искомую жизнь деревня должна заработать.

При таком постулате паритетности говорить о стирании, о подтягивании до уровня и т. д. можно лишь в ироническом ключе, как в притче с застройкой Вильнюса. Но реальный новый Вильнюс действительно великолепен, его архитекторы — в назидание иным — отмечены Ленинскими премиями, а Липки-то засохли, не дав цвета!

Тужиться на свой комментарий к патетичной быстротекущей мысли было лишне. Однако — заело!

Это же традиционное российское явление — пишущий агроном! Это нащенский гибрид — естествоиспытателя с публицистом! Экими талантищами были в писательстве и тот же Энгельгардт, и друг его Докучаев, и романтик Тимирязев, и наш Вавилов! Я уж печатал когда-то, что за перо, видимо, заставлял братья чудовищный разрыв между уровнем мыслительной элиты и среднекрестьянским знанием: интеллигенцию жег долг.

Второй голос передаче необходим. Стал перебирать статьи вице-президентов ВАСХНИЛ. Не то, приземленно, всё детали да частности, нет того, что поэтом выражено как «давай, брат, воспарим!».

Ладно — «на заранее подготовленные позиции»...

«Возделывающий землю, хотя он сам этого не сознает, является жизненной опорой всей нации, — это он, а не кто другой создает в самом прямом смысле те условия, без которых не работали бы ни ее руки, ни ее мысль. Он не только непосредственно кормит и одевает ее в настоящем, но он же еще заботится о сохранении всей возделываемой площади земли... для будущих возрастающих потребностей».

Пойдет как тема? Из десятого тома Тимирязева. Переложение американской «Обновленной земли» — книги, очень интересовавшей Владимира Ильича Ленина.

А теперь собственно тимирязевское — из цикла «Наука и земледелец»:

«Самым успешным орудием научной пропаганды является... наука, идущая чуть ли не на дом земледельца, разыскивающая его в деревне и говорящая ему

на вполне доступном ему языке и в форме, прямо затрагивающей его насущные потребности».

О сельском хозяйстве как занятии:

«Нет дела лучше этого, более плодотворного, более достойного свободных людей».

Не миновать и тех «двух колосьев», что, кажется, только и помнятся из всего Тимирязева — столько раз их уже мяли в цитатах:

«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества, оказал бы услугу своей стране более, чем все отродие политиканов, взятое вместе... Что же нужно сделать, чтобы разрешить эту задачу о двух колосьях? Кто принесет эту разгадку? Наука. И прежде всего наука о растении. Потому что истинный кормилец крестьянина — не земля, а растение, и все искусство земледелия состоит в том, чтобы освободить растение и, следовательно, и земледельца от «власти земли»...»

Положим, два колоса — это из Свифта; дело, «достойное свободных людей», — прямо из Цицерона; а «власть земли» — от Успенского. Но что делать, если Тимирязев брал свое отовсюду, где находил? Наша миссия — дать второй голос.

Передачу «Наука и земледелец» ставили в эфир шесть раз. Худо это было разве тем, что Будвитис выбивал новые передачи: тут спорно, это еще визировать надо, не повторить ли литовского лауреата? Литовский, к слову, лауреат сам себя так и не посмотрел: то некогда бывало, то Вильнюс не транслировал Останкино.

И в Москве, когда Антанас Якубович приезжал, не все удалось: из театров удалось поводить его только на Таганку, в другие билетов не было. В Архангельское, Звенигород и Загорск за разговорами так и не съездили.

Но на вежливом «приезжайте в отпуск» я его поймал.

III

Жену Будвитиса зовут Вандой. Я должен называть ее — в соответствии с нашими отношениями — «драуге Будвитене». «Драуге» — как бы товарка, женский род от слова «товарищ», но Будвитис переводит слово как «подруга» и рассказывает, как трудно замещалось в быту, в сельском обиходе давнее «по-нас» на «драугас»... Поскольку гражданин я все же служилый, то с моей стороны было бы верно звать Ванду и «драуге агрономе», ибо Ванда действительно агроном, заведует в институте отделом селекции зернобобовых. Учитывая наше дружество с мужем, еще можно было бы, несколько хватая лишку, называть хозяйку «драуге Ванда», хотя тут уже одна ступенька к переходу на «ты», а переходить нам нет никакой нужды.

Нельзя мне называть Ванду только Вандой. Тут даже не грубость, а неправильность. Меня нельзя называть ни Петром, ни Кириллом, а Ванду Будвитене, мать двоих взрослых детей, жену члена ЦК Компартии Литвы, сотрудницу научного института, мне нельзя звать Вандой.

Зову я Ванду... Вандой. Меня не зовут никак.

Телефонный звонок в общежитие:

— Доброе утро. Мы вас ждем.

Это на завтрак. Не больно-то удобно: Ванда тоже в отпуске, а который уж день только и делает что на кухне да с посудой. И все же собираюсь, иду.

Живу в том же общежитии — в отдельной, правда, комнатке. Теперь уже не с аспирантами, а со студентами «на картошке». Это сдержанные, не позволяющие дурачить парни и девчатки, я с ними встречаюсь в очереди в столовой.

Свою «картошку» они проводят в условиях совсем не тех, в каких отбывал, скажем, мой сын, студент МГУ. Никаких нар, соломенных матрацев, умывальников во дворе — гостиница, комнатки на двоих, столовая по дешевым талонам,

душ, на вечер сауна, то бишь финская баня, до которой парни большие охотники, и клуб с танцами (приезжают и заводские кедайнйские, почему приходится дежурить дружинникам). Главное же — ребята зарабатывают, иные за месяц увозят до двухсот чистыми. И — хочешь, нет ли — ты должен считаться с необходимостью молодого вечернего гама, музыки, веселой колготы: ребятя, в сущности, в стройотряде, а не на безалаберной «картошке», «они работают, а вы их труд ядите». Странно, что вечерами самому работается сносно, голоса не раздражают — может, потому, что не понимаешь ни слова, все звучит киношным «гур-гуром».

Приходит в голову, что Будвитису важнее, что подумают о Дотнуве, как оценят ее вот эти «чужие» — племя младое, незнакомое, люди XXI века, чем что заключит ровесник, хоть и приехавший издалека.

Итак — жду. Завтрак.

Живут Будвитисы на втором этаже четырехэтажки, дверь не закрывается, входить вообще-то можно по-деревенски, без звонка. Квартира четырехкомнатная, до разъезда детей по вузам они жили шестером, с родителями. Повидав литовское сельское жилье («коттеджи», применяешь ты дурацкое кокетливое слово, чтоб отличить такой дом от избы), я понял, что директор Дотнувы живет скромно, вполне на рядовом уровне, что, кроме хорошей библиотеки и нескольких дареных картин, показать ему нечего. Но сразу почувствовалось: Будвитисы живут открыто, на виду у всех, и в незапертой входной двери есть давняя намеренность. И тогда, в первый вечер, когда Ванде предстоял отъезд в Орел, я мог бы подняться к ним, представиться, угоститься кофе. Однако почему-то все же не поднялся.

— Уже гуляли? — здороваются Ванда. — А я такая сплуня!..

— Нет. Как? — спрашивает меня Будвитис, тренер жены в русском.

Ага, соня. А Софья? Тоже Соня. А мужчина, который любит спать? Да тоже соня. М-да, «великий и могучий»...

— Вечером, когда глаза устали, мне трудно читать по-русски, — вроде без связи говорит Будвитис. — «Ш», «Щ», «Ж» — в палочках сам черт собьется. А какой неконтрастный алфавит у грузин, у армян! Зачем тратить столько усилий? Латинские буквы служат десяткам народов именно из-за гениальной ясности. Эстонский язык по фонетике совсем не похож на литовский, на немецкий, на польский, а буквы одни для всех. Перешел же весь мир на арабские цифры, хотя были ведь и латинские и еще много всяких...

Ну уж извините. Я учу грамоте уже второго человека, внука, и старая кириллица вполне нас устраивает. Но я — что, а вот в Ереване я б ему никак не советовал выступать с таким проектом реформ. Письменность — нажитое за века, и давайте уж без перестроек.

К завтраку пришла их приятельница вдова Ада (она на пенсии, бодра и добродушна), и разговор накатом все крутится вокруг прихотей филологии.

— О девос, — вздыхает Ада, — дожди без конца, уже в каналах полно воды.

«Девос» — это же латинский «деус», греческий «теос», бог? Ну да. Она же, Ада, в разговоре с Вандой часто повторяет «гименес». Оказывается — «родственники», родня должна приехать. Гименей, бог свадеб, родства? Естественно. Живая реальность праязыка индоевропейцев, когда-то перебравшихся в Европу. Будвитис, бывавший в Индии, рассказывает якобы случившееся с одним литовцем. Заблудившись в Калькутте, тот литовец, по-английски не знавший, будто бы спросил по-своему какого-то рикшу: «Хоть бы ты научил, братец, как мне к реке выйти». «А иди так-то, а потом вот так, увидишь», — сказал рикша. И как стукнуло рикшу: откуда этот длинный белый знает санскрит? И литовец оглянулся: рикша-то — чистый жемайтиец!

В курсе сравнительного языкознания, подпрягаюсь и я, все филфаки знакомят с литовским. Ада принимает это одобрительно и замечает, что литовцы были последними язычниками Европы. Очевидно, это доблесть.

— И сейчас вырезают идолов, — хмыкает хозяин, разливая по кружкам очень жидкий кофе.

С кофе — жидкого, я говорю, не разорительного — он начинает еду. Видимо, хуторская привычка: хорошо поработавший прежде всего хочет пить. Наше «жидкое» и на завтрак и на ужин — суп, щи ли, борщ — тоже связано с тем бытом, когда «до завтрака шапка мокрая». Сам же я здесь нажимаю на черный хлеб и на ветчину.

Ржаной подовый литовский хлеб с тмином не ноздреват, даже свежим не приседает под рукой, но необычайно вкусен, и чем черствей, тем вкуснее. По прежним приездам знаю: его продавали на рынках — толстенный, тяжелый, на развес, потому что был дорог, копеек восемьдесят кило. И брали — хлеб хуторов, тропинки к школе, почти мамин хлеб. Но в этот приезд такой хлеб пришлось видеть и в глухих сельпо — и чем глубже, тем будто вкуснее. Тут отличают по клеймам на буханках, какой именно нужно брать, но мне он всяк хорош. Вроде не удивишь москвича хлебопечением, а вот — не приедается.

Конечно, подовый, без форм то есть, могли бы печь и на Шексне и в Мещере. Но нужна особая зерновая культура, чистая рожь нужна. А даже на мещерских супесях «мироновские» пшеницы урожайнее, да рожь вытесняется и полеганием. Вологде, пищут газеты, нужно на год тысяч сто тонн ржи, закупают тысяч двадцать с чем-то. Дефицит!

Затем — подовый саморегулируется: влил воды — расплзается, большого припека не получишь. Ярославские-рязанские формованным хлебом кормят кур и свиней, любой пекарь знает, любой потребсоюз ведает, что часть буханок, что доставлены в «смешторг», пойдет не на стол, а в хлев. Комбикорма не купишь, чистое зерно и дорого и редко, а формованный — в самой той цене, чтоб откормить борова. Продав на рынке даже половину туши, окупишь всего кабана. Одно из экономических див времени.

А тмин... Ну, Литва его — летом видел — руками женщин собирает по лужкам, кюветам, а где Пскову, Калинин у взять! В план райпотребсоюзу? А закупка, а сушка, а хранение? А цены — они во-он ведь где утверждаются! Да гори синим огнем тот тмин, когда на сенокос рук не хватает. Дело делать надо, а не вязнуть в мелочах!

Ветчина куплена у кого-то из дотнувских. Коптить люди отвозят в райцентр, а свиньи у рабочих свои. Не этим ли тминным, спрашиваю, кормлецы?

Ванда не понимает и переспрашивает Будвитиса. Антанас Якубович говорит, что сотрудникам экспериментального хозяйства ячмень уже пересушили и выдали. По их прикидкам усадьбное хозяйство приносит средней семье рублей восьмьсот дохода в год — и это сравнительно чистый доход, потому что механизацией стараются свести полевые затраты труда к минимуму. Собственно, усадеб никаких нет, сотки три под сад и огород нарезаны стабильно, а оставшееся от полугектара включено в севооборот и делится пополам на ячмень и картофель. К зерну человек вообще касательства не имеет, только платит осенью положенные копейки за сотку, но картошку пока приходится делить на участки — убирать люди предпочитают не комбайном, обдирает. Опхоз выращивает семенной картофель, и нельзя позволять ни путаницы в сортах, ни безнадзорности в смысле вредителей: колорадский жук не умеет отличать индивидуальный посев от государственного и с делянок пойдет на поля. Ржаной же хлеб всюду в Литве есть потому, говорит Будвитис, что на каждую тонну пшеницы теперь производят полтонны ржи, да и на приусадебных участках некоторые сеют.

А что это за бидончики по утрам вижу я у прохожих? В продуктивном ведь только кефир, сметана.

У кого нет коров, тем продают по литру на члена семьи.

Позвольте, он не держит коровы, выпрягся, вставать рано ленится, а Дотнува-Академия его еще и натурально поощряет?

Не поощряет -- возмещает! (Будвитис был доволен складной русской фор-

мулой.) На прокорм коровы ушло бы два или три гектара травы. Конечно, и корова дала бы раза в четыре больше, чем человек принесет в бидончике, поэтому возместить выход из коровьей конкуренции надо.

А сами Будвитисы держат хозяйство?

— Вот,— гладит Ванда сиамскую кошку.— Это животноводство. А садоводство Антанас не видел уже два месяца.

— Сад не должен быть мучением и забивать голову,— парирует хозяин.

Но все-таки опавшие яблоки и сливы, считает Ванда, нужно бы собрать. Я тоже прошусь, и, пока не начата программа дня, мы с Будвитисом и Адой, оставив хозяйку убирать со стола, отправляемся в сад.

Рукой подать: пересечь только сбросной канал. Три сотки Будвитисов как раз и тянутся вдоль откоса — несколько яблонь, малинник, грядки клубники, все не шибко ухоженное, но и без запустения, какого можно было ожидать после реплик Ванды.

Ада смеется: директору дали самый скверный участок! С краю пахать нельзя — не выдержал теста на сообразительность.

— Зато никто не завидует,— отвечает Будвитис, подбирая обитое ветром. Ест сам прямо с земли, рекомендует и мне: — Если организм не справится с немывыми фруктами, он должен освободить биосферу.

Штука, видимо, в том, что химии они в садах не применяют («пасэка»), а затажные дожди давно уже смыли с плодов пыль.

Участок Ады рядом; у нее, одиночки, только полторы сотки, но делянка встроена в общий ранжир: середина (огородная) запахивается трактором, сюда всем с осени вносят навоз, а края — под деревьями, ягодниками. Вон лаборантки садик, это коменданта, тут тракториста, то селекционеров... Открытое общество. Оно и со стороны дороги открыто, с асфальтовой трассы Каунас — Рига.

Доживу ли я до поры, когда в моем районе, на Ленинских горах, в плодовых садах при университете, смогут поспевать на своих ветвях неохраняемые яблоки?..

Позже Будвитис объяснил, что никто, конечно, его не обманывал. Просто они с Вандой взяли участок, который никто не хотел брать. Вообще же в Дотнуве директор не вмешивается в распределение огородов, квартир, путевок и прочего, чем можно вроде бы влиять на людей. Из треугольника (администрация, партком, профком) остается, сказал он, двуугольник.

— Конечно, к директору, который не податель благ, рядовой сотрудник реже пойдет на прием, — весело рассуждал он,— чего доброго, и здороваться перестанет. Но ведь авторитет, приобретенный с креслом, вместе с ним и теряется.

Это «кресло» — вариант, значит, его притчи о стуле. Будвитис пишет... Оговорюсь: я здесь и в последующих извлечениях не цитирую дословно, это даже не перевод, потому что и подстрочника-то у меня не было, просто пересказ того, что он где-то уже печатал. Спокоен я за одно: Будвитис не может заявить, будто ничего похожего он не писал! Итак, Будвитис пишет:

«Если человек сросся со стулом, то ему уже больно, когда задевают этот стул, и он считает прямым покушением на строй, когда стулу подпиливают ножки».

Они с Вандой живут на свои. На свои заправляют «жигуль» у бензоколонки, и Ванда, открывая кошелек, вздыхает: как бак, так теперь уже восемь рублей. Институт машину директору, конечно, выделяет, но персонального шофера у него нет и в рабочее время, а в отпуск он не может себе позволить и казенной машины. Ездит он, допустим, только по колхозам, опытным станциям, во всяком случае — по сельхозугодьям Литвы. Поездки легко было бы счесть вариантом работы, однако же в действительности это для него отдых, удовольствие, и расплачивается семейный кошелек. На свои живут они и в том смысле,

что не пользуются соблазнами отоваривания. Три дня назад ему при мне позвонили, он о чем-то переговорил — и со смешком объяснил мне: оказывается, в торговую сеть поступил цветной телевизор, а ему давно надо обновить старенький черно-белый, так вот влиятельный доброжелатель предложил взять с базы.

— Когда будут в магазине, тогда и сменю! Обиделся, чудак...

Никогда не ездил в санатории, куда надо особыми ходами доставать путевки. Хотя, я знаю, сердце у него нездоровое, хворает и желудком — лечение просто нужно. Водительские права ему дают на ограниченный срок, и он всякий раз обращается в районную больницу за продлением. Когда Будвитис говорит, что не держится за свое кресло и завтра же готов уступить директорство, то это не поза, не угроза, не вранье. С натуральным его аскетизмом, при жизни среднего кандидата наук он и впрямь с потерей директорского кресла ничего не лишится.

Стоп, а самоощущение? А возможность так вот ответить на звонок с базы? А сознание, что не берешь ты, потому что сам этого не хочешь? А те же контакты с писателями, художниками?..

Контакты, надо полагать, сохранятся. Возможно — окрепнут. Будвитису они дороги. Настолько дороги, что на искушение в Нью-Йорке (в литовском землячестве некий миллионер говорил, что вот у Будвитиса могло бы и здесь получиться, надо бы остаться и попробовать) он ответил, что не останется за все миллионы: не желает терять интересных ему людей.

Впрочем, что это все про уход да смену? Никто менять директора в Дотнуве, насколько слышно, не думает. Этой осенью кандидат наук Будвитис даже избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, что почти беспрецедентно: избирают докторов...

IV

Колхоз имени Снечкусас начинается с благодарности. С придорожного памятника «мелиораторам, ум и руки которых прибавили сил нашей земле», как начертано на бронзовой плите.

— Это Великонис придумал слова, — говорит Ванда.

Кто такой Великонис — писатель?

— О, Великонис такой франтовик! — качает головой Ванда.

— Нет, — поправляет Будвитис. — Щегол.

Разбираемся в русских тонкостях.

Великонис, чью элегантность старалась отметить Ванда, был начальником районного сельхозуправления в Кедайняе, из-за долгой свары вынужден был уйти к ним в институт, но теперь наконец снова на самостоятельной работе: пошел председателем в «Рамигалу», большой и слабый колхоз.

А с благодарного слова мелиораторам начинается колхоз не очень большой и не то что не слабый — рекордно оснащенный.

В «Ариставе», у председателя Владаса Якштиса, я был лет пять назад. Тогда здесь был закончен первый этап мелиорации: осушение всех угодий закрытым дренажем. Прежний секретарь ЦК Компартии Литвы Антанас Снечкус, чье имя теперь носит колхоз, до последних своих дней помогал, сознательно и не скрывая того, создавать хозяйство-лидер, земледельческий спутник: поиск, разведка, испытания.

— Теперь второй этап мелиорации — орошение, — берет быка за рога тертый в обращении с журналистами Якштис. — Орошать всю пашню, все выпасы. Да-да, в такой сырости, потому что оно льет когда не надо, а когда надо — оно сушит. Пруды готовы, проект есть, земля пойдет под «фрегаты». Обойдется в два раза дороже, чем осушение, миллионов в семь, но окупится в два-три года. Потому что у нас есть все и всего хватает — техники, транспорта, удобрений.

Признаюсь ему: впервые вижу председателя, которому хватало бы всего.

— Ага! — польщенно протягивает руку. — Якштис! Оч-чень приятно. Только звезды у председателя нет, а всего остального — в норме.

Норма — самое растяжимое из понятий. Будвитис говорит, что температура у человека должна быть в норме, если одна нога его на раскаленной плите, зато другая вмерзла в лед! Энерговооруженность?..

— Семьдесят, — предвкушает эффект Якштис.

70 лошадиных сил на работающего? В Сальском районе Ростовской области (это где знаменитый «Гигант», где нынче взяли по 38 центнеров пшеницы на круг) со всеми его «Нивами» и «К-700» — только 26 «лошадей» на человека. В совхозах Новгородской области, выписал я из журнала «Москва», — по 5. Здесь — уровень Айовы. Даже Калифорнии.

— Почти вдвое выше, чем у Дотнувы, — без энтузиазма, но и без досады сказал Будвитис. — И удобрений вдвое больше. Тем вы нам и интересны. Проблемы далекого будущего. Смоделировать такие сложности нам карман не позволяет, а откуда здесь достают — дело не наше.

— Все законно, в пределах морального кодекса, — в том же ключе веселого и деловитого хвастовства отвечал Якштис и, не давая времени на удивление, принялся очерчивать свой материк.

Первая группа цен... Мне уже доводилось писать про экономическое заведение в Литве: чем лучше твои почвы, богаче строения и т. д., тем ниже тебе доводят закупочные цены. Так изымается избыточный доход, выравниваются возможности для колхозов-счастливчиков и хозяйств, которых бог милостями обошел. Всего здесь четыре ступеньки цен. «Аристава» с ее хорошими почвами стоит на первой, низшей, и колхоз ежегодно отчисляет «в пользу бедных» сотни тысяч. Восторга у Якштиса это не вызывает, но и протеста не родит.

...И при первой группе — полторы тысячи рублей валовки с гектара земли!

Плотность скота — самая высокая в республике: 124 головы на сотню га. (Якштис говорит: «Кучность скота»... А это и точней какой-то физической «плотности»!) Производится по 1200 центнеров молока на 100 гектаров угодий и по 380 центнеров мяса на 100 гектаров пашни. При своих кормах!

— Только на своих кормах, — подчеркнул, чтобы мы прониклись, Якштис. Реагируй как хочешь, а — датский, английский горизонт.

— Никаких монетных дворов, учтите, — сказал председатель. — Промыслов нет. Только цветы вот дают тысяч триста, а в общем, живем от полей и ферм. Семеноводство трав — полмиллиона, весь молодежь — племяпродукция... Конечно, без приплаты за культуру, за элиту или чистопородность почти ничего не отдаем. Вчера «рафик» получили от Выставки. За свиноферму. Считают, что двадцать пять поросят на матку в год стоят «рафика»...

В полях осталась только свекла: копать еще рано, и вес набирает и сахар. Мы выдернули корень, второй, прикинули густоту — центнеров 500 с гарантией. Зерновые?

— Стояло в поле по сорок восемь центнеров. Убрать удалось сорок четыре. Такой год.

Год, конечно, жуткий. Тихое наводнение. Аналог черного для Литвы 1928-го, когда краю грозил незнакомый тут голод и хуторянин победней подавался на иные континенты — зарабатывать или с концом...

— Да, так. В мелиорированных хозяйствах колебания урожая от погоды — на уровне десяти процентов, — замечает Будвитис.

Антанасу Якубовичу, мне кажется, здесь не очень интересно: сама «наука доставать» его увлечь не может.

Что ж, и урожай свеклы в 500 с га доводилось видеть (Винница, Усть-Лаба, Киргизия), а намолот в 44 центнера — давно. За пять лет знакомства с Якштисом скачка в сборах мы не отметим. И мучит, томит тебя среди всего этого благоденствия: господи, как же дорого! Дорого-то как: по две с половиной тысячи рубликов в один гектар, чтобы ему, гектару, — двойное регулирование. Только чтоб взойти на датскую, английскую ступень. Неужто нельзя подешевле, ведь никакой карман не выдержит!

И только одно велит помалкивать. Где-то там, южнее или восточнее, такой урожай «нынче достигнут». Годом раньше или через год такого сбора может (могло) не быть. И сколько лет не бывало! И сколько раз не окажется еще! Здесь — стабильность. Гарантия. Устойчивость. Хляби развернутся, Каракумы пеклом дохнут — колебание сборов составит 10 процентов. Сейчас у 50, будет около 100 центнеров с га, но амплитуда — десяток процентов. Антисейсмичность земледелия. Причем, если быть честным, земледелие у Якштиса — цокольный, нижний этаж, главное делается на фермах: суть хозяйства в переработке продукта растительного в животный продукт. Возводить производство с 380 килограммами мяса на каждый гектар при хлипком, в трещинах фундаменте — безумие, верный прогар.

Якштис, не шибко задерживаясь, показывает, чем, собственно, его колхоз интересен науке и что «Ариставе» нужно от науки. Регулярно собирая «малый круглый стол проблем коммунизма», институт прокручивает здесь сложности такого порядка, какие для рядовых колхозов возникнут разве через десятилетия.

Коровник в 1250 голов на одной площадке. Экология? Зооветслужба? Плюсы-минусы? Не продавит ли зеленую опору, не провалится ли в тартарары?

Сорта, полегаетость, проблемы уборки при дозах удобрений в 1200 кило на гектар (Дотнува вносит едва 500). Можно ли вообще по столько вносить, что станет с почвой, как такой корм повлияет на животных?

Корма. Брикетирование сеной муки вместе с концентратами... В сенаж сразу вносят ячменную дерть...

И т. д. и т. п. Каждой из этих новинок в иных краях мне б хватило на день споров-разговоров. Но Будвитис в сложностях такого рода вдохновения не получает. Частный случай, не больше. Неохота в XXI век, что ли?

Но знает Якштис, чем задеть и как вернуть чувствительность. «Аристава» сселила все хутора! Просто пройти улицей с двухэтажными особняками, увидеть пашенные просторы без пятен хуторов — и Будвитис готов:

— Двенадцать населенных пунктов вокруг Дотнувы, с ума сойти! Десятки хуторов! И эта затея с Лиепосом... Институт очень отстает в проблеме сселения.

Вон как? Якштис проникательно слушает, сочувственно кивает. Он покажет нам республиканский диплом — род поздравления с окончанием трудов по сселению. Просто так покажет, меж делом.

Перестройка сельского хозяйства Литвы есть именно перестройка: выстроить новый дом, перевезти в него семью и затем разобрать хуторские, оплаченные хозяину стены.

Наше слово «хутор» неточное. Хутор Татарский, коллективный герой «Тихого Дона», или реальный хутор Железный под Усть-Лабинском — это селения в сотню или больше дворов. Литовский хутор — один дом, один колодезь, один сарай... Каким-то образом эти автономии, рассеянные меж холмов, речек и лесочков, соединялись в деревни: и староста был и прочий штат, почта как-то доходила. Интенсивное хозяйство, сегодняшние стандарты жизни на распыленную эту материю опираться не могут.

При сселении хуторов в Литве сохраняют право выбора места жительства за человеком. Даже мелиорация с ее армадой техники и натиском миллионов — «участок идет под осушение, извольте к будущей весне перебраться» — ничего еще не решает: хутор могут опоясать дрены, а несогласный останется жить где жил.

Решает мальчик. Человечек в резиновых сапогах, со школьным ранцем за спиной, идущий полем. Он стал центральной фигурой экономики и миграции.

Школа — столп населенного пункта. Будвитис, не помнящий номера своих «Жигулей», легко и точно называет, сколько детей в любой из дюжины деревень вокруг Дотнувы, и прикидывает, сколько школьников будет в 2000 году. Школа не только определяет устойчивость хозяйства, но и назначает цены домам. От 25, я говорил, до 5 тысяч, в зависимости от пути школьника.

— А чем хутор плох? Тихо, безлюдно.

— А почему ж вы своих детей не заставляете топтать по семь километров?

Тяга к общности страшная, но она может и обескровить село: город кричит объявлениями — требуются, требуются, требуются...

За 1971—1975 годы в республике снесено и распахано 30 695 хуторов потому, именно вследствие того, что в поселках построено 35 976 индивидуальных и кооперативных жилых домов. В год удается сселить примерно по 7 с половиной тысяч хуторов, то есть по 7 с половиной тысяч новых строений удается сдавать под ключ. А остается? Начать да кончить. 163 286 хуторов на начало 1978 года — вот еще что остается! Программа мелиорации, блестяще осуществляемая, намного обогнала в темпах концентрацию жилья. Нужна индустрия переселения!

На кооперативные средства, рассказывал Будвитис, создан Алитусский домостроительный комбинат. Оборудование закуплено за рубежом. Проекты — на уровне мировых стандартов. Мы заходили в особняки разных типов. В сущности, три этажа: подвальный, где гараж и «березка», отопительный автомат (тоже зарубежная лицензия, производство в республике — массовое), и два жилых уровня, четыре или пять комнат, два туалета, ванная, просторная кухня. Разумеется, водопровод и канализация. Щегольские отделочные материалы: штучный кирпич, пластик, дерево, кафель. Дом монтируется строителями на месте, никаких бродячих бригад, слово «шабашник» Будвитису неизвестно.

Обходится такое родовое гнездо в 15—25 тысяч. Крестьянин всюду крестьянин: дорого! Если класть из силикатного кирпича, то можно самому работать и кума позвать. Обойдется почти вполнину дешевле, да и простоит дольше — хватит внукам. Особой погони, как можно понять, за алитусскими домами нет. Колхозы, нуждаясь в рабочих руках, часто берут половину стоимости на себя. И все же хуторянин охотнее строит дом сам, по своему карману и разумению. Говорю это для одного реализма, а вовсе не в укор республиканской идее промышленного домостроения. Дорого-то дорого, да предложить хуторянину есть что!

«Аристава» взялась сселить хутора до алитусских стандартов, дома тут без рейнского щегольства, но Якштис дело знает: бедный украшениями, лишенный национального отпечатка поселок быстро и дешево стал и нарядным и явно литовским. Резьба по дереву, «идолы» из вековых дубов!

Обществу народных художников был предложен для их годовых семинаров стол и дом. Нет, совершенно бесплатно. Живите, отдыхайте, и выпивка будет — нам ничего от вас не нужно. Вы люди искусства, общайтесь с народом. Ну, а захотите оставить что-нибудь в память «Ариставе» — вот материал, запасена неплохая древесина, ни червоточинки, век может стоять.

И совестливый цех резчиков, вдохновленный кислородом, добрым харчем и председательской приязнью, вкалывал в поте лица, меняя облик «Ариставы»! Символическое «Землепашество» и «Материнство», у детского комбината — львы, гномы, колонны со сказочными сюжетами — поселок зажелтел теплой древесиной, стал уютнее и веселее. Один бог знает, в какую копеечку вылилось бы все это благолепие, начини Якштис дела с Художественным фондом! Ведь это камуфляж только — народные мастера, семинар и т. д., а на деле профессиональная скульптура. Не гипсовые доярки-комбайнеры южных колхозов — никак нет!

День кончаем на приготовлениях к свадьбе. Не на самой свадьбе, ибо мы не приглашены, вообще тут чужие, а на приготовлении к ней. Это длится наш социальный сюжет: что дает сселение, как она на деле-то, людская общность?

Рядом с «Ариставой» колхоз «Риту аушра», «Заря востока». Тоже великолепный, в цветах и сверкающем, промытом стекле поселок, а под лесом, вдали от шума поселкового... что? литовский замок? загородный ресторан? графский охотничий дом?

— Дом отдыха.

Ага. Но в нем никто — по путевкам или просто — не живет. В нем веселятся. Не кутят, не обмывают что-то с кем-то, не просаживают сотни — именно веселятся. Он, надо понимать, для сельской коммуникабельности.

Тут финская и русская бани, Охотничьи комнаты с оленьими рогами, кабаньими головами на стенах и прочим декором. Банкетные залы в золотистых литовских тонах. Функция одновременно и нашего потребсоюзовского ресторана и шашлычной поляны в лесу. Но здесь не готовят: колхоз своим людям даром предоставляет залы, посуду, дизайн для некоего торжества, чтобы отмечено было событие на высшем уровне, как мог бы себе позволить разве что настоящий, природный граф.

Женщины в возрасте, родные молодых, накрывали стол на сто персон. Над столами царствовал роготис — печенье, приготовленное на вертеле, этаким кондитерский ананас. Жареное-пареное доставлялось из маминых кухонь. На открытом балконе сельский Орфей с электрогитарой прочищал голос, оглашая шлягером осенний дубняк.хлопоты и сдержанные волнения: через час приедут молодые.

Общественное заведение в том смысле, что любой член колхозного общества «Риту аушра» может отметить важную для семьи, рода дату так (камины, бронза, дерево, сауна, музыка), как на хуторах и не снилось. Роскошь? В дело бы деньги? Наверно. Но сегодня колхоз угощает двух очень нужных людей. Каминам ничего не станется, а от тех двух многое зависит, так пускай возьмут положенное.

Шофер и телятница.

Заметив мою зависть, Ванда на выходе говорит:

— Великонис выдавал свою дочь в Дотнуве. Когда надо было вешать свата, выскочили пираты и утопили его.

На пути домой выясняем, что вешают свата на свадьбах потому, что подсунил негожего жениха, невесте надо выкупить. Выдавая дочку Великониса, висилицу заменили утоплением свата (институтского парторга) в банном бассейне.

V

Индоевропейское наше родство все толкает на доступные языковые изыскания. Само название первого занятия, добычи хлеба, запечатлело разный опыт народов.

В литовском языке «сельское хозяйство» («жямес унис») имеет в корне землю («жеме») и буквально значит «земельное хозяйство». Населенный пункт в определении не вошел (в русском-то на первом плане село!), и животноводство как бы выключено, хотя оно здесь уже долгонько — цель агрикультуры: собственное земельное хозяйство — только цокольный красный этаж под всем зданием. Учитывая роль животноводства, не грех было бы именовать все сельские производства края молочных рек простеньким и выразительным «гивулинниксте», где «гивулис» — животное, домашний скот. Но языку не укажешь.

Английское слово, передающее понятие «сельское хозяйство» — husbandry, — происходит от husband, «муж», «супруг», и примечательно уже тем, что труд вне сельского дома, в поле, на лугу, есть строго мужское дело: женская работа за плугом с лошадьми и т. д. заведомо исключается. Но штука еще и в том, что это самое «хазбендри» одновременно означает и «бережливость», «экономность».

То есть так: если ты, занимаясь сельским хозяйством, не экономен и не бережлив, то это у тебя не сельское хозяйство, а нечто совсем другое. Выясный сам — что.

Русское обозначение агрикультуры Будвитису нравится, ибо выделяет хозяина — того, значит, кто решает на свой страх и риск, кто сам себе голова. Я готов поддержать его и, чтобы заинтересовать нашей классикой, ссылаюсь на Успенского — на то место из «Власти земли», где говорится, что нельзя сделать работника и раба из человека, который по самому существу своей природы не может существовать иначе как с сознанием, что он «сам хозяин».

Но если Антанас Якубович впрямь начнет читать отцов русской «деревенской» прозы, он легко заметит, что сельскими хозяевами, людьми, действительно

ведущими сельское хозяйство, еще недавно, век назад, называли... помещиков. «Я сел на хозяйство», — пишет Энгельгардт. «Сельские хозяева» у него — это землевладельцы, соседи по имениям, а крестьяне — это иное, это «народ».

— А что такое крестьяне?

А это просто «крестьяне», православные, обычные мужики и бабы, исполняющие жизненный закон, люди стандартного, как мы бы сказали, образа жизни. Казак, кузнец, гончар — это уже исключения (вера ни при чем, все ведь крещеные, все христиане), а самый массовый, неотличимый человек — крестьянин.

— А говорится сейчас «я — крестьянин»?

— Ну, разве что в Доме литераторов... В простом же общении — «колхозник», «в совхозе работает». Верней даже — «тракторист», «бригадир», «агроном». Как бы с указанием должности.

— А можно говорить «я — сельский хозяин»?

— Всерьез — не получится. Можно официально — «работник сельского хозяйства». Лучше все-таки — «тракторист», «агроном»...

— А где же хозяин? Хозяйство есть — где хозяин?

— Это вопрос вопросов.

Будвитис мелко кивает: так-так-так-так...

Ну, а второй его язык, немецкий? Странно определяет «дойч» добытчика хлеба...

— Не странно, — возражает он. — «Ляндвиршафт» — не только «сельское хозяйство». «Дас лянд» — страна, государство, и «ляндвиршафт» можно понимать как «хозяйство страны». Народное хозяйство, по терминологии ЦСУ! Крестьянин же зовется «бауэр», близко к слову «бауэн» — строить. Строить — складывать, прибавлять, делать новое. Сельский хозяин — прежде всего строитель. Если он не строит, хозяйство разрушается. В ГДР, будьте уверены, хорошо строят.

Ну вот, подсадила-таки отпускная филология на рабочего конька!

— Но вы же сами хвалите, например, свое Министерство мелиорации. С кем ни заговори — прямо гимны Величке! Так что, сливать этот мелиоводхоз с каким-нибудь ведомством?

— Особенное министерство с исключительным хозяином! Дело поставлено именно так, как должно быть: в трубу дует один, никто у него мундштук не вырывает, клапаны ему не закрывает... Вот вы спрашивали: как это Литва смогла осушить закрытым дренажем больше, чем целая РСФСР? А в уме держите: деньги им дали, материалы. Деньги еще не осушают! Новгород не осваивает своих денег! Да, раньше начали. Но вы бы лучше спросили: почему ни одного гектара из двух миллионов Велички не сдано с браком, чтоб не работал дренаж? Ведь это феномен: два миллиона гектаров сдать — и все исправны, все работают! А вода — ее уговорить нельзя... Только потому, что у Велички все в одной руке: проектирование, деньги, техника, рабочая сила. А в другой руке у него проверка: сельскохозяйственная техника, производство семян, контрольный засев. Сдают объект сами себе. Участок из-под леса осушен, подведена дорога, сделали мосты, удобрили, произвестковали, засеяли, взяли первую траву — смотрят: есть положенная прибавка? Тогда можно сдавать пользователю. Это и есть безынфарктная система сельского строительства.

Последовало несколько иллюстраций к образу почти легендарного министра. В опхозе Дотнувы кончали оросительный водоем. Хозяйственный объект, не для комфорта. Но дотнувские начали упрашивать, пока техника здесь, отсыпать им пляж: дети будут купаться, молодежи хорошо для лета. Начальник колонны наотрез отказал: где ж вы раньше были, теперь все сроки ушли. Но желание получить свою Палангу заставило достучаться до самого министра. Величка вник — и объявил начальнику выговор в приказе! Почему он, подрядчик, заранее не учел запросы землепользователя? Почему не выяснил, какой именно водоем хотят получить люди? Для кого строим — для плана или для

жизни? Срок сдачи перенести, уточнить проект, построить пляж и подъезд к нему...

По воскресеньям министр, к дачам равнодушный, берет в машину семью и отправляется куда глаза глядят. А глядят они у него обычно на объекты мелиорации, и где окажется он сегодня — под Тракаем, в Паневежисе или в глухом Шилале — предугадать невозможно. Но что после поездки он вызовет грешных на коллегую — даже гадать нечего.

— У Велички не бывают виноваты обстоятельства. И не бывает, что нельзя найти виноватого. Никто не виноват — это от инфарктной системы.

Колхозы хорошо знают: только у Велички проект есть гарантия, что объект вовремя начнут и в срок кончат. Нет сил — не будут и браться за проект. Не так, как строительные «гипро», где проекты могут пылиться и умирать от дряхлости. И только у Велички объект не спихнут в чужие руки, а все будет в ажуре и после: мелиораторы очищают каналы, где осушение; они сами ведут полив, где орошение. Нужен дождь — давай команду и плати пятерку за гектар.

— Система Велички сберегает здоровье лучше, чем десять санаториев!

Может, тут мечта об идеальном министре? Все равно, легенда создается тогда, когда в ней острая нужда.

Как оно бывает с мелиорацией у нас дома, я, в общем-то, представляю. Ездил недавно в Вологду за передачей о вологодском масле, в дорогу взял том Ефима Дороша. Тогда-то и отчеркнул давнюю, 50-х годов, картинку из Райгорода (Ростова):

«На строительство осушительной сети в здешнем колхозе государством отпущено семьсот тысяч рублей. Деньгами этими распоряжается областное управление сельского хозяйства. Оно отдало эти деньги своей строительно-монтажной конторе — подрядчику, который должен осуществить все работы. У конторы этой — два субподрядчика: Московская экскаваторная станция и Райгородская лугомелиоративная станция. Первая должна строить водоприемник, нагорный и магистральные осушительные каналы, а вторая — мелкую осушительную сеть. Но надо еще построить и мосты через каналы, на что из общей суммы выделено сто тысяч рублей. Однако ни экскаваторная станция, ни лугомелиоративная станция строить мосты не умеют — это, как говорится, не их профиль. Мосты обязана строить контора, на то она и монтажно-строительная. Но контора покамест этого не делает, предлагает колхозу, чтобы он сам строил мосты. Колхоз согласен, но ему нужны деньги — строительство финансируется государством, и колхозу, даже если бы он хотел, никто не разрешит кредитовать работы по возведению мостов. Контора же может оплатить стоимость этих работ только после того, как она, будучи подрядчиком, примет мосты. Получается заколдованный круг, или — что вернее — скверный бюрократический анекдот...»

Такая вот рентгенограмма четвертьвековой давности.

А приехали в Шексну, где лучше всего идет вологодская мелиорация, — сегодняшние затейливые истории! Району достраивают здоровенный молочный комплекс в одном колхозе, и здесь ни гектара под пастбище не осушено, бог знает где коров пасти, а обширный, прямо кубанский по мощи массив осушен в другом колхозе, километров за двадцать пять, и никакого комплекса там нет. Посадили мы председателя колхоза и шекснинского мелиоратора на зеленом кургане, и стали они с вологодской простодушностью ругаться перед кинокамерой: а проект? а деньги? а сроки? а вы где были? а вы о чем думали?.. Худо пользоваться северной доверчивостью, но ведь миллионы подо всем этим. Передали в эфир в объяснение редкости вологодского масла.

Ладно, а что же значит инфарктная система?

— Строительство! Бауэн! — зажигается Будвитис. — Вам нужно, вы и стройте. Подрядчик может приехать к вам с папкой бумаг и сказать: «Давайте рабочих, желательно опытных, будем созидать». И никому это не кажется смешным. Мы говорили — шесть министерств? Так вот, лабораторный корпус

селекцентра — это ж не коровник какой-нибудь, научная база всей республики — строили шесть самостоятельных организаций ровно шесть лет. Они были скоординированы между собой еще меньше, чем кроты на лугу. Действительно ответственным и за качество проекта, и за работу, и за рабочих, и за какой-то мир между подрядчиками был заказчик — исследовательский институт. Мы все ждали, когда примем здание, чтобы начать капитальный его ремонт, ремонтируем и сегодня... За десять лет строительство подорожало вдвое, и все же в нашем опхозе оно занимает не больше десяти процентов общего производства. Но эти десять процентов отнимают больше половины энергии и времени руководителей. Вот я пробиваю новый пятиэтажный дом — значит, докторская диссертация оттянется... Опытному хозяйству очень нужен новый коровник — директор накапливает здоровье: без жестоких конфликтов дело не обойдется.

Отличие Литвы в том, что у нее есть пример и опыт ведомства Велички. Почему же республика и наземное сельское строительство не повернет на безыфарктный путь? Что, легче 40 тысячам помощников уникального министра? Все лето комаров кормят, не снимают резиновых сапог — это болотные солдаты, и никакая стройка бытовыми и всякими прочими трудностями не сравнится. Положим, где-то не знают, что можно иначе, не так, как сегодня, а в срок, хорошо, без плутней, вранья, жульничества, без дикого брака, но тут-то Величка доказал: можно!

Будвитис в ответ тянется за притчей...

Будвитис пишет:

«Ехали полем. Я стал застегивать воротник и отдал руль сидящему справа. Ногу, однако, оставил на газе. Увлёкся пуговицами и скорости не сбавил. Трах — канава! Мне набило шишку, правивший весь день конфузился: покалечил директора.

А надо было только одно: у кого газ, у того и руль.

VI

Цифры не правят миром, но показывают, как он управляется.

Читать статистику Литвы — удовольствие. Ощущение такое, что кому-то объективному и дотошному осточертели упреки и крики со всех сторон — «кто так считает, разве можно это сравнивать, дурачков ищите, пудрите людям мозги», — и он первым делом добился сопоставимости, общего знаменателя, а потом уже потянул колонки цифр насчет того, как же оный мир управляется.

Баллы почвы — первоэлемент из серии «что дано вам». С данных кадастра начинается аттестация любого колхоза. Кстати, именно колхоз (нижняя хозяйственная единица) разносится по группам закупочных цен. И в одном районе могут быть хозяйства и первой и третьей групп.

Районы — по сумме природных и хозяйственных факторов — разведены по четырем экономическим группам, и слабый дальний Шилальский или пригородный обезлюдевший Вильнюсский не стыкуют напрямую с Каунасским или богатым Кедайняйским. Разные весовые категории.

И введен совмещенный показатель удельного производства мяса-молока-яиц-шерсти в пересчете на условное молоко — некий эквивалент. Капсугский район произвел в 1977 году больше всего в республике не чего-то, а вообще, и он дает на 100 гектаров угодий в 1,8 раза больше статистического «молока», чем Вильнюсский.

Спокойное и объективное сопоставление государственно-колхозного сектора с индивидуальным: роль хутора все еще сильна, за ним 38 процентов животноводческой продукции Литвы, 70 процентов картошки, еще на миллиард рублей валовки в год. И кормов, будем честны, личные хозяйства расходуют на центнер привеса значительно меньше — и по говядине и по свинине. Разумеется, за счет перерасхода живого труда и внимания.

Качественная сторона: какое именно мясо даем, что за молоко — белеют ли от него стенки стакана? Молодняк продается высшей упитанностью 95 голов из каждой сотни, средний вес бычка — 408 кило, но уже больше половины идет с весом выше 420. Только надбавки за хорошее мясо принесли в год 26 миллионов рублей — жила разведана и разрабатывается.

Статистика, как любая материя, существует во времени и в пространстве.

«Во времени» — каким ты сам был и кем стал (можешь стать)?

«В пространстве» — а как там оно у соседей?

Если в 1950 году валовая продукция сельского хозяйства Литвы упала чуть ли не к уровню 1913-го (см. фильм «Никто не хотел умирать», романы Петкявичюса, Авижюса — вспоминать ярость той драмы готов любой человек старше сорока), то в 1960 году был достигнут предвоенный уровень, а сейчас растениеводство дает в 2 раза, животноводство — в 2,5 раза больше, чем поля и фермы Литвы 1940 года. На 100 гектаров угодий производится 151 центнер мяса и 546 центнеров молока — вполне прибалтийский уровень. На душу населения Литва производит 138 килограммов мяса и 850 кило молока — уровень самых развитых стран. Чтоб понятнее было скромное значение зерновых поставок: средние закупки зерна — 300 тысяч тонн, плюс к этому четверть миллиона тонн картошки — зато больше 2 миллионов тонн молока, 532 тысячи тонн мяса!

Республика-ферма, тем и интересна. Добывая растительный корм, тут же, под щедрими дождями, максимально сберегая круговорот веществ, перерабатывает его в животный белок — топливо цивилизации.

«В пространстве» сопоставлять Литву можно и нужно с Эстонией.

Можно ли?

Природные данные вполне сравнимы. Оснащенность? Основных производственных фондов в Эстонии — 1991 рубль на один гектар пашни, в Литве — 1776 рублей. По Российской Федерации этот показатель — 630. Нужно судить здраво: Кулунда и Заволжье с климатом полупустынь или Усть-Лаба с кубанским долгим летом и черноземом в метр никогда не смогут равняться капиталоемкостью с Прибалтикой. Но и то следует помнить, что на средней цифре РСФСР оказались и Карелия, Псков, Новгород. Наиболее ощутимая осенью нагрузка на зерновой комбайн: Литва — 106 гектаров, Эстония — 129, а Федерация (для масштаба) — 180 гектаров.

Удобрений в действующем веществе литовский гектар получает 225 килограммов, эстонский — 242, российский — 64. Тут статистика уточняет официальные данные: поставки поставками, а колхозы покупают азот-фосфор сами, и в колхозах Литвы в силу этой инициативы фактически вносится свыше 300 кило действующего вещества в работающий гектар. А что это значит? Англия вносит по 265 кило, Соединенные Штаты, страна не бедная, — по 101 килограмму... Значит, то, что достигнут высший мировой уровень химизации, и хотя есть пока за кем тянуться, но безоглядно требовать «все выше, и выше, и выше» можно лишь с признанием того, что помянутая Англия на тех же объемах туков берет все-таки 50 центнеров зерновых, не 26, как Литва, а в Штатах сбор кукурузы достиг 70 центнеров в зерне.

Словом, сопоставлять можно. Нужно ли?

Раз не будет судебного исполнителя с разговором «взял — верни», то должен хотя бы стоять за дверью — по Чехову — человек с молоточком: воздействовать на совесть.

Не частности, не побочное, легко поправимое, а производительность труда! В Литве затраты труда на центнер свинины в два раза выше, чем в Эстонии.

В Литовской ССР затраты труда на центнер говядины в полтора раза выше, чем в Эстонской ССР.

А это конечные, итоговые и традиционные продукты.

На центнер литовского молока уходит 5 человеко-часов, в Эстонии — 4, при громадных объемах производства это перерасход в десятки миллионов часов

работы. Даже по десяти крупным свиноплексам Литвы издержки труда превышают среднеэстонский уровень на 3,6 часа!

И свинина в итоге колхозам Эстонии обходится на 361 рубль, говядина — почти на 200, картошка на 24 рубля (за тонну) дешевле, чем колхозам Литвы.

Вот такие молоточки.

Пишу это я, понятно, не Будвитису, знающему разницу во сто крат четче меня, и не потому, что знаю такую палочку-выручалочку Эстонии, какой буд-то не заметили на Немане.

Конечно, если Данию к сравнению припрятать, так и эстонские потолки покажутся низки. Но — фактор времени: уже первые читатели Ганса Христиана Андерсена там знали, что такое закрытый дренаж, польдер, мельничные водосбросы. А в стыковке двух республик незримо присутствует третья сторона — и нравственный элемент отдачи. Не той отдачи шефством (литовские осушители показательно мелиорируют какие-то участки на Смоленщине), а подлинного хозяйственного возвращения тех миллиардов рублей и эшелонов минеральных туков, что в Ростов Великий, Великий Устюг и Великие же Луки, как ни толкуй, не пошли, а Паневежиса и Шяуляя достигли.

— Хотите откровенное мнение о вашей любимой Литве? — говорит Эдгар Густавович Тынурист, первый заместитель председателя Совета Министров Эстонии. — Я с пятидесятого года министр по селу, пересидел всех республиканских министров, на моих глазах Прибалтика стала новой — имею я право на мнение? За что мы литовцев ценим, уважаем, что берем у них — это наше дело. Но есть общее дело. Если дается даром, люди иногда берут больше, чем могут донести и приспособить! Платим мы людям выше. Индивидуальный сектор в закупках Эстонии теперь очень мало значит. Но если бы можно было снижать цены на мясо и молоко, мы б уже могли разорять литовские хозяйства.

Где зарыта собака? Ответ не по моим отпускным силам, и, начни рассуждать, обязательно сползу к приему: «Ну вот, вы ж сами говорите!» Взять у Будвитиса, потом у официальной вильнюсской статистики аргументы — и пошло читать рацен!

Взять у Будвитиса, что травы, культурные пастбища дают меньше, чем зерно, вполонину меньше кормовых единиц, чем потенциально возможно, — и гнать по сводке: только 3, мол, района из 44 берут по 200 и больше центнеров массы с гектара, а вот кукуруза, получившая тут некогда отпор, в 15 районах дает больше 200, в 4 — больше 250... Непонятного много. 77 хозяйств республики производят молоко в убыток — ну, тьма ручного труда, уровень полной механизации на фермах крупного рогатого скота вообще ниже одной трети. Но почему рентабельность свинины в колхозах н и ж е, чем средняя рентабельность всего производства? Свинья, кубышка, накопительница, — и вдруг понижает норму доходности в традиционно беконном краю?

Но не мне здесь производить анализы-синтезы. Положенного пуда соли для дельного разбора я отнюдь не съел.

Знаю разве один случай, пусть он и не тянет на притчу...

В эстонском колхозе «9 мая». Сдали новый коровник — просторный, светлый. Мы договорились, что завтра приедем из Таллина и снимем его для цветного кино. На союзный экран! Покажем — широкая пленка! — миллионам: вот как умеют строить в Эстонии. Приезжаем утром — катастрофа: скотный двор завален ячменем. Режиссер в бешенстве: какое неуважение, все полетело к чертям, они на нас плевать хотели!..

А колхозу уберечь от дождя зерно, намолоченное за день, было дороже, чем показаться в очередном эпохальном фильме.

У науки есть особая функция трезвости. Все периодически могут хмелеть, упиваться молодечеством — подлинный человек науки всегда скучно трезв. И в праздник. Даже свалив большую работу.

Будвитис не приемлет хмеля. Ни физиологически, ни фигурально. Кому как, а мне в том видится один из залогов литовских удач.

VII

Кнашис — ученик Будвитиса, директор филиала в Жемайтии. Он молод, спортивен, он в джинсах и кожаном черном куртячке. Вообразить себе Будвитиса в чем-нибудь, кроме восьмидесятирублевого венгерского костюма, практически невозможно, но Витаутас Кнашис баскетболист, вполне от мира сего, принадлежит другому поколению.

«Науки юношей питают»...

Нет пошлее представления о сельской науке, как воображать аспиранта, даже кандидата сытым захребетником у трудяги тракториста. В самом начале, когда и формируется ученый, уровень зарплаты — это, говорит Будвитис, инфекционный фон (термин из селекции: новые сорта проверяют на участках, искусственно зараженных всеми бедами, с какими растение может встретиться в полях). Выживает или яростно преданный науке, или больше нигде не нужный.

С кем конкуренция? Да с производством, которое — по всем данным — и должна будто бы двигать наука. Произошло это исподволь, собралось незаметно, сложилось из серии добавок, повышений, приплат, и теперь сторож получает больше, чем аспирант, доярка больше, чем старший научный сотрудник, главный агроном хозяйства больше, чем видный ученый.

Лаборант — 90 в месяц. Младший научный сотрудник — 100. Аспирант и на 80 сидит. А уже высшее образование, уже женился, дети пошли. Я знал молодого ученого — он вел сложные опыты по накоплению влаги и ночевал в копне: не было самописцев, а показания надо было снимать восемь, кажется, раз в сутки. Домой, в Николаев, ему накладно было ездить даже на субботу-воскресенье, оставался на полевом стане. До ухода в науку он был комсомольским работником, женился, появился ребенок, и аспирантство повергло его в полный пауперизм. Стесняясь, пригласил домой. Однокомнатная квартирка, пахнет пеленками, молодая женщина не рада: совестно, хлопотно и угощать нечем.

— Надь, Надя, а где то наше шипучее, что с Нового года осталось?

Явилась бутылка сидра, говорили о том, как ему мешают читать лекции, — это ведь хороший заработок, и 5 и 10 даже рублей в день. Лишь бы пройти защиту, а там все переменится, жизнь другая настанет: только ВАК утвердит — он будет получать 170 в месяц!

А он ездит, внедряет, видится со многими. Вот на той неделе... Директору совхоза позарез нужен управляющий на отделение, прежнего бюро райкома сняло за лень и пьянку. «Слушай, ну чего тебе биться как рыба об лед? Принимай отделение, верных двести в месяц плюс премии, дом кирпичный, машину дадим, жену в школе устроим или при клубе. Да ты за год мужчиной начнешь выглядеть! Науке предан — веди и там свою почвозащиту, чего дурью мучиться!»

Он боится сказать Наде об этом разговоре — так директор прав. Надежд, даже отдаленных, получить больше тракториста у него просто нет. Конечно, шеф Иван Евлампиевич держится за него, обращается как с дорогим учеником. Но это потому, что семеро не удержались, только вот он да лаборант Костя, но того после полиомиелита и в армию-то не брали.

Сейчас предпочесть научную стезю производственной — акт мужества. Разница в оплате формирует «сегодня», истощая «завтра».

Удержать молодежь, иронизирует Будвитис, проще всего руководящими ставками: назначать безусого директором — он и не удерет!

Нечто похожее, но на полном уже серьезе, произошло с Кнашисом. Молодой агрохимик жил в Каунасе, в резерве всегда было преподавание в сельскохозяйственной, и принимать ему опытную станцию где-то в Вежайчае не было ни малейшей нужды. Однако он дал Будвитису уговорить себя, переселился, укоренился, с годами вошел во вкус провинциальной занятой жизни, теперь руководит филиалом Дотнувы и представляет собой в Жемайтии передовую агробиологическую науку. Наука известно, всегда права, но она же и всегда

виновата перед реальным колхозом, как виноват лодман за перемену ветра, течений и внезапные мели.

Дождь хлещет со вчерашнего вечера. Верней, он уже месяц идет — с краткими перерывами на сбор туч. На осушенных полях лужи, в полях без дренажа — озера, низины просто под водой. Середина сентября, а зерновые и на 40 процентах не убраны. Картошка гниет в почве, ею-то и кормить опасно — болеет скот. Райком вызывает: «Ваши рекомендации?» Звонит знакомый агроном: «Вы что-нибудь там думаете, дармоеды?..»

Рекомендация — уже стандарт, прямизна. Оговорка принимается за желание умыть руки. А природа — реальная Жемайтия — корява, бугриста, строптива, подвижна, не равна даже самой себе. Наука, наука... А что, собственно, еще открывать в науке? Вот вы знаете? Разве не ясно, что надо — как по радио — лучшие районированные сорта высеять в лучшие агротехнические сроки, всегда раньше прошлогоднего, в хорошо заправленную почву и т. д. и т. п. и получить высокий сверхплановый урожай? Дождь льет и льет. Под картофель ушла прорва удобрений, были семинары, обязательства — все прахом.

Сами Кнашисы, и Витаутас и жена его Янина, — агрохимики и заняты тем невидимым, текучим, изменчивым, что именуется почвенным раствором. Легко сказать — управление плодородием! Отладить натуральный раствор в почвах — что сварить уху в самой реке, не изолируя воду, рыбу, соль и т. д. в котелке. Бор был остро избыточным, а почвы раскислили — его сильно недостает. Да сами дозы извести подвижны! Идет химическая эрозия почвы, и при новых нормах азота, фосфора, калия удерживать раствор в сносном балансе, не давая хлебу ложиться и не допуская никчемных трат, есть действительно наука. А Жемайтия — очень горбатая для науки опора: верх бугра — глина, гумус смывает, и тут, как ни странно, всегда сыро, трактор садится, а гумусный низ суше, почва пористой, можно пробовать — вот и обходишься, ученый, без оговорки!

— Вы как с мелиораторами живете? — перебиваю я. Все равно ведь разговор зайдет, а мне продых: еще втянешься в переживания...

— Я боялся Велички, — усмехается Кнашис. — Столько ругал известкование в газетах, что думал: когда-нибудь министр сделает Янину вдовой. Но они стерпели и дело отладили блестяще. Теперь мелют известь тонко, в муку, сами вносят специальным транспортом, каждый год шесть миллионов тонн, это ж объемы! Правда, миллионов пять ежегодно из раствора уходит, так что процесс бесконечный. Но он уже почти управляемый — от нас, во всяком случае, зависит, не от Велички. Вы знаете, был случай...

Пошли примеры из жития мелиоративного министра, и даже дождь за окном вроде ослаб.

Да-да, у меня короткое, газетное дыхание — мне срочно выход нужен. Где выход в войне с дождями? Вы мне на примерах объясните, как поступать и что в таких условиях делать, а я уж тогда не переживать, а ополчаться могу. Ополчаться мне легче. Ну кто-то же не мокнет?

— Ярумбаускас, наш аспирант. Диссертацию закончил. Поедем? Поедем. Неужели и этот ночует в копнах?

Антанас Ярумбаускас, медлительный и немногословный жемайтиец, был трактористом. Вырос в председателя колхоза, отыскал среди лома свой «универсал» и водрузил его на постамент. Но не памятником, а этакой агитационной поп-скульптурой: колесник стоит над бассейном, а над ним крутится брызгалка — знак второго этапа мелиораций. Орошение идет полным ходом, хотя оно и диковато в осень наводнений.

Значит, как от воды спастись? Ну, прежде всего надо урожаем укрыть. И аспирант-председатель степенно ведет к элеватору. У него 12 силосов по 500 тонн в каждом, на 6, значит, тысяч тонн зерна. А посева зерновых? 650 га. Следовательно, упрятать в хранилище можно весь намолот при сборе в 100 центнеров?

— А уже в этом году ячмень показал семьдесят. Надо же иметь задел.

Затем, наставляя тракторист-аспирант, нужно убрать под крыши всю технику. И действительно — вот вам машинный двор, где в гаражах... нет, не тракторы только. Не комбайны и грузовики. Буквально все, это и Кнашис подтвердил, все машины, включая сеялки и РУМы! Асфальт, шифер, никакой грязи... Такого я в жизни не видал. Впрочем, вру, видал: в Айове, Канзасе, Джорджии. Наследник знаменитого Гарста Джон Кристалл, банкир и фермер-философ, зная неплохо наши края, говорил: «Вам нужны только крыши для урожая и для машин — больше ничего». Подозревать в контактах их нельзя. Когда же они сговорились?

Нагрузка на зерновой комбайн?

— Сорок два гектара,— спокойно отвечает жемайтиец.

Господи, да на целине за сутки с такой латки обмолачивают!

Ну — так: или без утайки, или нам тут делать нечего. Сам колхоз не может построить элеватор! Колхоз не может держать уборочную машину на клетке в 40 га — амортизация разорит!..

— Так это же эксперимент,— улыбается председатель.— Силосы вообще-то изготавливают под зеленый корм, но это не слишком удобно, а нам натянули обручи — и держит бочка, элеватор обошелся всего в сто сорок тысяч.

Если что вышло удачно и ловко, то это положено называть «эксперимент», «экспериментальный». Ладно, элеватор — удача. Что прикрывает технику, механизацию?

— Тоже есть маленькое экспериментальное производство,— неуверенно вздыхает дородный аспирант.

Та-ак, они здесь же, при машинном дворе, гонят многожильный кабель. Пристройка без особых удобств и оснасток: три женщины покрывают изоляцией алюминиевые провода — и три грузовика из Белоруссии рядом ожидают погрузки. Заказов до дьявола, качает головой хозяин, прямо не справиться. Рекламаций не бывает, вот слух и идет. Ерундовая пристройка и натянула крышу над дивизионом колхозных машин. Во всяком случае, денег дала.

Все с промыслами? Ну почему... Хозяин слегка обиделся. Нельзя же допускать однобокости, ударяться в индустриальный крен! А переработка сельского продукта, то самое консервирование, кому его уступить? Да и цветы — ведь говорится же: и хлеб и розы...

Весь промысловый комбинат — пивоварня, цветочная теплица, консервный завод и цех вин из яблок — должен давать, когда все отсеки вступят в строй, полтора миллиона валовки в год. Капиталоемкость! Почва мокра-то мокра, но как губка всасывает миллионы, и казенных, величкиных мало. Некому, кажется, больше внушать, что сельский работник должен быть вооружен основными средствами гораздо богаче, чем рабочий промышленный. В Эстонии такое отношение уже достигнуто, селянин стал мощнее горожанина, ибо горожанин работает в искусственной среде, а сельскому рабочему нужно защититься от ненадежности матери природы. Добавочный капитал — десятки лет назад выяснено — могут дать промыслы, прямые выходы колхоза в сферу товарно-денежных отношений. Но нет извилистей судьбы, чем у промыслов, и главное, лет за пятнадцать успел я усвоить не в постановке, не в раскрыте дела (этому здравый хозяйственник научится быстро), а в трактовке, в словесном прикрытии функции твоего монетного двора. Вот мы и посмотрим, насколько силен аспирант-председатель.

Кабель идет индустрии и есть дело индустрии. От колхоза мы ждем мяса, молока, овощей. Зачем колхозу отвлекать свои кадры (три тетki имеются в виду и технолог) на несвойственные ему функции? Не потому ли огурца нет, что колхозы заняты кабелем и полиэтиленом?

— Мы используем сезонные излишки рабочей силы,— уверенно вступает аспирант, имея в виду все тех же трех теток.— Городу дорого создать новое рабочее место, а у нас все готово, обходится дешевле, отсюда и доходность. И делаем мы только то, что остро нужно промышленности. Ненужного и плохого

колхоз производить не может. Мы помогаем расширить узкие места промышленности!

Лих! Голой рукой не возьмешь. А ну-ка еще раунд.

Комбинат с пивом, гвоздикой, повидлом — он же потребует людей из города. Будете строить жилье и переманивать народ из Клайпеды, где и без того трудности с рабочей силой?

— Надо возвращать крестьянских детей к земле, — профессионально отбивает удар председатель и говорит о любви к природе, шагах по росе, о вкусе хлеба и прочем, что в такой ситуации положено. Просто молодец, отличная школа!

Но пиво, яблочный сок, пусть даже картошка в пакетиках — это же функции минпищепрома! Есть система, сложилась сеть — он что же, в конкуренцию вступать собирается?

— А пусть больше будет в гастрономах. У нас запросы потребителя всегда опережают предложение. Изымать осевшие на книжках деньги! А то человек с толстой книжкой не знает трудовой дисциплины, он неуправляем!

Довольно! Пять. Защитные заклинания достаточно близки к правде, чтоб и крыть было нечем, а простоватая повадка придает доводам особый народный шарм. Кажется, тут деньги будут водиться долго. Если бы мог, если б не лимитировали корма, он занимался бы одной свиной: оператор дает валовки раза в четыре больше, чем выработает цветочница. Но ту часть не растянешь — и он делает маневр промыслами.

Вот и выходит: богатому потому дожди как с гуся вода, что у него всего в досталь и все исправно, у него и микроэлемент держится в норме, и кислотность не шалит, а филиал Кнашиса, как речной толкач, прибавляет ему скорости травяным производством, расфуговав зеленые плантации на три укоса в лето и почти выровняв, значит, непромокаемые, дождеупорные листья травы в продуктивности с ячменем. Диссертация Ярумбаускаса как раз и посвящена агрохимии в травяном производстве — очень серьезная, потом говорил Будвитис, и доказательная работа.

Прощаясь, Кнашис о чем-то просительно говорил с председателем, но скромный аспирант, улыбаясь, покачал головой, на русский это можно было бы перевести — «цыган не купишь».

— Уговариваем его идти директором в опытное хозяйство, — объяснил в машине Кнашис. — Но он-то знает, из каких колхозов оно собрано. Здесь он двадцать лет, все отлажено.

Дожди, таким образом, заливали не колхоз Ярумбаускаса, а иные территории. В частности, «Раудоной жвайгдже» — колхоз «Красную звезду». Обещание Кнашис выполнил, свозил в отстающий, и здесь-то заколдованный круг был в явной прочности. Почвы закамененные, и контур мал, и нагрузка на комбайн втрое выше, чем у Ярумбаускаса, и намолот чуть не втрое ниже, хотя баллы почвы почти равные. И молодой председатель то хватается за один край, то вытаскивает другой, уже ему-то не до диссертаций, и толкач науки особо не приспособишь, потому что он прибавляет скорости вышедшим на чистую воду, но слаб вытаскивать сидящие в болоте возы. Тут и кислотность оскомины набилла, и бор берет свое, и прикупить удобрений не на что, разве что картошка — именно из-за отсталого сорта! — в такое лето уродилась, и шефы-студенты убирают ее, чтоб было чем сажать передовым соседям. Такая вот «Раудоной жвайгдже» и дает разговорам Кнашиса ноты горечи, она-то и делает Жемайтию — скажем так — нечерноземьем Литвы, и сотни миллиметров осадков превращаются в проклятие. Молодой председатель этой «Красной звезды» сопоставления с колхозом Ярумбаускаса встречает усмешкой знающего жизнь, и в этой ухмылке, иронии выдавшего виды и есть, может, твердшее подтверждение, что колхоз действительно засел глубоко.

Мне здесь выписывать секторы замкнутого круга значило бы уже рекомендовать, выставляться умнее и молодого преда, и кого-то в здешнем райкоме, что само уже смешно и глупо, а кроме того — никак не отвечает методи-

ке Будвитиса, чьим гостем я состою. Методика же, в самых общих чертах, считает, что сделать что-либо за колхоз, за его специалистов или за руководящий состав нельзя, а можно только показать, как именно вытаскивается воз, и подставить реальную вагу. То есть по-жемайтийски: «Кто посадил, тот пусть и вытащит».

Странное дело: именно здесь, в литовском пошехонье, увидел я воочию те самые бактерии, что напускают на семена. Нитроген, обрабатывать перед посевом, чтоб на корнях копился азот. Скажи ты, а я думал, что все это существует только в наших статьях! Глубинка, конечно, глубинка, но научные колесики ее сцеплены со всей литовской машиной. Дрожирование семян люцерны — сразу на всю республику. Тему микроэлементов Янина Кнашене тоже ведет за всю Литву. В известковании (в химической то есть мелиорации) сам Кнашис едва ли не главный авторитет. Без Вежайчая Дотнувы уже не представишь. И не может не добавлять самоуважения, что этот-то научный дом от цоколя, от фундамента заложен лично тобою, а расти и усложняться будет он, наверно, века...

Современное хобби: Витаутас и Янина своими руками, пристрастив и детей, отделяли свой дом (казенный, конечно, но построенный для директорской семьи), ухлопали прорву денег в медовую вагонку, какую-то отменную плитку, всяческий дерматин, а за несколько сот вечеров превратили заурядную, в общем-то, кубатуру в комфортабельное гнездо — на зависть, подчеркнем, на зависть всем однокашникам, что пошли по тучной стезе производства, миновав финансово скромную тропку науки. Поди подтруни над жизнью провинциальных кандидатов у такого вот камина, в этаком дизайне! Опять-таки: не могу вообразить, что Будвитис и Ванда месяц за месяцем обшивают стены деревом, клеют плитку в ваннах и совершенствуют туалет, но поколение, учтем, другое, самоутверждение проходит, наверно, иначе, мерки жизни не те.

— А переезжать придется — бросите всю красоту?

— Куда переезжать? Тут работы на два наших века!

Прочный дом — вещь, не скажите, нужная.

VIII

У Будвитиса в обычае такое. Перед каким-то важным докладом собирает заведующих отделами, специалистов опытного хозяйства.

— Каждый из вас — глава правительства. У вас право на одно решение. Прошу быть кратким. Пожалуйста, по часовой стрелке.

И возникает костяк документа.

Мне приглашать некого. Но отпуск к концу, пора подбивать бабки — и надо использовать опыт.

Средний крепкий колхоз — «Ракялта вялена», «Поднятая целина». Поля обширные, уже сродни украинским, подготовлены даже к авиаобработке: воздушная сеть проводов снесена, каналы частью упрятаны под почву. Был богаче, да подгрузили слабым соседом — укрупнение... Председатель Альгис Вишняускас поднимает тут целину шестнадцать лет — строгий ироничный агроном.

Зачин тот же, и — «ваше решение?».

Даже не думает:

— Равное партнерство.

И все? Подробней, тут ведь и решать нечего.

— Вам же коротко нужно. Паритетность, нет младших или старших — только близнецы.

— Ну, развейте, что ли.

— Тогда будет пояснительная записка. Бычьей шкуры не хватит описать.

— А вы штрихами.

— Хорошо. В колхоз приходит новый комбайн. Гарантии нет, хотя отдел контроля прошел. Зато идет инструкция: столько-то дыр заделать, они там и

там — герметизация! Значит, завод отлично знает, где дыры и сколько в них утечет. Мы в ответ захотим отправить прокисшее молоко, прелый ячмень с инструкцией, как можно использовать. Нельзя! Лаборатория, контроль, вернет. И правильно. Но почему можно за полную цену посылать коллекцию дырок? Еще штрих: приходит вагон — разгрузи к такому-то часу, а то штраф. Мы гоним транспорт на элеватор, на сахарный завод, очередь на километры, а нам ничего: за простой и мы потребуем штраф, понимаете?

— Понимаю. Не было так и не будет.

— Еще серьезней — паритетность плана. Увеличили объем закупок. Но что дано под такой рост? Удобрения, техника, бетон? «Выкрутись и обеспечь». Почему выкручиваться должен младший, а не тот, кому нужно мясо-молоко? Сумма делается из слагаемых, и два плюс три не может быть семь, только пять. Когда нужно брать по пять тонн зерна с гектара, по четыре тысячи молока от коровы, естественное плодородие уже не поможет. Не надо мне расписывать до гектара, что и чем занять, у меня у самого диплом — вы наберите столько слагаемых, чтобы действительно вышло семь!

В строительстве он, оказалось, давно мечтает о трех звонках.

— Первый звонок от прораба: «Есть отличный проект коровника, сделаем к зиме, идет?» «Подумаю». Звонит другой: «По знакомству предлагаю новейший, самый дешевый проект... «Надо взвесить». Третий звонок: «К осени сдадим коровник, подписывай договор, завтра пойдет бетон». «Мне надо поглядеть». Самое смешное, что даже мечтать так — чистая и ненаучная фантастика. В сельских делах все имеет срок, не уложился — смерть. Цыпленок выходит из яйца за три недели, а не в три месяца. Урожай зреет восемьдесят, скажем, дней, а не сто пятьдесят. Пропадет и цыпленок и хлеб, если растянуть их циклы, — биология, природа! Строительство же никогда и нигде не завершается в срок. Никогда и нигде! Опасно привыкать к этому, но, кажется, привыкли...

— Думаете, этого будет довольно?

— Для чего?

— Ну, чтоб поднять сельское хозяйство?

— Оно у нас не лежит. Оно идет.

— Я пишу: «равное партнерство».

— А можно и еще короче.

— Как?

— Хозрасчет.

Создав развитую инфраструктуру, имея заделы для интенсивного производства, литовский колхоз требует подлинных хозрасчетных отношений (паритетность) везде и со всеми.

Думаю, и Будвитиса удовлетворит краткость.

IX

— ...в республиках советской Прибалтики — обложные дожди.

— Пора картошку копать, — вздыхает Ванда.

Странно, что погоду не бранят, не проклинают, не костерят. Правда, древний язык ругательствами не богат и самая, говорят, тяжкая брань — это «змея» и «жаба». К облакам или к состоянию полей этой наивной ругани не отнесешь, но неужто нет желания отвести душу?

— Я, очевидно, немного музулман (мусульманин), — говорит Будвитис. — Вот «Бауэрн эко», крестьянская немецкая газета, пишет, что правоверный музулман не может ни прогнозировать погоду, ни ругать ее. Это прерогатива аллаха. Погода — прямое дело бога, и она будет такой, какой ее хочет иметь аллах. Правда, ни Коран, ни тем более Библия не воспрещают принимать человеческие контрмеры. Агроном, ругающий погоду, — это комик: в обществе его на то и держат, чтобы противодействовать плохому в погоде. Экономист,

бранящий природные условия, которые ему достались, есть гороховый шут — правильно я сказал?.. Время великого переселения народов закончилось, и выбирать климаты, почвы, регионы не приходится. А у нас что-то сильно развилась эта тенденция — ругать свою землю и расхваливать условия где-то за морем. Такой год многое переоценит, он должен бы двинуть науку, но для природы это законный, правомерный год. Аллах не нарушал договора — за что же его ругать?

Без мелиорации Литва в такой год была бы краем бедствия, а она, потом узнаю из газет, и хлебный план сдала и молоко удержала. Разрыв между хозяйствами — лидерами и середняками увеличился, и Якштис на одном из активов с цифрами в руках весело доказывал, что год-то был прекрасным. В целом животноводство колхозов удержала культурная, кормленая, непромокаемая трава — итог двух десятилетий.

...И был вечер, и было утро — день отъезда. По закону подлости — лучистый, яркий, такой нарядный от внезапно заалевших кленов, сверкающей травы, светло-голубого неба осенний день, что захотелось разного: по хуторам бродить, навестить лес с ореховой лестницей, разговоривать с ручными лебедями в институтском пруду, есть тминный хлеб и запивать жидким кофе — только никак не запаха вокзала, не толкотни вагона...

Последний рейс с Будвитисом и Вандой в Вильнюс — тоже комплексный. Отвозится гость, навещается сын Саулис, дипломник университета, наносится визит в министерство — отпуск на излете, собралась пропасть дел... С моей же стороны

Три замыслены в Вильне похода...

К серебру. Есть надвратный храм Пресвятой Девы, где исцеленный люд в благодарность заступнице оставлял крохотные серебряные изображения своих десниц, сердец, ног — очень языческий и простодушный католицизм. Храм мал и уютен. Грешный человек, я уже приготовил и фразу: оставляю, мол, свой суеверный взгляд на село — оно не назначено вам в прокормление, а живет для жизни, как все под солнцем.

На башню Гедиминаса — лицезреть град с высоты.

И в ресторан — для почтительного и сердечного тоста благодарности.

Но разве Будвитис переменится оттого, что он в столице, не в Дотнуве? Летаем с берега на берег, с холма на холм, чтоб увидеть и этот бор, и этот квартал Лаздиная, и эту барочную улочку, и святую Анну, изящный костел, каковой удостоился комплимента от галантного здесь Бонапарта, — и едва хватает времени на забегаловку, бройлерный шинок возле рынка, скорый и дешевый, наверняка спроектированный по своим нуждам и взглядам дотнувским хуторянином.

Вот и нет зеленого «жигуля», есть сорок минут до поезда, башня с часами, голуби на мокрой брусчатке и добротная грусть, полноценная печаль расставания.

Ноябрь. 1978.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

МИХАИЛ АРЛАЗОРОВ



ЖИЗНЬ И ДЕЛА КОНСТРУКТОРА ИСАЕВА

Историки второй мировой войны не посчитали 15 мая 1942 года датой особо примечательной: руководители великих держав в этот день не встречались, гигантские танковые прорывы не совершались, ударов по каким-то важнейшим целям стратегические бомбардировщики не наносили. И все же два факта этого дня имели далеко идущие последствия.

Первый из них выглядел очень буднично — истребитель английских королевских военно-воздушных сил «спитфайер», оснащенный фотоаппаратурой, вылетел в сторону Балтийского моря, чтобы разведать положение дел на гитлеровской военно-морской базе Свинемюнде, расположенной на острове Узедом. В северной части этого большого острова (на нем жили и работали несколько десятков тысяч человек) фотоаппараты воздушного разведчика зафиксировали какую-то странную площадку. На фотоснимке были отчетливо видны недостроенные здания и непонятные кольцеобразные воронки. Не найдя изображению доступных им объяснений, дешифровщики охарактеризовали загадочные объекты как «большие строительные работы» и сдали снимок в архив. Если бы они знали, сколько жизней соотечественников станут расплатой за их непростительное легкомыслие!

Другое событие того же дня (подобно первому, и оно не сразу получило широкую огласку) произошло у подножья Уральского хребта. С адским ревом здесь взмыл в воздух опытный деревянный истребитель, у которого не было привычного воздушного винта. По первым буквам фамилий его создателей — Александра Яковлевича Березняка и Алексея Михайловича Исаева — маленький громогласный самолет назвали «БИ». Это был наш первый ракетный истребитель.

Не прошло и двух лет, как между двумя событиями обозначилась бесспорная связь. Она проявилась после того, как руководители английской разведки оценили масштабность зловещей ошибки дешифровщиков. Наверстывая упущенное, они торопились собрать информацию об острове Узедом, где готовилось ракетное нападение на Лондон. Оценив важность проблемы, в ее изучение включили группу серьезных ученых разных специальностей вплоть до советника Черчилля по вопросам науки профессора Линдемана. На протяжении пятнадцати месяцев, минувших с того дня 15 мая 1942 года, над островом Узедом все чаще и чаще появлялись английские разведывательные самолеты.

Небрежность дешифровщиков компенсировали скрупулезностью того, что удалось сделать в эти напряженные пятнадцать месяцев. Тщательно спланированный удар, закодированный названием «Гидра», должен был уничтожить инкубатор змеиных яиц, воздвигнутый на острове Узедом. Ловко обманув командование гитлеровских ВВС, англичане в ночь на 18 августа 1943 года отвлекли к Берлину основные силы фашистской истребительной авиации и направили к северной части острова Узедом несколько сот тяжелых бомбардировщиков, сбросивших свой груз на секретный ракетный центр в Пенемюнде.

Разгром был велик, но немцы оправились, и работа над ракетным оружием продолжалась. Место для его испытаний было выбрано Гиммлером на юге Польши, в Краковском воеводстве. Польский артиллерийский полигон неподалеку от неприметного местечка Близна гитлеровцы превратили в полигон ракетный.

Час встречи конструктора А. М. Исаева с новейшей техникой гитлеровского рейха стремительно приближался. В августе 1944 года загадка Фау-2 перестала быть загадкой. Полигон в Близне захватили советские войска, и знаменитая ракета стала одним из наших трофеев.

«Поспешно покидая междуручье Сана и Вислы, — пишет в своих воспоминаниях маршал авиации С. А. Красовский, — гитлеровцы постарались уничтожить все следы научно-испытательных работ над ракетами Фау-2. Только сплошная аэрофотосъемка местности позволила определить местонахождение основных объектов полигона и других научных учреждений.

Спустя некоторое время прибыли технические эксперты по вопросам ракетной техники из Москвы. Инженерам удалось найти некоторые детали ракеты Фау-2».

В ту пору Фау-2 еще на Лондон не посылались. Немцы обстреливали город самолетами-снарядами Фау-1. Естественно, что англичан, уже кое-что знавших о новом оружии, очень интересовала возможность познакомиться с ним поближе. Черчилль обратился к Советскому правительству с просьбой разрешить английским экспертам осмотреть ракетный полигон в Близне. Советское правительство отнеслось к этой просьбе с должным вниманием. 8 сентября 1944 года делегация английских специалистов посетила Близну, а 5 сентября Фау-2 начали падать на Лондон.

Примерно в то же время с Фау-2 познакомился и Алексей Михайлович Исаев.

«Летом 1944 года в конференц-зал НИИ, — писал впоследствии Алексей Михайлович¹, — внесли груды искореженного железа, перемешанного со стекловатой, электрическими проводами, сплюснутыми коробками, туго начиненными электронной аппаратурой. Это были обломки ракеты Фау-2, привезенные из Польши, которой немцы пользовались как полигоном. Конференц-зал на два месяца превратился в мастерскую-лабораторию, где конструкторы, подобно Кювье, восстановившему по одной кости скелет бронтозавра, по рваным кускам листового железа, алюминия, разбитым агрегатам и электровакуумным лампам восстанавливали новое секретное оружие Гитлера».

Разумеется, в этом восстановлении Исаев не просто сторонний свидетель. Из скромности он умолчал и о своем собственном участии в этом деле, и о своих впечатлениях о Фау-2. По счастью, этот пробел недавно восстановлен. На научных чтениях, посвященных пионерам освоения космоса, проходивших недавно в Академии наук СССР, один из соратников Исаева рассказал:

— Когда Алексей Михайлович увидел доставленный к нам двигатель Фау-2, он обомлел. Потом потребовал лампу-переноску, засунул голову в камеру сгорания и замер. Прошло полчаса, час, а он ни с места. Потом утер пот и сказал: «Мы этим путем не пойдем!»

К тому времени, когда немцы действительно обогнали все остальные страны мира в области ракетной техники (достаточно сказать, что тяга ракетного истребителя «БИ» составляла 1100 килограммов, в то время как двигатель Фау-2 развивал тягу в 25 тысяч), заявление Исаева было актом невероятной смелости. Кто же был этот человек, отважившийся на столь резкие слова отрицания? Что успел он сделать в трудной, тогда еще во многом не исследованной ракетной технике?

В 1944 году конструктору Исаеву было тридцать шесть лет. За плечами у него был пятнадцатилетний инженерный опыт, в котором работа над ракетными двигателями составляла всего лишь два года. Исаев пришел к ней сложным, кружным путем...

В мир техники студент Горной академии Исаев вступил в 1929 году на производственной практике в Донбассе, испытав при этом глубочайшее разочарование. Первую встречу с шахтой описал так:

¹ В книге «Первые шаги к космическим двигателям»; готовится к изданию.

«Тишина, мрак и грязь под ногами. Наши шахтерские лампочки едва освещают толстые бревна, подпирающие своды пород... Оказались в выработанном пространстве — эдакая щель шириной в аршин, почти вертикальная между пластинами... Лампа освещает только ту крепь, на которую ты ставишь ногу. Было бы страшнее, если бы ты видел, как долго ты будешь лететь».

Забойщик, стоя на этих подпорках, крошит уголь, который падает вниз на Osborne доски, пролетая мимо других забойщиков, которые расположены один ниже и дальше другого. Имей в виду, что все это делается во мраке...»

Последующие письма не оставляют сомнений в том, что Исаев, по его же словам, «ощутил свою полную ненужность». Работы производились вручную, механизация была минимальной, механизмы примитивными. Инженерам и техникам оставалась лишь «канцелярская волокита и ругань с рабочими». Размышляя о будущем, Исаев не находил для себя в горном деле ни малейшей перспективы. (Но след в отрасли, к работе в которой готовила его академия, все же оставил: сконструировал страшущее приспособление для спуска клетки.)

Дело, которым он мог бы по-настоящему увлечься, Исаев обнаружил здесь же, в Донбассе. В Енакиеве располагался крупный металлургический завод, эдакий огнедышащий дракон, пожиривший извлеченный из шахт уголь. То, что увидел здесь Исаев, ошеломило его. Он проходил по заводу шесть часов. И поэт, который жил в инженере Исаеве всю жизнь, записал свои впечатления так:

«Это не рудник, где людишки, как кроты, вкапываются в землю, ежеминутно озираясь, чтобы она не придавила их, как мух. Здесь стихия покорена: с металлом обращаются как с кусочком воска. Его плавят, льют, плющат, вытягивают и режут, как хлеб, огромные машины, управляемые одним человеком. Жуткое зрелище даже для такого искусственного человека, как я. За шесть часов я осмотрел около половины завода. Конечно, я еще несколько раз схожу туда...»

Исаев возвратился в Москву в невеселом настроении. В письме к Юре Беклемишеву, лучшему другу, впоследствии ставшему известным писателем Юрием Крымовым, он утверждал:

«Ты спрашиваешь, что такое горное дело? Преподавать тебе основы разработок считаю излишним. Скажу лишь одно — оно совсем неинтересное и к тому же страшно грязное. Оно не требует ни ума, ни знаний, кроме, может быть, арифметики. Инженеру в шахте делать нечего. Пресловутой горной механики в действительности не существует».

Убежденность Исаева глубоко ошибочна, но неверие породило отвращение, и расплата не заставила себя ждать: за два месяца до окончания учебы Исаева с несколькими приятелями не только вышибли из академии как бездельников, но исключили с тяжелой формулировкой — за хулиганство и недисциплинированность.

В первый момент Исаев оскорбился и помчался в «Правду» искать защиты. Ничего не вышло: «Был принят Кольцовым, но защищен не был: учился я действительно плохо».

Надо полагать, Кольцов не поспешил на слова, которые слушать неприятно, а оставлять без внимания невозможно. Исаев понял, что никакие жалобы звания инженера ему не принесут. Он написал на Магнитострой, что ищет работу, и получил телеграмму: «Приезжай примем!»

Проштрафившийся Исаев едет в Магнитогорск исправляться? Нет, не только реабилитироваться, но и доучиваться, зарабатывать самостоятельность, право на звание инженера. Памятуя о производственной практике в Донбассе, Исаев ждал будущего настороженно, однако Магнитострой он воспринял совсем не так, как ту студенческую практику. Письма Алексея Михайловича раскрывают, чем подкупила его Магнитка. Она открыла ему радость творчества, а ради этого Алексей был готов горы воровать...

Дома беспокоились. Исключение сына из академии потрясло профессора Исаева и его жену. Стремление восстановиться в правах и горбом заработать диплом инженера выглядело в глазах родителей актом естественным. Но как встретит Алексея далекий суровый Магнитогорск?

Спустя много лет Исаев рассказал жене подробности встречи с Магнитогорском, о которых старательно умалчивал в переписке с родителями. В бараке ему отвели койку. На ней лежал какой-то парень в сапогах. Белья на койке не было. Но зато свежего воздуха в бараке хватало. Он шел с потолка, где светилась дыра от печной трубы. Ингиной Алексей Михайлович заболел довольно быстро.

Едва минули первые недели жизни на Магнитке, из Москвы пришла телеграмма: «Постановление президиума двенадцатого сентября двоеточие решение Мособкома отменить членом профсоюза оставить дать возможность окончить институт вынести выговор точка телеграфируя получение настоящей телеграммы».

Прочитав это известие от отца, Алексей облегченно вздохнул и попросился в Москву оканчивать институт. Не тут-то было. Не отпустили. И Исаев, не очень огорчившись, продолжал работать. Он уже успел стать патриотом Магнитки.

«Недавно нам в силу образовавшегося прорыва хотели поднести рогожное знамя, — писал он домой. — Так знайте, что многие горняки плакали на собрании и поклялись не допустить позора! Я никогда не думал, что рабочий (конечно, настоящий, а не сезонник) выглядит так, как он на самом деле выглядит. Если нужно, рабочий работает не 8, а 12—16 часов, а иногда и 36 часов подряд — только бы не пострадало производство. По всему строительству ежедневно совершаются тысячи случаев подлинного героизма. Это факт. Газеты этого не выдумывают. Я сам такие случаи наблюдаю все время. Рабочий — это все. Это центр, хозяин!. Я вам пришлю газеты, вы поймете. Разве может быть что-либо подобное за границей? Боже мой! Нет, я счастлив, что живу в Советской России и принимаю участие в стройке гиганта».

С горы Атач, где Алексей Михайлович был начальником буровых, его перебросили в проектное бюро. Новая работа требовала выбора своего направления в технике, а Исаев еще не настолько разобрался в открывшихся возможностях, чтобы выбрать самый привлекательный, наиболее перспективный для себя вариант. Горное дело Исаев отвергает. Не привлекает и возможность поступить в аспирантуру («Недавно я заполнял анкету, где, между прочим, спрашивалось, желаю ли я стать аспирантом в одном из открывающихся в Магнитогорске втузов! Я ответил отказом»). Но отказ от аспирантуры вовсе не означает нежелания учиться. Наоборот, он учится жадно, страстно, увлекается многим, быть может даже слишком многим. Его кругозор расширяется, эрудиция растет, как ни одному аспиранту не снится.

Дается все это с большим трудом. Уж больно неустроен быт. И вдруг сюрприз: один из инженеров, уезжая в отпуск, предложил на время свое жилье. От неожиданно свалившегося счастья у Исаева дух захватило. Вдохновленный переменами своей жизни, он пишет в газету «За индустриализацию» статью, излагая в ней какое-то «совершенно потрясающее предложение». В ожидании того, что «вокруг этой статьи поднимется большой шум», просит родителей покупать газету и следить за публикациями.

Не знаю, покупали ли родители газету (об этом в письмах на Магнитку ни слова), но статья света не увидела. Огорчился ли Исаев? Вероятно, да, но не очень. В ту пору он хватался за многое и менял увлечения очень часто. Неведомую нам идею статьи потеснило желание переквалифицироваться из инженера-механика в инженера-обогатителя.

Вникая в подобные планы, испытываешь разноречивые чувства. Порой невозможно не восхищаться — Исаев сам строит себе дорогу. Курсы обогатителей, на которые он вознамерился поступить, организованы по его инициативе. Алексею Михайловичу предложили на них не только учиться, но и учить — читать лекции по электротехнике и энергетике. Он было согласился, но потом отказался — понял, что одновременно работать, учиться и учить не хватит сил.

«Магнитострой меня многому научит». Но, написав эту справедливую фразу, Исаев с упоением предается постройке воздушных замков: «...следующую после Магнитостроя работу я не мыслю себе иначе чем как в качестве начальника (разрядка Исаева. — М. А.) хотя бы не очень большого строительства. Я уверен, что провел бы его даже сейчас блестяще (разрядка его же. — М. А.), и в уме на-

мечая себе, что бы и как я стал делать... Весьма возможно, что я пойду не вглубь, а вширь, пойду по линии руководства предприятиями и по проектированию целых предприятий...»

Наивно? Самонадеянно? Нет! Целые предприятия стал проектировать через каких-то два-три года. Главным инженером строительства не работал, но стал со временем главным конструктором двигателей. Вот вам и фантазер! Но тогда, на Магнитке, Исаев строил воздушные замки неугомымо:

«Полчаса назад решила моя судьба: я специалист по электрическим железным дорогам. Я давно интересовался электрическими железными дорогами, всегда с трепетом смотрел на трамвай, а здесь, на Магнитострое, серьезно занялся электрической тягой. Прочел несколько капитальных книг по этому вопросу, и мне пришла в голову мысль: по горе Магнитной будут бегать электрические поезда. Для того чтобы построить и эксплуатировать эту дорогу, нужны специалисты, которых Магнитострой не имеет и не будет иметь! Чувствуете? Предложил свои услуги.

Через несколько месяцев я буду здорово теоретически подготовлен. Мне будет не хватать только практики. У нас с точки зрения электрических дорог самая интересная, наверное, в мире дорога. Где есть подобные? В Америке. Должен я их посмотреть? Должен! Конечно! Я еду в Америку!

Мне не стоило большого труда убедить нашего главного механика, очень бойкого, между прочим, слесаря, что, если я не поеду в Америку, Магнитострой потерпит крах...»

Прожектерство? Как сказать. Изучение электрической тяги Исаев объявляет для себя задачей номер один («Это мне нужно, чтобы не сесть в калошу перед спецами и вообще не провалиться»). Он бомбит письмами родителей и младшего брата: книги, книги, книги! И вот перед Алексеем Михайловичем гора книг. Он читает их с жадностью, вникает в прочитанное с наслаждением, но удовлетворения не испытывает — мало! «Очень прошу вас, посылайте мне книги по электрической тяге. Все что можно найти. За любую цену!» Книги помогают осмыслить повседневные практические наблюдения. И, быть может, во фразе «как приятно заниматься не для зачетов» таится ответ на вопрос, почему Исаев так расцвел на Магнитке.

«Не знаю, климат ли это играет роль или что-то другое, — писал он в марте 1931 года Юрию Беклемишеву, — но чувствую себя страшно здоровым. Я ежечасно, ежеминутно, ежедневно ощущаю свое здоровье. Просыпаясь, я с удовольствием ощущаю свои руки, ноги, живот... Подпрыгнув на пружинах, я взвизгиваю от удовольствия и начинаю орать... Я огромным голосом заявляю вам о том, что я молод, здоров, силен душой и телом, иду к победам...

Сейчас у нас нет водопровода, нет умывальника, уборной. Но какая беда! В одной грязной до последней степени ковбойке я выпрыгиваю на улицу, яркое солнце слепит мне глаза, морозный воздух колок и звонок. Я перепрыгиваю с победным кличем через кучу досок, щебня, бетона, бегу по чистому снегу... Я смело хватаю снег, натираю им рожу. В несколько прыжков достигаю двери, вешаю бирку, прыгаю наверх в свой проектный отдел и принимаюсь за работу. Начинается трудовой день, день, с 9 утра и до сна заполненный Магнитостроем, Магнитостроем, Магнитостроем... Мой карандаш слабеет, руки дрожат и падают. Я бессилён. Это грандиознейшая эпопея, романтика последней степени. Для тебя ясно, конечно, что я одержим этим энтузиазмом».

Мажорные ноты наполняют письма с Магнитки. Но через несколько месяцев Исаев потерял было мужество, которым так дорожил. Героическому духу стройки, придававшему силы, сопутствовали и трудности. И Алексей Исаев (не забывайте, ему только двадцать три года) не раз ощущал себя слабым и беспомощным. Потом жизненный опыт научил не сдаваться, но закрыть глаза на юношеские огорчения Исаева невозможно. Они неизбежны даже для самого сильного человека...

«За последнее время я начал сильно уставать от своего энтузиазма и строительства-гиганта, домен, мартенов и всего прочего,— писал он отцу.— Работаю не за страх, а за совесть, беру на себя больше, чем кладет начальство, не боюсь ответственности, не считаюсь со временем. По колдоговору должен получать 425, полу-

чаю — 323... С деньгами прорыв. Хватает на две недели, остальные две стреляю. Надоело стрелять ужас как. Стреляю деньги, папиросы, талоны на обед. Хожу в грязной, пропелотой рубашке и в штанах. Все единственное и потому несменяемое. Мечтаю получить спецовку, но пока не удастся...

Питаюсь сносно в столовых, но вечером у нас ничего не бывает. Пьем пустой чай, хлеба нет — большая очередь. Вообще ничего никогда не покупаю. Живу внутренними ресурсами. Отчасти потому, что некогда, а главное, такое отвращение питаю к кооперации, что даже полчаса в очереди простоять не в силах, предпочитаю ходить без штанов...

Устал я, папа, ведь больше трех лет у меня не было отдыха, с 28-го года. Хочется отдохнуть от этой тяжелой индустрии. Хочется на юг, фруктов поесть. У меня ведь тут никаких фруктов нет. У нас только пыль, жара и постылая промывочная фабрика, строительство которой уже целый год разворачивается и все развернуться никак не может...»

Никто не гнал Исаева на Магнитку. Все могло быть иначе. Инженеры, даже недоучившиеся, нужны были повсюду; их было тогда слишком мало. Будь у Исаева другой характер, жизнь его могла сложиться совсем иначе. Ел бы утром заботливо приготовленный завтрак. Прыгал бы в трамвай, гремевший под окнами, и ехал бы на службу, где проводил бы от звонка до звонка рабочий день, размеренный и упорядоченный. Такую спокойную работу делали изо дня в день тысячи людей, и называли их — совслужащие...

Нет, подобная размеренность не для него.

«Я ни о чем больше не могу думать, не могу при всем желании даже, когда отчетливо сознаю, что если не подумаю о чем-либо другом — то спячу с ума, я не думаю ни о чем кроме первой очереди Магнитостроя...»

Интонация этих строк, написанных округлыми, катящимися, как шары, буквами, рисует нам сокровеннейший момент становления Алексея Исаева — инженера и человека.

«Я руковожу (фактически, а не официально) работой по изготовлению и монтажу металлических конструкций промывочной фабрики.

К 8 утра я прибегаю на стройку, обегаю работы, наставляю прораба, согласовываю работу с бетонщиками и монтажниками оборудования, ругаюсь, пишу служебные записки, составляю планы, разговариваю по телефону, ругаю экспедиторов, железнодорожников, инструктирую конструкторов, пререкаюсь с американцами (в то время на Магнитке работали приглашенные в СССР американские специалисты. — М. А), информирую начальство о положении дел. Потом еду в мастерские, осматриваю работы, укоряю начальника мастерских, даю очередность, инструкции, наставляю мастеров, бригадиров, объясняю чертежи, вношу изменения, останавливаю одно и продвигаю другое и т. д. и т. д...

Потом еду по конторам, архивам, разговариваю, волнуясь, негодую, жду, ругаю, звоню, жду и т. д. и т. д. до 6 вечера, когда я приезжаю домой, обедаю, прихожу в себя и думаю, думаю о том, что я сегодня сделал, что мне нужно сделать завтра, где мне нужно нажать, где слабое место, как ликвидировать надвигающийся прорыв...»

Алексей Исаев писал родным о повседневных будничных заботах, а мы полвека спустя воспринимаем его письма как блестящий автопортрет представителя советской интеллигенции первого поколения, одного из тех инженеров, которые, накапливая бесценный опыт, трудились от зари до зари.

Исаев горд своим положением. Горд тем, что сам себя в него поставил. Сумел выдержать темп и напор работы, неблагоустроенность быта, плохую пищу, всё, что сопутствовало первым новостройкам.

«Выброшен лозунг, — читаем мы в том же письме, — все для домен! И каждый обязан расшибиться в лепешку, но исполнить то, что от него потребуют домы. Заводоуправление перешло на непрерывную неделю, и в общий выходной день все бюрократы и конторские крысы таскают доски у домен, копают канавы у домен, разгружают огнеупор для домен.

Посудите сами: разве не должно мне все остальное казаться болотом... Разве может человек не свихнуться, если он попадает на самую большую, самую ударную стройку Союза, стройку, привлекающую внимание всего мира, и если он работает на решающем объекте этой стройки, а у нас теперь каждый объект решает, и я решаю проблему пуска».

Последняя фраза отнюдь не гордыня. Исаев радовался победам, переживал поражения. Всю жизнь любую работу он принимал близко к сердцу...

«Нет больше удовольствия для строителя, чем удовольствие от быстро, досрочно и хорошо выполненной работы!

Нет сильнее горя, чем от допущенных тобой просчетов, ошибок, ляпсусов, ведущих к прорыву.

А я делаю ошибки. А ведь каждая ошибка — это потеря темпов, это десятки тысяч рублей, это выброшенные человеко-часы.

До чего же тогда делается свет не мил! Ходишь как обалделый!»

Способность признать, понять и проанализировать свои ошибки, редкостная для молодого специалиста, объясняет многое в становлении инженера Исаева. Он не сразу нашупал главную линию жизни, но самостоятельность обрел очень рано. Хватался за многое. Едва достигнув успеха и зарекомендовав себя в какой-то области «обещающим специалистом», бросал. Вроде бы мальчишество—сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Но обратите внимание—ни на одной из этих жизненных тропинок у молодого инженера не было всезнающего шефа, который заботливо вел бы его за ручку. Делая все собственными руками, анализируя успехи и неудачи, Исаев быстро рос, мужал, взрослел, превращаясь, что случается в наши дни не часто и далеко не с каждым, в энциклопедически образованного инженера, умеющего сотрудничать с людьми, делать практически все, что ему поручали, независимо от того, занимался он раньше этими вопросами или нет. Дерзость молодости уступала место скромной, но весомой уверенности в себе, умению рассчитать степень риска, не отступать, даже когда задание казалось невыполнимым.

Так продолжалось чуть более года. 2 ноября 1931 года Исаев приехал в Москву заканчивать Горную академию. К 31 декабря все необходимые зачеты и экзамены были сданы. Алексей Михайлович получил справку, что удостоен звания инженера.

С большим трудом добившись направления в Магнитогорск, Исаев через несколько дней оттуда сбежал. Самовольно уехав со стройки, он стал дезертиром и объявил себя «вне закона».

Чтобы понять этот странный и необоснованный поступок, необходимо внести поправки и на характер времени и на характер Исаева — еще не устоявшийся, экспрессивный. Трудно поверить, что за два с лишним месяца пребывания Исаева в Москве на Магнитке действительно произошли столь разительные перемены, о которых он писал женщине по имени Валентина Степановна:

«Сбежал потому, что увидел не тот наш сумасшедший Магнитострой, глупейшую, хаотическую и разгоряченную стройку, которая так мила моему сердцу,— увидел тихое нудное болото, где люди не крутятся как белки в колесе, а полегоньку, со скучной миной на лицах исполняют свои обязанности. Где... просто служат — отбывают время и получают монету.

Я не мог вынести этого: загнал на базаре часть своего барахла, купил билет и укатил в Москву. Здесь я полтора месяца околачивал груши — никто не принимал меня на работу как дезертира. Это было ужасное время, бесконечное хождение по учреждениям, ожидание начальства по коридорам и как результат — фиаско, фиаско, фиаско. Наконец какой-то главный инженер согласился меня потихоньку взять. Я поехал к нему в так называемый Выксастрой на монтаж маленького завода дробильных машин, расположенного в 300 километрах от Москвы, в стариннейшем городишке Выкса.

Вечером, когда я остался один в номере для приезжающих, я почувствовал, что начинаю глохнуть, что в ушах у меня звон и голову что-то мучительно давит. Я понял, что это: тишина. Было так тихо, как в гробу, как в бутылке. На следующее утро я собрал вещи и укатил в Москву.

Снова бесконечные ожидания в коридорах. Я ждал уже только одного: какой-нибудь работы, хотя бы тоскливой, но я не мог больше ничего не делать. Я ходил по московским улицам и с завистью заглядывал в окна учреждений, где бухи и счетоводы шелкали на счетах.

Я решил отдаться в руки правосудия и получил путевку на Днепрострой...»

Итак, еще одна стройка первой пятилетки — как ее называли тогда, «жемчужина южной металлургии». Начатая проектированием в 1927 году, она стала ровесницей Магнитостроя. В 1930-м на левом берегу Днепра заложили фундаменты первых сооружений днепровского комплекса — «Запорожстали». Исаев снова в гуще событий, сообщения о которых газеты печатают как фронтовые сводки. Прибыв на берега Днепра, он потрясен — Днепрострой неизмеримо грандиознее Магнитостроя, район площадью 400 квадратных километров.

Работа выглядела весьма обещающей, но оклады были ниже, чем на Магнитке, а Алексею Михайловичу предстояло помогать родителям. Плохо было и с питанием: «Для того чтобы прикрепиться к довольно гнусной и дорогой ИТРовской столовой, нужно получить рекомендацию инженерно-технического совета (а я даже не член профсоюза!)...»

После преодоления первых трудностей Исаев с увлечением занялся проектом монтажа перекрытия сталеплавильного цеха. Работа прошла хорошо, письма домой полны бодрости и радости:

«Я вдыхаю жизнь, свои 23 года, как пахнут они, эти замечательные 23, и как хороша земля, какое яркое солнце выливается на нее и воздух — густой звонкий воздух, приносящий удивительные звуки: Чайковскому далеко до танковых паровозов, кранов, экскаваторов²...

Разве плохо в половине шестого проснуться в номере на троих, проснуться от того, что слишком громко начинает кричать стройка — десятки паровозов, кранов, экскаваторов впиывают свои сигналы в открытое окно?

Разве плохо, полившись холодной днепровской водой и выпив ее стаканчик (тогда не чувствуешь голода), уцепиться за буфер рабочего поезда, который доставит тебя вместе с облепившим вагоны народцем прямо из чудного нового города к чертежам, головоломным задачам, к опалубке, к железу, к бетону?

А разве плохо, когда тебя осенит какой-нибудь хороший вариант подъема накладного моста на домну, пробежаться к ней по степи, над которой сейчас поют жаворонки, а через полгода здесь в изобилии будет литься сталь?..

Ведь и завтра будет день, и послезавтра, и еще много-много дней! Вы думаете, что я за эти дни построю только один Днепровский узел? Нет! Заводов хватит. Как будто будет строиться металлургический завод в... Сочи. Неужели меня не будет там? Ошибаетесь, я буду там и еще во многих других местах, потому что мне 23 — только 23!»

Когда проектная работа в техотделе кончилась, Исаеву поручили руководство монтажом домны № 2 и кауперов... «К новым занятиям приступаю с трепетом, — писал он домой. — Ничем похожим я еще не занимался... Приступаю к настоящему делу».

Монтаж увлек молодого инженера:

«Думал, думал, сочинил целый трактат: почему не понимают? Попробовал, ругался, спорил, негодовал, досадовал, решил: надо организовать специальный институт. Увидел объявление: «В клубе ИТР состоится лекция профессора Брами по организации строительных работ», Пришел, и получилось, что я только один пришел.

Однако профессор свою лекцию все-таки прочитал. В нетопленном клубе, для меня одного. И мы с ним проговорили до трех часов ночи. Оказалось, что институт, который я вознамерился открыть, уже есть. Называется Гипрооргстрой. И я махнул в Москву. Просто продал плащ на толкучке, купил билет и уехал».

² Это ощущение Алексея Михайловича особенно интересно, потому что он был человеком в высшей степени музыкальным.

Позвольте, вправе заметить читатель, что-то очень знакомое: то ли я что-то читал, то ли видел. Ощущение справедливое. Прочитать можно было в очерке Анатолия Аграновского «Долгий след», увидеть в фильме Даниила Храбровицкого «Укрощение огня». В предисловии к сценарию этого фильма дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт В. А. Шаталов писал, что людям, знакомым с космонавтикой, нетрудно угадать в собирательном образе главного героя черты характеров и факты биографий С. П. Королева и А. М. Исаева. Вывод Шаталова предельно лаконичен: «Они были первыми. Это сценарий о первых»...

Работа в Гипрооргстрое — качественно новый шаг биографии Исаева. Командировки на крупнейшие металлургические предприятия вырабатывали умение трезво и хладнокровно анализировать чужую работу, «примерять на себя» ошибки и достижения других. Однако через год, узнав, что страна приобрела концессию по добыче каменного угля на Шпицбергене, Исаев решил сбежать в Арктику. Но опоздал — нужных людей уже набрали, навигация кончилась, вместо Арктики пришлось ехать в Нижний Тагил.

В декабре 1933 года Исаев добрался до Тагила. Здесь все было благоустроеннее, чем на Магнитке и Днепрострое. В итээровской столовой кормили вкусно, не требуя прикреплений, оформлений и пропусков. Обслуживали без очередей. В буфете можно было пропустить и рюмочку коньяка, в комнате отдыха почитать газеты, поиграть в шахматы, послушать патефон. Оклад инженеру Исаеву установили тоже выше и к тому же еще предоставили возможность подработать.

Но от такой возможности Исаев отказался. Он предпочел ежедневно два-три часа работать в гараже, чтобы освоить слесарное и авторемонтное дело. Логика его была железной: хочешь, чтобы тебя уважали и любили подчиненные, — не уступай им в практическом умении, ведь личный пример хорошего инженера в ответственные минуты сродни личной храбрости командира в бою.

Спустя много лет, когда Исаев стал конструктором ракетных двигателей, умение делать все своими руками и мужество, которое он проявлял в ответственные минуты, стали приметными чертами творческого почерка. При стендовых испытаниях одного из первых двигателей он резким движением собственноручно вывел его на максимальную тягу. И двигатель заработал. Уверенно заработал под нагрузкой, превосходящей те, на которых его уже успели проверить. Такой рывок грозил взрывом, но, нарушив им же самим составленные инструкции, Исаев позволил себе пойти на риск, которого не мог разрешить своим подчиненным.

Все это придет потом. А тогда, в Тагиле, жизнь была на редкость тихой и спокойной в отличие от предшествующих новостроек. Исаев сыт, одет и обут. Огорчает отсутствие радиоприемника. «Ужасно я страдаю без музыки!» — писал он родным.

В Тагиле Исаев испытывает чувство глубокого душевного покоя. Он живет в коммуналке. Держит общее нехитрое хозяйство с группой соседей по бараку. Народ подобрался славный, все стараются помогать друг другу. В такой обстановке работа спорится.

«Я сейчас занят проектированием механических мастерских, — пишет он отцу, — слесарных, токарных, электроцеха, литейной, кузнечной, котельной для горнорудного хозяйства. Это большая работа, которая была бы под стать инженеру — специалисту по холодной и горячей обработке со стажем не менее семи лет. С моей стороны была наглейшая выходка взять на себя это дело, ибо я не только не имею никакого стажа по этому делу, но и не имею соответствующего образования...»

Таких писем написано не одно. И кокетливых выражений типа «наглейшая выходка» в них рассыпано немало. Исаев рассказывает о бетонном заводе, который группа инженеров проектирует под его руководством: «Это действительно вещь, я еложил в него много остроумия, перешеголял американцев. Когда он будет построен, я смогу им гордиться как лучшим, что было мною создано».

В нем еще сидит мальчишка, честолюбивый, запальчивый. Рассказ о своем опыте (наверное, и в самом деле хорошем) Исаев заканчивает фразой, вызывающей улыбку: «Он получит широкое применение на стройках и прославит вашу фамилию!»

Со временем, когда Исаев показал себя смелым, волевым человеком, инженером высочайшей технической культуры и изобретательным конструктором, приметы юно-

шеского легкомыслия — стремление прихвастнуть, порисоваться — исчезли навсегда. Их вытеснили скромность, продуманность и глубина суждений.

Инженером он действительно был милостью божьей. Мыслил широко, любое новшество осваивал стремительно, машины видел словно под рентгеном. Естественно, что тагильским руководителем Исаев приглянулся. Прошло всего три месяца после его приезда в Тагил, и вот пожалуйста: «Последняя новость дня — я начальник отдела организации работ. Случилось это неожиданно для меня, и я, по крайней мере день, не мог оправиться от удара. Ни протесты, ни мольбы о помиловании не могли смягчить сердца начальства. Я обратился к общественным организациям, в РКК, к трудинспектору, к нашему юристу, но никто не хотел меня поддержать, мотивируя тем, что я себя «показал», что такие нам нужны, что я должен бросить свои ликвидаторские настроения и т. д. Пришлось сдаться на милость победителей и только на нее я надеюсь...»

Другой бы радовался, а Исаев бежит от карьеры. Снова разочарования — «не мое», «не то». А где же это заветное «то»? Как всегда, Исаев настоял на своем. В мае 1934 года он оформил бегунок, приобрел железнодорожный билет и двинулся в Москву.

Широта интересов, темперамент не раз побуждали Исаева к перемене мест. Он старался испытать себя в самых неожиданных, не похожих друг на друга делах, умудряясь за дни делать то, с чем другие едва справлялись за месяцы. Пройденное всегда казалось скучным, трудное, напротив, вызвало озарения, высокий полет мысли. Отсюда бесконечные кочевья, поиски все новых и новых задач, которые формировали его как инженера. Когда наконец Исаеву надоела постоянная перемена мест, он стал подумывать о деле, которое, обновляясь по собственной природе, каждый день приносило бы что-то новое, интересное.

«Я не могу сидеть без дела, — читаем мы в одном из писем Исаева, — точно меня кто-то травит! Что может меня остановить? Мягкая женская рука, которая ляжет мне на плечо? Вряд ли! Женская рука может делать со мной что угодно, но только короткое время. Меня бы остановило дело, работа, обязательно очень большая».

Однажды бессонной ночью 1934 года (и у молодых людей случается бессонница) Исаев занялся переборкой архива.

«Я просматриваю свой архив, — писал он Юрию Крымову. — Передо мной прошла вся наша жизнь. Маленькие клочки бумаги — письма, заявления, записки — восклицали, плакали, кричали и предавались отчаянию.. И я понял, что это была за жизнь!..»

Жизнь — это обед. Заваленный делами биржевик за бумагами не замечает, что он ест прекрасные изысканные блюда. Я ел кашу, но я отдавался ей и чувствовал ее вкус.

Ты помнишь, как мы шли по крымской степи и, когда взобрались на возвышенность, перед нами, как в сказке, предстали глубокие темно-синие заливы, желтые строконечные сопки и черный, корявый профиль Кара-Дага?

Это был дивный мир, который звал нас на неизведанные наслаждения. Нам было по 20 лет, и мы прощались с тем, что оставалось уже за спиной, мы устремлялись туда, за горизонт, и путь, открывшийся нам, казался прекрасным.

Он и сейчас такой, этот путь...

Передо мной развернулась, друг мой, в куче старых конвертов прекрасная панорама. Нет места сожалениям! Мы жили, живем, и еще много конвертов прибавится к этой кучке, которая сейчас кричит с моего стола. Кричит! Она громогласно говорит, что мы жили с тобой насыщенно, полно. В двадцать седьмом, двадцать восьмом, тридцать третьем году мы любили, творили, горевали и радовались. И будем еще: Будем.

А. Исаев».

Внешне лето 1934 года — наиболее спокойный период бурной молодости Исаева. Он живет в Москве у родителей, отдыхая от трудного быта новостроек. Ни забот, ни волнений! Исаеву ясно: собранный им инженерный багаж велик, после разностроннейшей практики он готов к любой серьезной работе. Таковую «свою» работу он, кажется, нашел. Маскируя беспокойство (к задуманному шагу он был не очень под-

готовлен), Исаев писал одной из своих знакомых: «Кроме тебя (конечно, неизмеримо меньше, но все-таки), меня привлекает авиация... Я ведь прирожденный авиастроитель, это я почувствовал еще во чреве матери...»

Но шагнуть в авиацию оказалось непросто. Горный инженер, собравшийся строить крылатые машины, казался кадровикам личностью несерьезной:

— У нас, товарищ, не учебное заведение!

Выслушав это не единожды, Исаев ринулся напролом...

«Уважаемый товарищ директор,— читаем мы в черновике письма, отправленного Алексеем Михайловичем Исаевым летом 1934 года на авиационный завод,— обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к вам с просьбой дать мне возможность работать по самолетостроению.

В 1931 году я окончил механическое отделение Московского горного института, и это стало причиной того, что организации, куда я обращался, отказывались принять меня на ваше предприятие. Между тем я руководствуюсь только желанием стать максимально полезным своей стране и уверен в том, что в самолетостроении смогу с наибольшим эффектом применить свои способности.

Авиацией я увлекаюсь давно и могу сказать, что я в ней не совсем профан. Я не могу доказать вам иначе чем работой в конструкторском бюро наличие у себя конструкторских данных. Во всяком случае, рискнете вы меньшим, чем можете приобрести, ибо вы знаете, что всякое дело движется людьми, горящими желанием это дело двигать. Одного года мне будет достаточно, чтобы стать авиационным инженером и занять «законное место» в авиапромышленности.

Я не претендую на большой оклад и, наконец, на квартиру, которой я обеспечен. Сейчас я совершенно свободен и могу приступить к работе немедленно.

Если мое заявление покажется вам убедительным, попросите секретаря известить меня об этом по адресу: Москва 21, Большая Пироговская, 3, кв. 1, А. Исаеву».

Письмо Исаева сделало свое дело. Директор завода Ольга Александровна Миткевич, женщина умная, волевая, благожелательная, распорядилась принять молодого инженера на работу.

Существенную роль в судьбе Алексея Михайловича сыграла еще одна встреча: на завод почти одновременно с ним пришел профессор Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского Виктор Федорович Болховитинов.

«Он был удивительно жаден до всего нового,— вспоминает коллега Болховитинова профессор В. С. Пышнов,— по характеру прямой, добрый, о таких говорят: человек с открытой душой. И поразительно настойчив в учебе и работе, для него не было слов «не могу».

Став профессором академии, он неожиданно ушел из нее, чтобы создать экспериментальное конструкторское бюро. Вместе с собой увел и группу единомышленников, таких же одержимых, как и он сам...

Потом началась полоса безудержных экспериментов. Болховитинов строил непривычные самолеты с непривычными моторами, испытывал их в полете...»

На завод, где произошла встреча с Исаевым, Болховитинов прибыл с намерением весьма скромным — построить на базе серийного туполевского «ТБ-3» новую, более совершенную машину. Болховитинов назвал ее «ДБ-А», дальний бомбардировщик «Академия», а про работу над ней написал так: «Это была тренировка в проектировании необычного нового: тренировка дерзости и обучения коллектива, не боявшегося никаких заданий».

У Исаева открылась заманчивая возможность пройти полноценную авиационную школу. Готов ли он был к такой учебе? Документы и воспоминания современников уверенно отвечают: да! Эта учеба началась для Алексея Михайловича в группе шасси и механизмов.

«С первого же момента знакомства я почувствовал, что Алексей человек незаурядный,— рассказывал товарищ Исаева по заводу М. А. Беркович.— Когда у нас возникали какие-то неприятности с шасси, мы не всегда оказывались в силах их проанализировать, просчитать. Алексей Михайлович это проделывал тут же, не пользуясь никакими справочниками. Он всегда очень отчетливо представлял картину тех

или иных физических процессов». Болховитинов выделил Алексея Михайловича, оценив и его несомненную одаренность и явную недостаточность авиационных знаний...

Болховитинов как никто другой умел при обсуждении конкретных решений выходить на обобщения. Он красиво, логично, убедительно раскрывал место той или иной конструкции в генеральном направлении развития самолетостроения. Стремясь научить подчиненных грамотному конструкторскому мышлению, Виктор Федорович подсказывал им, что надо прочесть, чтобы отыскать наилучшее решение той или иной задачи. Одним словом, беседы с патроном, как называл Виктора Федоровича Исаев, заполнили не один пробел в образовании Алексея Михайловича. Спустя много лет Исаев охарактеризовал труд Болховитинова короткой, но весомой фразой — «вел свое бюро только новыми, неизведанными путями». Этими нехоженными путями двинулся к своему будущему вместе с Болховитиновым и Исаев...

Самолет «ДБ-А» начал летать осенью. Пока устраняли какие-то дефекты, наступила зима. Как начальник группы шасси и механизмов, Исаев возглавил перестановку машины на лыжи. Чтобы лыжи не болтались в воздухе, их передние концы (так было принято в самолетостроении того времени) прикрепили резиновыми амортизационными шнурами к фюзеляжу. Самолет начал летать с заснеженных аэродромов.

Когда руководители Военно-воздушных сил приехали посмотреть машину, летчик-испытатель Н. Г. Кастанаев набрал высоту, спикировал и вышел на бреющий полет. И вот тут-то едва не случилась беда. Под напором воздушного потока не выдержал слабый амортизационный шнур. Он лопнул, лыжа стала торчком, возник пикирующий момент, пригнувшийся самолет к земле. Кастанаев сбросил газ и вместе со вторым пилотом изо всех сил потянул штурвал на себя. Высота полета была ничтожно мала. Катастрофы избежали чудом.

Узнав о случившемся, Алексей Михайлович за голову схватился. Потом подумал и сказал:

— Когда считал на линейке, ошибся на один знак!

Один знак на логарифмической линейке... Какая страшная цена небрежности! Исаев пришел в ужас. Побледневший, взволнованный, ринулся к испытателям, бормоча какие-то жалкие слова:

— Да ведь я... чуть вас...

И испытатели, поняв состояние молодого конструктора, благодушно заверили его:

— У нас и не такое бывает!

И все же, получив прощение от тех, кого чуть не отправил на тот свет, Исаев не простил самого себя. Формулу «не ошибается тот, кто не работает» счел для авиации совершенно неприемлемой.

Начав свою работу в авиационной промышленности, Исаев собрался было поступать в МАИ. Знакомство с Болховитиновым сломало эти планы. Исаев понял, что у Виктора Федоровича научится большему, чем в институте. Успехи прежде всего определялись интенсивностью учебы. За время работы в ОКБ Болховитинова Исаев принимает участие в создании четырех самолетов.

На самолете «ДБ-А» Исаев не только прошел общий курс авиации, но и получил много специальных знаний в области шасси и механизмов. Следующая машина — «С» (спарка) — расширила представления об аэродинамике. Исаев знакомится на ней и с реактивным двигателем (в помощь двум обычным поршневым моторам Болховитинов собирался поставить на «С» прямоточный воздушно-реактивный двигатель В. С. Зуева). Надо полагать, что на эту тему главный конструктор и его молодой помощник беседовали не раз. Именно тогда Болховитинов поддержал создателей турбореактивного двигателя М. Е. Гиндеса, А. М. Люльку и Г. Е. Лозино-Лозинского, увидев в их изобретении «смену существующих винтомоторных установок». Так Исаеву открылось первое, пока еще маленькое окошечко в гремящий, пышущий пламенем мир ракет, который со временем стал и его миром.

Влияние удивительного болховитиновского ОКБ на личность Алексея Михайловича огромно. Стремление Виктора Федоровича к новому очень импонировало Исаеву. Связь судеб главного конструктора и его сотрудника несомненна. Умело, деликатно

воспитывал Виктор Федорович своего замечательного ученика, быстро, последовательно и точно превращая вчерашнего горного инженера в авиационного конструктора. Исаев расцвел в этом коллективе; как ни в одном из предшествующих.

Третья машина — «И» — для Исаева своего рода дипломная работа. Болховитинов поставил Алексея Михайловича ведущим и по проекту и по постройке самолета — факт в биографии Исаева значительный. Такую работу поручают инженерам широко мыслящим, умудренным, многоопытным. Компонщик должен знать все — от проблем аэродинамики и прочности, определяющих принципиальные возможности самолета, до частностей, с которыми встретятся конструкторы тех или иных узлов. Должен с полуслова понимать двигателистов, вооруженцев, прибористов, эксплуатационников. Его долг жестко и трезво поверять взлеты фантазии любого сотрудника, поддерживать эту фантазию, если она перспективна, и безжалостно гасить беспочвенные замыслы.

На самолет «И» Исаев попал в самом расцвете сил. Ему всего тридцать лет. Он увлечен работой и каждый день на заводе допоздна: не уходит домой, пока все не получается как надо.

Реализуя идеи своего патрона, Алексей Михайлович спроектировал и построил под руководством Болховитинова машину, буквально нафаршированную новинками.

Последним самолетом, построенным Исаевым, стал наш первый ракетный истребитель «БИ» (тот самый, что взлетел 15 мая 1942 года, в день, когда английский разведчик впервые сфотографировал немецкую ракетную базу в Пенемюнде).

«Это был первый советский самолет без винта,— писал по поводу «БИ» А. М. Исаев.— Жидкостный ракетный двигатель обеспечивал огромную скорость при подъеме. Такому истребителю не нужно барражировать в ожидании вражеского бомбардировщика, да у него на это и не хватило бы топлива. Старт — когда противник уже над головой. Две-три минуты почти вертикального полета и атака двумя авиационными пушками. С пустыми баками вниз для заправки — и для нового полета-выстрела».

Все было в этом проекте хорошо, кроме «пустяка». Очень уж несовершенен был жидкостный ракетный двигатель Л. С. Душкина. Его сопло систематически прогорало в критическом сечении даже после того, как 15 мая 1942 года летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи совершил на «БИ» первый вылет.

Вызвав Исаева, Болховитинов поручил ему заботы о двигателе. И как ни многочисленны изгибы судьбы Исаева, этот разговор определил главный поворот его жизни.

Вместе с Виктором Федоровичем Исаев поехал к человеку, имевшему уже изрядный опыт в ракетном двигателестроении,— к Валентину Петровичу Глушко, будущему академику и главному конструктору.

«Глушко не стал напускать туман, устраивать псевдосекреты,— вспоминал впоследствии Исаев,— и охотно раскрыл все свои жердинные тайны. Мы поняли, что постигнуть эти тайны можно: Глушко нам очень помог. Он был нашим первым учителем, и я никогда не забуду того доброго, что сделал он для нас в эти дни.

Под руководством этого человека была развернута так хорошо организованная работа, что прежнее кустарничество не могло идти с ней ни в какое сравнение...»

Для двигателя «БИ» Исаев сделал очень многое — повысил его надежность, исключил вероятность взрывов при запусках, сделал гораздо более долговечным сопло, прогоравшее за считанные секунды. Но дело было не только в двигателе. Недостаточные знания того, какую угрозу несут высокие скорости полета, привели к катастрофе, в которой погиб и самолет и летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи.

Разумеется, «БИ» не единственный самолет, на котором совершалось вторжение в реактивный век. М. К. Тихонравов, Н. Н. Поликарпов, А. С. Москалев разработали и другие проекты. У всех этих машин с предельной отчетливостью обнажалось наиболее уязвимое место — двигатель. Его несовершенство было очевидным. На двигателистов смотрели как на главную надежду авиации, как на людей, способных совершить чудо. Очень уж нужно было летчикам, сражавшимся с гитлеровцами, чтобы скорость их боевых машин возросла.

К созданию двигателей, способных решить насущные для скоростной авиации задачи, Исаев шел с программой, состоявшей всего из двух пунктов: создать предель-

но простые в производстве и эксплуатации конструкции, обеспечить этим конструкциям возможность работать гораздо дольше, чем могли существовавшие. Исаев искренне убежден, что только сочетание простоты с достаточной длительностью работы обеспечат массовость жидкостным ракетным двигателям.

Авиационная глава жизни Исаева завершилась в 1943 году. Небольшая самодельная открытка из обрезка чертежной бумаги с лиловым штампом «просмотрено военной цензурой» рассказывает о возвращении из эвакуации:

«Дорогие родители! В конце апреля или начале мая мы отплываем. Ехать так ехать, сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост. Я бы предпочел ехать осенью, собрав хотя бы тощий урожай со своего огорода, но, как видно, не судьба. Еду с легким страхом. Денег у нас — только долги. Иущества у нас рублей на 300, если найдется охотник, плюс швейная машина, которую мы тщетно продаем всю зиму. Продуктов у нас никаких. Если бы у меня была бы вдобавок паническая жена, дело было бы совсем плохо. Но Татьяна³ обладает счастливым свойством: не ныть, не ахать, не смотреть мрачно на будущее. Она выедет, вероятно, раньше, заедет в Казань. А я, собравши остатки барахла, буду пытаться по дороге из эшелона реализовывать.

Очень жду того дня, когда мы соберемся все на Пироговской. Соскучился я обо всех вас...»

Со временем работу Березняка и Исаева на Урале назовут подвигом. О ней будут писать десятки журналистов. Маленький «БИ», поразивший немногочисленных зрителей, займет достойное место в международных справочниках. Но в ту пору о «БИ» знали лишь единицы. Мало кто знал и Исаева, молодого, обремененного множеством трудностей, полуголодного, как почти все работники оборонной промышленности военного времени, но переполненного смелыми идеями.

Алексей Михайлович понимал: «БИ» не единственное, что он успел за свои тридцать пять лет. Не зря на всю жизнь он запомнил Магнитку, где начинал свой путь инженера. Каждый третий снаряд, летевший в фашистов, был сделан из ее металла, две трети танков, выпущенных в годы войны, в броню одела тоже Магнитка.

Работа, которая ожидала Исаева дома, была ничуть не легче той, которую он вел на Урале. Быть может, даже труднее. Уже давно угас тот жаркий оптимизм по поводу возможности боевого применения «БИ», который так согрел конструкторов в первые военные месяцы. Тогда сотрудники ОКБ верили в близкий результат. К 1944 году все «вот-вот» и «чуть-чуть», оказывавшие такую огромную моральную поддержку, исчезли.

Среди материалов, проливающих свет на то, как работал, возвратившись из эвакуации, Исаев, сохранилась фотография приземистого одноэтажного барака. На давно не отремонтированных стенах осыпалась штукатурка, сделав их похожими на старую географическую карту. В этом бараке размещалась удивительная лаборатория—самыми грубыми, в полном смысле топорными средствами в ней решались тончайшие проблемы «жээрдинной» техники». Здесь разместился двигательный отдел болховитиновского ОКБ вместе с руководителем отдела А. М. Исаевым.

Барак оказался вместительным. В нем нашлось место для огневого стенда, компрессора, гидравлического стенда, на котором испытывали форсунки, помещения для приборов, кладовых и мастерской с двумя токарными станками. Спустя много лет Исаев напишет: «Все были ужасно довольны своим союжением: удобно, автономно, комплексно! А зимой было даже тепло!»

Мерзнуть действительно не пришлось. Сложили две печи и топили их кирпичами, вымоченными в керосине, который получали для испытаний двигателей. Черные хлопья жирной сажи, как бабочки, летали по бараку.

В разработанной им программе Исаев показал себя дальновидным ученым и изобретательным экспериментатором. На неприспособленном оборудовании удалось провести тончайшие эксперименты. Много делалось ошупью, наугад, интуитивно, но число удачных разгадок нарастало, факты выстраивались в систему.

³ Исаев упоминает здесь о своей ныне покойной первой жене Татьяне Николаевне.

И все же знания, открывавшие просвет в первоначально непроницаемой тьме, накапливались ужасающе медленно. Казалось, что барьерам и помехам нет числа. Исаев и его помощники попадали впросак чаще чем следовало. И неудивительно — вся эта компания дерзких молодых людей состояла не из двигателистов, а из самолетчиков. О ЖРД они знали до обидного мало, несмотря на то, что делали этот самый ЖРД.

Какой-то период времени продержались знаниями, полученными от Глушко. Но... не пополняясь, эти запасы иссякли сравнительно быстро, а никаких связей ни с Душкиным, ни с Глушко на этом этапе исаевская группа не имела. До всего приходилось доходить собственным умом.

По сравнению с поршневыми моторами простота принципиальной схемы ЖРД потрясала. Но, вникнув в это дело поглубже, Исаев за мнимой простотой разглядел целый мир, переполненный тайнами. Попытки реализовать простую схему приводили к весьма сложным конструкциям. Стремясь к простоте, Исаев и его товарищи старались отыскать инженерные решения, способные ввести гигантскую силу ЖРД в русло режимов работы, ради которых он и создавался, наращивали время гарантированного безотказной работы, которое устроило бы самолетчиков.

Давалось все это тяжело. Люди, экспериментировавшие с двигателем, дышали опасными парами азотной кислоты. Страшный грохот и одуряющая вонь сопутствовали опасным запускам. Далеко не у всех были даже защитные очки и летные шлемы. Около стенда не было смонтировано ни одного вытяжного вентилятора.

Выполняя эксперименты, важные для всего ракетного двигателестроения, группа Исаева не располагала даже самописцами для записи давлений. Конструкторы выстраивались перед манометрами и по команде одновременно фиксировали их показания. Сами записывали, сами и анализировали свои записи.

К весне 1944 года стенды стали приносить информацию, позволявшую продвигаться вперед. Через Совет Труда и Обороны Болховитинов официально оформил первое задание: разработать и предъявить в октябре того же 1944 года авиационный ЖРД, способный к многократному включению, с регулировкой тяги от 400 до 1100 килограммов.

Реализуя этот замысел, Исаев добился многого. Чтобы приводить двигатель в действие, сконструировали «дуговой пускач». Электроды этого устройства смыкались и размыкались по звонковой схеме, той элементарной схеме, по которой работает любой дверной звонок. «Пускач» был звонком титанов: его мощная искра воспламеняла частицы распыленного топлива, а рев, сотрясавший барак, мог заглушить миллиарды обычных дверных звонков.

Запускался РД-1 беспрекословно, позволял плавно регулировать тягу и выключался совсем не так, как его предшественники. Факел пламени, обеспечивавшего четырехсоткилограммовую тягу, при выключении двигателя словно обрезало. Делали это запирающиеся форсунки, придуманные Исаевым.

Свободный от каких-то укоренившихся представлений, Алексей Михайлович смог посмотреть на многое иными глазами, нежели его предшественники. Сила свежего взгляда, высокая наблюдательность дали обильную пищу здравому смыслу — великодушному качеству, которое мы не всегда умеем ценить в той степени, в какой оно этого заслуживает. Все, вместе взятое, и определило успех. Труды Исаева произвели впечатление. Новичок, не постигший, казалось бы, многих профессиональных тайн, уверенно продвигался вперед.

Сухая камера! Он сделал ее такой за год, а сколько сил, и к тому же безуспешно, отдали его предшественники, чтобы в камере не оставалось смеси керосина с азотной кислотой, отвратительной черной жижи, по поводу которой Исаев сказал мне однажды:

— Мы имели все время готовую к действию взрывчатку!

Вдумайтесь в эти слова. Перенесите мысленно ЖРД со стенда, где между механиками и двигателем установлены солидные броневые листы, на самолет, находящийся в полете... И пока Исаеву не удалось построить двигатель, камера сгорания которого после выключения оставалась сухой, летчик-испытатель возил за спиной «гото-

вую к действию взрывчатку». Запирающиеся форсунки раз и навсегда решили эту острую проблему.

Исаевский ЖРД диким зверем ревел на стенде. По уровню шума он был не менее громогласным двигателем, нежели его ровесники. Все ревели, и он ревел. Не рев беспokoил конструкторов, гораздо более серьезный повод для волнений давал недостаточный ресурс — время безотказной работы двигателя, после превышения которого он мог просто взорваться. И в этом отношении испытания исаевского РД-1 принесли приятнейший сюрприз: ресурс возрос настолько, что для выполнения полной программы стендовых испытаний Исаеву вполне хватило лишь двух двигателей.

Исаеву удалось также ощутимо понизить опасность взрывов, облегчить конструкцию, изменить технологию производства, увеличив надежность и упростив эксплуатацию.

Потом испытания перенесли в воздух, где они были проведены не менее успешно. Запускался РД-1 на самолете безотказно, с пускового режима на рабочий переходил плавно, мягко. Автоматика и все агрегаты действовали вполне удовлетворительно, все данные, полученные в полетах, полностью соответствовали расчетам и результатам наземных испытаний.

Победа? Да, хотя далеко не полная. Самолет «БИ» и его двигатель как бы поменялись ролями. Двигатель перестал быть узким местом, дальнейшее продвижение вперед лимитировал самолет, вернее, его аэродинамическая схема — отсутствие стреловидного крыла, типичной приметы современной авиации.

Конец у всех построенных экземпляров «БИ» оказался одинаковым. Их привезли на завод и спалили в заводской топке. Но сгорали не дошедшие до конвейера «БИ», как сказочная птица Феникс, чтобы возродиться во множестве других конструкций. Эти конструкции настойчиво требовали двигателей...

Именно тогда кончился тот юный Исаев, который стремился объять необъятное. Многие черты его характера перешли в свою противоположность. Стремясь создать необходимые двигатели, Исаев движется как танк — и свершается чудо, чудо сосредоточенности, трудолюбия, изобретательности, умения инженера перевоплотиться в ученого, а ученого оказаться способным найти то главное, в чем так остро нуждался для своих конкретных решений инженер.

ЖРД — двигатель особый. По сравнению с другими двигателями срок его работы ничтожно мал. Виною тому огненная струя, создающая силу тяги. Неизбежный спутник этой струи — высокая температура, стремительно разрушающая двигатель. Чем лучше будет охлаждаться работающий ЖРД, тем дольше он проработает. Размышляя о том, как увеличить время напряженной работы своего РД-1, Исаев исследовал возможное размещение форсунок и строение факела. Обнаруженную закономерность он сформулировал так — «что посеет головка, то и пожнет сопло».

Переделав головку двигателя, изменив расположение форсунок, Исаев на гидравлическом стенде построил своеобразную водяную модель пламени, позволившую при работе двигателя правильно сформировать факел и избавиться, таким образом, от многих кардинальных недостатков.

История ракетной техники не знает другого конструктора, который за два года успел бы сделать так много, как Исаев. Этот успех наращивался, дав Исаеву моральное право осудить немецкую трофейную технику. Исаев высказался против копирования двигателя Фау-2 тотчас же после доставки его из Польши. Впоследствии Исаев напишет: «Конструкторы нашего ОКБ были знакомы с некоторыми образцами немецкой ракетной техники. Мы не пошли по пути воспроизведения этих образцов. Ужасно тяжелая камера, чудовищный турбонасосный агрегат — нам были не по душе эти трофеи».

Высказывания Исаева проливают новый свет на становление послевоенной ракетной техники. То, что Фау-2, высшее завоевание гитлеровских конструкторов, была изучена инженерами стран-победительниц, общеизвестно. Известно и то, что работы над ней были продолжены в Америке главным конструктором Фау-2 Вернером фон Брауном, которому еще при освоении серийного производства этих ракет в гитлеровском рейхе пришлось внести в первоначальный проект 65 тысяч поправок.

Отказываться от опыта немцев, особенно ценного в силу его негативности, было бы неправильно. Не зря говорят, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Фау-2 воспроизвели, исследовали и через год заменили новой, гораздо более совершенной ракетой С. П. Королева.

«ОКБ еще осенью 1944 года, — писал Исаев, — начало определять свою настоящую техническую линию, свою перспективу. Все больше и больше прояснялось, что она лежит не в многоресурсных двигателях, а в двигателях разового применения (то есть не в самолетных двигателях, а в двигателях ракет. — М. А.). И в соответствии с этим начались поиски таких решений, которые отвечали этой задаче. Параллельно с отработкой РД-1М вели другую работу. К ней-то и лежала душа; она-то и поглотила целиком все творческие силы коллектива».

Дорога, которой двинулся коллектив Исаева, была вовсе нехоженой. Один из огневигов исаевского коллектива вспоминает, как в начале 50-х годов, когда дело еще только ставилось и неудача за неудачей преследовали людей, гонявших новый двигатель на стенде, Исаев, хмуро выслушав очередной доклад испытателей, сказал:

— Если бы все было просто, нас бы здесь не держали!

Слова запомнились. И всякий раз, когда огонь не поддавался укрощению, испытатели повторяли их.

Техническое оснащение ОКБ было минимальным (как заметил Исаев, «конструкторы не были развращены производством»). Отсюда стремление к простоте и так часто сопутствующей ей надежности. Исаев вспоминал об этой работе с законной гордостью. Он считал ее началом формирования традиций своего коллектива. Создав двигатель У-1250, Исаев не случайно ввел в его название букву «У». Она обозначала «упрощенный». Алексей Михайлович считал, что этот двигатель не только «создал ОКБ определенную репутацию», но и утвердил «генеральную техническую линию». Принципам простоты и надежности исаевский коллектив никогда не изменял.

Этот двигатель, сделанный Исаевым «для души», настолько опередил время, что ему пришлось дожидаться своего часа. Алексей Михайлович вспоминал об этом в пришедших ему выражениях:

«В тот период для этого двигателя (1946 г.) и объектов-то ракетной техники практически не было. Ракетные ОКБ еще не были практически организованы, но чувствовалось, что их организация не за горами. Герои нашего повествования, почувствовав, что им удалось в части двигателей взять быка за рога, готовились к будущим заказам, которые, как они предполагали, должны были охватить все классы ракет».

У-1250 — основоположник целой династии ЖРД, прародитель конструкций, нашедших практическое применение. Одним из его первых потомков стал двигатель У-400-10, над которым начали работать в конце 1946 года, проектируя его для летающей модели сверхзвукового самолета Матуса Рувимовича Бисновата.

Вспоминая об этой работе, Исаев заметил: «История не сохранила сколько-нибудь крупных неудач». И действительно, все шло гладко, больше того — успешно. 3 июня 1948 года «Правда» опубликовала постановление Совета Министров СССР о премиях, которыми государство отметило авторов выдающихся изобретений и коренных усовершенствований, сделанных в 1947 году. Под номером 28 этого обширного списка сообщалось, что премия присуждена «Исаеву Алексею Михайловичу, главному конструктору по моторостроению, за разработку конструкции нового двигателя для самолетов». К этому газетному сообщению добавим: выдвинул Алексея Михайловича на премию тот, кого впоследствии назовут Теоретиком космонавтики, — Мстислав Всеволодович Келдыш.

Вскоре после этого Исаева поставили во главе коллектива, где он проработал почти четверть века. Ветеран ОКБ Алексей Васильевич Лоров рассказывал, как знакомился Исаев со своими сотрудниками, принимая «фирму».

«А вот и Исаев — плотный человек в потертом кожаном пальто и засаженной кепке. Неужели это главный конструктор? Мнения сталкивавшихся с ним людей диаметрально противоположны. Одни говорят — «самодур какой-то!», другие — «душа-человек!». Прошел слух — нас вливают к Исаеву. Что день грядущий нам готовит? Самодур или душа?»

Вдруг телефонный звонок:

— Говорит Исаев, не зайдете ли вы сейчас ко мне?

Иду, ожидая официального разговора. Вхожу в кабинет. Народу много, все непринужденно беседуют. А где же Исаев? За столом никого нет.

Так вот он! В самом центре сидит верхом на стуле, грудью навалившись на спинку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Вы знаете, что ваш отдел к нам вливают?

— Слышал.

— Так вот, кого, вы считаете, надо перевести к нам? Охарактеризуйте каждого, и не только по деловым качествам, но и по душевным...

Обсуждение кандидатур идет и по-деловому и с шуткой. Вот так «самодур». Да разве может у самодура получиться такая дружеская, веселая и одновременно деловая беседа?

А кто же считает его самодуром? Ах, тот конструктор, который задержал изготовление срочно нужного приспособления и получил за это от Исаева нагоняй! Ну что же, если так — сработаемся...»

Сработались действительно быстро и хорошо. Результаты работы отличные, оценки высокие. В 1956 году Исаеву присвоили звание Героя Социалистического Труда, а в 1958-м его труд был отмечен Ленинской премией. В апреле 1959 года Алексею Михайловичу без защиты диссертации присваивается ученая степень доктора технических наук.

У другого вскружилась бы голова. Но не у Исаева.

Поглядим же — что Алеша,
Все такой же он хороший?..
И в ответ на это «да!»
Говорит его Звезда...

Это строки из стихов, подписанных «Старый учитель». Их преподнес Исаеву к пятидесятилетию Виктор Федорович Болховитинов.

Итак, уже пятьдесят. Исаева поздравляют в этот торжественный день — В. П. Глушко, Л. С. Душкин, С. П. Королев, С. А. Косберг, А. И. Полярный, Б. С. Стечкин, М. К. Янгель... Исаев пополнил, несколько огузнул, стал каким-то большим, угрожающе солидным. Однако изменения были чисто внешними. Держался Алексей Михайлович по-прежнему просто. Как ребенок, радовался, когда что-то придумывал. Не стеснялся признаться, если знал меньше, чем хотели того работавшие с ним люди. По-прежнему подкупал своей искренностью и непосредственностью.

С возрастом стала докучать язва — сказался неустроенный быт 30-х годов. Врачи настаивали:

— Надо питаться в диетическом зале!

Исаев отшучивался:

— Там, где дают один раз пережеванное? Не хочу!

В один прекрасный день решил в соответствие с духом времени обзавестись шляпой. Остановил машину возле магазина и со своими заместителями вошел в торговый зал. Взяв в руки приглянувшуюся шляпу, долго держал ее не надевая — не знал, где должен быть бант, справа или слева. Всю жизнь проходивший в кепке Исаев пытался надеть шляпу впервые.

В своем ОКБ (при становлении этого коллектива самому старшему из сотрудников не было и сорока лет) Исаев пример для всех и во всем. Дела наваливались, но ни одно из них Алексей Михайлович не отодвигал в сторону. Он рисовал компоновочные схемы двигателей, «ходил по доскам», вглядываясь в узлы и детали.

Всему творчеству Исаева был присущ дух коллективизма. Увлекая конструктора той или иной идеей, он вместе с ним сомневался, взвешивал, прикидывал, огорчался и радовался. Иногда, сняв пиджак, и сам садился за кульман. Чертил быстро, сосредоточенно, и, как вспоминают старожилы ОКБ, «движения его были расчетливы, создавалось впечатление, что работает автомат — все было так четко».

Не менее сосредоточенно работал на субботниках и воскресниках по освоению территории, выделенной его коллективу. Поручив кому-нибудь командование, Алексей Михайлович брался за лопату, лом, носилки и неутомимо ворочал, грузил, таскал...

«Однажды во время такой работы,— вспоминает один из его товарищей,— Алексею Михайловичу сообщили, что его в приемной ждет какой-то научный сотрудник.

— Так в чем же дело? Пусть идет сюда!

Через несколько минут к нему подошел солидный мужчина в светлом, тщательно отглаженном костюме, с макинтошем на руке. Они поздоровались, и, выяснив, что интересует гостя, Алексей Михайлович сказал:

— Вешайте макинтош на дерево, беритесь за носилки, и по ходу дела мы с вами обо всем договоримся!

Часа два они вдвоем носили мусор, землю, иногда останавливались, что-то чертили палками на земле, спорили, обсуждали и опять поднимали носилки.

Не знаю, о чем они договорились, но помню, как тепло попрощались. Гость приветливо улыбался — он явно остался доволен исходом встречи».

И все же годы делали свое дело. Исаев стал сдержаннее, молчаливее. Энергия хотя и не убавилась, но уже и не плескалась через край. Исаев точно, расчетливо отмерял нужную для дела порцию сил. От мальчишеской любви к эффектам не осталось и следа.

«Я прославлю вашу фамилию...», «Я начал новое дело, и меня пошлют скоро в Америку...», «Я умнее всех своих сослуживцев и своего начальника...» — читаем мы в письмах Исаева к родным со строительства Магнитки, Днепрогэса, из Нижнего Тагила.

Молодой Исаев был настолько не похож на Исаева зрелого, что при обсуждении этой рукописи соратники Алексея Михайловича, проработавшие с ним не годы, а десятилетия, просто не хотели верить в подлинность писем, приводившихся выше. Но я действительно не выдумал в этих письмах ни слова. Просто в жизни Исаева настало другое время. Из-под окарины выступила прочнейшая сталь...

Перемены в его характере во многом следствие изменений любимого дела. Эпоха кустарщины, рискованных экспериментов, потерь и неудач ракетной техники уже осталась далеко позади.

Успехи ракетной техники изменили и Королева, на плечи которого свалилась огромная тяжесть — ответственность руководителя грандиозной программы, обязанного обеспечить умелый выбор генерального направления, обладающего искусством стыковки ее элементов. В отработку этих элементов, «кирпичей», из которых складывалось грандиозное целое, Исаев внес очень много...

Проектируя жидкостные ракетные двигатели, ОКБ Исаева выполняло заказы и ракетных и самолетных конструкторов. Жидкостный ракетный ускоритель, установленный на самолете, до поры до времени дремал. Продремавший такой ускоритель мог не один полет, а десятки, но зато когда он пробуждался, самолет с включенным ЖРД летал уже совсем по-другому. Такие ускорители показали себя с самой лучшей стороны на широкоизвестных самолетах — ильюшинском «ИЛ-28», туполевском «ТУ-14». Ставились они и на некоторых истребителях А. И. Микояна.

Делал Исаев ЖРД для самолетчиков не раз, и работали они превосходно, хотя в процессе доводок случались и неприятности. Иногда огонь лишь прикидывался укрошенным. Его короткие вспышки на испытаниях, бывало, оборачивались взрывом двигателей. Исаев говорил тогда самолетчикам:

— Будем работать. Разберемся. Исправим...

Исаев довоенный, времен Магнитки или Днепрогэса, произнес бы длинную тираду. Исаев зрелый лаконично выдавал вексель, оплачивая его быстро и полным рублем. Через какой-то промежуток времени, приехав в самолетное ОКБ, Исаев брал кусочек мела, подходил к доске и ровным, спокойным голосом начинал объяснять причины происшествия. Делал он это удивительно четко, размеренно, неторопливо. Человек неопытный ни за что бы не догадался, какие страсти сопровождали рождение доказательных выводов. К концу доклада на доске красовался сложнейший чертеж, выполненный с предельной аккуратностью. Исаев рисовал его как бы между прочим, по

памяти, сопровождая графиками, кривыми, отображавшими процессы, которые интересовали участников совещания.

Острота профессионального зрения — огромная, но не единственная сила Исаева. Был у него еще один важный дар — видеть вещи, проблемы, решения совсем не такими, какими они открывались его предшественникам. Вот почему, изыскивая пути к цели, Исаев, как правило, умел выбирать лучший. Этот талант особенно пригодился в делах космических. Слишком уж многое делалось там в первый раз. А заказчик у Исаева был чертовски строгий, придирчивый, требовательный. Его звали Сергей Павлович Королев.

Пока Исаева мотало по стройкам, Королев упорно держал курс на ракеты. Был он на этом пути бесконечно разным. И военным, и штатским, и ученым, и конструктором, и администратором, и испытателем. Во всеоружии разнообразных знаний пришел Сергей Павлович к руководству содружеством специалистов, объединенных великой идеей покорения космоса. И кто бы ни приходил в кабинет Королева — инженер или биолог, астроном или врач, знаток пластмасс или электроники, — он всегда видел не начальника, а своего брата-специалиста, пусть не знающего все тонкости различных проблем, но зато не ошибающегося в главном. Именно такого партнера ощутил в Королеве и Исаев, когда обсуждалась задача, без решения которой не могло быть и речи о космическом полете человека.

...У Джеймса Олдриджа есть рассказ, который называется «Последний дюйм». Его герой, мальчик, впервые взявшийся за управление самолетом, не раз слышал от отца, что успех посадки решает последний дюйм. Конечно, на самом деле это не совсем так — самолет прощает летчику и большие неточности. Посадка и «последний дюйм» — символы трудностей завершения любого серьезного дела. Задача, которую поставил Исаеву Королев, была задачей «последнего дюйма».

В авиации посадка неотделима от взлета. В космонавтике первое время взлетали, но не садились. Первые корабли без пилотов, отлетав свое, сгорали на входе в атмосферу. Это никого не огорчало. И пока дело не дошло до полета в космос человека, проблемой посадки не занимался никто. Когда же занялись, стало ясно, как много предстоит сделать, чтобы корабль садился с такой легкостью, которую представляли себе авторы фантастических романов.

Прежде чем сажать корабль, надо было погасить хотя бы частично немислимо огромную скорость его полета — 28 тысяч километров в час. Для этого Исаев и занялся проектированием «контрракеты» — тормозной двигательной установки (ТДУ), тая которой была направлена против полета.

На бумаге идея выглядела безупречно. ТДУ замедляла стремительный бег корабля. Корабль сходил с орбиты, под действием силы земного тяготения спускался все ниже и входил в плотные слои атмосферы, тормозившие его бег. Усилив эффект торможения парашютами, корабль можно было и посадить. Но если откажут двигатели тормозной установки и корабль не сможет войти в плотные слои атмосферы, то парашюты ему уже не понадобятся. Исаеву ясно — нормальный запуск двигателя тормозной установки означает благополучное приземление. Отказ «контрракеты» — трагедия, превращение космонавта в пленника орбиты.

Но что же могло помешать выполнению ответственного задания? Алексей Михайлович ответил на этот вопрос быстро и точно — невесомость! А вот насколько серьезна ее угроза, не знал никто. Еще ни один двигатель в условиях невесомости не запускался. Создать же условия для имитации такого запуска на Земле было просто невозможно.

Исаев отчетливо представлял себе ахиллесову пяту запуска двигателя тормозной установки. Топливный бак ЖРД никогда не заполнялся «под завязку». После заправки в нем всегда оставался газовый пузырь. К пузырю привыкли. Он никого не пугал, так как конструкторы, отчетливо представляя себе направления действия перегрузок на разных этапах полета, великолепно знали, как загнать этот газовый пузырь, чтобы он не помешал запуску.

В невесомости все выглядело иначе. Блуждая по баку, пузырь мог занять любое положение, в том числе и такое, при котором газы устремились бы в двигатель, разрушая запланированный режим работы.

Как же призвать к порядку этот проклятый пузырь? Идей выдвигалось много, но при ближайшем рассмотрении все они оказывались уязвимыми. Исаев понимал, что решение должно быть неожиданным и простым. Таким оно и оказалось...

Чтобы горючее без каких-либо помех могло продвигаться в камеру сгорания, Исаев предложил разместить внутри баков мягкие, непроницаемые мешки, расположив их с таким расчетом, чтобы при наполнении газом мешки раздувались, а горючее и окислитель вытеснялись в камеру сгорания. Придумал он и многое другое, исключавшее опасные непредвиденные «шалости» тормозной двигательной установки.

По сравнению с протяженностью полета участок торможения, этот «последний дюйм», выглядел ничтожно коротким. Но обеспечить безотказную работу ТДУ на этом коротком участке было длинным и хлопотным делом. Ошибка могла стоить космонавту жизни. Я не преувеличу, утверждая, что проектирование тормозной двигательной установки следует считать, наверно, самым ответственным делом инженерной биографии Исаева.

«Репетиции» продолжались около года. Для опробования всех систем, в том числе исаевской ТДУ, было запущено 5 беспилотных кораблей, прежде чем удалось произвести такое простое и одновременно невозможно ответственное слово — пора!

Хочется, чтобы читатель ощутил невероятную озабоченность и расчетливую деловитость Исаева в последние перед полетом первого космонавта недели и дни. Алексей Михайлович старался исключить все факторы, все обстоятельства, способные бросить хотя бы малейшую тень на результаты эксперимента.

Один из ведущих конструкторов «Востока» (читатель знает его как Алексея Иванова, автора книги «Первые ступени») рассказывал мне:

— На этой работе я гораздо ближе познакомился с Алексеем Михайловичем и его товарищами. Агрегат Алексей Михайлович делал в высшей степени ответственный и, как все ракетные двигателисты, находился при этом в тяжелейшем положении. Для повышения надежности радиоаппаратуру, приборы, системы автоматики и управления можно дублировать, а наиболее ответственную часть даже троировать. Двигательные установки никакого дублирования не допускали. Отсюда чрезвычайная ответственность Алексея Михайловича,...

Действуя в условиях жесточайшего весового ограничения, Исаев построил серию двигателей-близнецов. 5 из них подвергли суровым огневым испытаниям на полный износ, значительно превысив расчетное время их работы. Одинаковые двигатели и на испытаниях вели себя все как один. Каждый из них словно сказал конструктору: я умираю, не сделав работы, для которой ты меня создал, но зато я освободил тебя от сомнений, любой из моих братьев поведет себя столь же безусловно, как и я...

Тщательно проанализировав результаты испытаний, Исаев поставил шестой двигатель на предусмотренное для него место и доложил, что готов сажать корабль с человеком. Конструкторов ждала дорога на Байконур.

«На подготовку запуска Гагарина,— пишет член-корреспондент Академии наук СССР Б. В. Раушенбах, — поехала, если так позволено будет выразиться, «первая сборная», люди, уже осуществлявшие запуски предыдущих отработанных беспилотных аналогов будущего «Востока», сработавшиеся и хорошо знакомые как с техникой, так и со специфическими условиями космодрома».

Через несколько часов полета самолет, отправленный рейсом, не обозначенным в расписании, привычно приземлился в том месте казахской степи, которое еще не успело приобрести своей нынешней известности. Космодром Байконур еще не был как следует обжит. Полет туда — трудная командировка. И все же Исаев любил эти полеты. Любил, несмотря на язву, докучавшую в дальних поездках. Космодром удивительно напоминал молодость, его первую любовь — Магнитку. Перед тем как запылали домны, там тоже гулял ветер, паслись табуны коней и отары овец, колыхалось бескрайнее ковыльное море.

Вечером 6 апреля 1961 года вместе с другими членами Государственной комиссии, собравшимися на торжественное заседание, Исаев поставил подпись под документом, утвердившим полетное задание первому космонавту,

О том, как происходил этот полет, уже существует целая литература. Чтобы не повторяться, задержу внимание читателя лишь на его последнем этапе, имевшем самое непосредственное отношение к работе Исаева. Этот этап начался 12 апреля 1961 года в 10 часов 15 минут. «Восток» находился над Южной Атлантикой, на подлете к африканскому матерку. По автоматическому программному устройству прошли команды на подготовку бортовой аппаратуры и включение двигательной установки.

— О чем вы подумали, получив сигнал о начале приземления? — спросили Гагарина на одной из первых пресс-конференций.

— О том, что наступил самый важный момент!

И Гагарин в космосе и Исаев на Байконуре в равной степени понимали, что произойдет, если не сработают тормозные устройства. День Гагарина был отчасти и днем Исаева, как, впрочем, и некоторых других выдающихся инженеров.

Исаев прожил в технике долгую жизнь, которую красило не отсутствие трудностей, а умение их преодолевать. Каждый инженер делает это по-своему. Стиль Исаева атакующий, как у истребителя-перехватчика. Он всегда спешил навстречу неприятностям, стремясь ликвидировать их в самом зародыше. Он никогда не уходил в сторону, даже в тех случаях, когда беспорным виновником неудач представлялся кто-то, работавший вне ОКБ. Вот один из услышанных мною рассказов, конкретизирующий особенности исаевского стиля.

«Сдавали мы силовую установку, в которую входило четыре двигателя. И вдруг на летных испытаниях все четыре отказали как один. Проще всего утверждать:

— Виноваты управленцы!

— Нет, — сказал нам Алексей Михайлович, — здесь что-то подозрительное. Ищите у себя!

Стали искать и нашли. Прогорал турбонасосный агрегат. Пламя словно жалом прорезало трубку, подававшую воздух на все четыре клапана. Выслушав наш доклад, Исаев тут же, при нас набрал чей-то номер и сказал:

— Мы сапоги! Вина наша!

Вот за такую честность его очень любили заказчики».

Любой биограф — путешественник в чужую жизнь. В этом необычном путешествии хочется стать тенью своего героя, пройти вместе с ним через всю его жизнь, испытать радость встреч с людьми, которые были ему интересны, людьми, с которыми он делил и радости и невзгоды.

На интересных людей Исаеву везло. Человек яркий, обаятельный, он тянулся к людям незаурядным, и они платили ему взаимностью. Одновременно он и сам притягивал их к себе. Один лишь перечень имен людей, с которыми он контактировал в разные периоды, дает уже представление и о масштабе жизни самого Алексея Михайловича.

Лучший друг его детства и молодости — Юрий Крымов. Учителя — академик А. Н. Колмогоров (он был не только школьным учителем математики Исаева, но и его старшим другом), профессор В. Ф. Болховитинов, академик В. П. Глушко. Заказчики — С. А. Лавочкин, А. И. Микоян, С. П. Королев, М. Р. Бисноват, Г. Н. Бабакин... Каждый из этих людей — личность. У любого из них свой, неповторимо интересный характер. О каждом можно написать увлекательную повесть, не выдумав в ней ни слова. Вот, к примеру, член-корреспондент Академии наук СССР Георгий Николаевич Бабакин, с которым Алексей Михайлович много сотрудничал по разработке космических автоматов. Бабакин был моложе Исаева. В 1929 году, когда Алексей Михайлович завершал учебу в Горной академии, Георгий Николаевич только закончил неполную среднюю школу. Стесненные материальные условия (Бабакин рано потерял отца) во многом определили необычную линию его жизни. Эта линия явно сродни исаевской — такая же ранняя самостоятельность и не меньшие зигзаги судьбы.

Оставив школу, Бабакин не поступил в институт. Да он и не мог этого сделать, так как не имел полного среднего образования. В институте стал учиться позже, восемь лет спустя, заочно; занимался вечерами, когда приходил домой после работы, где командовал большой группой дипломированных инженеров. Но это произошло лишь в 1937 году, а тогда, в 1929-м, молодой человек поступил на радиокурсы Наркомата связи. Окон-

чив их, стал старшим радиотехником сначала в Сокольническом, а затем в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

Вряд ли надо доказывать, как непрост был путь от парков культуры до работы, сблизившей Бабакина и Исаева. Люди, с которыми соприкасался Бабакин, оценили его способности и знания в гораздо большей степени, чем отсутствие документов об образовании. Так произошло неожиданное — старший радиотехник парка культуры и отдыха стал старшим научным сотрудником Академии коммунального хозяйства.

Конечно, и от коммунального хозяйства до космоса дистанция огромного размера, но Бабакин сделал все от него зависевшее, чтобы сократить и этот непомерно длинный участок пути.

«Уже в первые послевоенные годы, — писал на страницах «Известий» доктор технических наук С. Соколов, — Георгий Николаевич начал путь главного конструктора. И вот что характерно: прошло какое-то время — и все ближайшие его сотрудники, мозговой центр ОКБ, стали кандидатами и докторами наук, а он, их научный руководитель, получил степень лишь в шестьдесят восьмом году, почти самым последним из них. Степени, как и другие внешние атрибуты научного авторитета, его не волнуют, не занимают, и отвлекаться от любимого дела, чтобы получить их, он просто не желал...»

И здесь можно углядеть сходство характеров Бабакина и Исаева. Алексею Михайловичу степень доктора технических наук была присуждена без защиты диссертации, а от предложения баллотироваться в Академию наук СССР Исаев дважды (причем каждый раз очень сердито и раздраженно) отказался наотрез.

Исаеву нравились смелость, дерзость Бабакина, подкупала невероятная убежденность в том, что автоматические средства исследования космоса позволяют конструкторам решить любую задачу. Присматриваясь к Бабакину, Исаев не мог не оценить удивительную настойчивость, с которой этот мягкий, интеллигентный человек добивался им же самим поставленной цели.

Лунная программа, в которую включился коллектив Бабакина, — один из пунктов плана, намеченного и последовательно осуществлявшегося М. В. Келдышем и С. П. Королевым. Эта программа развивалась и до Бабакина. В 1959 году были запущены три автоматические станции. Первая произвела научные наблюдения, пролетев в непосредственной близости от Луны. Вторая добралась до ее поверхности. Третья сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны.

После этой разведки следующим этапом покорения Луны стала та мягкая посадка, для которой много и успешно потрудились коллективы Бабакина и Исаева. Это событие произошло 3 февраля 1966 года. Сначала, еще на пути к Луне, корректирующая тормозная двигательная установка (КТДУ) была включена, чтобы уточнить траекторию этого исторического полета. Второе включение было командой на торможение. В 21 час 45 минут 30 секунд станция отделилась и, использовав систему амортизации, плавно прилунилась. Откинулись в стороны стальные лепестки, высунулись штыри антенн. «Луна-9» принялась за работу.

Несколькими минутами позже один из участников эксперимента протянул Исаеву карту района Луны, в котором состоялась посадка, и попросил расписаться. Оставив, как и его коллеги, автограф на этой исторической карте, Исаев с нескрываемым удовольствием заметил:

— Чертовски здорово! Подумать только! До сих пор у человечества была потребность лишь в географических картах, а теперь нужны... как их правильно называть-то? Селенографические...

Не случайно Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР поставили мягкую посадку на Луну рядом с такими событиями, как запуск первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос, первый выход человека в открытый космос.

Отсутствие на Луне атмосферы исключало возможность применения парашютов. Исаев и его товарищи полностью обеспечили торможение, справившись с этим делом и без парашютов.

Настоящий инженер, Исаев быстро и по достоинству оценил новое предложение Бабакина: разработать автоматизированную, дистанционно управляемую лабораторию

и доставить ее на Луну. Сконструировать автоматического геолога, способного не только захватить пробу лунного камня, но и переправить этот бесценный образец на Землю. Чтобы осуществить обратный вояж, Бабакин предложил использовать посадочную платформу прилунившейся станции как стартовый стол для ракеты, возвращающейся с грунтом на Землю.

От подобных идей дух захватывало. Но скептик, сидевший в Исаеве, дитя исполинского инженерного опыта, спешил вылить на голову ушат ледяной воды. Семь потов сойдет, прежде чем разработают эту фантастическую автоматику и запустят на Луну ракету, способную возвратиться в точно заданный район Земли. В этой острой внутренней борьбе скептика с романтиком, великолепно уживавшихся в характере Исаева, победил, как легко догадаться, романтик. Картина, нарисованная Бабакиным, увлекла Алексея Михайловича. Конструкторы продолжили совместную работу.

Один из сотрудников Г. Н. Бабакина, доктор технических наук В. Е. Ишевский, рассказывает, как воспринимали бабакинцы своего коллегу двигателялиста А. М. Исаева:

— У главного конструктора, создателя определенного направления (а Алексей Михайлович был именно таким конструктором), есть свои привычки, стиль, приемы работы Исаев не принадлежал к числу крупных теоретиков, хотя новое слово в своем деле произносил неоднократно. Он обладал острым практическим умом, который выводил его, как говорят в таких случаях, на передовые рубежи техники, позволил создать школу в ракетном двигателестроении. Незведанные пути к какой-то обозначенной цели для него никогда не были помехой. Раз надо, значит, надо! Широкая натура, истинно русский размах, простота в отношениях с людьми, доверие и поразительная творческая смелость делали невозможное.

Опираясь коленками на стул, Исаев почти лежал на раскатанных по столу чертежах, вслух размышляя «со своими ребятами», как он любил называть конструкторов. Зорко всматриваясь в линии чертежей, он спокойно высказывал различные суждения. В такие минуты не было ни начальника, ни подчиненных. Каждый говорил все что думал, и любое предложение рассматривалось с интересом, заинтересованностью, стремлением истолковать его в наилучшем смысле. Никого не ругали за ошибки, ни одна, даже самая несуразная мысль не осуждалась, не объявлялась глупой. Исаев воспитывал в подчиненных умение не стесняться товарищей. Сотрудники Исаева (в этом отношении он подавал им бесчисленное количество примеров) привыкли говорить то, что думали, а свобода мнений не раз порождала неожиданные интересные мысли, оборачивавшиеся практическими удачами.

Исаев не боялся слов «не знаю», «не понимаю». Никогда не стыдился сознаться в неведении, не пытался возвести себя на пьедестал непогрешимого руководителя. Не скрывал ни «от своих ребят», ни от партнеров по очередной теме истинного положения дел. Темнить в ОКБ Исаева считалось в высшей степени недостойным.

Алексей Михайлович не замазывал трудностей, но и не занимался их живописанием. Подобно Семену Алексеевичу Лавочкину, с коллективом которого Исаев сотрудничал неоднократно, любил шуткой разрядить острую обстановку, проявляя благородный, в высшей степени достойный оптимизм. Никогда не падал духом, не отступал перед трудностями.

В делах космических Исаев принимал самое широкое участие и выступал первопродцом неоднократно. Таким он и вошел в историю этого трудного дела, историю, которую еще предстоит написать со всеми многочисленными подробностями, когда факты, отстоявшись, перейдут в полновластное распоряжение историков.

И все же, прежде чем поставить точку в рассказе о деятельности Исаева в космонавтике, хочу познакомить читателя с небольшой, но достаточно выразительной технической справкой. Эту справку мне дали коллеги Исаева по созданию для космического корабля «Союз» сближающе-корректирующей установки. Эта установка из двух двигателей (основного и дублирующего) обеспечивала «Союзу» маневры при движении в космосе и торможении для возвращения на Землю. Как и положено в такого рода справках, текст сух и точен:

«Основной двигатель однокамерный в отличие от дублирующего двухкамерного, снабженного рулевыми соплами, в которые поступает отработанный газ турбины. Этот

двигатель является первым ЖРД с насосной подачей топлива, который позволяет осуществлять безотказный многократный запуск и работать как в течение длительного времени (несколько сот секунд), так и в режиме кратковременных импульсов (продолжительность в десятки доли секунды)».

Эта установка, спроектированная Исаевым, оказалась в центре внимания всего мира. Она безукоризненно справилась со своими обязанностями при реализации программы «Союз» — «Аполлон», как и при всех полетах «Союзов».

К сожалению, Исаев не дожил до дня этого триумфа. 25 июня 1971 года Алексей Михайлович скончался. «Правда» опубликовала некролог, подписанный руководителями правительства, товарищами по работе. Была напечатана и фотография. Исаев полетел на ней очень похожим: старался быть серьезным, а глаза улыбались...

Тот день, когда хоронили Исаева, надолго запомнился городку, в котором располагалось его предприятие. Те, кто жил и трудился здесь, пришли отдать Алексею Михайловичу последний долг. Городок прощался не только с выдающимся конструктором, но и со своим почетным гражданином, с замечательным человеком, коммунистом.

Как всегда в таких случаях, поминали ушедшего. Это были удивительные, в полном смысле слова народные поминки:

- Он знал по имени и отчеству всех сотрудников своего предприятия...
- Не боялся рисковать...
- Умел верить в техническую идею, даже если остальные сомневались...
- Был человеком простым и компанейским...
- Обедал только в рабочей столовой, в порядке общей очереди...
- Умел шуткой разрядить обстановку...
- Не терпел показухи...
- Обожал музыку, особенно Прокофьева...
- Когда возникали трудности, в их преодолении спешил подать личный пример...
- Квартиру имел скромную, а до новой не дожил...

Исаева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле его поставлен памятник. Второй, точно такой же, стоит на территории предприятия, которым он так долго и так успешно руководил.

Гранит и титан, из которых сделан памятник, неподвластны времени. Неподвластны ему и дела этого замечательного человека. Дорога на космодром стала для Алексея Михайловича дорогой к бессмертию



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ЭТА «ГУМАННАЯ» НЕЙТРОННАЯ БОМБА...

Нейтрон был открыт лет сорок назад. До сих пор он исправно служил целям здравоохранения, продлению человеческой жизни. До сих пор...

Теперь предлагают другое. Предлагают, как это делает «Лос-Анджелес таймс», чтобы нейтрон служил другим целям — войне и агрессии. Чтобы он не продлевал, а укорачивал жизнь человека, превращая творца цивилизации, властелина вселенной в «жизу», если употребить жаргонное словечко из лексикона сотрудников пентагоновских ядерных лабораторий. Чтобы он, нейтрон, из рук ученых попал в руки пентагоновских и натовских генералов.

Намерение Пентагона облачить Североатлантический блок в нейтронные доспехи вызвало бурю протестов во всем мире. Но тех, кто устремился в погоню за неким «абсолютным оружием», это не смущает. К чему весь этот шум? — говорят они, следуя каннибальской логике милитаризма. Мы вооружимся нейтронной бомбой. Берите ее на вооружение и вы (и, стало быть, помалкивайте, прекратите вашу кампанию против нейтронного оружия). И давайте вместе «гуманизируем» будущую войну... Именно таков смысл предложения «Лос-Анджелес таймс».

«Принятие русскими на вооружение этих устройств с ослабленной ударной волной и повышенным излучением было бы совсем неплохим делом... Если бы Советская Армия приняла на вооружение тактические нейтронные заряды, результатом этого было бы лишь сокращение числа жертв среди мирного населения в случае войны...»

*«Лос-Анджелес таймс»,
американская газета.*



ЗАЧЕМ?

«Зачем президенту вообще понадобилось ввязываться в историю с нейтронной бомбой?» — спрашивает вашингтонский обозреватель Джозеф Крафт.

В самом деле, зачем? Зачем понадобилась Вашингтону нейтронная бомба?

Нейтронная бомба — детище доктрины так называемой ограниченной ядерной войны. Перспектива создания оружия, которое никогда не «заговорит», не будет пущено в ход, не прельщала и не прельщает пентагоновский генералитет. По его мнению, оружие производится не для того, чтобы залеживаться и ржаветь на складах. Но даже самые горячие головы понимают, что в результате глобального ядерного конфликта можно оказаться на «радиоактивном кладбище». Рискнуть они готовы, но не в такой степени, чтобы стать самоубийцами. Попытать же счастье можно в небольшой, локальной войне, тем более если «обе стороны согласятся придерживаться некоторых условий». Так теоретизировал в 1957 году тогдашний профессор Гарвардского университета Генри Киссинджер, один из авторов доктрины ограниченной ядерной войны. Вот будущие отцы нейтронной бомбы и решили создать подходящее оружие для такой «упорядоченной», «малой» войны, войны на каком-либо пятачке земного шара.

«В кругах специалистов, причем почти незаметно для широкой общественности,— писал в августе 1977 года западногерманский еженедельник «Шпигель»,— уже много лет пропагандируется стратегия применения «малого» ядерного оружия. С появлением нейтронной бомбы эти тенденции вышли из полумрака на арену публичной дискуссии».

Для чего пытаются обосновать «приемлемость» ограниченной ядерной войны? Чтобы приучить народы к мысли о возможности и допустимости применения самого смертоносного оружия. «Нейтронная бомба, — писала итальянская «Унита»,— это са-

мое опасное техническое чудище из всех, ибо оно пытается притупить бдительность, чувство возмущения народов всего мира, которое препятствовало до сих пор — после ослепляющего пламени Хиросимы и Нагасаки — применению атомной бомбы, ядерному пожару, который уничтожил бы человеческую цивилизацию».

В последние годы военно-стратегические ведомства США усиленно занимаются проблемами миниатюризации ядерного оружия. В середине 70-х годов в моду вошло так называемое мини-оружие — атомные боеголовки значительно меньшей мощности, чем изготовлявшиеся ранее. Атомную боеголовку такой «малой» мощности легче выдать за обыкновенный артиллерийский снаряд. И нейтронную мини-бомбу хотят представить как один из традиционных, классических видов оружия, стирающего будто бы грань между тактическим атомным и обычным оружием. Журнал «НАТОс фиштин нейшнс» утверждает, что атомные мини-боеголовки могут быть «использованы в ходе операций без разрешения высших инстанций, без слишком большого риска для наших войск и без риска развязать ядерную войну крупного масштаба».

Миниатюрное оружие — миниатюрная война. Этакое легкое кровопускание... Именно в расчете на такую возможность, упрощающую «громоздкую» и «сложную», по мнению нетерпеливых генералов, процедуру ввода в действие мощнейшей разрушительной силы, и предлагается нейтронная бомба. Таково главное предназначение нового оружия. Но не единственное.

Если уж воевать, рассуждают далее в Пентагоне, то добиваться победы любой ценой. А какой в ней прок, если после нее ничего не останется, ничем нельзя будет завладеть, поживиться? Если победителю не придется въехать на белом коне во владения поверженного противника, полностью разрушенные и надолго зараженные радиоактивностью? Вывод из всего этого один: надо создать такое оружие, которое не наносило бы тотальные разрушения, «щадило» материальные ценности и в то же время не щадило тех, кто эти ценности защищает. Именно с таким «разбором» и должна действовать нейтронная бомба, оставляющая в относительной сохранности материальные ценности, недвижимость, имущество. И что за беда, если при этом не останется в живых все живое. «Район, пораженный взрывом нейтронного оружия, может быть занят войсками уже на следующий день» («Вашингтон пост»). «Рекавери гэп» (этот термин не случайно пущен в обиход американской военщиной), время, необходимое для восстановления объектов на подвергшейся атомной бомбардировке территории, может быть максимально сокращено. «Капиталистическое общество, — отмечала бельгийская «Драпо руж», — создало оружие, достойное своего облика, оружие, которое оставляет в неприкосновенности товары и капиталы, инвестиции и собственность и убивает то, что живет. Это оружие разоблачает тех, кто ставит на первый план вещи, а не человека».

Милитаристские круги США давно уже носятся с идеей создать некое «сверхоружие», «абсолютное оружие», дабы заполучить на него монополию и обеспечить себе военное преимущество. До сих пор, как известно, подобные ставки были биты. Появилась монополия на атомную бомбу — и быстро улетучилась. Появилась монополия на некоторые виды ракетного оружия — и тоже испарилась. Теперь сделана ставка на нейтронную монополию.

Милитаризм перестал бы быть милитаризмом, если бы отказался от изобретения и изготовления самых варварских и изуверских видов оружия. Вспомним: пентагоновская военщина первая использовала напалм против мирного населения Вьетнама. Там же, в Индокитае, впервые было применено биологическое оружие. Вспомним и то, сколько раз на протяжении послевоенных лет из США раздавались призывы сбросить ядерные бомбы на головы народов, не желавших подчиниться «мировому жандарму», — на головы корейцев, вьетнамцев, камбоджийцев, лаотян, арабов. И можно представить себе, как кое у кого уже сейчас руки чешутся от соблазна пустить в ход нейтронное оружие в качестве средства блицкрига — достижения быстрой победы над противником и завоевания созданных им богатств, которые останутся нетронутыми. Ведь это оружие, действующее на ограниченном пространстве, отличающееся большой точностью и меткостью, как бы «приглашает» его использовать. Понятно, почему «Пентагон в бурном восторге от этого нового оружия», как писал американский журнал «Нейшнс».

Не последнюю роль играют и меркантильные соображения. «Сверхоружие» — это сверхприбыли. Это золотое дно для военно-промышленного комплекса, для милитаристского лобби.

Ядерная лаборатория в Ливерморе, штат Калифорния, где вылупилось нейтронное чудовище, принадлежит формально калифорнийскому университету в Беркли, но фактически находится на содержании военных монополий и их обслуживает. У колбы нейтронной бомбы «W-70» (модель 3) для ракеты «Лэнс» стоит «Сэнди корпорейшн», филиал компании «Уэстерн электрик». Ее проекты передаются трем военно-промышленным гигантам: «Рокуэлл интернэшнл» в Лос-Анджелесе (производство стратегических бомбардировщиков, реактивных истребителей и других видов оружия массового уничтожения), ядерно-химическому тресту «Монсанто» в Сент-Луисе и аэрокосмическо-электронной компании «Бендикс» со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Все три концерна, за которыми стоят группировки миллиардеров Дюпонов, Морганов и Мелонов, производят различные компоненты для бомб и боеголовок, поступающие затем на сборку на принадлежащие правительству заводы близ Американо, штат Техас. Так образуется своеобразный замкнутый цикл от ядерной лаборатории до вашингтонской администрации, скрепленный общими материальными интересами и круговой порукой.

И наконец, нейтронную бомбу готовы заключить в свои объятия те, кому не по душе поворот от «холодной войны» к разрядке.

Появление нейтронного оружия как раз в тот период развития международных отношений, когда впервые в истории человечества создались благоприятные условия для согласования международных усилий по обузданию гонки вооружений, приобретает зловещий смысл. Операция «N» — это заговор международной реакции против разрядки и разоружения.

ИХ АРГУМЕНТЫ

Как же повела себя печать страны, «подарившей» миру самое «гуманное» и самое «чистое» оружие? Палитра оценок многокрасочна, есть среди них честные и горькие, негодующие и предостерегающие. Прогрессивные органы печати или умеренная часть буржуазной прессы, не лишенная пацифистских устремлений, квалифицируют новое оружие не как славу, а как «бесславное творение» Америки, как опасное для всеобщего мира явление, все последствия которого едва ли поддаются сейчас точному учету. Некоторые органы прессы и журналисты предпочитают занимать такую же позицию, что и президент: ни отчетливое «да», ни столь же определенное «нет» нейтронной бомбе. Но протестующие или же нейтральные голоса перекрываются дружным хором трубадуров и апологетов нового оружия.

Сейчас уже очевидно, что н-бомбу «раскопали» не для того, чтобы предать анафеме. Ей поют аллилуйю. Ей расточают дифирамбы и панегирики.

И не только в Америке. Бывший министр обороны Китая Е Цзяньин, сохранивший пост в Политбюро ЦК КПК, и бывший заместитель начальника генштаба НОАК Чжан Айпин даже разразились стихами о нейтронной бомбе. «Не так уж тверда легированная сталь, нет ничего таинственного в нейтронной бомбе,— живописуют сановные поэты.— Коль за науку взялись наши герои, то все научные и технические проблемы будут решены».

Прежде всего создатели и рекламодатели нового оружия решили воздействовать на психику обывателя таким доводом: из-за чего, собственно, шум? нейтронная бомба — такое же дитя прогресса, как и все другие. Как усовершенствованная модель автомобиля. Как новая модная шляпка. Как еще один образец жевательной резинки. (Неясно только, почему в США так долго не решались обрадовать человечество сообщением о нейтронном «прогрессе»?) Человечество не может вернуться к каменному топору и сучковатой дубинке.

«Начиная с лука и стрел, тактическое оружие всегда делало упор на действие против живой силы противника», Так аргументирует один из авторов бомбы, Сэмюел Козн.

«Я не поджигатель войны, но такие штуки необходимы для защиты демократии. И вообще, прогресс пельзя остановить». Так аргументирует президент торговой палаты Ливермора Джон Стронг, в ядерной лаборатории которого появилась на свет нейтронная бомба.

«Дальнейшее техническое развитие существующих систем оружия — это постоянный процесс, который идет во всех странах». Так аргументирует одно из западноевропейских правительств.

Обычное, стало быть, дело. Да и как в XX веке отказаться от прогресса? «Было бы глупо отказываться от этого оружия, обладающего такими техническими преимуществами», — приводит «Шпигель» мнение одного из высокопоставленных государственных чиновников.

Один из создателей этого оружия готов ошастливить нас «гуманным» способом распоститься с жизнью.

Во время любой войны, как свидетельствует исторический опыт, наибольшие потери несет мирное население. Пытаясь успокоить общественность густонаселенной Европы, адвокаты нейтронного оружия внушают: действие его будет-де ограничено военными объектами и вооруженными силами, а на мирных жителей почти не распространится. Те, кто способен проглотить эти успокоительные пилюли, могут даже вообразить идиллическую картину: где-то рядом, по соседству бушуют нейтронные сражения, о которых говорил Сэмюел Козн, а вы, скажем, сидите себе преспоконно за утренним кофе или вечером в шлепанцах у телевизора...

Поклонники «гуманного» оружия могут обидеться: к чему их аргументы превращать в гротеск, доводить до абсурда, утрировать? Но утверждал же с самым серьезным видом бывший генеральный инспектор западногерманского бундесвера Гарольд Вуст, будто нейтронная бомба «гарантирует покой и безопасность Запада». Однако если эта бомба что и гарантирует, то наверняка покой кладбищенский. Во всяком случае, в Пентагоне уже подсчитали: в случае тотальной ядерной войны (а в такую войну неизбежно выльется любой конфликт с применением нейтронного оружия) в Западной Европе расстанутся с жизнью 100 миллионов человек.

Тем не менее «компетентные» генералы прославляют «моральное оружие», а проатлантическая печать подхватывает эти панегирики. «Применение нейтронной бомбы во время войны обеспечило бы больший военный успех с меньшими пагубными последствиями для мирных жителей», — с апломбом уверяет верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Александр Хейг. Генерал демагогически вопрошает: неужели критики нейтронного оружия могут выступать за «более грязное оружие большего калибра»?

Однако и в апологетике нейтронного оружия концы с концами не сходятся. Министрство обороны ФРГ решило в специальном заявлении взять под защиту от критики «капиталистическое» оружие, сохраняющее материальные ценности. И авторитетно заверило, что это оружие обладает в пределах зоны действия «всеми разрушительными эффектами обычного ядерного оружия». Коли так, где же тогда особый «гуманный» характер нейтронной бомбы? «Говорят, что это гуманная бомба», — пишет американский ученый-физик Герберт Сковилл. — Но ведь она гуманна только по отношению к зданиям».

Буржуазная пресса откопала в нейтронной бомбе столько «достоинств», что можно подумать: это само совершенство, которым облагодетельствовано человечество. Во всяком случае, «лучшая» его часть — НАТО. Судите сами. «НАТО сейчас, — пишет та же «Нью-Йорк таймс», — находится в самом тяжелом положении из-за отсутствия надлежащего тактического ядерного оружия». Но бедной НАТО нечего бояться, если у нее есть опекун, готовый раскрыть над нею нейтронный зонтик.

Пентагон приклеил к нейтронной бомбе яркую рекламную этикетку: лучшее антитанковое средство. Отныне Западной Европе есть чем защититься от армад советских танков и бронетранспортеров, которые только и ждут сигнала для атаки. «Нейтронные бомбы представляют собой интерес прежде всего как оборонительное средство в случае его использования на собственной территории. Если эти заряды будут поставлены на вооружение сил НАТО, они будут предназначаться для уничтожения экипажей вторгшихся русских танков, одновременно позволяя свести к минимуму

потери среди мирных западногерманских жителей и разрушение городов, в которых они живут». Этот рекламный проспект, изложенный все той же «Лос-Анджелес таймс», был десятикратно, стократно, тысячекратно повторен во многих американских изданиях, широко распространяемых в Западной Европе. Цель — внушить, что именно она, а не США, «особенно заинтересована» в производстве нейтронного оружия. Реклама сработала. Ее подхватили и в военных, и в политических, и в журналистских кругах Западной Европы.

Больше всего обрадовались, разумеется, западногерманские генералы. Ведь у них свои виды на ядерное оружие. «Нейтронное оружие обесценивает советские танковые армии!» — возликовала западногерманская «Франкфуртер альгемайне», известная своими тесными связями с боннским генералитетом. Вообще нейтронную бомбу стремятся преподнести во всех ипостасях оборонительного оружия, как панацею от всех бед, угрожающих «свободному миру».

Говорят, что нейтронное оружие — всего лишь «средство выравнивания» существующего неравновесия между двумя военно-политическими группировками в Европе. Этот аргумент, как и другие, был изобретен и пущен в обиход пентагоновскими и натовскими штабами и центрами милитаристской пропаганды. Обосновывая в интервью «Франкфуртер альгемайне» нейтронную стратегию Пентагона, А. Хейг ссылаясь на «необходимость создания равновесия» с государствами — участниками Варшавского Договора. Можно было бы привести немало — и весьма авторитетных — свидетельств того, что НАТО не к чему стремиться к подобному равновесию, ибо оно уже существует в природе. Между Варшавским Договором и НАТО зафиксирован приблизительный военно-стратегический паритет, который относится как к ядерным, так и к обычным средствам ведения войны, — таково весьма распространенное мнение в Европе и за ее пределами. Но натовским лидерам выгодно прибедняться, когда заходит речь об оснащении Североатлантического блока новым оружием. И вот уже А. Хейг в том же интервью пытается внушить, что НАТО придется обзавестись, помимо нейтронного, еще многими видами оружия, прежде чем альянс сравняется по мощи со своим контрагентом. «Ни нейтронных бомб, ни оружия, обладающего большой точностью, недостаточно для того, — норовит встать в позу бедного родственника генерал, — чтобы установить необходимое равновесие с Варшавским пактом».

Известно, что в основу натовской доктрины сдерживания положен фактор устрашения. Благодаря нейтронной бомбе поблекшая было натовская доктрина переживает свой ренессанс. Председатель ХДС Гельмут Коль изрек в интервью радиостанции «Дойче велле»: «Мы убеждены, что нейтронное оружие придает новую силу устрашению».

Политика устрашения не столь безобидна, как пытаются порой ее представить. «Дело в том, что чем больше устрашение, тем, как правило, больше вероятность войны». Так считает Хорст Афхельдт, один из сотрудников видного западногерманского ученого Карла Фридриха фон Вайцеккера. Мир не может быть прочен, если строить его на таких шатких основах, как устрашение и равновесие страха.

Пытаясь всеми способами узаконить нейтронную бомбу в глазах мирового общественного мнения, ее адвокаты выдвигают еще и такой аргумент: зачем Западу отказываться от нового оружия, если за него можно кое-что выгорговать, вырвать у Советов? Нет, мол, ничего худого в том, если бомба ляжет на стол переговоров в Вене или Женеве, заставив Советский Союз и его союзников расформировать свои танковые части или демонтировать ракеты.

«Было бы абсурдно, — рассуждает генерал А. Хейг на страницах итальянской газеты «Темпо», — если бы западные страны заранее и в одностороннем порядке отказались от современных систем вооружений, которые явились бы лучшим средством воздействия на русских, побуждая их вести переговоры об эффективной стабилизации, а возможно, и о сокращении ядерных и обычных арсеналов вооружений».

Генерал передергивает, ставит все с ног на голову. Советский Союз не предлагает, чтобы Запад односторонне отказался от нейтронного оружия. В предложении СССР речь идет о взаимном отказе от производства этого оружия. Именно это и предусматривает внесенный социалистическими государствами в же-

невский Комитет по разоружению проект Конвенции о запрещении производства, накопления, развертывания и применения ядерного нейтронного оружия. Социалистические страны, предлагающие широкую программу как ограниченных, так и радикальных мер разоружения вплоть до всеобщего и полного, не нуждаются в чьих-либо побуждениях к этому, тем более со стороны тех кругов, которые в свое время стали зачинщиками гонки вооружений, а ныне пытаются заполучить полную свободу рук для ее дальнейшего бесконтрольного форсирования.

Пронатовская пресса по обе стороны океана сейчас муссирует и пытается сделать respectable такую версию. Пройдет года два, прежде чем военно-промышленный комплекс наштампует столько нейтронных бомб и снарядов, сколько понадобится для того, чтобы наштамповать ими Западную Европу. И это время можно было бы использовать для переговоров с Востоком о разоружении. А точнее, для нажима на Советский Союз и его союзников с целью вырвать уступки и обеспечить для Пентагона и НАТО одностороннее преимущество. Москве великодушно предоставляется «порядочный срок для того, чтобы Советский Союз мог объявить о своей готовности сократить свой перевес по обычным видам вооружений», как полагает один из видных политических деятелей ФРГ. Пойдет Восток на это — тогда Запад, возможно, не станет развертывать нейтронное оружие. Не согласится на условия Запада, не сократит в одностороннем порядке свои обычные вооруженные силы — этому оружию будет открыта зеленая улица.

Вчитаемся в то, что пишет корреспондент «Вашингтон пост» Дж. Робинсон из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. «Соединенные Штаты предложили своим европейским союзникам использовать спорную нейтронную бомбу в качестве козырной карты на торгах» в попытке добиться прекращения Советским Союзом развертывания одной из его ракет. «Секретная стратегия предусматривает усилия по получению уступок СССР в обмен на соглашение не производить новое американское оружие». Если СССР отвергнет предложения, как того ожидают (!) многие американские официальные лица, «станет политически легче продвигаться вперед как с производством, так и с развертыванием оружия... Военные лидеры здесь и в США поддерживают такой шаг».

Другими словами: выставляются заведомо неприемлемые требования, ставящие Советский Союз в неравноправное положение, в невыгодные условия. Москва, естественно, с этим не соглашается, чего, собственно, и ожидают в США и в НАТО. И тогда там с гордым видом заявляют: мы вам предлагали почетный выход из положения, вы наши предложения отвергаете, и нам не остается ничего другого как производить нейтронное оружие и размещать его в Западной Европе.

Итак: или Советский Союз и его союзники разоружатся так, как это угодно Западу, на продиктованных им условиях, или в Пентагоне и НАТО возьмутся за производство и дислокацию нейтронного оружия.

Нейтронное оружие в качестве средства разоружения... Или в качестве «мотора на переговорах о разоружении», как выражается представитель фракции свободных демократов в боннском бундестаге по вопросам политики безопасности Юрген Меллеман... Вот уж это действительно настоящий абсурд! Ведь это все равно что сказать: для продвижения вперед по пути разоружения нужны не меры ограничения и сокращения вооружений, а новые системы и типы оружия, не добрая воля к разоружению, а развертывание материальной базы подготовки войны.

Советский Союз готов вести переговоры о нейтронном оружии. Но предметом и целью их должен быть взаимный отказ от производства этого оружия. Если же с Москвой хотят разговаривать с позиции нейтронной силы, шантажа и диктата, то это занятие никчемное. Нейтронный козырь будет бит, как до сих пор были биты все пентагоновские и натовские козыри, с помощью которых пытались переиграть партнеров по переговорам о разоружении и заполучить односторонние выгоды.

Насколько эффективным оказалось нейтронное «промывание мозгов»? Недооценивать его влияние было бы заблуждением. Части населения удалось, безусловно, внушить, что нейтронное оружие имеет право на существование. Как модернизированное средство обороны Западной Европы от «советской военной угрозы». Как средство устранения танкового «перевеса» и других «диспропорций» в обычных силах в пользу Варшавского Договора. Как средство устрашения, которое, дескать, поз-

волит избежать худшего в Европе. Удалось посеять иллюзию, будто нейтронное оружие хотя и зло, но зло необходимое, неизбежное, приемлемое, что с ним все же лучше и для Запада безопаснее, чем без него.

Но апологеты нейтронного оружия оказались не в силах добиться того, чего они так хотели: чтобы доводы за перевесили доводы против. Давно уже известно: кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает. У пропагандистской кампании в защиту пентагоновской новинки оказались и свои издержки и свои побочные эффекты, включая так называемый эффект бумеранга. Если ей что и удалось неопровержимо, на все сто процентов доказать, так это «военную полезность» нейтронного оружия. Но подобными «привлекательными качествами» могут восхищаться лишь завзятые милитаристы. И если какая-то часть населения Западной Европы и США, не имеющая достаточного иммунитета против «облечения» пентагоновской и натовской пропагандой, уверовала, что в лице нейтронной бомбы она получает заступницу от «советской экспансии» и гарант своего самосохранения, то широкие круги общественности, не принимающие слепо на веру подобные аргументы, сумели распознать несостоятельность и опасный характер рекламы заокеанского «сверхоружия», его агрессивность. И хотя многие буржуазные средства массовой информации постарались приглушить предостерегающие голоса, они тем не менее прозвучали.

Военные, политические и идеологические толкачи нейтронной бомбы не ожидали, что она встретит столь мощное противодействие в общественных кругах и прогрессивной прессе. Поначалу они рассчитывали узаконить и навязать это оружие с минимальной затратой пропагандистских средств, без излишнего шума, без широкой огласки, не будоража антимилиитаристские настроения и не вызывая огонь на себя. Но стратеги-идеологи военно-промышленного комплекса переоценили свои возможности и недоценили силу общественного сопротивления. Нейтронная «кавалерийская атака» на крепость общественного мнения, которая, как ожидали, будет взята быстро и без особых потерь, захлебнулась. Общественность активно вмешалась в вопрос, который считали исключительной прерогативой военных штабов. Из их рук, из рук правительств вопрос о нейтронном оружии перешел в руки народов. И это сразу же спутало все карты его апологетов.

Уже в октябре 1977 года, то есть спустя всего три месяца после «утечки» информации о нейтронной бомбе в Вашингтоне забили большую тревогу по поводу того, что сбыть ее не удастся. Ричард Бэрт писал в «Нью-Йорк таймс» о том, что в Пентагоне и Белом доме неприятно удивлены и разочарованы спорами в Западной Европе вокруг предназначенного для нее оружия. В Вашингтоне болезненно восприняли «смятение, которое вызвала программа производства нейтронной бомбы», и тот факт, что обычный механизм консультаций с союзниками по НАТО не срабатывает. Чтобы преодолеть «неуверенность западных европейцев в ценности этого оружия» и рассеять их беспокойство, писал Ричард Бэрт, «правительство США усиливает свои попытки разъяснить техническое и политическое значение этой системы оружия» в Западной Европе. Тогда же шеф Пентагона Гарольд Браун дал волю своему раздражению по поводу «одностороннего и упрощенческого подхода» Западной Европы к планам производства в США нейтронной бомбы.

В то же время и в натовских кругах Западной Европы обратили внимание — не без некоторого раздражения — на недостаточное, с их точки зрения, пропагандистское обеспечение операции «нейтронная бомба». Эта проблема, заметил министр иностранных дел Бельгии Анри Симоне, «с самого начала была неправильно подана американцами», что вызвало, по его мнению, «мощную пропагандистскую кампанию стран Варшавского Договора». Корреспондент лондонской «Файнэншл таймс» Дэвид Бакен сообщил в октябре 1977 года из Брюсселя, что нейтронная бомба спокойно прошла бы «процедуру утверждения, если бы печать США и Европы не подхватила этот вопрос». Надо полагать, Дэвид Бакен имел в виду не ту прессу, которая в течение многих лет скрывала зловещие планы изготовления пентагоновского «сверхоружия», а потом попыталась придать им респектабельный вид. Заслуга в том, что решение о производстве нейтронной бомбы и ее размещении в Западной Европе откладывается, принадлежит не в последней степени демократическим

органам печати, которые сорвали с этой бомбы чехол оборонительного оружия и призвали общественное мнение объявить ей решительную борьбу.

Натолкнувшись на сопротивление, в Пентагоне и в НАТО решили серьезно взяться за реабилитацию варварского оружия. В бой были введены крупные силы, все пропагандистские резервы. Уолтер Пинкус, корреспондент «Вашингтон пост», ставший одним из экспертов по делам, связанным с нейтронной бомбой, оповестил в декабре прошлого года, что «армия усиливает свою кампанию по рекламе вызывающего противоречия нейтронного оружия».

В феврале 1978 года в Мюнхене под эгидой Пентагона и НАТО было проведено двухдневное «военно-исследовательское заседание» Североатлантического блока. В совещании приняла участие военная, политическая, дипломатическая элита этого альянса, в том числе журналисты, пользующиеся его особым доверием, — всего около ста человек. В Мюнхене прозвучали жалобы на недостаточную «рекламную работу» в пользу новых систем оружия, «престиж которого падает», и призывы выправить положение. Участники заседания сосредоточили свое внимание на поиске и разработке более эффективных методов и способов подачи затеваемых в НАТО мероприятий вроде оснащения ее arsenалов нейтронным оружием.

Мюнхенский инструктаж лег в основу всей последующей пропагандистской деятельности НАТО в пользу нейтронного оружия. Она стала более массивной и изощренной. Информационные службы Североатлантического блока и близкая к ним пресса, как бы наверстывая упущенное, с утроенной энергией взялись за обработку общественного мнения, пытаясь склонить чашу весов на сторону нейтронного оружия. Во многих столицах стран НАТО были проведены пресс-конференции лидеров этого блока. Их статьи и интервью заполнили страницы самых крупных и влиятельных буржуазных газет.

Кроме защиты и рекламы нейтронного оружия, на атлантические и проатлантические средства массовой информации была возложена еще одна функция: развенчать и дискредитировать мощное движение сторонников мира против бомбы-убийцы. Словно по сигналу из одного центра целый ряд органов американской, западногерманской, английской прессы начал трубить о том, что антинейтронное движение европейской и мировой общественности, дескать, отнюдь не спонтанное, не стихийное, а инспирировано и организовано Москвой. В роли то ли импровизированного, то ли вдохновленного кем-то инструктора выступала на сей раз американская «Крисчен сайенс монитор». Русские, мол, боятся «хорошего оружия». Они хотят внушить общественности США и всего западного мира, что страна, производящая бомбу-человекоубийцу, не имеет права говорить о защите прав человека. Желают они также и «усилить разногласия в НАТО». Из этих побуждений Москва-де и организовала на европейской и мировой арене «пропагандистскую кампанию небывалых масштабов».

И один и тот же мотив зазвучал на разных языках.

Лондонская «Таймс», обнаружив в движении против нейтронной бомбы все ту же «руку Москвы», заявила, что эта кампания «тщательно инспирируется таким образом, чтобы играть на лучших чувствах Запада». Мальто Ольшевский в австрийской «Арбайтер-цайтунг» обвинил противников нейтронного оружия в «верности Москве». Западногерманские «Вельт», «Франкфуртер альгемайне» и некоторые другие органы печати дружно заговорили о «пронсках русских».

Все, что было сказано и говорится против нейтронного оружия, все протесты различных общественных организаций, обществ в защиту мира, церковей, даже заявления политических деятелей Запада начали третировать как «московскую пропаганду». Арно де Борчгрейв на страницах американского журнала «Ньюсуик» договорился даже до того, что, мол, любой, кто выступает против нейтронной бомбы, «выглядит как агент Москвы». Всенародное движение против этого оружия, поднявшее на ноги всю Голландию, где собрано свыше миллиона подписей под петицией против нейтронной бомбы, Арно де Борчгрейв пытается третировать как «страшную шумиху», поднятую опять-таки по наущению Москвы.

Надо отдать должное прогрессивным кругам и демократической прессе, а также умеренным органам буржуазной печати: они не подхватили провокационную и оскор-

бительную для всех сторонников мира выдумку. «Аргументы против нейтронной бомбы нельзя отвергать только как советскую пропаганду»,— резонно заявила в передовой статье датская газета «Информашон». По мнению газеты, на самом Западе выдвинуты достаточно существенные и беспорные аргументы против этого оружия.

МИНИАТЮРНАЯ БОМБА И «БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА»

Она такая маленькая, говорят поклонники нейтронной бомбы. И, мол, совсем не заслуживает того, чтобы стать предметом широкой и бурной международной дискуссии, яблоком раздора между Востоком и Западом. Не стоит того, чтобы из-за нее скрещивать и ломать копыя, драматизировать ситуацию и обострять конфронтацию. Большой спор вокруг маленькой боеголовки, считают ее поборники, носит излишне эмоциональный характер.

В самом деле, оружие повышенной радиации вызвало повышенную реакцию и возбудимость, повышенную тревогу всего человечества. И дело здесь не только в эмоциях, хотя они совершенно естественны, когда речь идет о судьбах мира, судьбах цивилизации. Ведь нейтронная бомба, как совершенно справедливо пишет в редакционной статье «Крисчен сайенс монитор», «помогает привлечь внимание к тому факту, о котором никогда не следует забывать, — об идиотизме и ужасе войны». Дело не столько в эмоциях, сколько в трезвом рассудке, который отказывается примириться с теми последствиями, которыми грозит человечеству возможное использование нейтронного оружия.

«Мы обманываем себя, пытаюсь дать разумные объяснения, почему мы должны развешивать нейтронную бомбу»,— пишет Карл Роуэн в «Нью-Йорк таймс». Против «разумных объяснений», которые дали и все еще продолжают давать с трибун и со страниц прессы адвокаты нового оружия, восстают и разум и чувства. «Разумных объяснений», почему человечество должно жить с нейтронной бомбой, несмотря на всю ее «военную ценность», нет. Зато есть разумные доводы против нее.

Миниатюрная бомба сразу же покинула стены своей лаборатории в Ливерморе, штат Калифорния. Она вторглась в «большую политику». Ею занимаются правительства, парламенты, партии. Она вошла буквально в каждый дом. Она завладела постоянным местом на страницах мировой прессы. Она стала источником международных трений и в отношениях Восток — Запад и в самом западном альянсе. Ее мрачная тень нависла над переговорами о разоружении, над разрядкой. Бомба еще не запущена в серийное производство, а мир уже бьет тревогу по поводу возможных последствий ее появления в военных арсеналах государств. И это глубоко обоснованная тревога. Создание нейтронного оружия влечет за собой опаснейшие, едва ли поддающиеся точному учету последствия и в военной, и в политической, и в экономической областях.

«Единственный плацдарм, на котором, возможно, была бы применена нейтронная бомба, — это Европа», — заявил государственный секретарь США Сайрус Вэнс в интервью западногерманскому журналу «Шпигель».

Единственный?

Но этому естественному вопросу должен предшествовать другой столь же закономерный. Не слишком ли много берут на себя в Пентагоне, выступая с претензией лучше, чем сами европейцы, знать, что нужно Европе? Ведь заокеанскую нейтронную гостью никто не приглашал. И только натовским деятелям, которым не дорога собственная голова, да отъявленным правозкстремистам, кандидатам в политические самоубийцы, может польстить то, что Вашингтон готов предоставить Западной Европе сомнительную «привилегию» первой украсить свою шею каннибальским ожерельем из нейтронных черепов.

Воспаленному воображению иных пентагоновских стратегов уже мерещится обезлюдевшая «нейтронная Европа». «Хорошо иметь оружие, — изрек один из них, — которое могло бы, скажем, уничтожить русскую бронетанковую дивизию на площади Святого Петра, не повредив при этом Сикстинскую капеллу». «Стратега» ничто не смущает: ни нелепость самой возможности появления «русской бронетанковой дивизии» на площади Святого Петра, ни то, что на этой площади и далеко за ее

пределами нейтронная смерть уничтожит все живое. Ведь площадь Святого Петра так далеко от Потомака... «Стали бы американцы рекомендовать применение нейтронного оружия на своей собственной территории? Или же оно предназначается для людей второго сорта, то есть для жителей Западной Европы?» — спрашивает западногерманский ученый-международник Иоганн Гальтунг.

«Специально для Европы» — это значит для «людей второго сорта», которым Пентагон хотел бы предоставить честь умереть во имя интересов создателей нейтронного оружия. Но смеем разочаровать пентагоновского «стратега-мецената»: ему не придется красоваться перед фотографиями возле Сикстинской капеллы.

Но если что-то потеряет Европа, то это, учитывая ее вес в международной жизни, потеряет и весь мир.

Уже в самих постоянных настойчивых уверениях, что нейтронное оружие создано «специально» для «европейского театра боевых действий», есть нечто нарочитое. И подозрительное. То, что именно для Европы, сомнений не вызывает. Но в высшей степени сомнительно то, что Европа — «единственный плацдарм», где, как уверяют в Пентагоне и госдепартаменте, может быть использована нейтронная бомба. Уже сама специфика этого оружия — убивает людей, но щадит материальные объекты и ценности, — уже сама компактность, миниатюрность бомбы, ее транспортабельность предполагают возможность применения в ходе тех или иных операций в различных районах земного шара. В его горячих точках. В тех пунктах, где Пентагон и НАТО увидят угрозу своим интересам. Проатлантическая американская и западноевропейская печать предпочитает не распространяться о многоцелевом характере и назначении нейтронного оружия, не афишировать возможность его использования в любом месте, где это только заблагорассудится его владельцам, — ведь это означало бы признать его агрессивность. Все это тщательно скрывается еще и потому, что по примеру возмущенной Европы против нейтронной бомбы могут восстать и другие континенты (это отчасти уже и произошло). И все-таки кое-кто проговаривается насчет отнюдь не только европейских функций нового оружия.

Бывший сотрудник Пентагона доктор Элсберг считает, что в этом ведомстве нейтронную бомбу рассматривают как «противоповстанческое оружие», которое было бы «идеально во Вьетнаме». Вьетнам — дело прошлое. Но это отнюдь не значит, что в Вашингтоне отказались от «новых Вьетнамов». Военный обозреватель «Нью-Йорк таймс» Дрю Миддлтон признает, что нейтронное оружие «имеет важное значение для глобальной стратегии Вашингтона».

Эта стратегия характеризуется повышенным вниманием к «третьему миру», где сосредоточены основные запасы весьма дефицитного, в том числе и стратегического сырья, которое Соединенным Штатам и некоторым другим державам НАТО хотелось бы выкачивать в прежних размерах и на прежних колониальных условиях. В Вашингтоне не намерены мириться с утратой или сокращением своего влияния в зонах, которые он привык рассматривать как сферу своих «традиционных интересов». События на Ближнем Востоке и Африканском Роге, инспирированный ЦРУ фашистский переворот в Чили свидетельствуют о том, что империализм пытается во что бы то ни стало удержать свои позиции на периферии земного шара, застопорить и отбросить национально-освободительное движение, превратить «третий мир» в арену международного противоборства.

И тут появляется нейтронная бомба. Может ли быть более идеальное оружие для мирового жандарма? Оно как нельзя лучше подходит для внезапных и скоротечных операций — превентивных, карательных и тому подобных. Оно будто создано для так называемых малых, ограниченных, периферийных войн. Оно чрезвычайно удобно для тех, кто вынашивает планы приобретения чужих территорий, их оккупации сразу же после нанесения ядерного удара, не опасаясь последствий радиоактивного поражения. Ведь «безвредная» нейтронная бомба позволит победителю занять оставшуюся в целостности и неприкосновенности кровать побежденного. Она так и просится в руки тех, кто вознамерился бы, скажем, захватить нефтяные промыслы, не разрушая скважин и нефтепроводов и не прерывая надолго добычу нефти.

Мировой жандарм с нейтронной бомбой — это угроза всеобщему миру, всему человечеству.

Итак, в пентагоновских и натовских руках нейтронное оружие может превратиться в ядерный детонатор, в спусковой крючок новой мировой войны. Нет и не может быть средств и способов ограничения масштабов ядерного конфликта на том пятчке, где он может вспыхнуть. Нейтронная бомба стирает порог между неядерной и ядерной, тактической и стратегической войнами, между ограниченным и глобальным конфликтами.

Все разговоры о локальных, или ограниченных, конфликтах с применением ядерного оружия — не более чем слабое утешение, самообман или сознательный обман. Если такой конфликт вспыхнет где-либо, его вряд ли удастся локализовать. Сбить пламя ядерного конфликта, пусть даже ограниченного, — это совсем не то, что задуть спичку или затоптать костер. Тем более это относится к Европе, где находится эпицентр мировой политики. Нейтронная бомба несет в себе угрозу для всех народов, где бы они ни жили.

В 1945 году президент США отдал роковой приказ об атомных ударах по японским городам. В 1950 году президент США отдал распоряжение о начале разработки термоядерной бомбы. И вот сейчас президенту США предстоит принять не менее ответственное решение. Об оружии, которое облегчает переход от любого вооруженного конфликта к термоядерной катастрофе. Об оружии, которое способно подхлестнуть гонку вооружений до такой степени, что мир окажется на грани непредвиденного. Ведь в нашем мире, полном конфликтов, любое непредвиденное стечение обстоятельств или даже просто случайность могут вызвать катастрофу. И вероятность ее тем ближе, чем больше накоплено ядерного материала, чем шире оно рассредоточено по планете и чем проще процедура его введения в действие.

Президенту предстоит принять окончательное решение об оружии, производство и развертывание которого направлено на срыв разрядки, на возврат к худшим временам «холодной войны». Оно может поставить под удар все то позитивное, чего с таким трудом добились Восток и Запад общими усилиями в послевоенный период.

Нейтронное оружие противоположно.

Это оружие может быть приравнено к химическим и бактериологическим средствам ведения войны, применение которых запрещено в международном масштабе. Оно стирает не только порог между войнами неядерными и ядерными. Оно стирает и пороги между войнами с применением обычного оружия и войнами химическими, биологическими.

Это оружие — грубое нарушение Вашингтоном договора о нераспространении ядерного оружия, ибо его миниатюризация облегчает опасное расползание нейтронной смерти по нашей планете.

Это оружие, предназначенное для размещения в Европе, находится в вопиющем противоречии с целями содействия разоружению и ослаблению военного противостояния, которые зафиксированы в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Это оружие противоречит заключенному в 1973 году советско-американскому соглашению о предотвращении ядерной войны.

Это оружие может отнять у человека естественное право на защиту от угрозы ядерной катастрофы, самое главное его право — право на жизнь. «Чего стоят прокламации Вашингтона о правах человека, когда нас хотят похоронить «гуманным нейтроном»?». Этот вопрос задает один из читателей западногерманской «Франкфуртер рундшау» И это мнение миллионов.

Владлен КУЗНЕЦОВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНУАР АЛИМЖАНОВ



ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Ныне время настолько быстротечно, что почти не успеваешь, отвлекшись от дел, наедине с самим собой немного поразмыслить о событиях, происходящих вокруг каждодневно.

Упомянув о быстротечности времени, я имею в виду не только НТР, хотя она в корне изменила наши понятия времени и пространства, создала космические лаборатории, спутники, позволила совершить путешествия на Луну... Обратная сторона нынешнего технического прогресса — ужасные орудия уничтожения: атомные и нейтронные бомбы.

— НТР сама по себе могла бы считаться благом для людей, если бы ее достижения служили одному владыке — разуму, — сказал во время дорожной беседы пастор унитарной церкви в Бостоне Альберт Рис Вильямс-младший, сын известного в нашей стране американского публициста, современника и друга Джона Рида

Два года назад в ноябрьский день мы с ним направлялись из Бостона в одну из индейских резерваций.

— Если бы плоды технической революции не усугубляли пороков тех, кто жаждет наживы за счет порабощения и эксплуатации человека человеком, — продолжал Вильямс, — возможно, не было бы энергетических и других кризисов, не было бы этих акульих схваток из-за нефти, алмазов и кофе... Если бы деньги, тратящиеся на бомбы, были отданы покорению солнечной энергии, если бы на благо человека использовались природные ресурсы морей и океанов, если бы люди, наконец, научились уважать, ценить и любить друг друга, возможно, тогда не было бы безработицы, обмана, лжи, захвата чужих богатств, мафий и мафиози, порабощения одних и обогащения других. Если бы люди

научились относиться друг к другу по-человечески, — говорил пастор, словно проверяя на мне свою очередную проповедь, на которую собирается немало именитых людей Бостона. Он взглянул на меня, усмехнулся и безнадежно махнул рукой. — Ох, как много этих «если бы»...

Я прекрасно понимал его. Знал, что он стал пастором. Потому что по-своему хотел помочь людям понять друг друга. Его отец, прежде чем стать революционером, тоже был пастором. Чувство причастности ко всему, что происходит в мире, привело его в унитарную церковь, где не признают ни богов, ни святых, а уповают лишь на Человеческий Разум.

Человеческие страсти ныне накалены до предела. Идет битва идей. Самая непримиримая за всю историю человечества. И в нем, в этом противоборстве, мы все равны — рабочий, пахарь, солдат, ученый, строитель, художник и тот же пастор. Потому что спокойствие и мир на земле зависят от каждого человека в отдельности и от всех вместе.

Обостренное чувство ответственности за судьбу мира, за будущее объединило людей разных рас для совместной борьбы против войн и расизма. Так был создан Всемирный Совет Мира. То же чувство ответственности за судьбы культуры, за укрепление гуманных, человеколюбивых традиций привело писателей бывших колоний к созданию своей ассоциации, чтобы действеннее вести борьбу за равноправие и независимость народов и наций, веками находившихся в ярме колониализма, за расцвет национальной культуры, за возрождение и сохранение лучших традиций прошлой истории, за наиболее успешное развитие новой литературы.

Ассоциация писателей Азии и Африки должна была возродить культурные связи, искусственно прерванные колонизаторами, помочь освободившимся от колониального ига народам очистить историю от фальсификации. Разгром фашизма, победа советского народа во второй мировой войне стали стимулом и для развития духовных сил ранее закабаленных народов.

В 1955 году руководители афро-азиатских государств, только что завоевавших независимость, встретились в Бандунге и утвердили принципы своих взаимоотношений. В 1956 году в столице Индии собрались прогрессивные писатели Азии и Африки, решившие объединить усилия в борьбе за свободу, национальную независимость и прогресс культуры. Инициаторами этой идеи были Мулк Радж Ананд и Саджад Захир. Делегация советских литераторов, принявшая участие в форуме, предложила провести первую встречу прогрессивных писателей стран Азии и Африки у нас — в столице советского Узбекистана Ташкенте осенью 1958 года.

К этому времени уже немало стран Азии и Африки завоевало политическую независимость и встало на путь строительства новой жизни. На карте Африки одно за другим появлялись новые государства, национально-освободительное движение набирало силу.

1958 год. Люди с волнением вслушивались в пламенные слова тех, кто возглавил битву народов за свободу, — Гамаль Абдель Насера и Кваме Нкрумы, Патриса Лумумбы и Амилькара Кабрала, Джавахарлала Неру... Возглавляя национально-освободительную борьбу, они призывали к миру между странами. Тень Хиросимы и Нагасаки, омрачившая победу над фашизмом во второй мировой войне, не могла не тревожить их умы. Они обращали внимание своих народов на жизнь советских людей, на гуманность и миролюбие нашего общества, на благородство идеалов социализма, на интернационализм, основанный на ленинских принципах равенства наций и народов. В делах Страны Советов, в укреплении лагеря социализма они видели залог мирного развития своих стран в будущем. Сквозь линию фронтов, через джунгли и пустыни, прямо с поля боя, одолевая запретные кордоны, приезжали молодые писатели Африки, чтобы с трибуны Ташкентского форума на весь мир заявить о рождении своих литератур, рассказать людям

о многовековой борьбе народов за место под солнцем, за свои права.

В те дни, осенью 1958 года, работая в пресс-центре конференции, я знал, что многие участники этого первого в мировой истории форума афро-азиатских писателей прибыли в Ташкент нелегально. Их народы еще только начинали борьбу за свободу, только готовились к решающему бою, и потому многие писатели, входящие в основной отряд борцов, находились в подполье. Но их знали и помнили — помнили друзья по борьбе, по оружию, помнили на родине и за рубежом как стойких борцов за независимость, свободу и равноправие народов, помнили как талантливых поэтов, прозаиков, публицистов, закладывающих основы новой культуры своей нации. Они ехали к нам, веруя в будущую победу, и потому гордые, взволнованные. В салонах самолетов, в международных аэропортах встречались признанные мастера художественного слова и молодые писатели афро-азиатских стран. И вместе спешили в Ташкент.

Я помню те дни. Словно гордясь своей исторической миссией, Ташкент преобразился на глазах, был чист и свеж, всюду на лицах людей добрые, приветливые улыбки. Ташкент открывал для себя и для всех нас новые таланты стран Азии и Африки. Он встречал писателей, которые не только словом, но и своими делами были тесно связаны с антиимпериалистической, антиколониальной, антифеодальной борьбой народов, вели беспощадную битву против религиозного обскурантизма, межплеменных раздоров, социального неравенства и расизма.

В роли хозяев встречи тогда выступали признанные мастера советской многонациональной литературы — Ауэзов и Айбек, Николай Тихонов и Константин Симонов, Гафур Гулям и Мирзо Турсун-заде, Берды Кербабаяев и Зульфия, Аалы Токомбаев и Камиль Яшен... Оргкомитет возглавил Шараф Рашидов.

Назым Хикмет и Уильям Дюбуа, Фаиз Ахмад Фаиз и Мулк Радж Ананд, Хан Сер Я и Гопал Халдор, Саджад Захир, Интойо и Есне Хотта, Сембен Усман и Бенжамен Матип, Эфуа Теодора Сатерленд и многие другие представители древних и молодых литератур Востока собрались в те осенние дни в Ташкенте. Первая конференция афро-азиатских

литераторов заложила организационные основы ассоциации прогрессивных писателей двух великих континентов Земли, основы еще невиданного в истории движения писателей за равенство народов, за прогресс культуры.

Создатели Ассоциации ясно и четко дали понять, что движение афро-азиатских писателей не обособленное, оно лежит в русле развития всей мировой прогрессивной литературы, что начальной его целью является восстановление, укрепление и развитие древних культурных связей между афро-азиатскими народами, борьба за взаимопонимание, взаимное уважение культурных традиций Востока и Запада.

Интерес к Ташкентскому форуму был велик. Его работу освещали журналисты многих стран Запада и Востока и в том числе такие известные публицисты, как американец Джозеф Норт и англичанин Ральф Паркер.

Зная из газет о небывалом подъеме национально-освободительной борьбы в африканских странах, о событиях в Алжире и Вьетнаме, в Конго и Камеруне, в Египте и Палестине, люди с волнением вслушивались в голоса писателей, раздающиеся с трибуны Ташкентского форума, в их рассказы об истории борьбы народов за социальное равенство и независимость. Один за другим выступали представители Кипра и Кореи, Греции и Бурмы, Анголы и Иордании.

Слова ораторов, наполненные страстью и гневом, обличающие преступления колонизаторов и призывающие к единству и сплоченности всех прогрессивных сил мира, отзывались в сердце каждого слушателя. Речь шла о долге писателя перед своим народом, о его месте на баррикадах, о его ответственности за развитие культуры.

— В начале столетия наш век был провозглашен как эпоха социальных революций и национально-освободительных движений, — говорит великий поэт Турции Назым Хикмет. — То, что было предсказано, теперь стало реальностью: империализм рушится.

— Без вклада писателей Азии и Африки в общую сокровищницу человечества немисливо представить себе дальнейший прогресс, — подчеркивал во вдохновенной речи с трибуны конференции Николай Тихонов.

204 литератора из 37 стран Азии и Африки и 22 писателя из стран Европы и

Америки приняли активное участие в работе этого исторического форума. Движение афро-азиатских писателей сформировалось организационно, было создано постоянное бюро. Конференция огласила обращение к писателям мира. «Мы призываем вас воспеть возвышенные качества человека, свободу и надежду на лучшее будущее для всех наших народов...» — говорилось в обращении.

С тех пор как с трибуны первой конференции писателей Азии и Африки прозвучал этот призыв, прошло более двадцати лет. Ныне уже нет в живых многих из тех, кто стоял у истоков прогрессивного движения писателей всего Востока и Африки, а судьбы иных неизвестны.

Выдающиеся деятели культуры Индостана Фаиз Ахмад Фаиз и Саджад Захир по возвращении с Ташкентского форума оказались в пакистанской тюрьме, и только под давлением общественного мнения им удалось избежать гибели.

Человеколюбивые, гуманистические идеи Ассоциации, ее стойкая борьба за социальное равенство, против угнетения, феодализма, межплеменных раздоров, против расизма и колониализма оказывали все большее и большее воздействие на умы тех деятелей культуры Азии и Африки, что связали судьбу с судьбой своих народов и жили их интересами. А это в свою очередь вызывало активное недоброжелательство тех, кого пугали идеи социального равенства. Ассоциация конкретно, на деле помогала молодым литераторам, начавшим свой нелегкий путь в годы национально-освободительной борьбы, все новые и новые мастера слова вливались в ее ряды. И если первая конференция Ассоциации способствовала новым знакомствам, выявлению мировоззрений, взглядов писателей на современные события, то в последующие годы форумы, встречи и литературные симпозиумы содействовали взаимному обмену опытом. Ассоциация помогала обмену литературой между национальными организациями писателей и отдельными литераторами, в результате чего заметно увеличилось число переведенных книг.

Советские издатели, советский Комитет по связям с писателями Азии и Африки, следуя своим интернационалистским принципам, содействовали тому, чтобы все лучшее в афро-азиатской литературе стало достоянием не только советских, но и за-

рубежных читателей. Большую работу в этом плане ведет издательство «Прогресс».

Претворение в жизнь тех прекрасных идеалов, которые были девизом первой конференции, стало основой деятельности Ассоциации. Движение набирало силу из года в год. От одного форума к другому.

Никто и ничто не могло поколебать единства членов Ассоциации, в том числе трудности, подчас искусственно создававшиеся ее недругами, а иной раз вызывавшиеся сложностью событий и конфликтов, происходивших в том или ином районе земного шара. Тяжелым в этом смысле был период между второй, Каирской конференцией афро-азиатских писателей в 1962 году и Бейрутской встречей 1967 года, когда пекинские лидеры, нанеся удар по собственной писательской организации, сделали все возможное, чтобы внести раскол в ряды Ассоциации. Они стремились прибрать к рукам штаб-квартиру афро-азиатского движения прогрессивных писателей, которая в те годы находилась в Коломбо, столице Цейлона (ныне Шри Ланка). В 1966 году я провел немало дней в этой стране и был очевидцем грязной работы пекинских посланцев. Но Ассоциация вышла из этой ситуации еще более окрепшей, о чем свидетельствовала работа третьей конференции в Бейруте в 1967 году...

Каждая встреча писателей Азии и Африки, будь то семинары, встречи по жанрам литературы или региональные заседания, становилась заметной вехой в работе организации прогрессивных деятелей литературы Востока и Африки. И когда ныне, спустя два десятилетия, на международных форумах писателей идет речь о взаимовлиянии, взаимообогащении культур, об укреплении дружбы между литературами, то поэты и прозаики Азии и Африки вкладывают в эти слова глубочайший смысл, предопределенный исторической миссией самой литературы, призванной раскрывать сердца и души, нравственные искания, чаяния, радости и горести народа.

Шире стал взгляд, увеличился опыт, и теперь ясно, что культура и литература не могут развиваться обособленно. И конечно же, каждый писатель ясно осознает, что культура его страны, его нации является плодом истории, революционных завоеваний народа и ее художественные каноны складываются на основе национальных традиций, испытанных временем. Ибо раз-

витие нации и народов невозможно вне традиций, дающих жизнь языку, всей многоголовой национальной культуре.

В Год Африки (1961) я совершил путешествие по пылающему континенту от Магриба до Берега Слоновой Кости. Я видел, как в одной из африканских стран, прогнав французских колонизаторов, народ разрушал все, что напоминало о временах их господства. Памятники слетали с пьедесталов, переименовывались улицы, была разрушена даже типография, а собственную газету патриоты печатали на ротативе. В дни жестоких боев национальные чувства народов, вырвавшихся из цепей, настолько обострились, что люди были готовы уничтожить все чужеземное, что находилось на их территории.

Победа над колонизаторами досталась нелегкой ценой, но строить новую жизнь, устанавливать новые порядки, бороться с феодальной раздробленностью, кастовостью, налаживать экономику, преодолевать внутренние противоречия оказывалось подчас труднее, чем драться открыто с оружием в руках. И, думаю, именно в это время интеллигенция, писатели молодых государств ощутили всю сложность общения со своим народом, с массами, раздробленными на сословия, кланы, племена, веками находившиеся в изоляции не только от внешнего мира, но и друг от друга.

Колонизаторы, действуя под девизом «разделяй и властвуй», довольно изобретательно сумели столкнуть между собой постоянно униженные племена, вечно противопоставляемые друг другу. Вожди племен, в среде которых сознательно разжигался антагонизм, оказавшись свободными от колонизаторов, готовы были сцепиться друг с другом из-за бывших помещичьих угодий, из-за сферы влияния. Да мало ли какие могут возникнуть конфликты, когда они умело направляются и извне и внутренней реакцией, опирающейся на самую отсталую часть населения! Иными словами, колонизаторы сделали все для того, чтобы, «уходя, остаться», то есть вернуться в другой маске, в качестве «доброжелателей» и «помощников», и, использовав ситуацию, утвердить неокOLONIALИЗМ...

В такой обстановке иные писатели теряют чувство уверенности, иные, более стойкие и последовательные, идут в гущу народа, чтобы помочь людям одолеть межплеменную отчужденность. Так поступают

ныне многие литераторы Нигерии, Народной Республики Анголы, поэты и прозаики Мозамбика...

— Нам сейчас некогда заниматься литературными изысканиями, подчас нам приходится наступать на горло собственной песне и идти в глубь саванн и джунглей, чтобы помочь взаимопониманию между племенами. Устный рассказ, инсценировка, фотографии, фотоплакаты, документальные кинокадры, обычный доверительный разговор — вот наш нынешний арсенал для общения с неграмотным населением. Мы хотим быстрее одолеть неграмотность, от нас самих зависит подготовка наших читателей в будущем, — говорит талантливый прозаик из Мозамбика Л. Б. Онвана. — Когда идет работа по консолидации племен, мы должны чувствовать свою высшую ответственность перед собственным народом, перед своей революцией, а Ассоциация оказывает нам огромную помощь хотя бы тем, что во время встреч мы можем обменяться мнениями и использовать достижения других коллег по перу в сфере нашей деятельности.

Правоту этих слов подтверждает опыт одного из выдающихся писателей Африки, участника первой конференции, сенегальца Сембена Усмана, чьи романы известны во многих странах мира. Сменив перо на фотоаппарат и камеру, он пошел по негритянским деревням, организуя импровизированные сельские театры, рассказывая соплеменникам о новой жизни, содействуя взаимопониманию между племенами.

Таким образом, для поэтов и прозаиков, создающих современную афро-азиатскую литературу, особенно для писателей, в чьих странах не было традиций письменной литературы, растаял миф о том, что все проблемы внутреннего порядка разрешатся сразу, вслед за тем, как будет провозглашена свобода и поднят национальный флаг.

Пробуждение «наутро... после победы» оказалось не столь уж легким. Предстояло заново открыть для себя свою страну. Слово «открытие» слышится в выступлениях с трибун симпозиумов и конференций писателей Азии и Африки. Но, собираясь в поход, молодая интеллигенция сталкивается с еще одной, пожалуй самой болезненной, проблемой. «Входя в массы», они остро ощущают недостаточную причастность к вековым традициям своего народа, к собственному прошлому, в очень мно-

гих случаях — слабое знание родного языка.

Колонизаторы никогда не стремились даровать свои духовные ценности «туземцам». Им было достаточно обращения «туземцев» в христианство. А узкий круг интеллигентов из числа местной элиты воспитывался так, чтобы всегда ощущать собственную неполноценность возле колонизаторов и осознавать элитность перед своими соплеменниками. И поэтому он, этот интеллигент, который только вчера сражался с оружием в руках за свободу народа, в начальную пору строительства новой жизни должен был преодолеть собственную психологическую и эмоциональную раздвоенность, во что бы то ни стало найти контакт со своим народом, открыть заново не только страну, но и самого себя.

Это уже весьма сложный процесс. И тут прав алжирец Франц Фанон, автор широко известной книги «Проклятьем заклейменные»: «...постигший западную цивилизацию, слившийся с ней, а значит, претерпевший глубокие внутренние перемены, он (африканский интеллигент. — А. А.) обнаруживает, что культурная модель, которую, стремясь к самобытности, он хочет принять для себя, почти не предлагает ему явлений, которые могли бы выдержать сравнение с блестящими образцами цивилизации порабощенных... Встретившись лицом к лицу с настоящим своей страны, трезво и объективно оценивая ее жизнь, интеллигент пугается при виде забитости и дикости... и не раз отступит на эмоциональные позиции, и станет развивать психологию, где будут преобладать чувственность, повышенная чувствительность, обостренная впечатлительность».

В таком положении «наутро после боя в день победы», в «переходный период» оказалась не только интеллигенция Африки, но и азиатских стран, даже имеющих великую тысячелетнюю историю культуры, например Индия, где по сей день миллионы людей из касты неприкасаемых не могут найти сочувствия и заслуженного признания своих достоинств в силу косных многовековых традиций. Эта вопиющая несправедливость существует и поныне, причудливо переплетаясь с НТР, атомными электростанциями и демократическими институтами.

Лучшие писатели Азии и Африки, как и писатели всего мира, по-прежнему борются за прекрасные идеалы человека и, объединенные в Ассоциацию, ведут трудную ра-

боту, уничтожая зловещие следы прошлого. Естественно, борьба эта архисложная, она под силу не каждому. Поэтому понятна тревога суданского писателя, автора блестящего романа об африканской интеллигенции «Паломничество на север» Ата-Тайба Салеха, когда он пишет о той части интеллигенции, которая мечтает о мягком кресле под вентилятором, о доме с кондиционером среди пышных садов и об американских машинах последней марки: «Если мы сейчас же не уничтожим опухоль в самом зародыше, у нас родится новый класс, класс буржуазии, не имеющий никакого отношения к нашей действительности, а это куда более опасно для Африки, чем даже сам колониализм».

Во многих странах Азии и Африки за годы самостоятельного развития быстро выросла национальная буржуазия, которая, защищая собственные интересы, легко идет на контакт и союз со вчерашними поработителями своего народа — колонизаторами, монополистами.

Все больше и больше прогрессивных писателей Азии и Африки, отказываясь от идеалистических иллюзий расовой гармонии, переходят на классовые позиции, и в этом немалая доля заслуг афро-азиатского движения литераторов и их Ассоциации, накопившей за минувшие десятилетия огромный опыт борьбы.

Еще лет десять—пятнадцать назад крупнейший прозаик Сембан Усман с грустью писал, что «литература Африки живет в изгнании», имея в виду не только неграмотность народа, но и то, что писатели, не зная родного языка, создавали произведения на языке европейцев...

Новое поколение афро-азиатских писателей, поколение, которое родилось на наших глазах и заявило о себе в последние десять — пятнадцать лет, как правило, знает родной язык в отличие от своих предшественников. Используя опыт старшего поколения, используя фольклорные и мифологические формы для объяснения современных ситуаций, они создают серьезную литературу, доступную пониманию масс. Не упрощая при этом самого понятия о литературе, они повышают уровень сознательности своих читателей.

Быстрому развитию литератур Азии и Африки, появлению в них новых жанров содействовало само присутствие и активное участие писателей в тематических региональных, международных литературных

встречах, проводимых Ассоциацией писателей Азии и Африки, на которых происходит живой обмен опытом, информацией, книгообмен, всемерное укрепление взаимных контактов.

Особенно велик интерес писателей развивающихся стран к опыту национальных литератур Советского Союза, республик советского Востока. Колонизаторы прибегали к различным мерам, чтобы воспрепятствовать проникновению идей социализма в их владения, чтобы культура и литература социалистических стран оставались недоступными для их колоний.

Времена переменялись. Ныне не только произведения Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Достоевского, но и М. Горького, Маяковского и Шолохова, Айбека и Ауэзова, Турсун-заде и К. Симонова, К. Федина, Э. Межелайтиса и О. Гончара, Г. Маркова и Ч. Айтматова, Р. Гамзатова и Ю. Рытхэу и многих, многих других пользуются широчайшей популярностью среди читателей афро-азиатских стран.

Пытаясь хотя бы контурно, схематически рассказать о деятельности движения афро-азиатских прогрессивных писателей за минувшие два десятилетия, я вполне осознаю, что было бы гораздо лучше, избегая широких обобщений, дать конкретный анализ событий и фактов. Но я не историк литературы и не теоретик. К тому же каждое событие, каждый факт связаны с конкретным положением в той или иной литературе, в той или иной стране. И анализ отдельно взятого факта не может быть приемлем как основа для обобщения. С другой стороны, сам термин «афро-азиатская литература» неизбежно ведет к широким обобщениям в ущерб конкретности анализа. Я преднамеренно использую этот термин, хотя он не включает в себя понятия о формах и методах выражения главной сути единства национальных культур двух великих континентов. Я все же использую его как целостное понятие, рожденное временем и необходимостью. Мои субъективные высказывания основаны на собственных наблюдениях во время длительных поездок по странам Африки, Арабского Востока и Азии, на результатах обмена мнениями во время конференций, семинаров, симпозиумов писателей стран, входящих в Ассоциацию. Как читатель и как человек, участвующий в афро-азиатском движении писателей со дня его рождения, я с уверенностью могу

сказать, что за двадцать лет многие литературы Азии и Африки прошли не только стадию становления. По глубине содержания, по революционной страстности, по своим художественным достоинствам лучшие произведения афро-азиатской литературы сегодня с полным правом могут войти в сокровищницу мировой художественной мысли. И можно утверждать, что афро-азиатская литература вступила в эпоху своего возрождения. Лучшие произведения Хироси Нома, Кобо Абэ, Эсие Хотта из Японии, Баччана и Субхаса Мукерджи из Индии, турецкого сатирика Азиза Несина, нигерийца Чинуа Ачебе и кенийца Нгуги Ва Тхионго, южнокорейца Ким Чжи Ха, пакистанца Фаиза Ахмада Фаиза, вьетнамцев То Хоая и Тху Бона, алжирца Катоба Ясина, суданца Ат-Тайба Салеха и десятков других писателей Азии и Африки яркое подтверждение тому. Правда, если из этого списка истории литературы могут без оговорок принять имена японских, турецких, вьетнамских, корейских, индийских литераторов, пишущих на языке своего народа, унаследовавших лучшие традиции национальной культуры, то споры вокруг творчества тех, кто пишет не на родном языке, никогда не утихали. Особую остроту они обрели сейчас. Обсуждениям этой темы отводилось немало времени в работе различных форумов афро-азиатских литераторов.

Казалось бы, что сама по себе поднятая проблема была решена еще тысячелетия назад, когда на греческом языке писали не только греки, но и ученые других народов. Вспомним: в годы расцвета Арабского халифата многие ученые, мыслители и поэты создали свои произведения на арабском языке, хотя и не принадлежали к арабам. Объяснялось это тем, что языком международной науки и поэзии в тот исторический период стал арабский язык.

В данном же случае спор о двуязычии африканских писателей возник в эпоху разгара национально-освободительной борьбы, когда началось самоутверждение племен и народов Африки, веками находившихся в рабстве. Вопрос осложнился тем, что колонизаторы, осознанно и планомерно изолируя одно племя от другого, добились положения, при котором люди, принадлежащие к одной и той же этнической группе, но говорящие на разных диалектах, начали нетерпимо относиться к языку друг друга. Соплеменники, составляющие один на-

род, представляющие одну страну, имеющие общую историю и культуру, за период господства колонизаторов перестали понимать друг друга, как это случилось, например, в Анголе, Мозамбике, да и во многих других странах Африки.

Вот почему лидерам национально-освободительного движения — первому поколению африканской интеллигенции и в том числе писателям новой Африки — приходится вести терпеливую и продуманную работу по преодолению взаимной отчужденности племен и по приобщению их к общей культуре человечества. В такой ситуации стремление молодого поколения африканских писателей к двуязычию оказалось единственно гуманным и надежным способом перекинуть мост через пропасть непонимания и таким образом снять печать «вавилонского проклятия», построить новое общество на основе равноправия и взаимоуважения, создать новую национальную литературу.

Я пишу обо всем этом потому, что во времена французского владычества страны и народы Африки за сотни лет не дали ни одного писателя, пишущего на собственном национальном языке. Существовало жестокое правило, изгонявшее африканские диалекты из народного образования. Почти то же самое можно сказать и об англоязычной Африке.

Такая политика велась на протяжении многих десятилетий. Вот почему тема столкновения культур стала ведущей в произведениях первого поколения африканских писателей. Чернокожим интеллигентам, истинно преданным своему народу, знанию английского и французского языков позволило не только соприкоснуться с миром белых, но и пропагандировать собственную историю и культуру. К тому же если этот интеллигент знал язык своего племени, своего народа, он, безусловно, оказывался полезен вдвойне, так как мог нести своим соплеменникам лучшие образцы мировой культуры.

В истории африканской литературы были и исключения, хотя, конечно, очень редкие, когда в той или иной стране у самых истоков зарождения национальной литературы стояли писатели, писавшие на родном наречии. Это и Томас Мофоло из Лесото, который еще в 40-х годах стал автором знаменитого жизнеописания короля Чакавеликого, зулусского полководца и правите-

ля, это и Даниэль Фегундо из Нигерии, который был блестящим новеллистом, создавал свои произведения на языке иоруба и черпал сюжеты в местном фольклоре.

Что же касается литературы Магриба (Алжир, Тунис, Марокко) и других арабских стран, а также стран Юго-Восточной Азии, то у них еще до эпохи колонизаторов имелись многолетние традиции письменной культуры. И потому проблема развития современной культуры у них стоит иначе, чем у франкоязычных и англоязычных литератур Черной Африки. Вопрос о двуязычии писателей стран с богатыми традициями письменной культуры требует особого внимания. В то же время этот факт в новых условиях можно воспринимать и как наведение мостов — расширение круга читателей и заполнение того вакуума между культурами Запада и Востока, о наличии которого неустанно твердят буржуазные историографы; расширения, направленного на понимание Востока Западом, Запада Востоком.

Несомненно при этом одно — в обоих случаях новая литература зарождалась как литература протеста, литература антиколониальная, направленная на воспитание у национального читателя чувства собственного достоинства. Примеров тому огромное множество — и книга англоязычного нигерийского писателя Чинуа Ачебе «И пришло разрушение», и стихи пишущего на французском президента Сенегала Леопольда Сенгора, и романы его соотечественника Сембена Усмана «Черный докер» и «О, страна моя, прекрасный мой народ», и поэтическое обличение белого владычества Давидом Диопом, это и «Интерпретаторы» и «Танец лесов» одного из самых известных писателей Африки, Воле Шойинка. Кстати сказать, в творчестве Воле Шойинка болью и тревогой отразились события, связанные с межплеменной войной в Нигерии, с отделением Биафры.

Известно, что, сражаясь в рядах защитников Биафры, погиб один из крупнейших поэтов Нигерии, Кристофер Окигбо из племени ибо. Война в Биафре показала, что ожидает Африку, если она поддается племенным раздорам. События в Биафре потрясли весь континент, и в первую очередь литераторов. И потому был прав писатель и ученый Кении Али Мазруи, осудивший в своем романе Окигбо за то, что тот принес в жертву свое искусство в угоду интересам племен.

Откликаясь на революционную борьбу народа, создавая поэзию и прозу, трактуя актуальные проблемы жизни своего народа, разоблачая предельство и коррупцию буржуазной верхушки, выпестованной колонизаторами, отражая в литературе политические события своего времени, писатели Африки в то же время исследуют национальные фольклорные ресурсы, занимаются художественным осмыслением истории своего народа, разрабатывают тему противоборства культур — культуры колонизаторов и культуры угнетенного народа.

Впрочем, правильнее было бы утверждать, что эта тема получила наибольшее развитие в 60-е годы, а сейчас на первый план вышли проблемы классового расслоения общества, становления национальной интеллигенции.

Есть писатели, которые с самого начала посвятили свое творчество художественному осмыслению истории национально-освободительной борьбы. К их числу можно отнести крупного кенийского прозаика Нгуги Ва Тхионго (до 1973 года он выступал под именем Джеймса Нгуги). В течение трех лет (1964—1967) он опубликовал трилогию, в основе которой — восстание мау-мау и история племени кикуйю. В первом романе, «Не плачь, дитя», показан конфликт между отцом, покорившимся и безропотно выполняющим волю колонизаторов, и тремя его сыновьями, вступившими в ряды восставших. Во втором романе рассказывается о пробуждении племени кикуйю, о его сопротивлении миссионерам. Третий роман — «Пшеничное зерно» — повествует о том, что в конце концов произошло с героями восстания мау-мау, сломленными пыткой, измученными и всеми забытыми.

Советские читатели хорошо знакомы с творчеством Нгуги Ва Тхионго. Его книги переведены на русский и другие языки наших народов. Он участник V Алма-Атинской конференции писателей стран Азии и Африки, где ему была вручена премия «Лотос». После конференции он знакомился с жизнью казахских колхозов.

— Жизнь ваших колхозов — это то, о чем мечтали и мечтают в наших деревнях, — признался он в беседе со мной. — Это то, о чем мечтаю я сам. Я даже не мог представить себе, что можно организовать такие общества в селах, где идет гармоничное духовное и физическое разви-

тие людей, где торжествует равенство и любовь людей.

Последний роман Нгуги Ва Тхионго «Лепестки крови» (1977) — деревенская хроника. В нем трактуется тема сопротивления колонизаторам. Но речь при этом ведется не только о прошлом, но и о борьбе против современного неокOLONIALИЗМА, к которому примкнула национальная буржуазия, выплывшая на поверхность благодаря жертвам мау-мау. Так в силу исторической логики — логики самой борьбы — писатель решил до конца защищать интересы своего народа.

В сегодняшней Африке уже появляются писатели, использующие методы иносказания, иронии, сатиры, басен, народную мифологию, чтобы передать собственное отношение к событиям, происходящим в их странах. В статье Кюда Вотье «Политическая завербованность африканского писателя», опубликованной в журнале «Жен Африк» 12 июля 1978 года, говорится о творчестве двух угандийских писателей — Окот и Битека и Табан До Лионга.

Символичен и требует эзоповского восприятия роман сомалийца Нуриддина Фара «Из дурного ребра», героиня которого Эбла, убежав из клана кочевников, потому что дед намеревался выдать ее замуж за старика, оказалась вынужденной продать себя другому старику (прозрачный намек на современную обстановку в Сомали, которое, уйдя от господства одних, оказалось под эгидой других хозяев).

Али Мазруи, один из известных интеллектуалов Кении, выдвигает три альтернативы в отношении современных писателей Африки: искусство для искусства или ангажированная литература, европейская культура или африканская культура, верность государству или верность своему племени. Мне думается, что Мазруи забыл сказать о самом главном — о верности своему народу, его борьбе и истории, о том, что у литературы в отличие от политики и дипломатии, которые защищают режимы и государства, самая начеловечная миссия — раскрыть сердце и душу своих народов и способствовать тому, чтобы духовные сокровища других стали достоянием и твоего народа.

Война в Биатре, межплеменные схватки в Сомали, Заире, племенные раздоры в Кабинде, направленные против единства Анголы, — все это продукты времени, наследие колонизаторов.

Пробуждение и проявление самосознания, чувство долга перед родиной — вот главный залог будущего Африки, и двуязычие африканских писателей на сегодняшнем этапе играет немаловажную роль в воспитании взаимопонимания и взаимного доверия между племенами и народами.

Растет новое поколение африканских писателей, осознанно берущее на свои плечи разрешение многих сложных проблем, выдвигаемых временем. Меджи Мванги из Кении один из них. Продолжая основные направления творчества Нгуги Ва Тхионго и развивая его идеи в своих романах «Неприкаянные», «Жертва для гончих собак», «Вкус смерти», он проводит мысль о том, что после напряженной, кровопролитной национально-освободительной войны люди убедились в необходимости объединиться. При этом они станут реальной силой, способной не только сбросить вековой гнет колонизаторов, но построить новое общество, ибо ныне классовая борьба уже стала реальностью для всей Африки...

Чувство причастности к судьбам тех, кто ведет борьбу за светлое будущее своих народов, является основой творчества талантливых писателей современного Востока, сегодняшней Африки. Их лучшие произведения публикуются в журнале «Лотос», издаваемом Ассоциацией на английском, французском и арабском языках. Крупнейшим мастерам художественного слова, которые вносят неоценимый вклад не только в развитие афро-азиатской литературы, но и своей общественной деятельностью помогают плодотворной работе Ассоциации, присуждаются международные премии «Лотос».

Афро-азиатское движение писателей способствовало и способствует взаимопониманию, взаимообогащению и взаимовлиянию национальных культур. У этого движения есть свои признанные активисты-лидеры, такие, как южноафриканский прозаик Алекс Ла Гума, выдающийся пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, замечательный поэт Индии Субхас Мукерджи, в их числе и советские писатели Камиль Яшен и Анатолий Софронов, много сил отдал укреплению рядов Ассоциации и павший от рук наемников египетский прозаик Юсеф эс-Сибай.

Двадцатилетний путь Ассоциации писателей Азии и Африки, начинавшийся в Ташкенте осенью 1958 года, — это трудный и славный путь в истории развития не только афро-азиатской, но и всей мировой ли-

тературы, и потому естественно, что в октябрьские дни 1978 года в Ташкенте вновь собрались писатели стран Азии и Африки, чтобы достойно отметить юбилей Ассоциации, подвести итоги минувшим делам, обсудить цели и задачи литературы на будущее. И еще раз подтвердить свое единство в борьбе за развитие гуманистических принципов культуры перед лицом трубадуров «холодной войны», шовинизма и гегемонизма, маоизма и расизма.

«Ассоциация писателей стран Азии и Африки объединила на антиимпериалистической основе представителей прогрессивной художественной интеллигенции и внесла заметный вклад в дело мира, освобождения народов от колониализма и расизма, в борьбе за идеалы свободы, гуманизма и демократии», — писал Л. И. Брежнев в своем приветствии участникам Ташкентской встречи.

Заседание исполкома Ассоциации в Ташкенте в дни юбилейных торжеств, посвященных двадцатилетию первой конференции, еще раз ясно показало, что отныне мы уже не можем говорить о долге и ответственности писателя перед временем, ограничиваясь лишь рамками Азии и Африки или же Востока в целом.

Одним из самых значительных завоеваний тех десятилетий, которые прошли со времени окончания второй мировой войны,

был взлет человеческого самосознания, понимание того, что все народы, живущие и на Западе и на Востоке, — одна семья, один род человеческий и что идеи защиты добра и гуманизма, идеи равенства — это общая цель для всех. Таково веление времени.

Испытания, выпавшие на долю человека в XX веке, заставляют осознавать нравственное значение деятельности людей всех профессий, где бы они ни жили. Ни один ученый, ни один писатель ныне уже не может обойти вопрос о личной ответственности перед своей совестью, перед своим временем, перед человечеством. Ибо открытия ученых могут служить не только добру и прогрессу, но и насилию и регрессу, как и книги, созданные талантом художника. Только объединенные поиски, направленные на дальнейшее взаимопонимание, на укрепление дружбы между людьми, на прогресс культуры, могут гарантировать нам мирное будущее.

Ассоциация писателей Азии и Африки, принявшая решение (по предложению ангольских литераторов) провести шестую конференцию в столице Народной Республики Анголы Луанде, расширяя и укрепляя свои ряды, вновь выходит на передовые позиции борьбы с колониализмом, неоколониализмом и расизмом.

Алма-Ата.



А. ШНЕЙДЕР



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФАКТ

Заметки архивиста

I

Для Пушкина рыться в архивах и в библиотеках было любимым занятием, увлекательной работой. Пушкин 30-х годов — вот образцовый историк-архивист для всех времен.

Онегин

...рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Заметим, что во времена Пушкина «исторический анекдот» был равнозначен нашему выражению «исторический факт». Подобный «анекдот» расскажу ниже. А сейчас напомним, что в незавершенной поэме «Езерский» Пушкин, передавая в шуточной форме родословную своего героя, попутно прихлопнув «шута Фиглярина» (Булгарина), с огорчением замечает, что «исторические звуки нам стали чужды».

Вот почему, архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ.

Когда Пушкин задумал свой грандиозный труд «История Петра I», он стал энергично изучать архивы, собирать архивные материалы. В мае 1836 года он пишет жене: «В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть».

Борьба Пушкина за возможность работать в архивах могла бы составить увлекательную книгу. Летом 1831 года он был буквально открыт полученным наконец разрешением. 21 июля 1831 года он пишет из Царского Села своему приятелю Нащокину в Москву: «Нынче осенью займусь ли-

тературой, а зимой заруюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем. Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики, и Зубков с Павловым явятся ко мне с распростертыми объятиями». А на следующий день Плетневу в Петербург: «Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?»

В марте 1833 года он пишет из Петербурга московскому литератору профессору университета М. Погодину:

«Вот в чем дело: по уговору нашему, долго собирался я улучшить время, чтобы выпросить у государя Вас в сотрудники. Да все как-то не удавалось. Наконец, на масленице царь заговорил как-то со мной о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при Вашем имени было нахмурился (он смешивает Вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец и славный царь). Я кое-как успел Вас отрекомендовать, а Д. Н. Блудов все поправил и объяснил, что между Вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий¹. К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом дело слажено; и архивы

¹ «Литератор не весьма твердый» не мог простить Полевому его отрицательного отзыва о верноподданнической пьесе Нестора Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

Вам открыты (кроме тайного)... Сколько отдельных книг можно составить тут! сколько творческих мыслей тут могут развиться?»

Умение Пушкина рыться, работать в архивах было несравненным. Трудно свыкнуться с мыслью, что более столетия назад «неспециалисту» Пушкину доступны были все приемы современной архивной эвристики. То, к чему историки шли многими десятилетиями, Пушкину давалось сразу, как бы изначально: глубокое понимание исторических документов, сопоставление их, умелое сочетание архивных и библиографических изысканий с полевыми исследованиями. В последнем он проявил себя как опытный краевед, этнограф, фольклорист.

Николай I был заинтересован в работе Пушкина-историографа, понимая, что только Пушкина общественное мнение признает достойным продолжателем дела Карамзина, историографа «дней Александровых». Отсюда желание повлиять на работу «своего» историографа, направить ее в верно-подданническое русло. Но доверять Пушкину — сподвижнику декабристов он не мог. Отсюда под личиной доброжелательства мелочная подозрительность, контроль и зоркое наблюдение за деятельностью его в архивах. Канцлер Нессельроде, шеф жандармов Бенкендорф и другие царедворцы всегда готовы были «предостеречь и воспрепятствовать». Зато архивные чиновники низших рангов при малейшей возможности спешили оказать содействие, указать важные материалы, ускорить их розыск и доставку из хранилища. Как только Пушкину удавалось получать высочайшее разрешение, они делали все, что было в их силах. Нужно сказать, борьбу за архивы Пушкин выиграл. Для сравнения приведем описание длительной и безуспешной «осады» государственных архивов Н. А. Полевым.

19 января 1836 года покровительствовавший Полевому Бенкендорф писал царю: «Известный Вашему Величеству Полевой... человек с пылкими чувствами и отлично владеющий пером, имеет сильное желание писать историю Петра 1-го...» При этом Бенкендорф переслал Николаю составленные Полевым записку и план предполагаемого труда. Полевой обещал, что его слог будет «дышать мыслью и благоговением», а царь Петр будет представлен «образцом земных царей, посланником божьим». Недалекого Бенкендорфа подкупало особенно то, что Полевой обещал не грубо, в лоб, а тонко,

дипломатично дать понять читателю, «кто ожил» в Николае² через сто лет.

Но Николай I был не так прост. Он положил резолюцию: «Историю Петра Велико-го пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной Коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместно...» И Бенкендорф пишет Полевому: «...начертание истории Петра поручено уже известному литератору нашему А. С. Пушкину, которому, вместе с тем, предоставлены и все необходимые средства к совершению сего многотрудного подвига... По Высочайшему повелению все государственные архивы открыты для г. Пушкина...» Позволив себе такое, мягко говоря, преувеличение (Пушкину были доступны далеко не все архивы), Бенкендорф «утешает» Полевого следующим комплиментом: «...и по моему мнению, посещение архивов не может заключать в себе особенной для Вас важности, ибо ближайшее рассмотрение многих Ваших творений убеждает меня в том, что, обладая в такой степени умом просвещенным и познаниями глубокими, Вы не можете иметь необходимой надобности прибегать к подобным вспомогательным средствам». М. К. Лемке замечает, что, видимо, Пушкин, по мнению Бенкендорфа, не обладал достаточно «просвещенным умом и глубокими познаниями», поэтому нуждался в архивах...

В той тактике надзора и притеснений, которую «всемилоостивейше» с миной доброжелательства постоянно применял император Николай I к своему титулярному советнику Пушкину, архивы и в самом деле играли не последнюю роль. Когда затравленный, буквально прижатый к стене Пушкин решил порвать сковывавшие его цепи — покинуть «государеву службу», уехать в деревню, — царь тут же передал через Бенкендорфа, что лишит его доступа к архивам. Пушкин смирился: писать историю Пугачева, Петра, Суворова — историю русского народа — без права работать над архивными документами было невозможно «Пушкин вошел в архивы. Быть может, впервые в русские архивы — плохо разобранные, строго охраняемые, набитые бездной ценнейших документов — вошел чело-

² Историк Лемке пишет: «Весьма возможно, что мысль о составлении истории Петра подана Полевому Бенкендорфом, очень неохотно встретившим разрешение государя Пушкину писать на ту же самую тему» («Николаевские жандармы и литература»).

век, так идеально подготовленный для трудов среди этих взывающих к потомкам бумага». Вошел человек с чутьем великого историка», — пишет современный исследователь Я. Гордин.

Пушкин умело боролся за право работать в архивах разных ведомств. В Петербурге и в Москве, преодолевая сопротивление министра иностранных дел канцлера Нессельроде, военного министра Чернышева, шефа жандармов Бенкендорфа, он добивался нужных ему материалов. Однако и дав разрешение, царь требовал, чтобы статс-секретарь Блудов (бывший арзамасец) предварительно просматривал особенно важные или секретные документы (например, о следствии и суде над царевичем Алексеем). Так было в столичных архивах, но и ради провинциальных Пушкин готов был скакать день и ночь по непроезжим дорогам, чтобы познакомиться с неизвестными ему архивными материалами, побеседовать с местными историками, краеведами, с бывальными людьми, современниками давних событий.

Одна из подобных возможностей представилась поэту летом 1833 года. Материалы столичных архивов о Пугачеве были изучены. 22 июля Пушкин пишет Бенкендорфу: «Генерал. Обстоятельства принуждают меня вскоре уехать на 2—3 месяца в мое нижегородское имение — мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще не видел. Прошу Его Величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний». Однако от Пушкина потребовали более обстоятельного объяснения, и в своем ответе он, между прочим, пишет: «В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду». И в конце письма: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне; это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (из письма управляющему III отделением Мордвинову).

Ограничившись этим уклончивым объяснением царю и Бенкендорфу, Пушкин умолчал до времени о том, что его целью было не только написание романа (это была «Ка-

питанская дочка»), но и «Истории Пугачева». Пугачевым он начал усиленно заниматься, отложив работу над «Историей Петра I». Он выбрал опасную тему и отправился в далекий нелегкий путь! Имя Пугачева еще со времен Екатерины было предано «вечному забвению», самое упоминание о Пугачеве считалось крамолой. Тем больший переполох у местных властей вызвало известие, что Пушкин, который в их глазах и сам был достаточно крамолен, приехал и собирает материалы о Пугачеве.

Казалось бы, что особенного? В свое родовое имение Болдино едет нижегородский помещик Пушкин... но тотчас же «по долгу службы» первым всполохился нижегородский военный губернатор Бутурлин. Секретным отношением он сообщает в Оренбург Перовскому: «По высочайше утвержденному положению Государственного совета в 1828 г. был учрежден секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением поэта титулярного советника Пушкина... Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение о учреждении за ним во время его пребывания в оной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его».

В своем полицейском рвении Бутурлин выглядит несколько смешно³. Дело в том, что близкий царю военный губернатор Оренбургского края генерал-адъютант Перовский был приятелем Пушкина, родным братом писателя Антония Погорельского, повестью которого «Лафертовская маковница» зачитывался Пушкин. К тому же отношение Бутурлина запоздало, и Перовский написал на нем: «Ответить, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому хотя во все время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в мо-

³ Помимо официального сообщения, в частном письме тому же Перовскому Бутурлин писал: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами об Пугачевском бунте, должно быть, ему дано тайное поручение собрать сведения о неисправностях». Чем не сюжет для гоголевского «Ревизора»? Именно так оно и было. Поэт оказывался одновременно и поднадзорным и тайным правительственным ревизором (по мнению Бутурлина, разумеется).

ем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета кроме нужных ему исторических изысканий».

Пушкин пробыл в Оренбурге всего три дня, но и этот краткий срок породил ряд достоверных (и малодостоверных) воспоминаний. Больше всего приходится сожалеть, что сам Перовский не оставил нам никаких сведений о Пушкине. Впрочем, и о себе он ничего не сохранил, уничтожив личный архив.

Интересные сведения о пребывании Пушкина в Оренбурге сообщил в юбилейном 1899 году местный историк П. Юдин. «Как известно, В. А. Перовский (впоследствии граф), — писал Юдин, — несмотря на свою суровость и подчас чрезмерную в обращении с подчиненными строгость, был, в сущности, человек добрый и отзывчивый, особенно покровительствовал ученым и литераторам, будучи сам не чужд литературных занятий». Перовский, как пишет Юдин, оказывал Пушкину «самое широкое содействие в собирании материалов для предполагаемой «Истории Пугачевского бунта», «он кормил его роскошными обедами и поил на славу» и «так увлекся Пушкиным, что отдал ему из своей канцелярии все дела о Пугачеве, и Пушкин их увез с собой. Где теперь находятся эти дела, покрыто мраком неизвестности».

Сейчас нам легко рассеять «мрак неизвестности». Юдин возвел напраслину на Пушкина. Он не знал, что эти дела хранятся не в Оренбурге, а вывезены в 70-х годах в архив министерства юстиции (они хранятся в ЦГАДА). Основные данные были извлечены Пушкиным на «пугачевских» книг Секретной экспедиции Военной коллегии. Пушкин если и получил в Оренбурге несколько пугачевских документов с личного разрешения Перовского, то, безусловно, вернул их ему, когда тот был в столице.

Вообще Пушкина отличала аккуратность и безупречная обязательность в архивных и библиотечных делах. Он бывал безмерно благодарен всем, кто открывал ему свои личные или фамильные архивы и библиотеки. О государственных хранилищах мы говорили. Пушкину одному из немногих разрешен был доступ в находящуюся в Эрмитаже, приобретенную еще Екатериной библиотеку Вольтера. Царственный внук стыдился походов своей великой бабки, а библиотеку знаменитого вольнодумца приказал запереть, даже статуя его работы Гу-

дона приказал убрать с глаз долой. Вольтерская улыбка, запечатленная в мраморе, была невыносима царю. Работая в этой библиотеке, Пушкин сделал быстрый набросок замечательной статуи. Сейчас эту статую может увидеть каждый посетитель Эрмитажа. Обширная рабочая библиотека самого Пушкина — предмет изучения. Он был рачительным хозяином своей библиотеки, своего личного архива, оставленного в небрежении его вдовой и наследниками.

Ошибочно и утверждение Юдина, что Перовский сам показал Пушкину места главнейших действий Пугачева под Оренбургом. Перовский поручил это своему чиновнику особых поручений В. И. Далю, писателю, этнографу и будущему автору знаменитого словаря. В компании с Далем Пушкину было проще и более с руки общаться с простым народом — ведь при грозном генерале Перовском все замирало. Где уж тут слушать пугачевские песни и расспрашивать стариков и старух, помнящих Пугачева.

Но вернемся к архивной деятельности Пушкина. Совершив трудный многоверстный путь, он пробыл в Оренбурге всего три дня. Неужели Пушкин, получив несколько пугачевских дел, так и уехал, не порывшись в оренбургском архиве? «В распоряжении Пушкина было несколько свободных часов — вторая половина дня 19-го сентября и первая половина дня 20-го. Эти-то часы он и мог употребить на работу в архивах... вероятность посещения Пушкиным оренбургского архива не подлежит сомнению», — пишет известный пушкинист Н. В. Измайлов. Итак, Пушкин у цели — он в хранилищах оренбургского архива. Еще вчера вечером (18 сентября) он переговорил с Перовским, и тот распорядился приготовить для него материал и всячески ему помогать. Но что могли сделать плохо ориентированные чиновники в течение нескольких часов? Пушкин должен был столкнуться с неимоверными трудностями палеографических текстов: черновики, неудобочитаемая канцелярская скоропись конца XVIII века. «Свойственная ему огромная память и быстрота соображения могли мгновенно определить и важность документа и то, не встречался ли он уже в делах Военной коллегии». Нельзя не согласиться с автором этих строк Н. В. Измайловым, как и с тем, что «Пушкин как архивист-историк предстает перед нами таким же удивительным и ярким явлением, каким он был во

всех областях своего многогранного творчества». Сейчас мы можем документально подкрепить справедливость утверждения Н. В. Измайлова о работе Пушкина в оренбургском архиве. Вот документ, обнаруженный Е. А. Исаевой в Военно-историческом архиве в Москве. Тридцать лет минуло после гибели поэта и десять лет после смерти Перовского. В Оренбурге правил новый генерал-губернатор генерал Крыжановский⁴. В марте 1867 года, находясь в Петербурге, он подал военному министру Д. А. Милютину рапорт о состоянии подведомственного ему оренбургского архива: «Архив этот богат материалами, имеющими важное значение как для истории России вообще, так и для здешнего края и сопредельных азиатских владений в особенности; но, к сожалению, дела этого архива находятся в беспорядке, затрудняющем свободный доступ к заключающимся в них материалам для ученой любознательности специалистов и для официальных справок». Как сказано в рапорте, «по частным сведениям известно, что виновником такого беспорядка был всего более покойный Пушкин, извлекавший из этого архива сведения для истории Пугачевского бунта».

Генерал Крыжановский в своем рапорте явно стусил краски. Он хотел получить в штат округа еще нескольких офицеров генерального штаба, то есть окончивших соответствующую академию... Р. В. Овчинников, работавший над пугачевскими материалами, хороший знающий оренбургский архив, утверждает, что все дела, которыми мог интересоваться Пушкин, находятся в хорошем состоянии. Недавно вышла книга — сборник документов ставки Пугачева. Составители (среди них Р. В. Овчинников) достойно продолжают дело, начатое Пушкиным. Вопреки мнению царя Пугачев имеет не только свою историю, но и историографию.

II

Удивительные встречи возможны в архиве. В 1960 году, разбирая архивный фонд Инспекторского департамента Военного министерства, Л. Я. Янова встретила «Дело об оказании пособия подполковнику Андрееву». Для Инспекторского департамента такие дела не редкость, департамент ведал

⁴ Н. Крыжановский был оренбургским генерал-губернатором с 1865 по 1881 год. Здесь он в 1876 году встречал своего сослуживца по Севастополю Л. Н. Толстого, «с которым, конечно, беседовал о Перовском», пишет М. А. Цявловский.

личным составом войск и военных учреждений, и подобных дел в этом фонде десятки тысяч. Но от внимательных глаз не укрылось, что в деле упоминается «академик Шевченко». Вот этот документ в выписке из архивного дела:

«В 1845 г., в самое то время, когда мятеж свирепствовал в городе Кракове и Галиции, шайка поляков без письменных видов, состоящая из 20 человек, прибыла в г. Лубны под видом странствующей группы. Кроме полученных в то время секретных повелений иметь неослабный надзор за польскими выходцами, и закон мне указывал прямую обязанность, несмотря ни на какое лицо, не имеющее о себе письменного вида, считать бродягою, я немедленно остановил их в г. Лубнах, вместе с тем открыл розыски о происхождении их с местами, ими указанными... Несмотря на мои донесения, что люди сии не только не имеют ни один из них законного вида⁵, но и по высочайшему Вашего Императорского Величества повелению указанного свидетельства от местного генерал-губернатора для лиц из западных губерний и дозволения из III отделения Собственной канцелярии Вашего Величества, но на все мои донесения я не получил в разрешение никакого ответа. Как в самое это время явился в город Лубны известный возмутитель академик Тарас Шевченко, который своими либеральными возгласами, сочиненными им, и оскорбительными эпиграммами противу особы Вашего Императорского Величества, видимо, старался бросить пламенный мятежа и кровавых междоусобий и в Малороссию, подобно происходившим в западных губерниях, восстановить народ против законной власти.

Видя всю важность настоящего обстоятельства и чтобы, не теряя времени, успеть предупредить готовящееся зло, я решился, не доверяя уже по предыдущему действию гражданского губернатора, прямо эстафетом донести о всех сведениях, по сему мною собранных, господину генерал-губернатору князю Долгорукову, находящемуся в то время в Санкт-Петербурге, вследствие чего означенный государственный преступник Шевченко и с сообщниками был схвачен и понес заслуженное им наказание...»

Здесь выписана только часть всеподданнейшего донесения бывшего городничего Андреева Николаю I, касающаяся Т. Г. Шевченко. Городничий Лубен подполковник

⁵ Вид на жительство, паспорт.

Андреев ни в чем не уступал гоголевскому Сквозник-Дмухановскому, был скорым на расправу жадным издоимцем. Немая сцена, которой заканчивается «Ревизор», оставляет нас в неведении, удастся ли и на этот раз Антону Антоновичу выкрутиться. Андрееву не удалось. За многочисленные злоупотребления он был уволен от должности без пенсии, с лишением всех орденов. Подобно гоголевскому городничему, наш городничий также неглуп. Он довольно верно обрисовал грозовую обстановку того времени. Тонко понимал он психологию своего адресата (царя). Он обвинял Т. Г. Шевченко не только в революционной агитации среди крестьян (в Лубнах в это время бывала ярмарка), но и в сочинении оскорбительных эпиграмм «противу особы Вашего Императорского Величества». Андреев понимал: такое Николай I, человек злопамятный и беспощадный, простить не мог.

Т. Г. Шевченко уже два года томился в ссылке «без права писать и рисовать». После кратковременного ареста в Лубнах он был арестован в Киеве при переезде через Днепр весной 1847 года по доносу киевского студента Петрова на членов Кирилло-Мефодиевского братства. Николай I это знал, но, не забыв услуги Андреева, «всемилоостивейше» восстановил верноподданному доносителю пенсию. Нас, однако, в данном случае интересует не проштрафившийся лубенский городничий, а великий поэт-революционер. Первым делом пришлось справиться по Летописи жизни Шевченко о факте его ареста в Лубнах. Такой факт (кратковременный арест) зарегистрирован не был. Это удваивало значение архивного документа... Отправился в библиотеку и с еще большим волнением стал просматривать печатные материалы. В книге М. К. Чалого я обнаружил упоминание об аресте поэта. Чалый вел оживленную переписку с В. Н. Репниной, близким другом Шевченко. Она писала: «Во время пребывания Шевченко в Лубнах он как-то раз вздумал прочесть в веселой компании несколько своих вольнодумных стихотворений и, между прочим, одну сатиру (видимо, это был «Сон», написанный в 1844 году. — А. Ш.). Об этом узнал лубенский исправник (как видим, не «исправник», а городничий. — А. Ш.) и тотчас же донес куда следует, и поэта велено арестовать». Архивный документ, и до того бесспорный, получил подтверждение в опубликованных воспоминаниях современницы.

Как же получилось, что лубенский арест так долго ускользал от внимания шевченковедов? Ответ прост — всему виной слияние двух событий: неизвестного ареста в Лубнах и ареста на днепровском пароме (1847), хорошо известного. Исследователи решили: раз факт им неизвестен, значит, его не было; мол, Репнина допустила неточность. Пренебрегли свидетельством человека благородного, искренне любившего великого поэта. Она не могла ошибиться. Но не все источники — кристальная каменная струя. Бывают источники мутные, лживые (как их авторы, лубенский городничий например). Долг историка не пренебрегать ни одним из них. Брезгливость историка в этом случае сродни застенчивости генерала в бою, о которой говорил Ермолов.

Наша история имеет счастливый конец. Цель архивистов достигнута: «мертвый документ» (слова Пушкина) наконец получил путевку в жизнь — был опубликован⁶.

III

Более столетия почти каждый год приносит все новые факты о жизни и творчестве Пушкина. Конкретней представить факты из его удивительной жизни, яснее и глубже понять его мысль — задача важная и увлекательная.

Ленинградским пушкинистам В. Э. Вацуру и М. И. Гиллельсону выпало счастье обнаружить пометы, сделанные рукой Пушкина на полях рукописи книги Вяземского о Д. И. Фонвизине, подготовленной к печати. Книга вышла в свет после смерти Пушкина, в 1848 году, однако уже в начале 30-х годов была вчерне готова и представлялась в цензуру. Предвидя цензурные и литературные осложнения в будущем, Вяземский давал свою работу на предварительный просмотр некоторым из знакомых литераторов. В том числе Пушкину. Пушкин читал рукопись не поздней осенью 1832 года.

Книга Вяземского о Фонвизине была, «по сути дела, первой отечественной литературоведческой монографией»⁷, пишут В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон. Но, неоднократно указывая на искажение Вяземским некоторых мыслей Фонвизина (это заметил и Пушкин), на передержки при цити-

⁶ См. газету «Литература и жизнь», 10 марта 1961 года.

⁷ «Из Пушкинских маргиналий (пометы на книге Вяземского о Фонвизине)» (в сборнике «Прометей», 1974, № 10).

ровании его писем, авторы, как нам кажется, употребляют смягченные эпитеты. Называют это «приданием иного смысла», «отходом от оригинала», «полюемической запальчивостью» и «публицистической закваской Вяземского». Все это справедливо, но, возможно, следовало бы поставить вопрос о научной строгости работы Вяземского с документами.

Публицистическая и историографическая практика Пушкина, его архивные изыскания строились на совершенно иной основе. Работу Пушкина-историка отличали выверенность оценок, критический подход к источникам. Он отдавал предпочтение документам неоспоримым и достоверным, научная добросовестность Пушкина-историка была безупречной.

Не пройдет и года после чтения рукописи Вяземского, как Пушкин напишет о своей «Истории Пугачева»: «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, по крайней мере я по совести исполнил долг историка: изыскал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей» (из неотправленного письма Бенкендорфу 6 декабря 1833 года). Пометы Пушкина на полях рукописи Вяземского, кроме одобрительных замечаний («прекрасно»), говорят о желании уточнить факты, требуют их правильной, беспристрастной интерпретации («без криводушия»). Здесь же, на полях рукописи, Пушкин сообщает слышанные им от своего отца и от бабки сведения о жизни Фонвизина. Когда Вяземский умозрительно и голословно отвергает свидетельство очевидца (Фонвизина), Пушкин пишет: «А если это правда?» В этой короткой фразе он весь! И наконец, Пушкин с досадой пишет: «Сам ты Гиббон». Это одно из его последних замечаний на полях.

Когда, бережно переворачивая листы рукописи, В. Э. Вацуру и М. И. Гиллельсон дошли до пометы «сам ты Гиббон», они окончательно решили — «это Пушкин! Кто же, кроме Пушкина, мог осмелиться написать такое Вяземскому?», справедливо спрашивают они. Запись эта может показаться дружеской шуткой. Вроде чеховской характеристики французов: «Много Альфонсов: Альфонс Доде, Альфонс Ролле и др.». Весь комизм здесь в неожиданности вывода. Но это только на первый взгляд. Дружеская шутка Пушкина имеет некоторый небезынтересный подтекст, оказавшийся зашифрованным для нас, но, разумеет-

ся, не для Вяземского. Мне представляется, в реплике «сам ты Гиббон» много досады, гнева, мгновенной ярости, может быть...

В ярость друг меня привел,
Гнев излил я, гнев прошел...

В воспоминаниях, написанных через много лет, Вяземский об этом скажет: «В одном месте, где противопоставляю мнению Гиббона о Париже и мнению Ф(он)-Визина, написал он (Пушкин) на рукописи моей: Сам ты Гиббон. Разумеется в шутку и более в отношении к носу моему, нежели к моему перу». Известно, что Гиббон славился, между прочим, «курносием своим». Вяземский довольно прозрачно намекает на анекдот об английском историке Гиббоне. Читатели модной в начале XIX века французской писательницы Жанлис хорошо знали этот анекдот. В те годы достаточно было простого намека, как это сделал Пушкин, чтобы напомнить его. К концу XIX века анекдот был бы забыт, как и остальные писания Жанлис, если бы не прелестный «святочный рассказ» Н. С. Лескова «Дух госпожи Жанлис». Соль выражения Пушкина «сам ты Гиббон» станет вполне ясна, если прочесть этот рассказ. Графиня Жанлис (1746—1830) враждебно относилась к английскому историку Гиббону, посетившему Париж в конце XVIII века. Приведем здесь в изложении Н. С. Лескова рассказ о конфузе, происшедшем с Гиббоном в салоне одной парижской дамы. «Джиббон был мал ростом, чрезвычайно толст, и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно: две жирные толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все... Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы мало-мальски прилична для самых больших щек; каждый, увидав их, должен был бы удивляться: зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джиббона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозен, который был очень короток с Джиббоном, привел его однажды к Duffand. M-me Duffand⁸ тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом она усвоила себе довольно верное понятие о чертах нового зна-

⁸ Маркиза Дю де ф а н (1697—1780) — писательница, известная своими письмами к Вольтеру и энциклопедистам.

комца. К Джиббону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно представил ей свое удивительное лицо. М-me Duffand приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и наконец она быстро, отдернув с гадливостью свои руки, вскричала: „Какая гадкая штука!“».

Пушкин имел обыкновение записывать со слов современников исторические анекдоты, но в данном случае ему не было необходимости записывать этот расхожий анекдот, он его запомнил и, как видим, использовал к месту.

Современники Пушкина не отказывали себе в удовольствии сдобрить острым словом пресную действительность. Анекдот во времена Пушкина понимался гораздо шире, чем в наше время: «...это мог быть отрывок остроумного разговора, красное словцо, сказанное к случаю, или просто изустный исторический рассказ», — пишут В. Э. Вацура и М. И. Гиллельсон. Последнее замечание хотелось бы проиллюстрировать хотя бы только заголовком одной из книг пушкинской библиотеки: «Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния российского Генерал-Фельдмаршала Графа Бориса Петровича Шереметева, любимца Петра Великого и храброго полководца. С описанием всех важнейших и любопытных происшествий, случившихся как в домашней, политической, так и в военной его жизни до самой кончины, с историческим известием о его походах, сражениях и победах. Российское сочинение», Спб., 1808 год⁹. Здесь ничто не забыто из жизни: анекдоты (на первом месте!), военные и политические деяния, важнейшие и любопытные происшествия.

Анекдот, таким образом, понимался как исторический факт. Его величество факт, известный самому Пушкину и в равной степени Вяземскому. В этом смысле восклицание «сам ты Гиббон», помимо прямого значения в связи с текстом (этот вопрос пре-

красно разобран авторами названной работы), таит в себе «просто анекдот», раскрытие которого позволяет узнать и лучше понять «мастера-хозяина» (Пушкина), поучающего своего «скромного работника» (Вяземского)¹⁰.

А раз дело касается Пушкина, незамеченной не должна пройти ни одна реалия.

Нельзя сказать, что для архивных документов всегда открыты полосы наших периодических изданий. Архивный документ бывает неказист, противоречив, не укладывается в привычную схему и т. д. и т. п. Правда, любой архивист скажет, что ради архивного документа не грех потеснить иного автора, что архивный документ «тот же городничий». Помните, как говорил хлебосольный Петух Чичикову: «„Да ведь и в церкви не было места, взошел городничий — нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок — тот же городничий!“».

Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить». Дело, конечно, не в том, чтобы все редакторы превратились в гоголевских Петухов, но Семева и Бартьева среди них, случается, нам недостает. Целиком опубликованный первоисточник, непосредственное знакомство с документом неизмеримо ценнее для вдумчивого читателя, чем встреча с его частями в какой-либо монографии.

В последние годы наша печать все шире публикует архивные материалы, а среди них те, что имеют прямое отношение к истории отечественной литературы. К Пушкину, в частности. Думается, что к любому вновь обнаруженному документу, так или иначе бросающему свет на творческую и личную судьбу Пушкина, должно быть приковано внимание не только специалистов-исследователей, но и издателей. Такие материалы интересны всем.

¹⁰ Вяземский вспоминает: «Навестил меня в Остафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и критика меткого, строгого и светлого», «Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, т. е. лучшую награду за мой труд».

⁹ В. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Спб. 1910.

ЖИЖИЖИЖИ ОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валентин Курбатов. Единство интонации. — **Владислав Шошин.** Поэзия интернационализма. — **В. Кулешов.** Грани познания. — **Дм. Молдавский.** Мера ответственности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Давыдов. Труд — праздник. — **Владимир Ломейко.** Какова судьба человечества? — **В. Косолапов.** Духовный мир и культура зрелого социализма. — **Григорий Медынский.** Высокая душа.

Литература и искусство

ЕДИНСТВО ИНТОНАЦИИ

Василий Росляков. Повесть. Рассказы. М. «Советская Россия». 1977. 381 стр.

Название этой книги не обещает единства. «Повесть. Рассказы» — так называют сборники, сложенные из разного, не скрепленные сквозным замыслом. Читатель обычно уклоняется от таких книг, давним опытом зная, как досадно идти рывками и с каждым рассказом перестраивать шаг.

Однако новая книга Василия Рослякова цельна. Единство обеспечено интонацией доверительного разговора, вечерней беседы автора с читателем. Автор тут существо не метафизическое, не таинственный всевидец, который насквозь знает беззащитных перед его пронизательностью героев и судит их верховным своим знанием, а именно Василий Петрович Росляков с его собственной биографией, с его друзьями, с его счастливым зрением, умением великолепно воспроизвести чужую речь, «передразнить» ее во всей звуковой щедрости (этот артистизм устного рассказчика, ведомый друзьям писателя, явлен здесь во всем умном, добром и веселом блеске).

Сюжеты повести и рассказов — это именно его жизнь, его юность («Один из нас»),

его свидание с родными местами («У дяди Тимохи», «Добрая осень»), его нынешнее житье («За рекой, в деревне»). Дневниковая исповедь дает ему право приходить к читателю, не драпируясь отвлеченными лирическими отступлениями, со всей простотой открытого диалога: «...сейчас, двадцать лет спустя, я много бы дал тому, кто вернул мне хотя бы один час в той комнате в тупичке первого этажа... Я понимаю, что все это невозможно, к сожалению. Но я сажусь к столу и пишу, чтобы все-таки сделать невозможное».

Такие прямые вторжения у Рослякова становятся методом, организуют его поэтику, позволяют ему пренебречь последовательностью: «А за окном течет река жизни. Когда мне нужно, я останавливаю ее». Так он останавливает ее в повести, рискуя навлечь на себя гнев читателя. Читатель уже привык к героям, втянулся в их мир. Они только «расставились» для действительной жизни; теперь, казалось, начнется то, ради чего сыграна увертюра, теперь мы увидим эту самую «реку жизни», но автор решительно и спокойно обманывает наше ожида-

ние: «Все это стало мне вдруг неинтересным. До этого было интересно, а теперь вот что-то стало мешать. Хочу рассказывать дальше, а что-то мешает. А мешает я знаю что. Война... Стоит впереди, и все время я ее вижу и ни о чем больше думать не могу...» И ушел в войну, ушел по короткому мосту этого признания, минуя времена и события, не равные ей.

Это прием всей книги, ее методологический принцип: кроить повествование на глазах у читателя. Росляков — радостный мастер. Мир нравится ему, и читатель чувствует это сразу по доброй улыбке, по любящему взгляду, которым смотрит автор на своих героев, на всех этих живых, конкретных, с точными адресами и действительными именами Василь Николаичей, Иван Абрамычей, Михаил Андреичей... Все они ему по сердцу, и радостная нежность интонации заражает читателя. Но эта интонация вместе с тем заслуживает более пристального разговора, потому что ее достоинства оказываются уравниены в книге, а порою и затемнены недостатками.

Следим за движением повести «Один из нас». В ее центре несколько мальчиков, юношей. Каждый был интересен читателю, в каждом прорастала жизнь, и все были важны, но скоро автор понял, что если идти за всеми, повесть разрастется сверх меры, и он отпустил «лишних» героев на скороговорке, на обмолвке, и осталось в повести двое — автор и Коля Терентьев. Причем автор (заметим: «я» в прозе — средство очень сильное) все время был на шаг впереди Коли, а в конце повести выясняется, что особенно важен в ней как раз Коля, который «упал к подножию камня и стал неизвестным солдатом...». Видно, автору «стало неинтересно» быть последовательным, и вот повесть разломилась. «Река жизни» как будто обмелела. И стало обидно, потому что начиналась повесть прекрасно, полнокровно и искала того же продолжения.

Борис Можаяев, рецензировавший эту книгу в «Литературном обозрении» («Нравы и характеры», 1978, № 5), спорит с критиками, писавшими о повести до него. По убеждению Б. Можаяева, критические упреки в адрес писателя объясняются тем, что Росляков избрал «сомнительного» героя, сына «раскулаченных родителей, и то еще плохо, что он не отрекся от них, за что и был исключен из комсомола».

Современная наша критика вряд ли повинна в таком упрощенчестве. И если по-

весть действительно не попала в актив лирической прозы, то не из-за героя и не из-за трагизма ситуации, в которую он ввергнут войной (теперь военная проза знает ситуации и пострашнее этой), а именно, как я думаю, из-за некоторой невнятности формы.

Внимательный читатель тотчас переспросит: а как же быть с утверждением, что книга цельная? Напоминаю: я говорил о единстве интонации, о мелодической цельности книги... В уже упомянутой статье Борис Можаяев ставит критику в вину, что она только и умеет разобрать прозу по тематическим признакам — кого в «деревенщики», кого в «интеллектуалы», а эстетической ценности, в частности творчества Рослякова, не видит, не понимает того, что «хороших писателей роднит между собой не тема, а мастерство, глубина проникновения в жизненные процессы, умение схватить смысл и ход времени особым образом, создавая типические характеры в типических обстоятельствах».

Тысячу раз прав писатель, говоря об этих «типических характерах». Тоска по ним, тяготение к типичности неутолимы в читателе, и он с благодарностью находит их в прозе Рослякова. Но, всматриваясь в эту прозу, с очевидностью убеждаешься, насколько не проста задача создания «типических характеров в типических обстоятельствах». «Типизация» — это всегда власть над характером, это предоставление суверенитета, если характер докажет силу и право быть типическим. Росляков же временами идет по пути сочувственной записи услышанного.

На такое отклонение от типичности порой провоцируют сами герои — те городские и деревенские люди, с которыми судьба сводит автора и которые воспринимают назначение писателя как человека, только грамотно записывающего чужие биографии: «...каждому хотелось вылить всю душу кому-то, освободить себя от тяжкого бремени выпавших ему переживаний. И бывает, оказывается, трудно носить это бремя. Вот моя жизнь, говорит мне один, вот она уже прошла, а тут у меня... Он чуть ли не раздирает ворот рубахи. Тут у меня такое... Езжай, говорят, к Шолохову, ему все расскажи. Собираюсь ехать, как вы считаете, Петрович? Надо ехать к Шолохову?»

Но до Шолохова далеко, а Петрович близко, и они поверяют свои истории ему. Писатель выслушивает каждого и каждому дает выговориться, но диагнозы ставить избегает, полагаясь на прозорливость читателя.

«Население» нашей памяти, слагающееся равно из реальных людей и литературных персонажей, увеличено этой книгой чрезвычайно. Люди у В. Рослякова живые, конкретные, хорошо написанные, с верной, умно услышанной речью, а из представленных здесь персонажей типическими я многих не рискнул бы назвать. «И не надо,— скажет писатель,— их и странно было бы так называть, ведь они конкретные люди — Алексей Иванович Калинин, Иван Абрамович Гульников и т. д.». Но в том-то и сложность и тайна, что раз поставил в определение жанра «рассказ», герой перестает быть частным человеком и переходит в эстетическую реальность — так диалектически сложна интонация прямой беседы. Автор становится лирическим «я», герой — персонажем. Внутренние связи чрезвычайно усложняются. Внешне эта форма обманчиво проста и привлекательна, внутренне она одна из труднейших.

Легкая, обаятельная книга В. Рослякова побуждает к отклику, сиюминутному диалогу. В разговоре как бывает? Минуту свою упустил, потом уже не скажешь. Росляков «с ходу» высказывает мгновенные, только что мелькнувшие мысли, не всегда стремясь их всесторонне обосновывать. Он размышляет у нас на глазах, в процессе самого сочинения, не отягощая мысль рефлексией, и эта сейчасность рождения мысли требует и ответа немедленно: не рецензии, а реплики.

Оттого так и привлекательна избранная автором форма — живая, мобильная, удобная. Прямой выход к читателю вознаграждается скоро устанавливаемым контактом, налаживается хороший ритм доверчивого чтения, когда благодаришь автора за то, что он не прячется в условные формы, не судит с высокомерием носителя истины, а пытается вместе с тобой искать ответы на насущные вопросы. И если все-таки при этом в нашем отклике звучит укор, то причиной тому именно недостаточное использование возможностей формы.

Книга Рослякова наполнена «сценами из жизни» — светлыми и грустными, полными улыбки и сострадания. Весь диапазон взятых ситуаций охвачен в этих «сценах» с достаточной полнотой, и, естественно, у книги появилось много доброжелательных читателей (рецензия Б. Можяева прямое тому подтверждение). Я тоже читал ее с удовольствием, но когда пришла пора поговорить о книге, когда общее впечатление детализировалось, а мысль прояснилась и уточнилась, стало видно, что важнее не повторить еще раз похвальные слова, которых достойна книга, а коснуться вопроса об интонации, о типическом характере, пути создания которого не бывают наезженными и каждому художнику надо творить их наново.

Валентин КУРБАТОВ.

Псков.



ПОЭЗИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

Николай Тихонов. Избранное. В двух томах. Т. I, 326 стр.; т. II, 323 стр. Тбилиси. «Мерани». 1978.

Выпуск двухтомника избранных произведений Н. С. Тихонова был приурочен к Дням советской литературы в Грузии. Настоящее издание произведений классика советской литературы, недавно от нас ушедшего Николая Семеновича Тихонова — подарок не только для грузинского, но и для всесоюзного читателя. Разве не ценно получить запечатленную в художественном слове летопись становления братской социалистической республики? Именно такой летописью является тихоновский двухтомник. Первое произведение Николая Семеновича о Грузии — поэма «Дорога» — было написано еще в 1924 году. Новые стихи о Грузии

включены автором в книгу «Стихотворения», изданную в Москве в 1978 году.

Свои приметы время ставит,
И голос жизни не молчит.
Где степь была — стоит Рустави,
Стального солнца льет лучи.

От атома до электронных
Тех вычислительных машин —
Грузин в науке современной
И недр, и неба властелин.

Такова сегодняшняя Грузия. Но долгов был путь к ней... В «Снах Аспиндзы», «Башнях Сигнаха» и других стихотворениях поэт вспоминает трудные века борьбы народа

за национальную независимость. Он вспоминает грузинских патриотов прошлых времен, чей «подвиг сердца» и сегодня с нами. В цикле стихов о грузинских писателях Илье Чавчавадзе, Важа Пшавела и других воссоздается славный своей гражданской целеустремленностью, цельный образ поэта. Так, кстати говоря, и названо стихотворение, посвященное Важа Пшавела и характеризующее его как гражданина, повседневно связанного с жизнью народной.

Тихоновская летопись Грузии образна, символична. Сергей Миронович Киров, поднявшись на Казбек, провидит завтрашний день революции:

И станет мир,
Как с этой высоты,
Неповторим —
Его увидишь ты.
Сквозь кровь и тьму,
Сквозь всех сражений дым
Войдем к нему,
Когда мы победим!

Сергей Киров, Борис Дзnelадзе — русские и грузины, представители многих национальностей нашей страны плечом к плечу боролись за установление в Грузии власти рабочих и крестьян. В поэме Н. Тихонова «Дорога», книге «Стихи о Кахетии» (1935), цикле «Горы» (1940) видим новую, советскую Грузию. Несомненно, луч грузинского солнца прорезывал черную ночь над блокированным Ленинградом, помогая Николаю Семеновичу находить силы для борьбы и творчества в тех невероятно трудных, трагических условиях. Н. Тихонов писал о Грузии многонациональной, в дружную семью сплотившей различные нации и народности. Дружба! Это великое слово, как колокол сердца, звучит неустанно. Дружба народов кровью скрепилась в блокадном Ленинграде, который защищали и грузины, куда шли подарки от грузинских друзей («Када»). А русские бойцы грудью заслоняли кавказские перевалы, обороняя Грузию («Песня о дружбе»).

Кончилась Великая Отечественная война — Тихонов снова едет в Грузию. Снова «стих встает к оружию, как солдат», но это уже солдат мирного времени, солдат на страже мира. В книге стихов «Грузинская весна» поэт славит труд советских людей («Рустави», «Руки сборщицы чая»). Мирный день послевоенной Грузии он видит праздничным, поэтически одухотворенным:

Заря через сумрак рассветный
Как розовый красась олень,
Являясь потом мисгоцветный,
Стихами пронизанный день.

В тихоновских стихах о Грузии находим раздумья о сущности жизни («Смерть»), о природе искусства («Срез стены Кошуети»), о преемственности поколений («Пройдут далекие года...»). Национальной спецификой Грузии порождена не только их образная система, но весь идейно-тематический спектр.

В рецензируемом двухтомнике впервые собрана и грузинская проза писателя, неотъемлемая часть летописи русско-грузинской дружбы: повесть, рассказы, статьи, очерки. Здесь мы вступаем в старый Тбилиси с его узкими улочками, бесчисленными лавочками, где «голова кипит, как чай в огромных самоварах». Затем мы переносимся в Ленинград, куда приезжают поэты из Тбилиси и где в 1935 году организуется — впервые в стране! — секция изучения грузинской литературы и грузинского языка.

«Тбилиси,— вспоминает Тихонов,— был городом поэтов, и стихи звучали в горячем воздухе поэтических ночей, и казалось в переполнении чувств, что в Тбилиси можно разговаривать только стихами или какой-то высокой прозой». Переходя от стихов к прозе, автор дает образцы прозы именно высокой, поэтически образной, восторженно-одухотворенной, постоянно устремленной «навстречу чему-то удивительному» («Цхнетские вечера»).

Но и в прозе Н. Тихонов остается лириком. Особенно ощутимо это в очерках о поэтах. Как о близких знакомых, говорит он даже о тех, с кем не встречался. «Я шел в гору по пересохшему руслу горной речки. Выше меня стоял густой лес, которым поросли окрестные высоты. Открылась тропа, она выводила на склон, покрытый большой, жесткой травой. Над этой тропой были видны груды каменных обломков и кирпичей, остатки древнего фундамента». Ну и что? Да то, что, по преданию, это было место, где стоял дом Давида Гурамишвили. А дальше уже воображение прозаика (поэта!) способно нарисовать картины юности Давида, трагическую историю его пленения многие десятилетия тому назад...

Тихонов не только по книгам знает грузинских поэтов XIX века, он бывал в тех местах, где жили они, не понаслышке представляет условия их жизни. Отсюда достовер-

ность его повествования, хотя лежащая в ее основе документальность постоянно расцвечивается всеми цветами поэтического вымысла. Он сам увлечен тем, о чем говорит, и потому увлекает и читателя. Путь на родину Важа Пшавела Н. Тихонов рисует со всей обстоятельностью очеркиста: «С каждым поворотом ущелье показывает все новые и новые красоты. Перед путником бодряще шумит река в завитках голубой пены, тени старых грабов перекрывают дорогу». Нет, это не очеркист, это поэт!

Но это и не поэт только, потому что описание красоты гор нужно автору для того, чтобы глубже показать очарование стихов Важа Пшавела, жившего в этих горах. Все-го вернее было бы сказать, что перед нами и поэт, и очеркист, и литературовед...

Широта, творческая многогранность, привлекающая Н. Тихонова в грузинских поэтах, — качества, в высшей степени присущие и ему самому. Печатью широты авторских устремлений и художественных интересов отмечен и весь состав двухтомника.

Стихи и проза — в этом далеко не вся тихоновская Грузия. С той незабвенной осени 1934 года, когда в Цинандали Николай Семенович перевел более двух тысяч строк грузинской лирики, он оставался постоянным посредником между грузинским вдохновением и русским читателем. Его антология переводов грузинских поэтов включает в себя поэмы, баллады, лирические стихотворения, миниатюры. Широка и география этой антологии: Мегрелия в стихах Симона Чиковани, Кахетия у Иосифа Ноншвили, Гурья у Григола Цецхладзе, Пикрис-гора в стихах Карло Каладзе.

Обширно в тихоновской переводческой антологии представлены годы социалистического строительства в Грузии: «Репорт партии» Сандро Зули, стихи Галактиона Табидзе из книги «Эпоха». Прекрасно преобразованы Колхиды в стихах Алио Мирцхулавы:

Забывает Колхида раны зла вековые,
И Рион в новом русле засверкал лебединый.
И в саду, где качались тростники лишь
кривые,
Там стоит ароматный рассвет мандаринов!

Тема труда, кардинальная для всей советской литературы, по-особому звучит в предгорьях Востока, традиционно воспринимавшегося в русской классической литературе как царство созерцательной неподвижности. Смело входят в грузинскую поэзию новые формулировки. «Пот не просыхал на наших лицах, этот жемчуг завтрашнего дня!» — полемически восклицает Георгий Леонидзе. «Труд, что проклят был века, превратился в дело славы», — резюмирует Тициан Табидзе.

Отбирая стихи для перевода, Николай Семенович постоянно стремился прежде всего познакомить русского читателя с наиболее значительным.

Вот и рассвет,
Над страну пылая.
Золото солнца над морем и сушей,
Тысячу дней мы ему пожелаем,—
Здравичу скажем!
Чашу осушим!

«Чаша» в этой «Здравиче» Леонидзе звучит вполне традиционно. Но характерен ли был для дореволюционной грузинской литературы мотив личной причастности поэта к жизни всей великой страны, занимающей шестую часть суши?.. «Родины включен в электросеть я, свет народа — он и мой по праву», — говорит Леонидзе в другом стихотворении, и мы опять чувствуем, что автор осознает себя гражданином Страны Советов. Это сознание пребудет в сердцах у нас вечно как великое революционное завоевание и для грузин, и для русских, и для всех граждан нашей страны.

Двухтомник Тихонова о Грузии много даст не только тем, кто интересуется собственно литературой. Поэт открывает путь к русскому читателю литераторам и ученым, исследователям, альпинистам, спелеологам. Найдет в двухтомнике Тихонова пищу и тот, кто интересуется историей Грузии. «История говорила здесь полным голосом» — эта строка из тихоновского рассказа «Ночь и день», несомненно, отвечает той авторской пристальности к живой связи времен, тому пафосу историзма, которыми проникнут весь двухтомник.

Бладислав ШОШИН.

Ленинград.



ГРАНИ ПОЗНАНИЯ

Кирилл Пигарев. Ф. И. Тютчев и его время. М. «Современник». 1978. 333 стр.
В. Н. Касаткина. Поэзия Ф. И. Тютчева. М. «Просвещение». 1978. 176 стр.

Перед нами две разные книги о Тютчеве. Они демонстрируют возможность непохожих, но продуктивных подходов к поэту. Книги высокого научного уровня и одна дополняет другую. Первая принадлежит К. Пигареву, авторитетному специалисту, отдавшему десятилетия изучению Тютчева. Вторая — В. Касаткиной, имени для широкого читателя новому.

К. Пигарев скрупулезно, на документальной основе прослеживает жизненный путь поэта и характеризует особенности его творчества. Главная тема исследования — трагическое мироощущение поэта. В тигель этого искания бросается все: и обстоятельства той или иной конкретной встречи поэта, и цензурная купюра в его стихе, и многое другое. В книге рассматриваются важнейшие вопросы духовной жизни Тютчева, его весьма противоречивое отношение к декабристам, его славянофильство, монархизм и даже панславизм, отрицательное отношение к царской бюрократии, политическим притязаниям Бисмарка, к русскому пореформенному либерализму и к Парижской коммуне. Такова амплитуда. При этом постоянно выявляется «особенная статья» тютчевского понимания этих и подобных вопросов, страстное желание поэта «догадаться» о действительном месте России в общечеловеческой истории, о ее будущем.

Всем известно: общий тон поэзии Тютчева жизнерадостный, хотя оптимизм поэта подвергался немалым испытаниям. По обстоятельствам своей дипломатической службы он был оторван надолго от России. Своеобразие убеждений порой ставило его в изоляцию посреди бушевавших течений русской общественной мысли, и поэт оказывался лишь свидетелем катаклизмов, а не их участником. В том и состоит главное достоинство книги К. Пигарева, что в ней показано, как из этих противоречий, способных искривить (если не погубить) немалый талант, вырастает великая поэзия Тютчева. Тут важна полная доводка следственно-причинных связей, без перескоков и декларативности.

Заглавие книги «Ф. И. Тютчев и его время» способно вызвать у кого-то недоумение: разве было у Тютчева «его» время каноподобие пушкинского, некрасовского?

Да, Тютчев пребывал в протяженном времени. Связь между его поэзией и самыми громкими событиями истории, как показывает К. Пигарев, носит не прямой, сложный характер. Но она реальна.

Книга исследователя внушает нам, что при всех причудливых изгибах пути поэта Тютчев — глубоко русское явление, несмотря на искусственность, замкнутость дипломатической среды, в которой долгие годы вращался поэт. Мир здоровых национальных традиций и искусственное существование верхов — два крайних полюса в творческой судьбе Тютчева. Но ведь между аналогичными полюсами по-своему проходила жизнь Пушкина, Лермонтова. В сознании и творчестве Тютчева не столь органически, как в практике дух его гениальных современников, перерабатывались огромные массы влияний жизненных и литературных. К. Пигарев демонстрирует на конкретных примерах, как продиктованное эпохой влияние Вольтера касается Тютчева лишь одним своим крылом: высокопарной «Генриадой», а не безбожной «Орлеанской девственницей» (как было у Пушкина, Герцена). Показано и то, в каких связях находится его творчество с поэзией «божественного» Шиллера, с идеями Шатобриана и Жозефа де Местра.

Исследовательский взгляд К. Пигарева строг и беспристрастен. Например, о Тютчеве — «боязливом питомце дворянского гнезда» говорится, что по поводу «Вольности» Пушкина он сетовал, упрашивая сочинителя смягчать, а не тревожить сердца. Известно, что и убийцу поэта Тютчев назовет цареубийцей: более позорного слова для Дантеса он не найдет. И в то же время у Тютчева на каждом шагу всплески самого крамольного остроумия: о царской цензуре поэт говорил как о «лицемерно-насильственном произволе». О царе Николае I отзывался: «По внешности — он великий человек». И время, наступившее после его смерти, назвал оттепелью. Так что налицо свидетельство о другой, подспудной духовной жизни Тютчева, роднившей его с русскими передовыми людьми. Он умел смело выходить на широкие магистрали со славянофильских задворков. Была у него безыскусственная жизнь, берущая начало в Овстуге, в общении с

дядькой Евсеем, этой тютчевской Ариной Родионовной, в русских привычках, сохраненных до конца дней. Таков он и в полемике с космополитической книгой путешественника маркиза Кюстина «Россия в 1839 году», в которой было много едко о Николае I, но было и глумление над Россией, ее народом. Певец вековых бурь, Тютчев конкретен в передаче пережитых им «минут роковых». Некоторые его стихи так и озаглавлены датами: «14 декабря 1825», «29 января 1837»...

Много еще остается белых пятен в области биографии Тютчева. К. Пигарев не раз сигнализирует о них: не знаем, кто та неизвестная, с которой Тютчев встретился, полюбил ее и потом ни разу не видался с ней со времен отъезда из России (ей посвящены стихи: «Сей день, я помню, для меня», «Двум сестрам»); остаются нерасшифрованными конкретные взаимовлияния Гейне и Тютчева; не до конца прояснена посредническая роль И. С. Гагарина в ознакомлении Тютчева с «Философическими письмами» Чаадаева, которые перекликаются с тем, что думал о судьбах мира Тютчев; не знаем, по каким причинам издание стихотворений Тютчева, затеянное Н. В. Сушковым, не состоялось; не знаем, когда Тютчев познакомился с И. С. Тургеневым; не знаем, как Тютчев встретил подготовленное Тургеневым первое прижизненное издание своих стихотворений; не знаем, к какому времени относится начало его увлечения Е. А. Денисьевой...

Опровергаются К. Пигаревым иные легенды о Тютчеве, неверные толкования некоторых сторон его мирозерцания. Так, например, явно преувеличивается исследователями шеллингианство Тютчева. С полным основанием оспаривает автор традиционное, идущее от Ю. Тынянова зачисление Тютчева в разряд поэтов-«архаистов». В книге выявляются многообразные, чисто стилистические функции архаики, никак не доминирующей в общем стиле Тютчева. К. Пигарев решительнее многих отвечает на все еще спорный вопрос, как отнесся Пушкин к стихам Тютчева, которые сам же опубликовал в «Современнике»: Пушкин приветствовал их. К. Пигарев определеннее предшественников говорит об автобиографизме лирики Тютчева, так ярко проявившемся в денисьевском цикле.

Тютчев — поэт-мыслитель, но мысль у него всегда сливается с образом. Автор книги с большой силой акцентирует гар-

моничность тютчевской поэзии, ее специфичность: некая запальчивость (любовь для него не только «чудное мгновение», но и «роковая» страсть, «буйная слепота страстей», «поединок роковой»); женщина у Тютчева сильнее, прямее и самоотверженнее мужчины, хотя и обречена «изныть»; у него почти нет внешнего портрета предмета страсти, яркие внутренние черты женщины выступают из подтекста («...глаз чистосердечье — оно всех демонов сильнее»)

Ценнейшие наблюдения над поэтикой Тютчева выводит К. Пигаревым из живого ее корня, хотя, может быть, широкие значения тютчевского слова не всегда угаданы. Верен общий вывод: круг тем и мотивов ограничен у Тютчева, а «небо» его поэзии — беспредельно. Хотя у Тютчева много самоповторений, монотонности у него нет. Исследователем выявлены своеобразные формы эволюции Тютчева-поэта, имевшего манеру через много лет доделывать, совершенствовать свои стихи («Люблю грозу в начале мая») или в разные десятилетия писать стихи на одни и те же темы, создавать «дублеты»: «День и ночь» (1830), «Святая ночь на небосклон взошла» (1850). При всем отличии позднейшей версии от ранней сохраняется изумительная свежесть чувств: «Я встретил вас, и все былое...» и «Я помню время золотое...» А между встречами протекла почти вся жизнь. В его стихах сочетаются декламативная и напевная мелодика, литературная и фольклорная традиции. Тютчев был виртуозом интонации и паузы, мастером придавать особую эффоническую выразительность стиху. Гениальные четверостишия Тютчева вбирают целые миры мыслей и чувств.

С большим тактом подходит К. Пигарев к тем стихотворениям Тютчева на общеполитические темы, в которых наиболее резко проявились пристрастия Тютчева — дипломата, монархиста. Отрицательно о них отзывались в свое время Чернышевский, Тургенев, Толстой. По тенденции эти стихи ближе к статьям Тютчева «Россия и революция» (1848), «Папство и римский вопрос» (1850), чем к его лирическим шедеврам. Но и в них содержатся «поэтические тончайшие блестящие»: «Русской женщине», «Эти бедные селенья», «Слезы людские, о слезы людские». В этих стихах порой звучат поистине некрасовские ноты. Скрупулезный историзм исследователя насколько не суживает горизонтов философского истолкования тютчевской поэзии, на-

оборот, этот историзм позволяет, не впадая в буквалистские упрощения, улавливать каждый раз подлинное значение стиха поэта.

Если при чтении книги К. Пигарева мы неторопливо продвигаемся от частного к общему, то В. Касаткина в своей эмоционально окрашенной книге сразу вводит нас в космические масштабы (первая глава называется «Картина вселенной») поэтического мышления Тютчева. Пафос ее исследования не соотношение жизни и поэзии, а их единство, жизнь в поэзии. Не Тютчев и его время, а Тютчев во всех временах. Не только неповторимость Тютчева, но и «повторение» Тютчева в поэзии Анненского, Блока, Пастернака, Заболоцкого. Так сказать, рядом с трезвым исследователем, привыкшим идти от реалий и подробностей, выступает исследователь-романтик, у которого тоже все поставлено на серьезную и достоверную основу.

Не все в поэзии растет из ближайшего житейского плана, многое приходит от традиций, границы которых широки, если не беспредельны. В. Касаткина рассматривает Тютчева как «лирика самопознания» и как певца «романтического историзма», поэта, тесно связанного с русской действительностью, но охватывающего взором «картину вселенной».

В. Касаткина ищет формулы, которые помогли бы объять в их единстве самые резкие противоречия миропонимания Тютчева, его «ночь» и «день», «рождение» и «смерть», «время» и «пространство», «покой» и «движение». Для поэта несомненна конечная победа света, любви. Угрозы заката культуры, распада состава вселенной отступают у Тютчева перед верой в целесообразность мира. Автор монографии выдвигает универсальное определение пафоса Тютчева — мыслителя и поэта: «философский романтизм». В рамки этого понятия включается и поэзия, и философия, и история, и психология, и социология. В. Касаткиной удастся показать связь между различными сторонами миропонимания Тютчева и спроецировать их на широкий исторический фон. Особый вес и законченность приобретают в книге этюды о связях философско-романтического мировоззрения Тютчева с учениями античности, Шеллинга, Гегеля, Монтеня, Паскаля, а также русских «любомудров». Автор стремится рассмотреть эти связи как целостную систему. Правильна мысль, что романти-

ческий историзм Тютчева оказывается шире его политических взглядов.

По наблюдению исследовательницы, интерес Тютчева к натурфилософским проблемам не просто роднит его с «ученой» поэзией всех времен от Ломоносова до Брюсова; перед нами особый космический мир Тютчева, поэтическая борьба начал, своего рода мистерия «земли» и «неба», в поэтических средствах своего выражения восходящая к традициям античной поэзии. Широкий подход к тютчевскому наследию вносит существенные коррективы в сложившееся было у некоторых ученых представление об особой школе Тютчева в русской поэзии; В. Касаткина выдвигает более продуктивное и емкое понятие традиций Тютчева в русской поэзии. Также слишком узким оказывается и давнее определение пантеизма Тютчева; исследовательница воспринимает пантеистические мотивы в более широких границах поэтического сознания Тютчева, стремившегося представить целостную картину бытия в его разнообразных аспектах. Тютчев — явление общеевропейского философского романтизма, стремление которого было, как подтверждает В. Касаткина, «вести в мир поэзии полное чувство бытия». Тютчев выявил ценность романтизма, его поэзия сильна пафосом универсального постижения бытия. Интересны у В. Касаткиной сопоставления поэзии Тютчева с русским фольклором, с Блоком, Твардовским.

Не все бесспорно в этой книге, неубедительна трактовка стихотворения «Эти бедные селенья». Несколько неожиданным оказывается уподобление лирического героя «Silentium» Левину из «Анны Карениной», который нашел себе дело в деревне. Но эти и некоторые другие частные огрехи не заслоняют главного достоинства исследования В. Касаткиной — стремления расширить традиционные рамки изучения Тютчева.

Тургенев как-то сказал: «О Тютчеве не спорят», разумея, что наследие поэта выше любых разговоров о нем. Теперь Тютчева интенсивно изучают. Неизбежны и споры. По-видимому, нынешний резко обострившийся интерес к наследию поэта должен породить новые исследовательские аспекты при подходе к его творчеству. Рецензируемые книги приобщают читателя к Тютчеву, каким он видится сегодня.

В. КУЛЕШОВ.

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- С. Юткевич. Модели политического кино. М. «Искусство». 1978. 256 стр.
 А. Февральский. Пути к синтезу. М. «Искусство». 1978. 240 стр.
 20 режиссерских биографий. М. «Искусство». 1978. 208 стр.

В лучших работах последних лет, посвященных вопросам истории и теории кино, мы с удовлетворением отмечаем широту эстетического кругозора исследователей, хорошо знающих не только режиссеров и актеров, но и искусство в широком понимании этого слова. Особенно интересны и значительны книги тех, кто сам в той или иной степени был и остается не только теоретиком, но и участником творческого процесса.

Но по порядку. Книга известного режиссера и теоретика Сергея Юткевича «Модели политического кино» сочетает в себе историзм подхода к одной из важнейших проблем искусства кинематографа, глубину анализа, ту конкретность наблюдений, разборов, которая продиктована собственным опытом.

В книгу вошли очерки и статьи, посвященные современному зарубежному кинематографу, вернее тем его фильмам, которые освещают события с открыто выраженной политической точки зрения автора. «С эстетической точки зрения, — пишет С. Юткевич, — политическое кино также отражает все противоречия стилистики современного киноискусства, и поэтому вряд ли будет точным деление его по чисто жанровым признакам. К тому же жанры сегодня — понятие слишком неустойчивое, в нем как основную тенденцию следует отметить взаимопроникновение жанровых признаков, а их чистоту сменило монтажное столкновение различных структур».

С. Юткевич дает свою классификацию современного политического фильма за рубежом. Он констатирует наличие и репортажного фильма, и фильма монтажного, и документального, и политической кинофантастики, и политического фильма-следствия, и кинопритчи, и кинопамфлета, и исторического фильма, и трагедии, и мелодрамы, и так называемого фильма на рабочую тематику. Когда он отдельно пишет о тенденционных кинолентах, проникнутых духом антикоммунистической пропаганды, то в книгу врывается горячая публицистика, активно направленная на утверждение тех политических, эстетических, моральных норм, которые составляют основу нашего общественного сознания. В главах «Черный экран

антисоветизма», «Мистер Фридом проигрывает битву, или «Мистерия-буфф» по-американски», «Опыт о буржуа», «Необыкновенный фашизм-74» и других он не только анализирует ряд самых различных по художественному уровню и политической направленности фильмов, но ссылается при их оценке на собственные наблюдения над жизнью и искусством за рубежом, обращается к материалам истории нашего советского кинематографа. Он решительно выступает в полемику по самым существенным вопросам бытия современного искусства. Блистательным умением сочетать эстетический анализ и анализ политический, эрудицией, тонким полемическим мастерством отмечены многие и многие страницы книги.

Вторая ее часть, «Маяковское кино», — итог работы режиссера над творчеством В. В. Маяковского, на традициях которого он был воспитан и которым следовал всю жизнь, начиная с фильма «Кружева» (о котором в одном из выступлений упоминал и сам Владимир Владимирович).

В моей книге «С Маяковским в театре и кино» (1975), посвященной творчеству Сергея Юткевича, я стремился показать влияние великого поэта на этого мастера «смежного» искусства. Книга обрывалась упоминанием о начале новой работы режиссера — работы над политическим памфлетом «Клоп». Сейчас С. Юткевич сам рассказывает об этой уже законченной работе, названной «Маяковский смеется», рассказывает, всесторонне подтверждая справедливость нашего тезиса о нем как о преемнике традиции великого новатора.

Надо сказать, что и в первом разделе книги В. В. Маяковский и его творчество упоминаются часто как критерий революционного искусства, точно направленного политически. С. Юткевич утверждает в своей книге верность традициям Маяковского, революционному искусству 20-х годов.

Другая книга — А. Февральского «Пути к синтезу» — также посвящена проблемам революционного искусства. В центре тема «Мейерхольд и кино», которая по самому своему заданию на стыке киноведения, театроведения и науки о литературе. В ряде пунктов эта книга соприкасается с работой С. Юткевича. И потому, что оба автора

воспитаны на революционном искусстве В. Маяковского и других мастеров первых послереволюционных лет, чьи имена сегодня звучат легендой, и потому, что оба автора умеют найти в истории уроки для современности.

Непосредственная роль Вс. Мейерхольда в отечественном кинематографе не очень велика: он поставил в предреволюционные годы два фильма — «Портрет Дориана Грея» (по Оскару Уайльду) и «Сильный человек» (по С. Пшибышевскому), да еще играл роль Сенатора в кинофильме режиссера Я. Протазанова «Белый орел» (по повести Л. Андреева «Губернатор», 1928). А. Февральский внимательно, шаг за шагом, обращаясь к архивным материалам, давным-давно забытым газетным интервью и отчетам, к воспоминаниям современников, рассказывает о месте искусства кинематографа в формировании, развитии художественного мышления режиссера, обнаружившего в кинематографе союзника в борьбе с натуралистическим театром. А. Февральский пишет о чувстве живописной формы, присущем мастеру, о своеобразных методах работы с киноактером, о чрезвычайно редком у тогдашних режиссеров кино понимании художественной роли оператора. Новым было обращение к оператору как соавтору в творческом процессе, решающему совершенно определенные эстетические задачи.

А. Февральскому удалось показать единство сложного процесса развития культуры в целом (и это сближает его книгу с книгой С. Юткевича), взаимосвязь творческих принципов Мейерхольда с устремлениями В. Маяковского, А. Блока и других деятелей русской культуры начала века, с работами С. Эйзенштейна, А. Довженко, вообще с современным кинематографом. Говоря обо всем этом, автор стремится нащупать точки эстетических соприкосновений и взаимодействий. Эти поиски приводят его к проблеме «кинофикация театра», когда советский театр, не отказываясь от сценических приемов и многопланового опыта, весьма решительно обратился к некоторым приемам кинематографа, естественно, переработав их. Разумеется, процесс «кинофикации театра», возникший в советской России 20-х годов, не был оторван от поисков, которые шли в других направлениях, в частности от опыта К. Станиславского, выдвигавшего принцип целостного замысла и построения спектакля с привлечением на

сцену таких искусств, как живопись и музыка. Об этом тоже убедительно пишет А. Февральский.

О живой традиции творческих исканий, обращении кинематографа к смежным искусствам у А. Февральского, как и в книге С. Юткевича, сказано горячо и убедительно.

К сожалению, этого нельзя сказать о сборнике «20 режиссерских биографий», где также затронуты и проблемы искусства 20-х годов, и проблемы политического фильма, и многие другие, развернутую постановку которых мы находим в работах, о которых шла речь выше.

Разумеется, сборник не однороден. Чувство времени и большая исследовательская культура видны в помещенных здесь материалах В. Шкловского, К. Парамоновой, В. Демина, Н. Гаджинской, С. Цимбала и некоторых других. Но, к сожалению, рядом с этими работами в сборнике опубликованы и статьи, выполненные небрежно, с опорой на зыбкие сведения, взятые из вторых или третьих рук.

Трудно сегодня представить сборник статей о советских поэтах, в предисловии к которому было бы подчеркнуто, что вот составлена книга о таких поэтах, кого не назовешь выдающимися мастерами (тогда зачем и составлять!). А вот том «20 режиссерских биографий» открывается как раз таким заявлением: «В настоящем сборнике нет имен выдающихся мастеров кино». И дальше о том, что все исследуемое авторами — «лишь ручейки», так сказать, «второй эшелон» искусства и т. д. Такое услышишь не часто! С каким уважением говорится в книге С. Юткевича о художниках, даже далеких от него и его взглядов. Сколько усилий затрачено А. Февральским, чтобы порой найти черты из биографии забытого соратника-мастера...

Сказанное в предисловии о «ручейках» и «втором эшелоне» тем более странно, что в книге есть портреты мастеров, которые сыграли большую роль в становлении нашего искусства. И в отдельных статьях это учтено — там, где говорится о блестящем театральном режиссере Котэ Марджанишвили, о творчестве Н. И. Лебедева («Когда думаешь обо всем, что сделал для детей режиссер, труд его вызывает чувство глубочайшего уважения»), о том, какую «долгую и славную экранную жизнь подарила судьба и лучшим фильмам Т. Лукашевич»...

Если блестящий эрудит С. Юткевич и при изложении и в оценках ориентируется на здоровый эстетический вкус зрителя и читателя, то иные авторы сборника принимают позу этаких тонких ценителей, утомленных знатоков. Именно на этой волне возникает странное рассуждение о «принудительном требовании социологизации исторического образа» (стр. 215), хотя любой успевающий студент гуманитарного вуза знает, что современное искусствоведение активно воюет против вульгарного социологизма, что наш подход к историческим явлениям предполагает четкость классовых, именно социологических и философских ориентиров.

Снобизм, отрыв от подлинно научных критериев, критическое высокомерие всегда были спутниками незнания. Как могло в статье о советском художнике проскользнуть сравнение его с... Фадеем Булгариным (стр. 201)! Почему роман упомянутого Булгарина «Иван Выжигин» объявляется первым русским плутовским романом? (Русский плутовский роман начался в XVIII веке, лет за шестьдесят до «Ивана Выжигина» появился знаменитый роман М. Чулкова «Пригожая повариха».)

Ошибка в справочном издании нередко имеет продолжение. В статье о В. Пронине сказано, что этот режиссер поставил фильм «Сын Таджикистана» по сценарию Е. Помещикова, Н. Рожкова и М. Рафили, хотя Е. Помещиков и Н. Рожков писали сценарий вместе с превосходным таджикским поэтом Мухаммеджаном Рахими! Что же касается крупного азербайджанского ученого и поэта Микаэла Гасан оглы Рафили, то, кроме книг о Низами и Ахундове, кроме сборников стихов, ему принадлежит сценарий фильма «Сабухи». Но это иной фильм!

Автор статьи о Надежде Кошеверовой (с чьим именем связаны запомнившиеся фильмы «Аринка», «Золушка» и др.) справедливо отмечает как черту дарования режиссера близость к сказке литературной, к драматургии Е. Шварца. Но дальше! Критик отмечает: «Кошеверова еще трижды обращалась к творчеству Шварца: «Каин XVIII» (в 1963 году совместно с М. Шапиро), «Старая, старая сказка» (1968),

«Тень» (1971)». Однако сценарий «Каина XVIII» был лишь начат Е. Шварцем, его завершил и «прописал» Н. Эрдман, и связан этот сценарий как раз с творчеством последнего автора. Что же касается «Старой, старой сказки», то она вообще ничего общего с Е. Шварцем не имеет, поскольку написана не им, а... Ю. Дунским и Е. Фридом по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена.

Чуть ниже критик объясняет, что все три произведения — и «Каин XVIII», и «Старая, старая сказка», и «Тень» — не смогли «преодолеть театральности драматургии» (еще бы, Е. Шварц — театральный драматург!), и в связи с этим сетует на длинноты монологов, на отсутствие непринужденной легкости, на театральные условности! Режиссеру же достается за... «упрощение философии шварцевской драматургии»!

Завидной щедростью такого же рода отличается и справочный отдел сборника: Василию Журавлеву (поставившему в свое время фильмы «Граница на замке», «Пятнадцатилетний капитан» и др.) безымянный библиограф «подарил» сразу 15 фильмов... режиссера Н. Лебедева, в том числе такие известные, как «Андрейка», «Невероятный Иегудиил Хламида», «Найди меня, Леня», и другие. Кстати, библиографы не только обогатили отдельных авторов и режиссеров, но и русский язык в целом, введя в оборот «сорежиссер с Р. Симоновым», «сорежиссер с Ю. Ерзинкяном»... Теперь так и будем говорить: И. Ильф — соавтор с Е. Петровым, Г. Козинцев — соавтор с Л. Траубергом...

Книги С. Юткевича и А. Февральского — значительные, глубокие работы, учитывающие весь объем исследовательской литературы последних лет. И для нас очевидна та высокая мера ответственности, с которой подошли авторы к своей исследовательской задаче.

К сожалению, книга «20 режиссерских биографий» содержит немало примеров авторской беспечности, легкомысленных имитаций исследовательского творчества.

Дм. МОЛДАВСКИЙ.

Ленинград.



Политика и наука

ТРУД — ПРАЗДНИК

И. Е. Ворожейкин. Летопись трудового героизма. Краткая история социалистического соревнования в СССР, 1917—1977 гг. М. Политиздат. 1979. 325 стр.

Эти строки — как бы мысли вслух, навеянные книгой, в которой последовательно раскрыты главные этапы зарождения и развития социалистического соревнования в нашей стране. Несомненным достоинством книги является то, что в ней впервые отображено деятельное участие в массовом соревновании не только рабочего класса, но и крестьянства и народной интеллигенции.

«Как отдельные ручейки, сливаясь, образуют полноводную реку, — пишет автор, — так и родники рабочей инициативы, рожденной Великим Октябрем, превратились ныне в могучий поток всенародного социалистического соревнования». Всем своим содержанием книга красноречиво подтверждает этот вывод: с каждым новым этапом в развитии страны соревнование поднималось на более высокую ступень, оказывая благотворное воздействие на все стороны жизни советского общества.

Коммунистические субботники, ударничество, движение стахановцев, борьба за звание ударников и целых коллективов коммунистического труда — вот ступени непрерывного восхождения от подножья к вершине, к торжеству ленинских идей.

Так совпало: я читал эту книгу и размышлял над прочитанным в дни, когда по всей стране развернулась широкая подготовка к юбилейной красной субботе. В субботниках сейчас участвуют миллионы и миллионы советских людей всех возрастов и профессий. Они стали традиционным торжеством ударного и бескорыстного, подлинно коммунистического труда. Всенародным праздником, приуроченным ко дню рождения великого Ленина.

А каким был тот первый субботник шестьдесят лет назад? Тот самый, в котором Владимир Ильич прозорливо увидел «простые, скромные, будничные, но живые ростки подлинного коммунизма» и который назвал великим почином? Об этом И. Ворожейкин повествует в главе, где с точностью летописца воссоздана ранняя — неимоверно трудная и сказочно прекрасная, — зоревая пора Октября.

Читатель возвращается к трудовому

подвигу, совершенному 12 апреля 1919 года горсткой коммунистов депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги. Их было всего 15. По предложению одного из них — председателя партийной ячейки, бригадира слесарей Ивана Ефимовича Буракова — они после смены остались в депо. По доброй воле, совершенно безвозмездно коммунисты работали еще десять часов подряд, с 8 вечера до 6 утра. До тех пор, пока полностью не отремонтировали три паровоза для воинских эшелонов, направлявшихся на Восточный фронт разбить Колчака.

Молодая Советская республика находилась в огненном кольце белогвардейцев и интервентов, над ней нависла смертельная опасность. И самоотверженность рабочих диктовалась их горячим желанием помочь фронту, помочь упрочиться рабоче-крестьянской власти. Голодные, усталые, после напряженной восьмичасовой работы, в ночное время, при коптящих факелах они сумели отремонтировать вместо одного три паровоза. Втрое больше, чем в дневную смену.

Как тут не вспомнить беседы с участниками великого почина — с котельщиком Федором Ивановичем Павловым, слесарем Василием Михайловичем Сидельниковым, машинистом Яковом Михайловичем Кондратьевым. Они рассказали мне, что раньше никогда на работе не пели, а тут ночью хором:

Долой тиранов! Прочь окопы!
Не нужно старых рабских пут.
Мы путь земле уважем новый —
Владыкой мира будет труд!

Затянули вслед за Михаилом Антоновичем Кабановым, и здорово зазвучало.

А Кондратьев уверял меня, что до той памятной субботы и не подозревал, что обладает бархатным баритоном.

— Прорезался! Вроде сделал меня богаче...

...Я знал многих участников великого почина. Мне уже довелось писать о них в рассказе «Коммунистическая суббота» (в трехтомнике «Рассказы о партии»), который, думаю, может добавить несколько

штрихов к тому, о чем коротко сообщается в «Летописи трудового героизма».

В депо было тревожно. Всякая контра, меньшевики, эсеры, мутили рабочих, вели вражескую агитацию. Бураков нашел зажатую в его тисках листовку — читай, комиссар: дни большевиков сочтены, здесь, в тылу, их раздавит костлявая рука голода, а на полях сражений необученное красное войско будет разбито вышколенными армиями бывших союзников России. 14 держав пошли крестовым походом на советскую власть. Не выдержит. Рухнет!..

Из депо многие коммунисты ушли на фронт. Ячейка поредела. И субботник неожиданно оказался самой сильной и убедительной агитацией за партию.

Мастер С. Горшелев, сугубо беспартийный и принципиально не желающий заниматься политикой, поутру застав паровозы под парами, подошел к Буракову, дружелюбно пожал его руку:

— Ничего такого присниться не могло!.. Непостижимо!..

А позже, при разборе его заявления в партию, Степан Андреевич откровенно признался:

— Без той коммунистической субботы мне, быть может, еще долго пришлось бы оставаться в сухарях нейтралах. Так и тлел бы головешкой. А страсть как хочется жить, гореть, людям светить!..

Почин депоцев, напоминает автор книги, сразу же подхватили железнодорожники Московско-Казанской магистрали. Они приняли решение провести субботник во всем подрайоне. 10 мая 1919 года состоялся общий субботник, в котором участвовало 205 человек. Они отремонтировали 4 паровоза, 16 вагонов, переместили 155 тонн различных грузов. Об этом «Правда» рассказала 17 мая в статье «Работа по революционному (коммунистической субботы)». Ее заметил В. И. Ленин и вместе с новыми вестями о субботниках привел как пример трудового подвига в своей замечательной работе «Великий почин», впервые увидевшей свет шестьдесят лет назад, в июле 1919 года.

Историческое значение работы «Великий почин» состоит в том, что за скромными, будничными, незаметными на первый взгляд проявлениями трудового героизма рабочих В. И. Ленин с присущим ему гениальным даром предвидения сумел разглядеть зримые черты будущего, начало коренного переворота в сознании многомил-

лионных трудящихся масс. Переворота еще более трудного, еще более решающего, чем свержение буржуазии, ибо это «победа над собственной косностью, распушенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину».

Коммунистические субботники ярко продемонстрировали величайшую преобразовательную силу победившего пролетариата, воочию явили миру, на какие чудеса способен свободный, вдохновенный труд рабочих и крестьян, ставших хозяевами своей страны. «„Коммунистические субботники“, — подчеркнул Владимир Ильич Ленин, — именно потому имеют громадное историческое значение, что они показывают нам сознательный и добровольный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни».

В. И. Ленин глубоко верил в грядущую победу коммунистического труда. Он призывал годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием, распространением, улучшением, внедрением в нравы.

Обобщенные в книге «Летопись трудового героизма» факты свидетельствуют о том, что социалистическое соревнование во всех его методах и формах — явление закономерное, органически присущее советскому образу жизни, обществу, строящему коммунизм. В книге шесть глав. Каждая из них посвящена крупному этапу истории соревнования в Советской стране. И в каждой очень людно, много общих знакомых, знатных людей — героев наших пятилеток.

Сейчас, когда мы только что отпраздновали пятидесятилетие первой из десяти пятилеток, в памяти свежи слова из постановления ЦК КПСС о том, что она «пробудила в многомиллионных массах трудящихся великую энергию созидания, воплотившуюся в социалистическом соревновании». Оно становится всеохватным, массовым уже с начала первой пятилетки.

На страницах книги мы встречаем первенцев этой пятилетки — Уралмаш, Сталинградский тракторный, Московский станкозавод имени Серго Орджоникидзе. Когда их возводили в 30-х годах, каждый из них казался Гулливером.

Из «Летописи...» мы узнаем о том, как наша партия неустанно лелеет и пестует

соревнования, заботится о внедрении, распространении каждого новшества, каждого почину, который может принести пользу нашему народу, улучшить его жизнь.

«Нам не нужны шум и трескотня по поводу соревнования, — предостерегает Леонид Ильич Брежнев. — Нам нужна живая заинтересованность каждого трудящегося, каждого трудового коллектива в улучшении своей работы. Нам не нужны надуманные «почины». Нам нужны деловые, действительно идущие из гущи масс инициативы, способные зажечь, вдохновить миллионы людей».

Таких стоящих внимания и всяческой поддержки инициатив очень много. Они вошли в «Летопись...» вместе с их застрельщиками, первопроходцами. Встретил в книге ОКБ—общественные конструкторские бюро, которые я застал на Уралмаше, тогда едва появившиеся на свет. Ветеран комсомола и «завода заводов» технолог Иван Литвинов привел меня в огороженный фанерой закуток с одним окном и выдавшим виды кульманом.

— Помещение отвоевали, потеснив контору. А кульман сдал в утиль конструкторский отдел. Мы его подобрали, отремонтировали, и, как видите, пригодился, — объяснял Литвинов.

Видел, как теснились около чертежа конструктор, технолог и молодой паренек-литейщик. Последний, оказывается, предложил интересное новшество, но сам не смог его графически изобразить. И вот вместе с добровольными помощниками инженерами втроем они додумывали рационализаторское предложение, чтобы быстро и технически грамотно его осуществить. Не зря эти три буквы — ОКБ — комсомольцы мне расшифровали по-своему — объединение крылатых борцов.

— За что же вы боретесь?

— За содружество наших инженеров и ученых с рабочими — рационализаторами и изобретателями. В ОКБ молодежь будет учиться творчески мыслить...

Теперь такое содружество — массовое явление, коренное условие социалистического соревнования на предприятиях, новостройках, в сельском хозяйстве.

Встретил в книге и динамовские личные планы, душой которых был «рабочий директор» прославленного столичного завода, Герой Социалистического Труда Константин Дмитриевич Петухов. Сейчас они взяты на вооружение по всей стране.

А давно ли были в диковину, робко внедрялись комплексные бригады? Да и сами рабочие не всегда охотно соглашались объединяться целыми участками, пролетами, сменами. Ведь это требовало резкого повышения дисциплины, настойчивого овладения смежными профессиями. Тут совершенно необходимо не на словах, а на деле выполнять принятое коллективом правило: один за всех, все за одного.

А сегодня комплексный метод соревнования утвердился не только внутри цеха, между цехами на одном заводе, но и между заводами-смежниками. Прямым продолжением и развитием комплексного метода соревнования явилось содружество научных, проектных институтов с новостройками, предприятиями-поставщиками. «Содружество множит силы», — пишет «Правда», сообщая о первых успешных результатах «договора двадцати восьми». Эти результаты не успели попасть в «Летопись...». Ее дописывает сама жизнь.

«Прошло четыре года, — сообщает «Правда», — как коммунисты партийной группы отдела Саяно-Шушенской ГЭС института Ленгидропроект высказали идею заключить договор о содружестве участников создания крупнейшей в мире гидростанции в отрогах Саян. Это предложение поддержали двадцать восемь ленинградских коллективов. Они решили возвести жемчужину энергетики на Енисее в короткие сроки, с минимальными затратами, на высоком научно-техническом уровне.

«Договор двадцати восьми» — новое слово в полувекковой практике массового социалистического соревнования. Характерная особенность его — сочетание индивидуальной и коллективной ответственности смежников за конечные результаты труда».

Мы узнаем, что досрочный ввод только первого агрегата ГЭС и использование новшеств в его оборудовании дали экономию около 14 миллионов рублей. К «договору двадцати восьми» уже присоединилось еще 22 организации. Стало 50. Их рабочие, инженеры, ученые создали 15 уникальных образцов гидросилового и высоковольтного оборудования, превосходящего лучшие зарубежные аналоги.

Крепнет, обретает новые грани содружество смежников. Оно перекинулось на многие крупные предприятия и стройки...

Шестьдесят лет отделяют нас от незабываемой субботней ночи в депо Москва-Сортировочная, озаренной вдохновенным

трудом. Социалистическое соревнование ныне приобрело поистине гигантский размах, качественно новые черты. Самое главное, самое характерное в этом всенародном патриотическом движении сегодня, указывает Л. И. Брежнев, — борьба за полную реализацию возможностей развитого социализма, ускорение научно-технического про-

гресса, неуклонный рост эффективности и качества работы. А также то, что соревнование стало интернациональным движением миллионов трудящихся стран социалистического содружества, успешно строящих новую жизнь.

Л. ДАВЫДОВ.



КАКОВА СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Г. Х. Шахназаров. Социалистическая судьба человечества. М. Политиздат, 1978. 462 стр.

Есть книги, которые притягивают своим названием. Их хочется скорее взять в руки, раскрыть, заглянуть внутрь. И если встреча с самой книгой не обманула надежд, если ожидание оказалось оправданным, значит, состоялся праздник ума, более того — души.

Такой встречей для меня и, я уверен, для многих читателей стала книга Г. Шахназарова «Социалистическая судьба человечества». Не исключено, что слово «судьба» для некоторых здесь прозвучит неожиданно. Словно предвидя возможные сомнения, автор пишет: «...применимо ли понятие «судьба» к научно предвиденному будущему? Думается, да. В нем нет той фатальной предопределенности, какая есть в понятии «рок», а с другой стороны, оно достаточно жестко выражает неизбежность наступления будущего, коренящегося в материальных и духовных условиях жизни современного общества. Понятие «судьба» не исключает и представлений о многообразии форм проявления доминирующей в нашу эпоху общественной закономерности. Исполненные глубокого смысла слова «человек — хозяин своей судьбы» в полной мере относятся и к человечеству».

Можно спорить о сроках окончательной победы социализма в большинстве стран, но из истории уже не вычеркнуть, что именно наш XX век стал веком рождения первой социалистической страны и мировой системы социализма. Если же учесть и тенденцию исторического развития в последние десятилетия, свидетельствующую о неуклонном изменении соотношения сил в мире в пользу социализма, то налицо все объективные основания для оптимизма тех, кто верит в социалистическую судьбу человечества.

Здесь любопытно вспомнить о том, какие ожидания связывало человечество с наступлением XX века. Стоит полистать подшивки газет на рубеже XIX и XX веков, чтобы почувствовать: воздух столетия уже был накален духом классово-борьбы. Основной спор века уже тогда вели между собой два непримиримых противника — труд и капитал. Будущее в этом споре принадлежало рабочему классу, уходящим в прошлое классом — но это еще предстояло узнать миру — была буржуазия.

Поистине пророчески звучит сегодня голос социал-демократической «Райнше цайтунг», той самой, одним из редакторов которой в свое время был Карл Маркс. «Буржуазия стала владычицей в уходящем столетии, она стоит сегодня на вершине власти, — писала газета 30 декабря 1899 года. — На противоположном полюсе общества возник ее враг, который ее победит, пролетариат. И так же как завершающееся столетие было веком буржуазии, грядущее столетие будет веком рабочих». А «Птиг републик социалист», газета Жана Жореса, после образования объединенной социалистической партии уступившая в 1904 году место «Юманите», 2 января 1901 года заявляла: «Да, мы предсказываем... XX век принесет осуществление нашего идеала».

Как встречала XX век буржуазия? У нее вызывал тревогу нараставший гром классово-борьбы. Но старый мир упрямо и высокомерно гнал от себя страхи надвигавшейся революционной бури. Один из авторов «Фигаро» в январе 1901 года писал: «Я не думаю, что социалистические и коллективистские усилия могли бы пойти дальше парламентского контроля за взаимоотношениями хозяина и рабочего», Крайне правая «Круа» желала своим читателям

в первые дни наступившего века: «Хорошо, чтобы это согласие (между классами. — В. Л.) смогло в кратчайшие сроки устранить любые конфликты и уберечь нас от болезненных экспериментов, которыми нам угрожают революционеры, выступающие под именем коммунистов или коллективистов, и которые хотели бы осуществить бессмысленные утопии государственного социализма».

Но наступивший век разочаровал буржуазию в главном: он превратил предававшийся анафеме социализм из утопии в реальность. Успешное построение социализма в нашей стране, последующий выход социализма как системы на мировую арену, подъем международного рабочего и национально-освободительного движения привели к коренному изменению соотношения сил в мире в пользу сил мира, демократии и социализма. С унынием подводили итоги трех четвертей нынешнего столетия наши противники, взирая на сокращающуюся шагреневую кожу старого мира. Журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» отмечал 2 июня 1975 года: «Три десятилетия назад, когда закончилась вторая мировая война, под властью коммунистов было только семь процентов населения земного шара и восемнадцать процентов его территории... Сегодня 1,4 миллиарда людей — 35 процентов населения Земли, более чем четверть территории земного шара, контролируются коммунистическими режимами в 17 странах».

В чем же причина победного шествия социализма по земному шару? Прежде всего в объективных закономерностях исторического развития. «...социализм не был изобретен и искусственно навязан действительности сознанием, — отмечает Г. Шахназаров. — Марксистско-ленинская наука открыла его в капитализме и показала, что новый способ производства и обмена стучится во все двери современного общества, что он представляет собой не вопрос выбора, а наиболее вероятную перспективу развития человечества, его судьбу».

Именно благодаря тому, что в советской России был построен реальный социализм, что он на практике осуществил свободу, равенство и братство людей, социализм приобрел силу примера для других стран. И именно поэтому он стал и остался главной мишенью века для всех видов оружия буржуазии от лживых обвинений до пуль и напалма.

Представители старого мира ненавидят социализм потому, что он подает пример социальной справедливости для трудящихся капиталистических стран. Об этом еще в 1927 году проникновенно написал Теодор Драйзер:

«И еще один факт, которым меня порадовала Россия и который я никогда не забуду: оказалось, что с помощью коммунизма, этой коллективной отеческой заботы о каждом человеке, возможно уничтожить страшное ощущение социальной нищеты, которое так угнетало меня всю мою жизнь в Америке...»

В России — другая картина: в общем тоне городов и поселков чувствуется нечто, прежде неведомое нигде в мире. Где богачи? Их нет. А где униженные, замученные бедняки? Они тоже исчезли. Сколько бы вы ни ходили по улицам любого русского города — Одессы, Ленинграда, Перми, Баку, Киева, Новосибирска, — вы не почувствуете той разницы между жизненным уровнем различных классов, которая так мучила вас в детстве. Это невозможно. Вы понимаете всю важность таких слов? Это попросту невозможно!..»

За полвека, прошедшие с тех пор, как были написаны эти строки, Советский Союз продвинулся далеко вперед по пути социальной справедливости и поднятия жизненного уровня населения. И ныне социальный контраст двух миров особенно ярко заметен на фоне экономического спада, инфляции и безработицы на Западе. Неспособность капитализма разрешить свои экономические и социальные проблемы обостряет недовольство трудовых классов и их решимость углублять социальные преобразования. В этой связи нельзя не отметить процесс накопления революционных сил и в развитых капиталистических странах. Как показывает Г. Шахназаров, это выразилось прежде всего в усилении влияния коммунистических и рабочих партий; многие из них, например компартии в Италии, Франции, Финляндии, Японии, Индии, Португалии, Дании, стали массовыми, оказывают существенное воздействие на ход политической жизни в своих странах и на международной арене.

Социалистический мир подал пример, надежду и поддержку национально-освободительному движению. Благодаря ему нынешнее столетие стало веком крушения колониального гнета и государственного становления более 90 наций. И если сегодня наро-

ды малых стран способны совершить революцию и добиться освобождения от пут национальной и международной олигархии; то это потому, что национально-освободительное движение может опираться на поддержку социалистических стран. И этот союз сковывает силы империализма, который почувствовал пределы своего могущества. Разве не о притягательной силе социализма говорит тот факт, что все новые и новые страны, которые добиваются национальной независимости, избирают в своем развитии социалистическую ориентацию. Помимо всего прочего, как справедливо отмечает автор, это сокращает сферу империалистической эксплуатации и обостряет кризисные явления в системе капитализма, а в политическом отношении ведет к растущей изоляции группы развитых капиталистических стран.

Ясно, что судьбы демократии и социального прогресса в первую очередь определяются развитием и успехами социалистической системы, ведущего компонента мирового социализма. «От этого в решающей степени зависит изменение общего соотношения сил, без чего переход к социализму в некоторых странах мог бы затянуться на столетия, — отмечает автор. — И темпы и характер революционного процесса в огромной мере будут определяться способностью социалистических стран закрепить успехи, достигнутые во всех сферах общественной жизни, умножить их в соответствии с заданиями перспективных планов, преодолеть слабости в экономике и тем самым с новой силой продемонстрировать преимущества социализма».

Социалистические страны уже доказали свое превосходство над капиталистическими в темпах экономического роста. За шестьдесят лет промышленное производство в нашей стране выросло в 225 раз. До Октябрьской революции Россия производила чуть более 4 процентов мировой промышленной продукции и занимала пятое место в мире. Сейчас СССР производит пятую часть мировой промышленной продукции и занимает первое место в Европе и второе в мире. Рост нашего промышленного производства в 1976 году по сравнению с капиталистическими странами выглядел так (к уровню 1950 года): СССР — рост в 10 раз, США — в 2,9 раза, ФРГ — в 4,8 раза, Франция — в 3,7 раза, Италия — в 5,6 раза.

Социализм, одержав победу в группе в

основном средне- и слаборазвитых стран, в короткий исторический срок вывел их в число передовых. И это уже в начале своего исторического пути, если учесть, что наша страна существует немногим более шестидесяти лет, а большинство других социалистических стран вдвое меньше. Куба ведет свою социалистическую биографию только с 1959 года, а Лаос с 1976 года. На нынешнем этапе, когда в Советском Союзе построено развитое социалистическое общество, а в ряде других стран — членов СЭВ такая задача поставлена на повестку дня, преимущества социализма раскрываются все полнее, и тем значительнее его международное влияние.

Величайшая притягательная сила социализма не только в том, что он создал новые, более гуманные и справедливые человеческие условия жизни. Эти условия родили новые жизненные ценности и мораль. За годы социалистического развития в Советском Союзе повысились не только благосостояние, уровень культуры и нравственности советских людей. Они сблизились между собой по духу и образу жизни. Главный итог развития, отмечал Л. И. Брежнев, — растущее сближение всех классов и социальных групп, всех наций и народностей и образование исторически новой социальной и интернациональной общности людей — советского народа.

Одно из главнейших завоеваний социализма — новый человек. Люди шли в ногу с обществом, создавая не только новый мир, но и перестраивая самих себя. В этом смысле человек нового типа не исключение, а сложившийся феномен. В чем выражаются новые качества человека социалистического общества? Это прежде всего новое отношение к труду не просто как к источнику существования, а как к смыслу жизни. Возрастает число людей, которые в труде находят свое самовыражение и самоутверждение как личности. В этом отношении новая Конституция СССР закрепила новую ступень развития социалистического общества и личности, расширив право на труд правом на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.

Новое в человеке при социализме — это глубокое понимание общественного долга. Воспринимая социализм как справедливый общественный порядок, при котором

соблюдаются его личные права и свободы, человек внутренне осознает свои обязанности перед обществом и учитывает не только свои, но и общественные интересы. В пример можно привести освоение целинных земель в Казахстане, освоение районов Дальнего Востока и Крайнего Севера, строительство Байкало-Амурской магистрали. Сотни тысяч людей самых разных профессий оставили благоустроенные квартиры, городскую жизнь, интересную работу, родственников и друзей и поехали на новые, необжитые места прежде всего потому, что видели в этом свой долг, и получают моральное удовлетворение от личного участия в великих стройках века.

О чем свидетельствует вся предшествующая история человечества? О безграничных возможностях человеческого разума и духа, о его великой созидательной и творческой энергии, но вместе с тем и о разрушительной силе зла, таящейся в глубинах животного подсознания, которое еще не искоренил в себе человек. Вся наша земная цивилизация несет на себе следы извечной борьбы этих двух начал. В этой борьбе мы являемся свидетелями и участниками ее последней фазы, ибо коммунизм как социальная формация ставит перед собой цель воспитания нового человека, свободного от инстинктов индивидуализма.

Сама мысль о перевоспитании человека революционна. Для этого нужны смелость и вера в силу доброты человека. Христианство здесь спасовало. Оно не смогло изменить мораль, ибо оно не отказалось от гибельного для духа «это мое!».

Только растворив себялюбие в радости общего блага, только задушив в самом себе змею своекорыстия, только ощутив счастье приобщения к коллективной мысли, совместному поиску и общественной пользе, человек перерождается. Из тесного мирка индивидуализма он выходит, расправив плечи, преображенным.

Конечно, это произойдет не просто и не сразу. Ведь человек, строящий социализм, выходит не из реторты ученого, а из тысячелетних толщ прародительской цивилизации. Он не может переделаться за одно поколение. Для этого все лучшее в нем должно вновь родиться и вырасти в его детях и в детях его детей. Но уже сегодня в новом отношении к труду и нравственности мы видим ростки коммунизма, утверждение

которого принесет подлинное раскрепощение человека.

Человечество идет навстречу своей социалистической судьбе. В наш ядерный век эта встреча может состояться лишь в условиях мира. Мирному сосуществованию нет иной, разумной альтернативы. Этот тезис выдвинут коммунистами, и тот факт, что он ныне утвердился как основополагающий принцип международного общения, — свидетельство бесспорного влияния нового общества в мире. Социализм завоевывает симпатии и поддержку во всех частях земного шара своей политикой мира. За первую половину XX века в двух мировых войнах, развязанных империализмом, погибло больше людей, чем за всю предыдущую историю человеческой цивилизации. Стоит вдуматься в то, что именно коммунисты впервые провозгласили принцип исторического оптимизма — не существует фатальной неизбежности войны — и претворяют его в жизнь. И если вот уже более чем треть века человечеству удалось избежать мировой войны, то это пришло не само собой, а мир был завоеван коммунистами в союзе со всеми сторонниками мира. И сегодня коммунисты настойчивее всех выступают за то, чтобы дополнить политическую разрядку разрядкой военной, сделать процесс разрядки необратимым и навсегда исключить войну из жизни человеческого общества.

Задача эта тем более актуальна, что агрессивные силы империализма не исключают войну из арсенала своих средств борьбы с социализмом. Капитализм еще не сложил оружия. Он продолжает бороться против нового строя, стремясь продлить свое существование. И здесь он делает ставку на нового союзника в лице пекинских руководителей, которые оказывают желанную услугу империализму, дискредитируя идеи социализма, чьим именем они прикрываются, и наносят удар в спину мировому социализму. Но эти субъективные действия отступников от социализма могут лишь на какое-то время затруднить или затянуть социальный прогресс в своей стране, но они не в силах остановить колесо истории. Мир неумолимо движется к социализму — вот в чем основной вывод и главный пафос книги Г. Шахназарова. Написанная с научной доказательностью и со страстью веры, она будит ум и чувства. И в этом редком сплаве ее особая притягательность.

Владимир ЛОМЕЙКО.



ДУХОВНЫЙ МИР И КУЛЬТУРА ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА

Духовный мир развитого социалистического общества.
 М. «Наука». 1977. 479 стр.
Культура развитого социализма. Некоторые вопросы теории и истории.
 М. «Наука». 1978. 459 стр.

Советский народ ныне достиг рубежей зрелого социализма. Стратегия дальнейшего движения построенного в СССР развитого социалистического общества по пути постепенного перерастания его в общество коммунистическое научно определена XXV съездом КПСС. Съезд еще раз подтвердил, что наряду с неуклонным ростом материального благосостояния народа подъем уровня его духовной жизни, его культуры составляет высшую цель партии.

«Нам нужно громадное повышение культуры», — говорил В. И. Ленин. Глубочайший смысл и непреходящее значение этого ленинского завета с особой силой раскрывается именно в наше время, когда задача всестороннего, гармонического развития личности гражданина социалистического общества стала и насущно необходимой и реально возможной. Когда она, эта задача, переместилась из области идеалов в сферу непосредственной практической деятельности Коммунистической партии и Советского государства.

Партия исходит из того, что строительство коммунизма нельзя двигать вперед без всестороннего развития самого человека. «Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей, — подчеркивает Л. И. Брежнев, — коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы». И чем дальше наше продвижение к коммунизму, тем все более ощутимой становится зависимость темпов этого продвижения от интеллектуального потенциала общества, от развития науки, от уровня культуры и образования граждан.

Закономерно поэтому, что, определяя фундаментальные теоретические проблемы, на разработке которых должно быть сосредоточено внимание наших общественных наук, XXV съезд КПСС отнес к кругу этих проблем и развитие социалистической культуры, дальнейшее наращивание духовного потенциала советского общества в целях создания культурных предпосылок коммунистической цивилизации.

За время, прошедшее после съезда, у

нас уже появился ряд содержательных, серьезных работ, исследующих различные аспекты и качественные особенности духовного мира и культуры зрелого социализма, социалистического образа жизни. К их числу принадлежат и рецензируемые книги.

Монография «Духовный мир развитого социалистического общества», подготовленная отделом научного коммунизма Института философии Академии наук СССР, состоит из двух основных разделов. Содержание первого — общетеоретические проблемы социалистической культуры. Диалектика развития духовного мира социализма, развитой социализм и духовная культура, социалистическая культура и личность, идеологические проблемы духовной культуры социализма в условиях научно-технической революции, классовое и общечеловеческое в духовной культуре развитого социализма, культурные аспекты социалистического образа жизни — такова проблематика этого раздела. Второй раздел посвящен характеристике современного этапа развития различных сфер духовной жизни социалистического общества — науки и просвещения, литературы и книгоиздательского дела, кино и театра, профессионального искусства и самодеятельного народного творчества.

В составе авторского коллектива крупные советские и зарубежные ученые, видные деятели советской культуры и искусства: члены-корреспонденты АН СССР Ц. Степанян, М. Иовчук, В. Щербина, почетный президент Болгарской Академии наук, ныне уже покойный академик Тодор Павлов, президент Академии педагогических наук СССР В. Столетов, действительный член Академии педагогических наук ГДР Ганс Кох, доктора философских наук А. Арнольдов, Г. Смирнов, Л. Коган, министр культуры РСФСР Ю. Мсленцев, первый заместитель председателя Госкомиздата СССР И. Чхиквишвили, народные артисты СССР Т. Хренников, М. Царев и другие.

Вторая из рассматриваемых книг, «Культура развитого социализма», представляет собой сборник статей, подготовленный Институтом истории Академии наук СССР. Открывается он общетеоретической статьей

известного советского историка М. Кима «Проблемы развития социалистической культуры (Некоторые теоретические аспекты)». В статье содержится анализ основных, наиболее существенных черт духовной жизни общества, обусловленных достижениями культуры в период зрелого социализма, показано, как новая Конституция СССР отразила выдающиеся успехи советской культуры и задачи ее дальнейшего развития.

Стержневая тема ряда статей — направляющая роль Коммунистической партии в развитии духовной жизни общества, проблемы партийного и государственного руководства различными сферами социалистической культуры (статьи Ю. Шарапова, В. Есакова, Е. Беловой). На большом фактическом материале охарактеризованы культурный уровень современного советского рабочего класса, его вклад в строительство культуры; в центре внимания авторов другой группы статей — проблемы развития культуры современной советской деревни. На страницах сборника говорится и о возрастающей на современном этапе развития общества роли советской интеллигенции в научно-техническом и культурном прогрессе (С. Федюкин, «Интеллигенция развитого социалистического общества»). Исследуются все более заметно проявляющийся себя в условиях зрелого социализма процесс интернационализации культуры, дальнейший расцвет и сближение национальных культур народов нашей страны и целый ряд других проблем.

Взятые вместе, эти две книги создают внушительную, впечатляющую картину культурных завоеваний социализма за шестьдесят лет советской власти, картину богатства духовной жизни общества и высокого уровня его культуры в период зрелого социализма. В них дана развернутая характеристика социалистической культуры как культуры исторически нового, высшего типа, являющей собой шаг вперед в духовном развитии человечества; культуры интернациональной по своей сущности, социалистической по содержанию и многонациональной по форме; культуры, одухотворяющей труд, украшающей быт и облагораживающей человека, делающей его жизнь осмысленнее, интереснее, ярче.

Здесь же рассматриваются и проблемы широкого взаимодействия культур братских стран социализма, международное значение советской культуры и рост ее прогрессив-

ного влияния на духовную жизнь народов планеты. «Социалистическая культура, — говорится в монографии «Духовный мир развитого социалистического общества», — предстает перед народами всего мира как магистральный путь гармонического развития личности и высших форм человеческого общения, как прообраз будущей единой мировой коммунистической культуры».

Таково общее впечатление, оставляемое этими книгами. Если же говорить об их достоинствах более подробно, то прежде всего следует, как мне кажется, отметить плодотворность комплексного подхода к изучению духовного мира общества и его культуры, стремление исследовать их не изолированно, а в органической связи со всеми другими сферами общественной жизни. Глубокие и многосторонние преобразования в духовной культуре зрелого социализма рассматриваются как объективный исторический процесс, тесно связанный со всем комплексом экономических, социально-политических и идеологических задач. Приводятся весомые и зримые свидетельства того, что в условиях развитого социалистического общества и его движения к коммунизму, в период научно-технической революции и процесса органического соединения ее достижений с преимуществами социализма культура значительно расширила свои социальные функции, стала еще большим ускорителем социального и научно-технического прогресса.

К бесспорным достоинствам рецензируемых книг следует отнести и то, что в них не декларативно, а на основе глубокого анализа многочисленных документов и фактов действительности раскрывается руководящая роль Коммунистической партии в культурном строительстве, то новое, что внес XXV съезд КПСС в решение проблем духовной жизни общества. Партия целенаправленно и планомерно руководит процессом коммунистического воспитания трудящихся, формированием нового человека. Социализм утверждает в жизни новую систему духовных ценностей, сердцевину, душу которой составляют, как известно, марксистско-ленинская идеология, гуманные цели и идеалы коммунизма. И в том, что эта идеология, возникшая как идеология самого передового, самого революционного класса — рабочего класса, стала ныне идеологией всего советского народа, в том, что духовный облик советских людей определяет прежде всего идейная убежденность, вели-

чайшая заслуга ленинской партии. Ее руководящая роль во всех звеньях духовной жизни общества, значение ее идейно-воспитательной работы особенно возрастают в наши дни, в условиях развитого социализма.

Принцип историзма — таков один из основополагающих методологических принципов, которым руководствовались создатели обеих книг. В них говорится о том, что развитие культуры советского народа никогда не было для Коммунистической партии и социалистического государства чем-то второстепенным, что в основе политики партии в области культуры лежит учение о социалистической культуре, созданное В. И. Лениным, глубоко раскрывшим ее место и роль в революционном преобразовании мира и показавшим подчиненность проблем культуры интересам классовой борьбы пролетариата, интересам социализма; говорится об особенностях основных этапов культурного строительства в СССР и прослеживается их историческая преемственность.

Большое место в книгах, и это вполне закономерно, уделено выяснению той важной роли, которая принадлежит культуре в формировании личности гражданина социалистического общества, в том числе в формировании его нравственного облика. В нашей стране произошли коренные изменения в отношениях людей к труду, к обществу и друг к другу. Для советского человека характерна активная жизненная позиция, в основе которой лежит коммунистическая нравственность. Забота о высокой нравственной культуре сегодня возведена у нас в ранг общественного закона и предмета государственной политики. В рецензируемых книгах процесс формирования нравственного облика нового человека исследуется как процесс двуединый, включающий в себя, с одной стороны, упрочение и развитие коммунистических норм и принципов сознания трудящихся, с другой стороны, бескомпромиссную борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, с воровством, пьянством, хулиганством и другими антиобщественными проявлениями. Нельзя проходить мимо и таких порой скрытых, на первый взгляд менее заметных, но не менее опасных нравственных изъянов, как равнодушие и цинизм, эгоизм и иждивенчество, претензии получать больше, чем человек дает обществу.

Что порождает в наше время эти нравственные изъяны, эти антиобщественные про-

явления? Правильно ли во всех случаях списывать их на счет пережитков прошлого? Не кроются ли причины иных из этих проявлений в известном несоответствии растущих материальных возможностей и характера потребностей? Это не выдуманная проблема, и делать вид, что ее не существует, было бы ошибкой. Более того — она может даже обостриться по мере роста уровня жизни, если уровень культуры личности будет отставать. «Мы добились немалого в улучшении материального благосостояния советского народа, — сказал Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии. — Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии. Этого нельзя упускать из виду». Нельзя закрывать глаза на то, что есть еще в нашем обществе люди с низким уровнем духовных потребностей, люди, не умеющие разумно пользоваться своим свободным временем, этим, по образному выражению Маркса, пространством для развития способностей, а бесцельное, пустое времяпрепровождение часто приводит к появлению дурных наклонностей. Встречаются еще люди с потребительской, рваческой, накопительской психологией. Встречается и своеобразная разновидность «просвещенного» мещанства — люди с иждивенческим подходом к культурным ценностям, с меркантильным отношением к знанию и страстью к приобретательству «престижных вещей», люди со снобистским взглядом на современную жизнь, с гипертрофированным самомнением, с непомерно преувеличенной оценкой своего места и своей роли в обществе. Рецензируемые книги не обходят эти антиобщественные проявления и нравственные изъяны, нацеливают на активное их преодоление.

Проблемы духовной жизни общества, духовной культуры — острейший участок современного фронта идеологической, классовой борьбы. Именно потому, что наша партия выступает как ведущая и направляющая сила культурного прогресса, идеологи антикоммунизма, правые и «левые» ревизионисты проявляют особое усердие в своих попытках во что бы то ни стало дискредитировать культурную политику КПСС, набросить тень на достижения советской куль-

туры. На страницах рецензируемых книг эти попытки подвергаются обстоятельной, принципиальной критике. Убедительно показывается беспочвенность и бесперспективность поисков нашими идейными противниками подходов к так называемой культурной конвергенции в условиях разрядки международной напряженности.

Богатую пищу для размышлений дают эти книги. Едва ли ошибусь, если скажу, что для читателей «Нового мира» несомненный интерес представляют, в частности, те их страницы, на которых обрисовываются место и роль советской интеллигенции в современной жизни общества — в создании материально-технической базы коммунизма, в управлении народным хозяйством, в обучении и воспитании новых поколений, в наращивании духовного потенциала народа. «Эпоха зрелого социализма характерна не только всемерным развитием производительных сил. Не меньшее значение имеет и производство духовных ценностей, без чего немислима жизнь высокоорганизованного общества. И здесь советская интеллигенция призвана решать большой и сложный комплекс задач, связанных с формированием нового человека. В борьбе за коммунистическое воспитание советских людей исключительное значение имеет деятельность художественной интеллигенции».

Словом, каждый серьезный, вдумчивый читатель найдет для себя в этих книгах немало интересного и поучительного.

И все же... Все же хотелось бы, чтобы в дальнейшем в работах типа монографии Института философии было поменьше глав обзорно-перечислительного характера, поменьше пересказывания в общей форме уже достаточно известных положений. Ведь от объемных научных трудов мы ждем прежде всего глубины анализа новых явлений и тенденций в духовной жизни и культуре нашего общества, смелости обобщений накопленных фактов, выводов,двигающих теоретическую мысль вперед, научного прогнозирования путей культурного прогресса.

И еще об одном стоит сказать. Досад-

но, когда в солидных научных трудах, подготовленных академическими институтами и выпущенных в свет авторитетным издательством, наталкиваешься на отдельные неточности и небрежности. Например, на искажения имен и фамилий писателей или героев широко известных произведений литературы и искусства. В монографии «Духовный мир развитого социалистического общества» выдающийся узбекский поэт-демократ Муками превратился в Мукам, автор романа «Весенняя пора» народный писатель Якутской АССР Н. Мординов — в Н. Мордвинова, старшина Васков, герой повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...» и одноименного кинофильма, — в Васкова...

В сборнике «Культура развитого социализма», в статье о современном этапе освоения мирового культурного наследия говорится, что выпускаемая у нас серия «Литературные памятники» впервые ознакомила советского читателя со многими крупными явлениями мировой культуры. Благодаря изданиям серии наш читатель впервые получил широкое представление о творчестве Аполлинера, Бодлера, Кольриджа, впервые видит перед собой полный текст «Нибелунгов», «Старшей Эдды», «Махабхараты», впервые читает на русском языке роман Мэлори «Смерть Артура», «Письма» Шелли. Кто же осуществил художественный перевод этих литературных памятников на русский язык и тем самым сделал их достоянием многонационального советского читателя? Увы, имена создателей художественного перевода не названы.

Не хочется заканчивать эти заметки стандартной, набившей оскомину фразой, что, мол, данные огрехи не портят общего впечатления... Портят! Издания, посвященные проблемам культуры зрелого социализма, сами должны быть во всех отношениях безупречными образцами высокой культуры. Что же касается бесспорных и серьезных достоинств рецензируемых книг, то о них выше уже было сказано.

В. КОСОЛАПОВ.



ВЫСОКАЯ ДУША

Альберт Швейцер. Письма из Ламбарене. («Литературные памятники») Л. «Наука». 1978. 390 стр.

Нельзя сказать, что имя Альберта Швейцера неизвестно или малоизвестно нашему читателю, но что известность эта далеко не соответствует истинному зна-

чению жизни, научному и общественному подвигу этого всемирно известного человека — совершенно несомненно. Книга Б. Носика в серии «Жизнь замечательных

людей», содержательный, но явно недостаточный по объему сборник «Альберт Швейцер — великий гуманист XX века», единственное и тоже крайне ограниченное и по тиражу и по своему характеру издание его капитального философского труда «Культура и этика» — вот, кажется, и все, не считая некоторых журнальных статей и упоминаний, чем может располагать наш широкий интересующийся читатель. Вот почему мы не можем не приветствовать выход в свет другого его капитального труда, «Письма из Ламбарене», другого потому, что первым была названа «Культура и этика», впервые опубликованная в европейской печати в 1923 году. Но, по сути дела, первой я бы назвал как раз книгу «Письма из Ламбарене», которая писалась с 1913 по 1965 год, год смерти автора, и которую, таким образом, можно назвать книгой его жизни. А жизнь и нравственный подвиг Альберта Швейцера и составляют то главное, что сделало его действительно великим гуманистом XX века.

«Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в Экваториальную Африку. Как я к этому пришел?». Так начинает Швейцер свою «книгу жизни», книгу местами поэтическую, местами научно-исследовательскую, философскую, местами чисто практическую вплоть до описания строительных работ и связанных с этим расчетов при постройке больницы, но всюду одинаково глубоко волнующую, потому что речь в ней всегда идет о человеке, о судьбах маленького, затерянного в джунглях африканского народа и о том трудном, можно сказать, уникальном социально-психологическом эксперименте, за ходом которого в течение ряда десятилетий следил весь культурный мир.

Итак — «как я к этому пришел?».

Книга-анализ, книга-исследование, книга сугубо честная и мудрая, а главное, нравственная и по внутренней философии, по глубинным побуждениям и по истокам этих побуждений.

Ярким, врезавшимся на всю жизнь в память впечатлением детства, поразившим воображение будущего философа, была скульптура африканского негра, которую он увидел в композиции памятника одному адмиралу. «И в позе, и в чертах лица этого геркулеса я прочел грусть, которая возбудила во мне сочувствие и заставила за-

думаться над участью чернокожих», — вспоминает он впоследствии, и из этого впечатления как из зернышка выросла целая концепция, полная юношеского пыла и нравственного возмущения.

«...о чем думают наши правительства и наши народы, когда они обращают свои взоры на заморские страны? О владениях, которые они возьмут под свое «верховное покровительство»... Никто не думает о воспитании, о приобщении людей к труду... Наши государства, государства, столь гордые своей высокой цивилизацией, там — всего-навсего хищники».

Из этих нравственных истоков и родилось то большое, исполненное глубочайшего смысла дело, о котором во всех реалиях повествуют «Письма из Ламбарене». До сих пор мы читали о нем, теперь можем все узнать от него, самого Швейцера, все, начиная с первой поездки в Африку вместе с женой Хелене, мужественной женщиной, сходящейся с ним в общем взгляде на жизнь как на исполнение долга перед людьми.

«Только тогда мы будем иметь право сказать, что признали ту ответственность, которая лежит на нас как на культурных народах перед туземцами, только тогда начнем мы исполнять наш долг перед ними». Это написано на первой же странице книги, и этому посвящены все ее триста страниц.

О предыстории говорить здесь, пожалуй, нет смысла, в общих чертах она известна: молодой, талантливый, полный сил и высоких побуждений человек, музыкант, писатель, философ, проповедник, поставил перед собой жизненную задачу — до тридцати лет учиться и впитывать все богатства человеческой культуры, а после тридцати отдать жизнь служению людям, всю, без остатка, и там, где она больше всего нужна, где больше всего можно принести пользы.

И вот скульптура, изображающая грустного негра, вот рассказы миссионеров и других бывалых людей об Африке — и цель формулируется со всей определенностью: оставить литературу, музыку, изучить медицину и во всеоружии ехать туда, в далекую Африку, где тропическая малярия, сонная болезнь и другие бедствия, в том числе и «отвратительные болезни», которые завезли этим «детям природы» европейцы...

В лечение африканцев Швейцер вкладыв-

вает все свои литературные и концертные гонорары, позже он вложит в него Нобелевскую премию и помощью европейских друзей, а главное — свои силы, знания и неостывающий жар сердца. «Как описать мои чувства, когда такого страдальца привозят ко мне! Я ведь единственный человек, который на сотни километров вокруг может помочь ему!»

А говорят — один в поле не воин. Нет, воин, если он человек! И вот мы читаем страницы о тропической малярии, о страшной сонной болезни, о еще более страшной проказе, о неведомой нам «малиновой болезни». Швейцер изучает их природу, пути и способы распространения, ход болезни, приводит применяемую им рецептуру («Растворы, стерилизованные при температуре 110 градусов, оказываются более действенными, чем изготовленные обычным способом») — и мы не воспринимаем все это как излишние прозаизмы и натурализмы, все это входит в повествовательную ткань в качестве органической составной части.

Но Швейцер не просто лекарь, он исследователь и мыслитель. Он вглядывается и вдумывается в окружающую жизнь, в ее процессы, перемены, в быт и труд людей. «Теперь о том, как скрепляются плоты» — и следует целая глава о плотях, о лесе, о лесоповале, лесосплаве и лесоторговле. Вот своего рода «Записки охотника» — «Африканские охотничьи рассказы», глава «О дождях и хорошей погоде на экваторе», «Ойембо, школьный учитель в девственном лесу», «О миссионерах». Жизнь... Но прежде всего, конечно, жизнь основанной им больницы — «На строительной площадке», «В больнице», «В новой больнице», «Африканский дневник 1939—1945 гг.» и т. д. и т. п. Жизнь во всем ее объеме.

А вот интереснейшая глава «Социальные проблемы девственного леса». Социальные проблемы? — удивится читатель. «В самом деле, действительно ли существуют в девственном лесу социальные проблемы? Да, существуют», — отвечает Швейцер и дает обстоятельный анализ этих проблем.

Проблема рабочей силы. В Европе говорят о лениности негров. Нет! — отвечает Швейцер, «я никогда уже больше не решусь говорить о лениности негров после того, как полтора десятка их почти непрерывно гребли в течение тридцати шести часов, чтобы доставить меня к тяжелобольному».

И Швейцер дает свое, основанное на поз-

нании жизни объяснение характера туземца: «Негр не ленив, но он человек вольный». Дитя природы, он находит в своем девственном лесу и пищу, и жилье, и все элементарно необходимое для жизни. Деньги ему нужны для удовлетворения каких-то особых нужд — купить жене яркие материи для платья, купить сахар, табак, керосин, и когда эти потребности удовлетворены, он просто-напросто бросает работу до следующей нужды. Отсюда проблема: как его приучить к систематической работе? Но тогда он «из человека свободного превращается в человека подневольного». Проблема? Проблема!

Отсюда более широкие выводы: «Трагедия заключается в том, что интересы культуры и колонизации не только не совпадают, но во многом противоречат друг другу... Экономическое развитие, которого добивается колонизация, происходит за счет развития культуры и уровня жизни туземцев». И вообще из процесса колонизации вытекает целый ряд проблем: концессии, трудовая повинность, ввоз алкогольных напитков и их разрушающее действие, влияние школы и вообще образования, влияние христианства и его противоречие с исторически сложившимися местными традициями. Например, христианская проповедь моногамии и вырастающая из экономических и социальных условий местной жизни полигамия и т. д. и т. п.

И наконец, громадной важности нравственно-политическая проблема: «Как мне вести себя с негром?» Как «сочетать дружеское с авторитетом»? «Остаться человеком порядочным, ничем не погрешить против совести и вместе с тем продолжать быть носителем цивилизации — вот что безмерно трудно и трагично во взаимоотношениях белых и негров в Экваториальной Африке» — так на уровне своего благородства решает для себя эту проблему великий гуманист и мыслитель.

Да! Это был не только лекарь. Это был огромной души человек, который еще до тех десяти дней, которые потрясли мир и привели потом к освобождению Африки от колониального гнета, тридцатилетним молодым человеком приехал туда как представитель высоких гуманистических воззрений, сформировавшихся, как он сам признает, под влиянием Льва Толстого, и прожил там с несколькими вызванными обстоятельствами перерывами до девяноста лет и похоронен там же рядом со своей Хелене. Это

было великолепным выражением интернациональности человеческой культуры, о чем говорят следующие две речи, опубликованные в книге.

Речь Альберта Швейцера во время празднования пятидесятилетия начала его деятельности в Африке:

«Какое это счастье, что я отправился в Ламбарене; ведь здесь, в Ламбарене, я нашел то, что искал: любовь, доверие, готовность помочь и полезную людям работу... только здесь, среди вас, я чувствую себя дома, и если бы я поехал куда-нибудь в другое место, то я не знаю, родилось ли бы там то чувство обоюдной симпатии, какое возникло между мною и вами. Теперь же нет ни малейшего сомнения, что оно соединяет нас и что я ваш до моего последнего вздоха».

И вот он, последний вздох, и ответ на него Альбера Бонго, одного из руководителей молодой, выросшей из колониального небытия Республики Габон, над могилой Альберта Швейцера:

«От имени президента Республики Габон... от имени правительства, от имени всего Габона я с глубокой печалью склоняюсь перед прахом того, кто был и останется величайшим из приемных сынов Габона, другом и благодетелем нашего народа... наша габонская земля примет брэнную оболочку этого человека, Великого Доктора... как драгоценный дар, как неиссякаемый источник добра и духовного

богатства. И его высокая душа нас не покинет».

Но подлинной высоты эта душа достигает при осознании важнейшей и решающей проблемы нашего века — проблемы войны и мира, которой Швейцер отдает свои последние и самые зрелые мысли.

«Я и впредь буду отдавать все силы борьбе за мир, — заявил он на закате дней в письме редактору «Литературной газеты». — Все мы должны преисполниться решимости вместе добиваться сохранения мира, от которого зависит судьбы человечества. Необходимо, чтобы общественное мнение всего мира поняло: рассматривая вопрос о войне, которая неминуемо превратится в войну атомную, нельзя ни на секунду упускать из виду, что она повлечет за собой чудовищные последствия. Мы должны проникнуться этой мыслью и стремиться, чтобы это осознал весь мир».

Понимая ограниченность нравственных исканий Альберта Швейцера, выражавшуюся в том, что он не видел революционных путей переделки современного ему общества, мы, советские люди, не можем не преклоняться перед силой его духа, перед его жизненным подвигом неустанного служения добру. И мы благодарны переводчику А. Шадрину и издательству «Наука» за то, что они познакомили нашего читателя с этим мировой важности литературным памятником.

Григорий МЕДЫНСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ



ГЕННАДИЙ ФИШ. Здравствуй, Дания! Норвегия рядом. Отшельник Атлантики. У шведов (Скандинавские встречи). М. «Советский писатель». 1977. 736 стр.

ГЕННАДИЙ ФИШ. Встречи в Суоми. Петрозаводск. «Карелия». 1978. 639 стр.

Херлуф Бидstrup сказал, что благодаря Геннадию Фишу он лучше узнал датчан. Бидstrup имел в виду отнюдь не только книги Фиша о Скандинавии (хотя десятки и десятки рецензий, которыми там встречали очерки Фиша, свидетельствуют о том, что скандинавам он кое-что открыл в них самих). Бидstrup «по-новому узнал датчан» — обращившая эту формулу, могу сказать так: читая книги Г. Фиша о Скандинавии, я по-новому узнаю нас, и это, быть может, самое острое, драматичное и просветляющее ощущение, с каким я перечитываю теперь его произведения.

Впрочем, надо отдать должное и объективной картине: человек, желающий сегодня получить узнать наших северных соседей, без книг Г. Фиша не обойдется: его очерки, по манере письма обращенные к самым широким читательским кругам и проглатываемые, как правило, с легкостью, содержат при всем том огромный фактический, можно даже сказать — энциклопедический материал, который не просто было и собрать и вживить в столь увлекательное повествование. Лишь при его умении занимательно рассказывать можно посягать на такие неохватные задачи. Хорошо, что Г. Фиш был жаден до фактов и впечатлений и силился вместить в пеструю ткань своих очерков нечто, называемое «все о Скандинавии»... Конечно, неместимо. Конечно, недостижимо в принципе. Конечно, «чем больше пьешь, тем горше хочется», и, проходя вместе с Г. Фишем, скажем, мимо пьедесталов великих датчан Андерсена и Торвальдсена, и гостя вместе с ним у знаменитых современников Бидstrup или Кекконена, и тревожа вместе с ним славные тени Даля и Беринга, я чувствую, как, помимо законной признательности, прорастает во мне уже и какая-нибудь спровоцированная таким обилием претензия: где Кьеркегор, как примеру? Энциклопедизм вещь небезопасная. Но, с другой стороны, вряд ли стал бы Геннадий Фиш, по выражению К. Федина, нашим признанным «скандинавцем», если бы он не был одержим святой жаждой охватить все,

объять необъятное, исчерпать Балтийское море и... исчерпаться самому в этой теме. Только так ведь и делается настоящее дело, а для Г. Фиша скандинавские встречи были не случайной темой, подвернувшейся в кризисе, — эти очерки стали для него разрешением внутренней писательской задачи, в них завершилась его литературная судьба, они факт нашего собственного самопознания.

Две книги, о которых идет речь, позволяют представить себе именно этот нравственный сюжет: они вышли почти одновременно и соединяют вместе все скандинавские очерки Г. Фиша. Петрозаводский сборник, впрочем, имеет несколько иной, «региональный» прицел: здесь финские очерки, написанные Г. Фишем в 50—60-е годы, изданы вместе с его финскими повестями, из которых наиболее известна «Падение Кимас-озера» (она дается здесь с позднейшим авторским комментарием). Книга получилась цельная: прекрасен образ Финляндии, какой предстает она советскому писателю в разные годы.

В читательском сознании эти финские очерки, конечно же, соединяются с другими скандинавскими очерками Г. Фиша, ибо если повести его хрестоматийны, то в очерках любопытнее другое: живая, лишенная противоречий сегодняшняя мысль исследователя. Обогащаясь сведениями о наших соседях, мы понимаем и то, как менялись мы сами в ходе общения с ними. Это жажда абсолютных ценностей. Она вырастает до настоящего пафоса, когда Г. Фиш отрывается от забот повседневной экономики и всяческой злобы дня и обращается к тому, что, собственно, дороже всего в художественной литературе, — к моментам нравственных решений. Здесь настоящий нерв его очерков.

Известно, что, когда гитлеровцы в 1940 году оккупировали Данию, они приказали всем датским евреям (около 8 тысяч) обозначить себя желтыми повязками со звездой Давида. Тогда повязки немедленно надели король и королева Дании; копенгагенцы стали следовать их примеру; гитлеровское мероприятие сорвалось. Автор приводит цифры: 7 тысяч евреев были тайно переправлены в нейтральную Швецию; лишь 476 человек попали в руки нацистов.

Разгар оккупации. На хутор норвежского крестьянина забредает бежавший из

гитлеровского лагеря советский военнопленный. Старик крестьянин показывает ему тропу в Швецию. Через несколько часов на хуторе появляются немцы: «Видел русского?» «Да, видел. И дорогу ему показал!» Удар в челюсть. Старик падает. Концлагерь, избиения... Думаю: что ж он не схитрил в тот первый-то момент!.. Ну как же так, в открытую, и с кем, с карателями! Удивительные все-таки эти норвежцы. Г. Фиш, размышляя над этим фактом, не зря вспоминает, что в Норвегии никогда не было крепостного права.. Исторические условия, особенности характера, склад традиций. С последовательностью и тщательностью Г. Фиш объясняет увиденное, выводя одно из другого. Рассуждает, сопоставляет, сомневается. А в конце концов отдает свою любовь скандинавам, отзываясь на их врожденную гордость собственной гордостью. И достоинством. И благородством. И вселяя и укрепляя эти качества в нас, читателей. И вот эта струна — назовем ее нравственным самопознанием — особенно близка мне в скандинавских очерках Геннадия Фиша.

Л. Иванов.



ВЛАДИМИР ОГНЕВ. Красные яблоки. Повесть. М. «Детская литература». 1978. 189 стр.

Действие повести происходит в годы Великой Отечественной войны. Жестокая тема — детство и война. В нашей литературе ей посвящено немало мужественных и трагических страниц — от богомолковского «Ивана» до «Нагрудного знака «OST» В. Семина. Беспощадная горькая правда этих произведений несет в себе нестареющие, огромной нравственной силы уроки.

Трудная тема войны не терпит прикрас, и В. Огнев ничем не облегчает путь своего героя Лешу Гордиенко. Судьба мальчика — непрерывная цепь потерь и утрат. Отец далеко на фронте. Мать убита. Убита бабушка. Повешен фашистскими карателями дед. Сходит с ума соседка, женщина, опекавшая Лешу в лагере, и там же умирает от побоев друг Леша Стась. Попадает в гестапо привоившая Лешу девушка-полячка с подпольной кличкой Сестренка. От немецкой пули гибнут его сверстник Седой и старшие друзья, партизаны Войцех, Йоже..

Вихрь военных событий бросает героя из страны в страну: сначала угон в неволю, затем лагерь, побег... Польша, Германия, Югославия. Снова Германия, на территорию которой уже вступили наши войска, и наконец возвращение на родину. Читая повесть, видишь, как своеобразно соединились в этой работе зарубежные наблюдения писателя и его опыт критика. Знания польской, югославской литератур, о которых он много писал, знание быта, природы этих стран, где он неоднократно бывал, отголоски бесед с польскими и югославскими поэтами — участниками Сопrotивления

укрепляют основу повествования, питают его корни.

Пожалуй, главное из нравственных обретенных огневского героя — понимание, что жизнь держится единством, дружбой, братством. Единством отдельного человека с человеком и единством целых народов. Словно по эстафете Лешу передают из рук в руки старый польский крестьянин подпольщикам, а бежавшие из плена сербы — югославским партизанам. «Мальчик, ты должен верить в то, что человек не бывает одиноким,— говорит Леше командир партизан Йоже.— Люди — это одна большая семья. Они все братья»..

В маленьком воине, разведчике и связанном, складывается и крепнет то, что В. Огнев в другой своей книге называл «человеческим нравственным императивом поведения». Он воспринимает у старших бойцов законы дружбы, честности, верности долгу, стойкости и укрепляется в них. Мужские качества Леша Гордиенко показано осязательно и убедительно.

«Красные яблоки» назвал свою повесть В. Огнев. Красные яблоки из дедовского сада — удержанный памятью героя образ безмятежного довоенного детства. Читая повесть, я не раз думала о словах другого писателя, сказанных давно: «Мне вспоминается мое детство, как румяное свежее яблоко... Несмотря на горести и беды, на грязь, на все» (Эффенди Капиев, «Записные книжки»). Что общего? Красное яблоко — символ полноты, неистребимости жизни, ее мирной естественности и красоты. Поэтому он вновь и вновь возникает на страницах повести.

Не помню, кто говорил о литературоведческих книгах В. Огнева, что в них живет «поэзия критической мысли». Поэзия, суровая и человеческая, живет как неотъемлемая часть правды жизни и в его повести для детей «Красные яблоки».

Наталья Капиева.

Пятигорск.



МИХАИЛ ЛАСКОВ. Зоревая вахта. Днепропетровск. «Промінь». 1978. 64 стр.

Когда говорят и пишут — «поэт индустриального края», то некоторые читатели представляют стихи и поэмы такого поэта в виде панорамы цехов металлургического гиганта. Глубокое заблуждение, опровергаемое, в частности, книгами стихов Михаила Ласкова — недавно вышедшей «Зоревой вахтой» (1978), предыдущими его книгами «Красная гвоздика» (1969), «Незакатная весна» (1974).

Конечно, поэт увлечен мощной и динамичной жизнью своего запорожского края, но всего более его интересует человек, раскрывающийся в творчестве.

Высокой прочностью металл
Уменью мастера послушен.

Не заблестит в руке деталь,
Пока в нее не вложит душа.

Вот в чем дело! Михаила Ласкова инте-

ресует не только труд сам по себе, а раскрытие красоты души в процессе творчества.

Именно это составляет содержание и пафос поэмы «Сказание о Савчуке» (книга «Зоревая вахта»), посвященной металлургам Приднепровья. Сын погибшего на фронте солдата Костя Савчука не был баловнем судьбы. Он прошел суровую школу жизни, прежде чем стал мастером-сталеваром. Короткие главки поэмы — драматические моменты жизненного пути Савчука. «Сказание о Савчуке» перекликается с поэмой Михаила Луконина «Рабочий день». Не повторяет ее, а перекликается с ней общей тональностью, способами лепки центрального характера.

К этой поэме по духу, по образному строю примыкают «Короткие баллады»: «Ненаписанное заявление», «Сын», «Сердце», «Джоконда». Смысл этих баллад кратко можно выразить так: проявление мужества — проявление человечности.

«Прямо из юности — в бой» — строка из биографии. Сказанное можно дополнить: прямо из боя на стройку и далее — в поэзию. Бой — поэзия — труд; этим треугольником живо очерчивается не только тематика Михаила Ласкова, но и его образный мир. Каждое поэтическое высказывание проходит проверку обретенным в труде нравственным кодексом. Это стихи о людях, которые чувствуют: «...мы трудились, не зная, что это геройство». Сила этих людей в причастности к революционному огню. Слова «огонь», «свет», «тепло» приобретают у Михаила Ласкова характер ключевых, как бы синхронно отзвывающихся на главное в жизни, жизни его друзей по фронту и стройкам. Через образ огня выражает себя личное начало не только в лирических, но и в эпических стихах Михаила Ласкова.

К людям
от моря оно перешло,
Трудное слово:
волнение...

Это волнение присуще лирике Михаила Ласкова. Даже в космосе он хотел бы найти тепло человечности. Жаждой человечности отмечены многие стихи поэта. Но о чем бы ни писал поэт — о зимнем ли цветке или о роднике, — на его строках багряные отсветы мартемов. Они создают особый колорит в его стихотворных циклах.

В одном из своих стихотворений поэт говорит: «...как далеко от полуясных строк до строф, в находок золото отлитых». Недовольство собой — добрая примета. Это значит: от Михаила Ласкова можно ждать новых удач.

Лев Озеров.



В. ВИЛЕНКИН. О Владимире Ивановиче Немировиче-Данченко. «Театр», 1978, №№ 10, 11.

Дорогой мой друг! Вряд ли вы подписаны на «Театр», но разыщите прошлогодние номера за октябрь и ноябрь. Воспоминания о

Немировиче-Данченко, напечатанные там, — чтение замечательное и именно в вашем вкусе, насколько я ваш вкус знаю. Вы получите удовольствие от прозрачной, дающей все видеть так, как оно есть, простоты изложения. И не удивляйтесь возникающему чувству, будто вы до сих пор ничего, в сущности, не знали о человеке, портрет которого здесь написан, о Немировиче-Данченко. Не говорите в объяснение этому чувству, что вы прежде мало читали о нем: специалисты по истории театра, поверьте мне, испытывают то же ощущение. До сих пор мы не знали.

Русский интеллигентный человек, читал он или не читал труды про МХАТ, откуда-то представляет себе не то чтобы историю его, а его людей, его дни: как из «Славянского базара» уже на ночь глядя поехали продолжать разговор в Любимовку, как играли тени на сводах палат в Ростове Великом, куда собрались напитаться впечатлениями для «Царя Федора», как сиял под солнцем белозимый и синевой Крым — ехали показывать Чехову спектакли... Такое не объясняется живучестью театральной легенды или анекдота, да и запомнилось вовсе не анекдотическое — простое, домашнее. Тут, рассуждали мы с вами, живое тепло какой-то общей всем семейной памяти. «Преданья русского семейства». Но как раз пора, о которой рассказывает профессор Виленкин, нашей «семейной памятью» не была вобрана.

Не знаю, восполнимы ли подобные изъяны, однажды возникшие; знаю только, что ученые труды восполняют их очень мало: видимо, каналы, сообщающие науку с тем, что можно бы назвать емкостью общей памяти, слишком узки. Когда же дело идет о времени, которым занят в воспоминаниях Виленкин (а он пишет о последних десяти годах жизни Немировича-Данченко начиная с 1933 года), эти каналы надо еще и прочистить от осадков информации неверной. Так вот, повороту: не знаю, восполнимы ли изъяны общей памяти, но если восполнимы, то именно из таких вот «первоисточников». Оно должно откуда-то взяться, достояние общей памяти: кто-то должен передать бывшее как свое и вполне по правде.

Виталий Яковлевич Виленкин начал работать в Художественном театре с конца 1933 года. Входить во все, что составляет жизнь театра, ему, тогда литературному секретарю дирекции, было не позволено, а предписано: «Не можно, а должно».

По своим служебным обязанностям я знаю архив МХАТа. Мне знакома тень неловкости, когда читаешь резкости о ком-то, не предназначавшиеся для чужих глаз. Это дурная сторона нашей работы; вот вышло так, что я два года подряд читаю чужие письма, и самые интимные. Спрашивается, по какому праву?.. Но что до имени Виленкина, оно встречалось мне лишь в контексте, позволяющем сказать: среди людей, высоко служивших тогда Театру (здесь писали так — с большой буквы), этот моло-

дой человек, кроме таланта, ума и ясности взгляда, отличался еще и всецелым отсутствием эгоистических желаний.

Вообще-то самоотверженность штука опасная. Она грозит мстительными разочарованиями: сотворивший себе кумира его же и свергнет. Поэтому оговорюсь: в самоотверженности автора мемуаров есть мера и благородство; ей сопутствуют здравость, зоркость и, как ни странно тут это слово, терпимость. Быть терпимым к великим людям рядом с тобою не так-то просто. Немногим бывало дано чтить и одновременно понимать и жалеть.

Мне думается, что художественные мемуары, воспоминания как литературный жанр позволяют, даже заставляя острее думать о «нравственном отношении искусства к действительности»; о том, в какой мере нравственно осуществление «права на свой взгляд», права «на сдвиг. Интересно размыслить, контролируется ли чем-то мера сдвига, претворение реальности в художественное создание и контролируется ли чем-то, с другой стороны, право проникания в живое, в непосредственное, кровно и лично принадлежащее «материалу» (все равно — живому или когда-то жившему человеку или же человеку вообще как родовому понятию).

На мой взгляд, воспоминания Виленкина в чем-то дают образец отношения к предмету; ощущение их талантливости не есть ли награда за преданность изображаемому, за гармонию пронизательности и скромности? Но отложим разговор, пока не прочтете.

И. Соловьева.



ДЖАННИ РОДАРИ. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. М. «Прогресс». 1978. 207 стр.

Эта книга знаменитого итальянского сказочника написана не для детей — для взрослых: родителей, учителей, для всех, кому небезразличны детство и ребенок. «Грамматика фантазии» вызвала огромный интерес в Италии и переводится сейчас на многие языки мира. Но перевод ее на русский язык был первым, и автор говорит в предисловии, что он имеет для него особое значение.

По своему значению и характеру «Грамматику фантазии» можно поставить рядом только со знаменитой книгой нашего сказочника Корнея Чуковского «От двух до пяти». Чуковский вел яростную по своему накалу борьбу за сказку как первейшую и главнейшую духовную пищу ребенка, за то, чтобы в каждом ребенке разглядеть «гениального лингвиста».

Джанни Родари написал свою книгу на основании многолетних наблюдений за детьми, тесного творческого общения с педагогами. Но, кроме этого, Родари опирался на работу многих ученых, которые изучали психологию детства, и прежде всего совет-

ских ученых. В предисловии он пишет: «...в тексте цитируется столько русских, советских авторов, что книжка держится на них, как крыша на стенах». Этими авторами являются такие замечательные ученые, как В. Пропп, В. Шкловский и другие. О вкладе советских исследователей в проблему, которую он изучает, Джанни Родари говорит с предельной ясностью: «Идея, лежащая в основе «Грамматики фантазии», проста: она сводится к тому, что воображение не есть привилегия немногих выдающихся индивидов, что им наделены все. Советский психолог Л. С. Выготский сказал это на срок лет раньше меня, так что никакой Америки я не открыл...»

Как и К. Чуковский, Джанни Родари утверждает, что тяга детей к безудержному выдумыванию, к нелепицам и перевертышам не противостоит реальности, а помогает ее постижению. Он об этом говорит со своей обычной лукавой интонацией сказочника: «В действительность можно войти с главного входа, а можно влезть в нее — и это куда забавнее — через форточку». Джанни Родари рассказывает своим читателям, что сказка настолько естественна для детского ума, детского воображения, что взрослым не только необходимо рассказывать детям сказки, но и приучать детей эти сказки самим выдумывать.

Джанни Родари считает себя — и это безусловно правильно! — педагогом. Но он страстно протестует против закоснелой, догматической практики отношения к художественной литературе чуть ли не как к ведомственному циркуляру. С глубокой горечью он пишет: «Дело в том, что в школе книги читают не для того, чтобы понять, о чем в них говорится, а для того, чтобы «проходить». Когда текст просеивают через сито «правильности», то остаются и ценятся камешки, а золото уходит...».

Чрезвычайно интересны и поучительны наблюдения Джанни Родари над освоением детьми речи, значения слов. В специальной главе «История-«табу» он смело и решительно высказывается по поводу тех «дурных слов», которые так часто употребляют дети и против чего порой неумело и неумно борются родители и педагоги. Говоря о «дурном вкусе» в детской речи, Джанни Родари апеллирует к народным сказкам с их олимпийской языковой свободой, вызывающей не непристойные мысли, а здоровый очищающий смех. Он пишет: «Нельзя ли и нам приобщиться к этому отнюдь не «непристойному», а освободительному смеху? Честно говоря, думаю, что можно».

«Грамматика фантазии» — книга не только умная, добрая и поучительная, она еще и веселая. Об очень серьезных вещах писатель говорит весело, увлекательно, без тени пресловутого учительского занудства. Как те маленькие дети, о которых рассказывается, он непрерывно играет словами, перифразами, перевертышами — всей этой безудержной и сладостной игрой детей. Джанни Родари сознает чрезвычайную трудность перевода этой игры на другой язык. Но в предисловии он пишет: «Мне любопытно

посмотреть, каким образом игра слов, к которой я многократно прибегаю... как эта игра слов прозвучит на русском языке, насколько мне известно, очень богатом на выдумки, очень поддающемся самообигрыванию».

Перевод «Грамматики фантазии», сделанный Юлией Добровольской, виртуозно передает всю игровую словесную фантазию Джанни Родари. Переводчик находит в русском языке и точные аналогии и «лепые нелепицы», совершенно адекватные итальянскому тексту. При всей теоретической серьезности «Грамматики фантазии», книгу эту радостно, весело и поучительно читать не только взрослому читателю, но и старшим школьникам. Кстати, об этом пишет в предисловии и сам автор.

Наш 1979 год — год ребенка. Изданная накануне этого года отличная книга Джанни Родари появилась, что называется, к самому сроку.

Лев Разгон.



А. Н. ЛУК. Психология творчества. М. «Наука». 1978. 127 стр.

Уже немало говорилось о том, что в наше время распространение знаний, накопленных наукой, есть задача социально чуть ли не более острая, чем получение новых научных результатов. И здесь очень важно то, что я назвал бы написанием «букварей» — доступных книг по основам самых сложных проблем современной науки. Работа А. Лука и представляется мне попыткой создать такой «букварь» по психологии творчества. Разумеется, автор не только перечисляет известное в психологической науке, но и доводит всякую — для ученых уже азбучную — истину до черты неизвестного, до начала сомнений.

Собственно говоря, чем больше мы узнаем о природе человеческих способностей — способностей к «свертыванию мыслительных операций» и «переносу опыта», к «сближению понятий», к «оценке», к «генерированию идей», о «готовности памяти» и «гибкости мышления» (цитирую подзаголовки), — тем больше неизвестных видим в уравнении творческого мышления человека.

Невольно начинаешь задумываться и о том, что создание «букварей» — дело не только популяризаторское, но и сугубо научная работа. Наука здесь обретает простой и емкий язык, инвентаризует собственный опыт, «пропальвает» проблемное поле, и дела в данной научной отрасли становятся нагляднее и для самих ученых (не случайно же, скажем, Л. Ландау под конец жизни начал писать школьный учебник по физике!). «Экономная запись уже известных фактов, лаконичная форма изложения разработанной теории, — пишет А. Лук, — необходимая предпосылка дальнейшего продвижения вперед... Вести новый элегантный способ символизации, изящно изложить известный метод — такая работа тоже не-

сит творческий характер и требует нестандартности мышления».

Заметьте, как приближен здесь язык научной психологии к языку психологии житейской — «изящество», «элегантность»... Кстати, и сам научный термин «свертывание мыслительных операций» невольно напоминает о способности человеческой крови к свертыванию. И разговор о творческом мышлении, об условиях творческого развития невольно переходит границы науки и превращается в разговор о жизни.

Назову в связи с этим две мысли, точнее — нерешенности, обозначенные в книге А. Лука, те, что заставили остановиться, особенно призадуматься. Это мысль о том, что развитию творческих способностей различных поколений человечества благоприятствуют и разные условия. (В этом, по мнению А. Лука, трудность поиска оптимальных условий для воспитания творческих кадров — не во всем можно опереться на опыт уже состоявшихся ученых, коллективов.) Здесь видится очень важная рабочая установка: воспитывать творческих людей можно только предельно творчески, каждое поколение по-иному, по заново изобретаемой методе. Она, эта метода, и рождается только в контакте воспитателя, руководителя с учеником. Так сказать, учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого учиться, как его же учить.

Другая проблема. В книге — цитата из теста-задачника, составленного одним видным современным инженером для поступающих на работу в его ведомство: «Если вновь поступающий молод и не имеет еще собственных трудов, надо выяснить, в какой мере его мышление нешаблонно. Пусть вспомнит те лабораторные работы, которые занимали его в бытность студентом... Надо принять в расчет, что одаренный человек склонен говорить о плохо изученных и неясных сторонах предмета в отличие от неодаренного, который говорит лишь о том, что твердо известно». Опять-таки — не слишком ли здесь дискредитируется опыт, твердое знание? Не обожествляется ли неизвестное? Сразу замечу, что, видимо, ни современная наука вообще, ни книга А. Лука (очень скромная в декларациях) не могут дать точно взвешенного ответа на этот вопрос: как найти оптимальное соотношение между опытом и любовью к неясностям. Возможно, творческое мышление и отличается тем, что всякий раз заново находит это соотношение в решении каждой конкретной задачи или в поиске самой задачи (А. Лук, скажем, все-таки предостерегает от абсолютизации эйнштейновского тезиса: «Теория определяет, что именно можно наблюдать»).

Эти мысли при чтении книги А. Лука очень интересно, мне кажется, соотнести с обстоятельствами в творчестве литературном. Писателей разных поколений стимулируют, пожалуй, действительно разные условия, разные явления жизни. В литературе также можно провести (грубое, конечно) разделение на авторов, пишущих об уже добытой ими истине, и на тех, кто только в

самом процессе писания доискивается до чего-то. Здесь, правда, никак не годится считать первых менее одаренными. Каждый ищет свою меру опыта и незнания...

Собственно говоря, если разговор просто переходит с того, что написано в книге о науке, на дела родственные, но иные, то, думается, «букварь» состоялся.

В. Лобачев.



В. С. НЕРСЕЯНЦ. Сократ. М. «Наука». 1977. 152 стр.

Рецензируемая книга посвящена жизни и творчеству великого античного мудреца, которого К. Маркс назвал «олицетворением философии». Сократ стоит у истоков рационалистических и просветительских традиций европейской мысли. Ему принадлежит выдающееся место в истории моральной философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания, ощущается до наших дней. Он навсегда вошел в духовную культуру человечества.

В центре внимания В. Нерсеянца сократовская тема человека, проблемы жизни и смерти, добра и зла, добродетелей и пороков, права и долга, свободы и ответственности, личности и государства.

Автор показывает, что основным звеном сократовского философствования являются вопросы о нравственных добродетелях, моральных качествах человека. По существу своему учение Сократа — это философия морали, этики. При этом в моральной философии Сократа этическое тесно переплетено с политическим. Этика в понимании Сократа политична, политика этическая. Политический идеал Сократа, подчеркивается в книге, представляет собой попытку сформулировать идеально разумную сущность государства, а применительно к практической политике был направлен на утверждение принципа компетентности в полисном управлении.

С позиций такой трактовки политических воззрений Сократа В. Нерсеянц дает новую интерпретацию трагической гибели великого мыслителя и ее политической значимости в контексте развития афинской демократии. Автор отмечает, что Сократ, беспримерный по доблести гражданин, убежденный защитник законности, действовал в обстановке всеобщего отступления от нее, когда афинский демос был склонен к поспешным акциям и непродуманным мероприятиям, к чувству мести и расправы, подверженный страстям и эмоциям, часто прибегавший к суду скорому, но далеко не праведному, незаконность которого очень быстро становилась очевидной и ему самому. Античный демос и до и после Сократа настороженно относился к мудрости и мудрецам. Критика Сократа со стороны его противников и обвинителей началась и проводилась с позиций консервативной реакции против просветительства, рационализма и нововведений философов, поставивших

под сомнение почти все привычные и традиционные ценности и их религиозно-мифологическую основу. Смертный приговор Сократу как преступнику, резюмирует автор, осудил в глазах афинян и предстательную им истину как преступницу. Смысл сократовской масштабности — жизни, учения и смерти Сократа — как раз и состоит в том, что происшедшее с ним в новом свете обнажило внутреннее напряжение и тайную связь между истиной и преступлением, позволило увидеть осуждение философской истины не как простую судебную ошибку или недоразумение, но как принцип в ситуации столкновения индивида и полиса. Сократовский случай преступления позволяет проследить трудные перипетии истины, которая входит в мир как преступница, чтобы затем стать законодательницей. То, что в исторической ретроспективе очевидно для нас, пишет В. Нерсеянц, было — в перспективе — видно и понятно самому Сократу: мудрость, несправедливо осужденная в его лице на смерть, еще станет судьей над несправедливостью. И услышав от кого-то фразу: «Афиняне осудили тебя, Сократ, к смерти», — он спокойно ответил: «А их к смерти осудила природа».

Сложную гамму философской и практической деятельности Сократа, нравственные и политические коллизии в его судьбе В. Нерсеянц подает через призму «история и современность», использует богатые возможности науки истории как одного из способов видения современного мира. Обращение к Сократу во все времена было попыткой понять себя и свое время. И мы, отмечает автор, при всем своеобразии нашей эпохи в новизне задач не исключение. И потому произведение о великом гражданине афинской демократии приобретает глубоко гражданственное звучание.

В. Зорькин,

кандидат юридических наук.



ИГОРЬ ЧУТКО. Красные самолеты. М. Политиздат. 1978. 128 стр.

Автор рассказывает о выдающемся авиаконструкторе и ученом, о человеке высоких нравственных идеалов. Читателю впервые открываются некоторые обстоятельства жизни и деятельности нашего современника, главного конструктора самолетов — Роберта Людовиговича Бартини.

Основное внимание в книге уделяется эпизодам биографии, ставшим решающими в формировании его мировосприятия, в осознании им своего жизненного предназначения. В детстве и отрочестве это благоприятная духовная атмосфера в доме отца; позже — потрясение жестокостью и бессмысленностью империалистической войны; русский плен, где он, двадцатилетний пленный офицер, в 1917 году становится революционером. И наконец, это Италия Муссолини, куда он возвратился из плена.

Да, тирания и произвол рождают не только страх и послушание, но и протест. В об-

становке преследований и террора 21 января 1921 года родилась Коммунистическая партия Италии. В этот день Роберто, единственный сын богатейшего барона Лодовико Орос ди Бартини, стал коммунистом.

Когда фашисты начали за ним усиленно охотиться, было решено переправить его в нашу страну. И тогда, в 1923 году, молодой авиационный инженер Роберто Бартини так определил свои первейшие задачи: «Чтобы красные самолеты летали быстрее черных». Это решило его судьбу. Потому и книга названа «Красные самолеты».

Рассказывая о работах главного конструктора, автор соотносит их с уровнем авиационной науки и техники конкретного исторического отрезка. Эта задача решена на должном инженерном уровне и вместе с тем в живой литературной форме, что позволяет расширить читательскую аудиторию.

Автор предисловия, один из крупнейших авиаконструкторов современности Олег Константинович Антонов, пишет о Бартини с любовью, пониманием, уважением и восхищением. Называя Бартини «генератором идей», он отмечает: «Эти идеи намного опережали свое время, и поэтому лишь часть из них воплотилась в металл, в самолеты. Но и то, что не воплотилось в металл, сыграло положительную роль катализатора прогресса нашей авиационной техники».

Включаясь в сферу его научных интересов и достижений, прежде всего нужно иметь в виду их интуитивное начало, то непредсказуемое ассоциативное мышление, которому инженерное, и научное, и художественное творчество обязаны своими взлетами и открытиями.

Я знала Роберта Людовиговича. Однажды, рассказывая о себе и о том, что помогло ему в сложных жизненных ситуациях сохранить душевные силы, он произнес: «...но я сказал себе — подумаешь...». Как прекрасно, что он, итальянец, так точно ощутил весь эмоциональный смысл дорогого мне гордого слова «подумаешь!». Фразу эту он по моей просьбе и не без удовольствия тотчас записал в моей тетрадке. Итак: «Подумаешь! Тоже мне событие. Не могу же я расстраивать себя из-за всякого пустяка!». Дата и подпись. Да, умение отличать главное от второстепенного помогло ему не только в решении сложнейших инженерных и научных проблем. Это было его жизненной позицией, его сущностью.

«Он говорил, что ни в коем случае не следует спорить с заказчиком из-за технических требований к машине. Они не от легкой жизни придумываются, поэтому их не отвергать надо, а, наоборот, перевыполнить!» Это свидетельство И. Берлина, бывшего заместителя Бартини, приведенное в книге, примечательно и необычайно существенно. Такая душевная широта, готовность и безотказность естественны и органичны для человека, осознавшего свое предназначение, масштабы и возможности своего дарования.

До последнего дня своего Бартини работал главным конструктором. Он прожил

семьдесят семь лет, богатыми событиями радостными и горестными, общением, встречами, разлуками. В письме, найденном при разборе его бумаг, озаглавленном «Моя воля», просьба: «Собрать сведения о всей моей жизни. Извлеките из нее урок...». Его достойная и вдохновенная жизнь во всем ее многообразии ожидает изучения и осмысления.

Автор — авиационный инженер и журналист, хорошо знавший Бартини и встречавшийся с ним на протяжении пятнадцати лет. Книга получилась удивительно емкой, она вобрала в себя множество существенных сведений, мыслей, проблем. И вместе с тем чувствуется, что из-за малого объема книги за ее пределами остался богатейший материал, который мог бы быть использован в расширенном и углубленном исследовании жизни и деятельности, стиля инженерного и научного мышления Роберта Людовиговича Бартини.

Тамара Невская.



М. ИОВЧУК, И. КУРБАТОВА. Плеханов. М. «Молодая гвардия». 1977. 352 стр.

«Пусть они погребают то, что в Плеханове было смертным, плодом его слабости и его старости, мы будем чтить то, что было в нем бессмертного и что создал он в пору своего расцвета. Мы будем чтить это веское золотое сокровище, не преклоняясь перед ним, но пуская его в наш живой революционный оборот. Так почтим мы героя революционного духа, несмотря на то, что он сбился с правильного пути за несколько лет до своей смерти».

Этими проникновенными словами А. В. Луначарского открывается книга М. Иовчука и И. Курбатовой «Плеханов», представляющая собой и биографию, и историческую повесть, и философское исследование. В книге ярко и впечатляюще воссоздан облик молодого Плеханова — отважного революционера, искусного конспиратора, прекрасного оратора, талантливого организатора и пропагандиста, книголюбца, ученого, блестящего полемиста, прослежена эволюция его от народника до пионера марксизма в России.

Очень живо повествуется о приезде В. И. Ленина в Швейцарию в 1895 году для установления контактов с группой «Освобождение труда». Здесь начинается новый этап в деятельности этой группы и самого Плеханова.

Особое внимание уделено многогранной теоретической деятельности Плеханова. «После появления в 90-х годах крупных философских работ Плеханова его авторитет как теоретика марксизма, знатока философии и истории революционной мысли очень возрос. К нему обращались из многих европейских стран с просьбой написать статью или позволить перевести уже напечатанное». Авторы упоминают, что работы Плеханова по философии высоко ценил Энгельс и называл их превосходными.

Большой интерес представляет освещение вопроса о борьбе Плеханова против буржуазной философии и международного ревизионизма. Плеханов поставил вопрос о роли социальной психологии в обществе, он глубоко анализирует идеологию и психологию с классовых позиций. Заслуги Плеханова в этой области имеют существенное научное и политическое значение для борьбы с буржуазной идеологией, буржуазной, реформистской, ревизионистской историографией.

Авторы справедливо считают, что в философско-мировоззренческих вопросах Плеханов в основном оставался на позициях диалектического и исторического материализма и после 1903 года.

Подробно изложен вопрос об участии и роли Плеханова в международном рабочем и социалистическом движении. М. Иовчук и И. Курбатова упоминают, что речь Плеханова на учредительном конгрессе II Интернационала понравилась Ф. Энгельсу и многим делегатам.

Обстоятельно показана борьба Плеханова за создание революционной партии рабочего класса, его работа в ленинской «Искре», в подготовке II съезда РСДРП, соз-

давшего революционную партию нового типа. Достоверно изложена деятельность Плеханова в меньшевистский период (1903 — 1917): его оппортунистическая тактика в революции 1905—1907 годов, переход на позиции социал-шовинизма во время первой мировой войны, поддержка контрреволюционного Временного правительства.

К сожалению, в книге почти не затронут вопрос о Плеханове — литературном критике, его вкладе в марксистскую эстетику (лишь упомянуты работы «Гл. Успенский» и «Генрик Ибсен»). Вызывает досаду и то, что некоторые факты из жизни деятелей русского революционного движения (степень их участия в том или ином деле, даты событий и даже инициалы) представлены в книге неточно. Думается, что в подготовке таких изданий, как работа М. Иовчука и И. Курбатовой, — серьезных исследований, рассчитанных в то же время на привлечение широкой читательской аудитории, — требуется не меньшая, если не большая скрупулезность, чем при подготовке сугубо научных книг.

А. Гельфман.

Одесса.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 1. 640 стр. Цена 1 р. 20 к.
В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 119 стр. Цена 20 к.
Л. И. Брежнев. На страже мира и социализма. 663 стр. Цена 1 р.
А. Павленко. XXV съезд КПСС и мировой революционный процесс. 96 стр. Цена 20 к.
В. Сутурин. Александр Ульянов. 1866—1887. 167 стр. Цена 30 к.
XXV съезд КПСС: единство теории и практики. Вып. 4. 519 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Калинин. Две тетради. Очерки. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.
А. Карпюк. За цветком папоротника. Повести и рассказы. Перевод с белорусского. 303 стр. Цена 1 р. 30 к.
Ю. Крепин. На что жалуетесь, доктор? Повести. 320 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Крон. Бессонница. Роман. 446 стр. Цена 1 р. 80 к.
Е. Николаевская. Родись счастливой. Стихотворения. 142 стр. Цена 45 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Я. Арбес. Избранное. Сборник повестей. Перевод с чешского. 572 стр. Цена 2 р. 90 к.
А. Бэл. Голос зовущего. Роман. — Рассказы. Перевод с латышского. 271 стр. Цена 1 р. 10 к.
Ю. Друнина. Избранное. Сборник стихов. 397 стр. Цена 1 р. 90 к.
М. Ибусэ. Черный дождь. Роман. Перевод с японского. («Зарубежный роман XX в.») 189 стр. Цена 1 р.
Л. Лавлинский. Поэт и критик. О поэзии и поэтической критике наших дней. 244 стр. Цена 65 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Е. Городецкий. Лето и часть сентября. Повесть. 191 стр. Цена 55 к.
С. Данилов. Снеговая музыка хомуса. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. 143 стр. Цена 50 к.
А. Иванов. Собрание сочинений в 5-ти тт. Т. I. Повитель. Роман. 511 стр. Цена 2 р. 10 к.
К. Киром. Горный краж. Стихи. Перевод с таджикского. 79 стр. Цена 25 к.
М. Одинцов. Испытание огнем. Роман. 399 стр. Цена 1 р. 80 к.
Полководцы и военачальники Великой Отечественной. Сборник. 383 стр. Цена 1 р.

«СОВРЕМЕНИК»

В. Андреев. Тяжелые ветви. Книга стихов. («Новинки «Современника») 95 стр. Цена 35 к.
Н. Евдокимов. У памяти свои законы. Роман и повести. 479 стр. Цена 2 р.

К. Жанэ. Аул Шапсуг улыбается. Рассказы. Перевод с адыгейского. («Новинки «Современника») 303 стр. Цена 1 р. 40 к.
Р. Романова. Под утренняя лучом. Стихи. Предисловие В. Цыбина. («Новинки «Современника») 79 стр. Цена 35 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Алексеев. Гвардейский разговор. Рассказы из истории Великой Отечественной войны. 333 стр. Цена 65 к.
Ю. Колесников. Занавес приподнят. Роман. 623 стр. Цена 2 р. 40 к.
К. Симонов. Из трех тетрадей. Стихи и поэмы. 302 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Аграновский. Белая лилия. Документальная повесть. 80 стр. Цена 15 к.
А. Вампилов. Билет на Усть-Илим. Публицистика. Составитель О. М. Вампилова. 87 стр. Цена 10 к.
М. Исаковский. Стихотворения. Составление и послесловие А. Туркова. («Земля родная») 271 стр. Цена 1 р. 10 к.
С. Щипачев. Поэмы. 142 стр. Цена 85 к.

«НАУКА»

Армянский фольклор. Сборник. Составление и перевод Г. О. Карапетяна. 375 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Ермолаева. Борьба за реалистическое искусство и гуманизм в эстетике США 60—70 гг. XX в. 279 стр. Цена 1 р. 10 к.

Р. Мустафин. Сибгат Хаким. Очерк творчества. («Писатели Советской России») 123 стр. Цена 25 к.

Песни трубадуров. Перевод со старопробанского. Составление и предисловие А. Г. Наймана. 260 стр. Цена 1 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Дракохруст. Раздорозье. Книга стихов. Минск. «Мастацкая литература». 158 стр. Цена 60 к.

Е. Евтушенко. Тяжелее земли. Стихи о Грузии. — Поэты Грузии. Редактор-составитель Г. Маргвелашвили. Тбилиси. «Мерани». 478 стр. Цена 2 р. 70 к.

Камчатка. Литературно-художественный сборник. Составитель Е. Гропянов. Петропавловск-Камчатский. Дальневосточное книжное издательство. Камчатское отделение. 176 стр. Цена 65 к.

Р. Солнцев. Скажи сегодня. Стихи 1961—1976 гг. Предисловие В. Астафьева. Красноярск. Книжное издательство. 223 стр. Цена 1 р.

В. Шушин. Точна зрения. Рассказы и повести. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 543 стр. Цена 2 р. 20 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 25/IV 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 15/VI 1979 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд л. 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 00958. Тираж 271.000 экз. Зак. 02234.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», Киев-47,
Врест-Литовский проспект, 94.

Цена ~~70~~ коп.

70636

-60